

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК**

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**О.Ю. МАЛИНОВА**

**КОНСТРУИРОВАНИЕ  
СМЫСЛОВ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ  
СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

**МОНОГРАФИЯ**

**МОСКВА  
2013**

УДК 32  
ББК 63.3 (2)  
М 18

Серия  
*«Политология»*

*Центр социальных научно-информационных  
исследований*

Отдел политической науки

Рецензенты: д-р полит. наук, проф. *М.В. Ильин*,  
д-р полит. наук *И.С. Семенов*

**Малинова О.Ю.**

М 18

Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России: Монография / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки. – М., 2013. – 421 с.  
ISBN 978-5-248-00671-7

Рассматриваются теоретические и методологические проблемы изучения символической политики как сферы соперничества различных способов интерпретации социальной реальности. Исследуется связь между трансформацией публичной сферы в России после распада СССР и изменением условий производства и конкуренции общественных идей. Анализируются особенности практики публичных дискуссий. Особое внимание уделяется дискурсивному конструированию постсоветской идентичности.

Предназначено для исследователей-политологов, преподавателей и студентов, а также для всех, кто интересуется вопросами развития политической науки.

УДК 32  
ББК 63.3 (2)

ISBN 978-5-248-00671-7

© ИНИОН РАН, 2013  
© Малинова О.Ю., 2013

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	5
----------------	---

### Часть I.

#### **КАК ИЗУЧАТЬ «ИДЕАЛЬНЫЕ» АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ? МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ**

1. Идеи как независимые переменные в политических исследованиях: В поисках адекватной методологии .....	18
2. Концепт идеологии и его использование в политических исследованиях .....	36
3. «Политическая культура» в российском академическом и публичном дискурсе .....	57
4. Идентичность как категория политической практики и научного анализа .....	84

### Часть II.

#### **ТРАНСФОРМАЦИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ И БОРЬБА ЗА СМЫСЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ**

5. Эволюция институциональных условий производства и конкуренции политических идей в России: От 1990-х к 2010-м .....	96
6. Идеологические представления российской политической элиты: Анализ интервью для СМИ (2008–2009) .....	127
7. Дискуссии о модернизации: Особенности российской практики обсуждения общественных проблем (2007–2011) .....	166
8. Между агитацией против «других» и демонстрацией «единства»: Избирательная кампания В.В. Путина (2012) .....	186

### Часть III.

## ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

9. Конструирование макрополитической идентичности и официальная символическая политика .....	207
10. Использование прошлого в официальной политической риторике .....	231
11. Идеологема «империи» в дискуссиях о государстве и нации .....	252
12. «Долгий» дискурс о национальной самобытности в контексте постсоветской трансформации: Оппозиция «западничества» и «антизападничества» в конце XX в. ....	281
13. Образы России и «Запада» в дискурсе власти (2000–2007): Попытки переопределения коллективной идентичности .....	317
14. Дилеммы российской идентичности: Императив «нации» и соблазн «цивилизации» .....	349
Заключение .....	370
Список литературы и источников .....	374

## ВВЕДЕНИЕ

Эта книга не была изначально задумана как монография. Она стала результатом серии исследований, объединенных поиском ответов на два взаимосвязанных вопроса: как публичная конкуренция разных способов интерпретации социальной реальности влияет на политические институты и практики? И как это можно изучать? Контекстом, применительно к которому эти вопросы ставились, были современные политические процессы в России. Очевидно, что изменения в «идеологической сфере» были значимой составляющей постсоветской трансформации. Однако каковы их последствия для политической системы в целом? Каково «качество» нынешнего плюрализма идей и дискурсов? Насколько эффективно они выполняют функцию интеграции и размежевания политических сообществ? Как они работают в процессе принятия политических решений и их легитимации? Что общего и различного в современных и старых, советских идеологических практиках? Ответы на эти вопросы требуют не только изучения наличного набора идеологических альтернатив, но и анализа особенностей их производства, обращения и конкуренции, которые в свою очередь очевидным образом зависят от меняющейся институциональной среды.

Производство смыслов является существенным условием Политики в эпоху Модерна, ибо в соответствии с *современными* принципами легитимации власти принятие политических решений предполагает постоянную коммуникацию по поводу их объяснения и оправдания. Такой формат политического обусловлен развитием институтов разделения властей, парламента и прессы, которые стимулировали выработку «публичных идей», увязывающих политический курс с тем или иным пониманием общественных и/или групповых интересов. Именно необходимость давать объяснения по поводу принимаемых решений *читающей публике* в

свое время предопределила расцвет классических идеологий, выражавших альтернативные подходы к проблемам, возникавшим в процессе модернизации [Pombeni, 2006, p. 61–62]. И хотя эпоха великих «измов», предлагавших системные целеориентированные проекты социальных и политических трансформаций, осталась в прошлом, потребность в легитимации решений путем соотнесения их с той или иной концепцией общественного блага по-прежнему остается существенным элементом политики<sup>1</sup>. Несмотря на очевидную фрагментацию современного идеологического поля и подвижность водоразделов, определяющих различия, старые и новые идеологические маркеры («левый», «правый», «либерал», «консерватор», «националист», «фундаменталист», «радикал» и проч.), обрастая дополнениями и уточнениями, все-таки остаются ориентирами партийной и электоральной политики. По-видимому, это определяется не только инерцией языка и сложившимися практиками политической идентификации, но и принципиальной сущностной оспариваемостью целей политического развития, которые не могут определяться сугубо технически, ибо зависят от социально-исторической и ценностной перспективы. И хотя «кризис идеологий» стимулирует критику исторически сложившихся «систем убеждений» на фундаментально-философском уровне, способность элит формулировать и оспаривать политические стратегии, увязывая их с «общезначимыми» идеями общественного блага и национальных или групповых интересов, и тем самым создавать механизмы для политического самоопределения и участия граждан, по-прежнему остается необходимым условием публичной политики.

Нельзя сказать, что сфера идеологического производства в России обделена вниманием отечественных и зарубежных политологов. Особенно активно ее исследования развивались в 1990-х годах, когда многие российские политологи, философы и историки пытались анализировать комплексы идей, складывавшиеся в разных сегментах российского политического спектра, сопоставляя их с основными идеологическими традициями [Консерватизм в России, 1993; Либерализм в России, 1993; Нови-

---

<sup>1</sup> Причем не только в демократиях: развитие современных средств массовых коммуникаций обуславливает наличие такой потребности и в тех обществах, где отсутствуют устойчивые демократические институты. Хотя разумеется, стимулы к «идеологическому творчеству» элит в демократических и недемократических режимах имеют свои особенности.

кова, Сиземская, 1993; Капустин 1994а; Капустин, 1994б; Кара-Мурза А.А., 1994; Возможности либерализма.., 1994; Капустин, Клямкин, 1994; Социалистическое видение современности... 1994; Консерватизм как течение.., 1995; Гарбузов, 1995; Секиринский, Шелохаев, 1995; Либерализм в России, 1996; Капустин, 1996а; Капустин, 1996б; Андреев, 1997; Согрин, 1997; Прусс, 1997; Ма-линова, 1998; Холмская, 1998; Гостев, 1999; Гусев, 1999; Карцов, 1999; Алексеева, 2000; Капустин, 2000; Новикова, Сиземская, 2000; Орлов, 2000; Соловей, 2000 и др.]. Анализ, как правило, выявлял наличие серьезных объективных и субъективных препятствий для развития тех или иных «измов» на отечественной почве. На этом этапе многое было сделано для «введения в оборот» и переосмысления наследия мировой и отечественной политической философии, причем теоретические изыскания нередко направлялись желанием «извлечь уроки» из опыта великих идеологов прошлого и настоящего. Стремление части академического сообщества не только изучать комплексы политических идей, но и участвовать в их разработке особенно ярко проявилось в середине 1990-х годов, когда многие с энтузиазмом включились в инициированный Б.Н. Ельциным поиск «национальной идеи», призванной сплотить фрагментированное общество. При этом не всегда удавалось сохранять дистанцию между позициями исследователя и идеолога. Тогда же предметом дискуссии стали механизмы формирования и распространения «национальной идеи». Одни авторы, уповая на частичное возрождение прежних методов «идеологической работы», полагали, что искомая система идей должна превратиться в новую государственную идеологию [Волков, 1999; Чубайс, 1998; Мигранян и др., 1999; Формирование новой российской идеологии.., 2000 и др.], другие же исходили из того, что интегративная идеология, призванная дать «язык символов, ценностей, смыслов, на котором пойдет общероссийский диалог», должна сформироваться благодаря целенаправленным усилиям гражданского общества [Алексеева и др., 1997, с. 18; Капустин, 1996а, с. 63–66]. В 2000-х годах исследовательский интерес к теме современных российских идеологий несколько упал, что отчасти объяснялось изменением условий и стимулов для их производства: с приходом к власти В.В. Путина политический пейзаж стал более монотонным, установка на «прагматизм» пришла на смену борьбе «идеологических принципов», и роль «идей» в политическом процессе, казалось, ограни-

чилась легитимацией осуществляемого властью курса и его ритуальной критикой оппозиционными политиками.

Вместе с тем если в 1990-х годах в центре внимания исследователей были великие «измы» (либерализм, консерватизм, социализм, в меньшей мере – национализм) и их преломление в контексте российской посткоммунистической трансформации, то в 2000-х годах предметом анализа все больше становятся «неполные» идеологии, сфокусированные на отдельных аспектах политической повестки, а также конкретные идеологемы [Бузгалин, 2003; Голосов, Шевченко, 2003; Шнирельман, 2004; Работяжев, Соловьёв А.И., 2007; Раскин, 2007; Одесский, Фельдман, 2008; Шаповалов, 2008; Малинова, 2008а; Казанцев, 2008; Фадеичева, 2008; Мусихин, 2009 и др.]. Впрочем, появился ряд исследований и учебных пособий, рассматривающих идеологическое пространство с точки зрения классических «измов» [Российский либерализм, 2004; Шинковская, 2005; Суханова, 2007; Калинин, 2008; Сирота, 2009 и др.]. Примечательно, что описывая российское идейно-символическое пространство, в 2000-х годах исследователи отдают предпочтение понятиям *дискурс* [Бляхер, 2002; Петров, 2004; Шестов, 2004; Амоголонова, Скрынникова, 2005; Петров, 2006; Гаврилова, 2007; Канарш, 2008 и др.], *идея / тема* [Барсукова, 2003; Малинова, 2008б; Малинова, 2008в и др.], *риторика* [Соколов, 2005], *политический стиль* [Соколов, 2006], *дискурсивные практики* [Фадеичева, 2008] и т.п.; понятие *идеология*, имеющее устойчивую коннотацию системности и мировоззренческой последовательности, стало использоваться заметно реже, чем в 1990-х годах. Такая диверсификация терминов связана не только с освоением более широкого спектра методик эмпирического анализа и развитием специализации внутри политологического сообщества, но и с современными тенденциями развития идеологической сферы, которые стали особенно очевидны на рубеже нового тысячелетия. Можно согласиться с И. Валлерстайном, утверждавшим, что единство идеологических «семей» либерализма, консерватизма и социализма обеспечивалось тем, против чего каждая из них боролась: в отношении определения позитивных целей наблюдалось значительное разнообразие [Wallerstein, 1995, p. 77]. В результате социальных и политических трансформаций к концу XX в. эта очевидная однозначность в определении противника исчезла, что открыло путь для «гибридизации» старых идеологий, которые оказались вынуждены конкурировать с «новыми» («неполными», «молекулярными», «разбавленными», «мини-идеоло-

гиями»). Последние не пытаются предлагать системные мировоззренческие решения и уходят от широкой повестки дня, концентрируясь на конкретных проблемах.

Несколько утрируя, можно выделить два противоположных подхода к анализу российского идейно-символического пространства: «материалистический», рассматривающий его динамику как производное от эволюции политического режима<sup>1</sup>, и «идеалистический», сфокусированный на выяснении внутренней логики развития тех или иных «измов» на российской почве (нередко – с упором на выявление отклонений от «классических» образцов и выработку рекомендаций по преодолению таковых). Представляется, что эти подходы описывают лишь часть картины, которая заслуживает более системного изучения. По-видимому, изменения в сфере производства идей – не просто следствие эволюции режима, а один из существенных ее аспектов. В свою очередь, хотя «системы идей» и имеют некую внутреннюю связность, их успех определяется не столько логической последовательностью и степенью соответствия «опробованным» классическим образцам, сколько релевантностью наличным (всегда уникальным и неповторимым) обстоятельствам и потребностям конкретных политических акторов. Если это так, то анализ идейно-символического пространства в трансформирующемся обществе должен учитывать изменение среды, в которой эти идеи производятся, распространяются и соперничают друг с другом. Именно такой подход был предложен мною и моими коллегами из Исследовательского комитета Российской ассоциации политической науки по изучению идей и идеологий в публичной сфере [Идейно-символическое пространство..., 2012]. Он развивается и в настоящей монографии.

Одна из проблем, с которой сталкивается исследователь процесса социального конструирования смыслов – это выбор инструментов описания и анализа. Существует множество понятий, содержание (т.е. набор необходимых характеристик) и объем (т.е. круг релевантных этому набору явлений) которых не только различаются в зависимости от избранной интерпретации, но и причудливо пересекаются, образуя семантическое множество, не под-

---

<sup>1</sup> В частности, как результат изменения партийной системы, которая служит институционализированным воплощением плюрализма идеологических платформ [см.: Гельман, 2006]. Впрочем, есть и работы, указывающие на обратную связь между отсутствием в обществе внятных идеологических водоразделов и слабостью политических партий [см.: Макаренко, 2007, с. 44–45].

дающееся таксономической систематизации. В данных обстоятельствах при выборе категорий анализа приходится учитывать не только эвристические возможности того или иного концепта, его «соразмерность» исследуемому кругу явлений, но и сложившиеся практики научной коммуникации. В результате поисков и размышлений, следы которых читатель обнаружит в первом разделе настоящей монографии, я решила использовать в качестве категории, задающей рамочную модель описания и анализа, «символическую политику».

Данное понятие занимает особое место в арсенале терминов, которые применяются для описания и анализа диалектического процесса формирования, распространения и конкуренции представлений, определяющих смысловые рамки восприятия социальной реальности. Авторы, выступившие в качестве пионеров исследования символической составляющей политики, попытались отказаться от целого ряда дихотомических противопоставлений, задающих границы теоретических «лагерей» в социальных науках. Они пробовали взглянуть на взаимосвязи между общественным сознанием и поведением, не устанавливая жестких границ между субъектом и объектом, индивидуальным и коллективным, материальным и идеальным и не отдавая предпочтения «объективным» методам, основанным на стандартизированном наблюдении, перед неизбежным «субъективизмом» интерпретативных подходов. Насколько эти попытки оказались успешными – предмет особого разговора. Однако несомненным достоинством категорий, явившихся их теоретическим наследием, можно считать отсутствие «встроенной» оптики, побуждающей рассматривать взаимосвязи между социальной реальностью и ее отражением в сознании, индивидом и группой, структурами и агентами, априори задавая причинно-следственные векторы от материального к идеальному<sup>1</sup>. Это делает «символическую политику» удобной зонтичной категорией, позволяющей исследовать под разными углами широкий спектр явлений, связанных с производством и обращением смыслов.

---

<sup>1</sup> Разумеется, это не значит, что соперничающие подходы к изучению символической стороны политики не породили иных теоретических размежеваний, закрепившихся в разных интерпретациях данного концепта. Они связаны как с определением объема понятия, так и с нормативной оценкой описываемого им феномена.

Необходимость изучения смыслодержающих конструкций в качестве не только форм, опосредующих «объективную реальность», но и элементов, конституирующих политическую действительность, убедительно доказал основоположник теории политики как символического действия Мюррей Эдельман. По его мысли, «из всех живых существ только человек реконструирует собственное прошлое, воспринимает условия настоящего и предвидит будущее, основываясь на символах, которые помогают абстрагироваться, отражают, сводят воедино, искажают, нарушают связи и даже творят то, что представляют его вниманию органы чувств. Способность символически оперировать чувственными данными делает возможными сложные рассуждения, планирование и как следствие – эффективные действия. Она также обуславливает устойчивую склонность к иллюзиям, ошибкам понимания, мифам и как следствие – к неправильным или неудачным действиям». Поскольку это так, адекватное объяснение политического поведения не может не учитывать в качестве вмешивающейся переменной «формирование общих смыслов и их изменение в процессе символического постижения группами людей интересов, бремени обстоятельств, угроз и возможностей» [Edelman, 1971, p. 2]. Саму политику следует изучать как «символическую форму» [Edelman, 1964, p. 2]. *Символы*, интерпретируемые как «способы организации репертуара познаваемого (cognitions) в смыслы», как *априорные смысловые структуры, которые помогают усваивать сообщения, редуцируя их к заранее известному*, согласно концепции Эдельмана, являются основой механизма, обуславливающего восприятие социальной реальности, и следовательно – поведение [Edelman, 1971, p. 33–35].

В общественных науках существует целый набор терминов для описания символической – в указанном значении слова – функции социально конструируемых смыслов: *дискурсы, идеи, представления, образы, мифы, фреймы, нарративы, собственно символы* (в более узком значении знака или изображения, условно «воплощающего» некие явления или идеи) и др. Это далеко не полный перечень понятий, схватывающих различные связи и эффекты, которые возникают вследствие того, что человеческое сознание способно «осваивать» социальный мир исключительно за счет символической редукции, осуществляемой на основе социально конструируемых и коллективно разделяемых смыслов. Все эти категории могут рассматриваться в качестве инструментов описания и анализа проблемного поля символической политики.

Концепт символической политики (в значении как *symbolic politics*, так и *symbolic policy*) используется в качестве инструмента эмпирического описания и анализа в конфликтологии [Harrison, 1995; Kaufman 2006], исследованиях публичной политики [Cohen 1999; Birkland, 2005; Schneider, Ingram, 2008], политических коммуникаций [Gamson, Stuart, 1992], а также в работах, посвященных изучению коллективных действий [Brysk, 1995]. С ним работают и некоторые российские авторы [Поцелуев, 1999; Поцелуев, 2012; Мисюров, 1999; Киселев, 2006; Малинова, 2010б; Символическая политика, 2012 и др.]. При этом предлагаются различные определения ключевого термина – что неудивительно, ибо речь идет о широкой категории, описывающей фундаментальное свойство человеческой деятельности, пересечения которого с полем политики можно рассматривать под разными углами зрения. Одним из наиболее существенных теоретических водоразделов в понимании содержания данной категории является различие между подходами, противопоставляющими символическую политику «реальной», «материальной»<sup>1</sup> – и подходами, которые рассматривают первую как специфический, но неотъемлемый аспект второй.

Противопоставление «символических» и «материальных» эффектов политики, как правило, имеет место в контексте обсуждения проблем, связанных с «медиатизацией» современного политического процесса, которая объективно способствует усилению автономии деятельности, связанной с его публичной репрезентацией, и ведет к «отступлениям» от нормативной логики демократической легитимации власти. С учетом данного обстоятельства, символическая политика нередко рассматривается как своеобразный суррогат «реальной» политики. Именно в такой интерпретации это понятие было впервые введено в российский научный оборот С.П. Поцелуевым. Согласно его определению, символическая политика – это «особый род политической коммуникации, нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эф-

---

<sup>1</sup> Многие авторы, придерживающиеся такого разграничения, отмечают его условность, ибо «символическая» политика может иметь вполне материальные последствия, а «материальные» меры (связанные, например, с распределением финансовых ресурсов) – быть инструментом борьбы за утверждение определенных способов интерпретации действительности [Cohen, 1999, p. 2; Birkland, 2005, p. 150–151; Schneider, Ingram, 2008, p. 207].

фктов»<sup>1</sup>. Символическая политика предполагает «сознательное использование эстетически-символических ресурсов власти для ее легитимации и упрочения посредством создания символических «эрзацев» (суррогатов) политических действий и решений [Поцелуев, 1999, с. 62]. Таким образом, данный подход сфокусирован на целенаправленной репрезентации деятельности политических акторов в публичном пространстве (и прежде всего – в СМИ), которая может не совпадать с непубличной (но от этого не менее реальной) стороной политики. В качестве «символического элемента» политики рассматривается то, что целенаправленно «конструируется» политическими элитами в расчете на манипуляцию сознанием масс.

Вместе с тем очевидно, что символическая функция политики не сводится к производству идеологических конструкций – даже если, принимая во внимание развитие визуальных технологий коммуникации, мы не будем связывать идеологии исключительно с вербальными формами.

Во-первых, элиты, «конструирующие» смыслы, сами действуют в рамках социально разделяемых систем смыслов и, участвуя в их производстве и воспроизводстве, «подчиняются» их логике. Символическая составляющая политики не рефлексивируется ее акторами в полной мере, а эффекты того, что П. Бурдьё называл «символической властью»<sup>2</sup> не всегда достигаются за счет прямой пропаганды. Как точно заметил Эдельман, «наиболее глубоко укорененные политические убеждения не формируются открытыми призывами принять их и не дебатированы в тех субкультурах, где их разделяют. Они создаются формой политического действия, гораздо более мощной, чем риторические разъяснения, и слишком значимы для людей, чтобы подвергать их сомнению в публичных дебатах» [Edelman, 1971, p. 45]. *Символическая политика как деятельность, связанная с производством определенных способов интерпретации социальной реальности и борьбой за их доминирование*, не ограничивается социально-инженерным «изобретением» смыслов. Она связана с социальным конструированием реально-

---

<sup>1</sup> В работах С.П. Поцелуева можно найти и другие определения символической политики [Поцелуев, 2012].

<sup>2</sup> По Бурдьё, символическая власть – это «власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира и, тем самым, воздействие на мир, а значит, сам мир...» [Бурдьё, 2007, с. 95].

сти, как его описывали П. Бергер и Т. Лукман [Бергер, Лукман, 1995]. Стремящиеся манипулировать сознанием масс элиты не только «осуществляют» символическую политику, но и сами действуют, ориентируясь на символические сигналы, поступающие со стороны правительства [Edelman, 1971, p. 10] и других политических акторов.

Во-вторых, в поле символической политики действуют специфические механизмы<sup>1</sup>, изучение которых позволяет лучше понимать, почему одни способы интерпретации социальной реальности оказываются более влиятельными, нежели другие, чем определяется успех и какие ресурсы работают более эффективно. Как верно заметил Бурдьё, «идеологии всегда детерминированы дважды»: не только выражаемыми ими интересами групп, но и «специфической логикой поля производства» [Бурдьё, 2007, с. 93]. Задача исследователей символической политики – постижение этой логики<sup>2</sup>.

В-третьих, более широкий взгляд на символическую политику не ограничивает круг ее участников представителями властвующей элиты – он ориентирует и на изучение деятельности акторов, использующих символы для изменений снизу [Brysk, 1995]. Разумеется, государство занимает особое положение на поле символической политики, поскольку оно обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью властного распределения ресурсов, правовой категоризации, придания символам особого статуса, возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене и т.п. Однако несмотря на эти эксклюзивные ресурсы и возможности доминирование поддерживаемых

---

<sup>1</sup> Можно согласиться с Э. Бриск, которая утверждает, что исследование символической политики связано с изучением механизмов, а не законов [Brysk, 1995, p. 561]. По определению Ч. Тилли и Р. Гудина, «механизмы образуют определенный класс событий, которые меняют отношения между выделенными элементами сходным или почти сходным образом во множестве ситуаций». Хотя механизмы по определению производят единообразные непосредственные эффекты, их кумулятивные и долговременные эффекты более вариативны, ибо зависят от внешних условий и взаимодействия с другими социальными механизмами [Tilly, Goodin, 2006, p. 15]. Механизм – это меньше, чем теория, но больше, чем описание, ибо может служить в качестве модели для объяснения других случаев.

<sup>2</sup> Можно говорить о постепенном накоплении такого рода эмпирических обобщений на основе изучения функционирования символов в разных формах и в разных контекстах. См., напр.: [Brysk, 1995, p. 576–579; Schopflin, 1997; Coakley, 2007].

государством интерпретаций социальной реальности отнюдь не предрешиено: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления»<sup>1</sup> и «двоемыслия». Оспаривание существующего социального порядка – не менее важная часть символической политики, чем его легитимация.

Символическая политика осуществляется в *публичной сфере*, т.е. виртуальном пространстве, где в более или менее открытом режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные идентичности, иными словами – имеет место конкуренция разных способов интерпретации социальной реальности. Институциональные параметры публичной сферы оказывают значимое влияние на символические стратегии и возможности акторов. Поэтому исследование символической политики сопряжено с изучением среды, в которой производятся, распространяются и конкурируют разные способы интерпретации социальной реальности, а также особенностей стратегий акторов, участвующих в данных процессах.

Предлагаемая вниманию читателя книга – это опыт изучения различных аспектов символической политики в постсоветской России и анализа методологических дискуссий относительно концептов, традиционно используемых для описания социальных функций «идей». В нее вошли материалы исследований, проводившихся с 2003 по 2012 г. и уже публиковавшиеся в виде статей, преимущественно, но не только – в изданиях ИНИОН РАН. Их объединение под одной обложкой не было механическим – многое потребовалось переосмыслить и переработать. Не будучи результатом осуществления единого исследовательского плана, настоящая книга тем не менее представляет собой вполне целостную работу, связанную не только предметом, но и логикой исследовательского подхода, развивающего концепцию *символической политики*.

В первой ее части рассматриваются теоретические и методологические проблемы, связанные с использованием идеальных факторов в качестве независимых переменных при исследовании

---

<sup>1</sup> По мысли Ю.А. Левады, советские идеологические практики, навязывавшие индивидам универсальную нормативно-ценностную систему, формировали «человека лукавого», соглашавшегося с предписываемыми установками – и одновременно искавшего способ их обойти [Левада, 2000, с. 508–529].

политических процессов, а также различные подходы к концептуализации понятий, традиционно используемых для описания социальных функций «идей» – идеологии, политической культуры, идентичности. При этом особое внимание уделяется способности такого рода понятий выступать в роли категорий политической практики и связанных с этим проблемам их использования в качестве инструмента анализа.

Вторая часть монографии посвящена исследованию связи между трансформацией институтов публичной сферы и условиями производства и конкуренции общественных идей в постсоветской России. Особое внимание в ней уделяется особенностям идеологических представлений российской политической элиты, а также анализу практик обсуждения общественных проблем.

В третьей, заключительной, части представлен анализ различных аспектов символической борьбы, связанной с дискурсивным конструированием идентичности макрополитического сообщества, стоящего за современным Российским государством. В частности, исследуется конкуренция различных подходов к интерпретации оснований, границ и ценностно-символического содержания постсоветской российской идентичности. Автор использует методологию дискурсивного анализа в качестве инструмента исследования глубинных процессов, воздействующих на эволюцию трендов общественного развития и обеспечивающих устойчивость (или неустойчивость) демократических преобразований.

Летом 2012 г., когда шла работа над этой книгой, казалось, что некий этап в истории российской политики завершен, и пора оглянуться и подвести итоги. Насколько этот опыт «ретроспективной монографии» удался, судить читателю. Мне же как автору остается с благодарностью вспомнить тех, кто так или иначе был причастен к ее созданию. Спешу воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю признательность моим коллегам по ИНИОН РАН – Ю.С. Пивоварову, М.В. Ильину, Е.Ю. Мелешкиной, А.И. Миллеру, Д.В. Ефременко, К.П. Кокареву, в спорах с которыми, подчас весьма бурных, и в мимолетных обменах мыслями на бегу вызревали идеи, составившие эту книгу. Десять лет нашей совместной работы – это большое счастье, которое я очень ценю. Спасибо С.В. Патрушеву, чей профессиональный опыт и мудрые советы помогли мне превратить груду текстов в книгу. Моя неизменная благодарность всем тем, с кем довелось сотрудничать в рамках исследовательских и издательских проектов, результаты которых нашли отражение в главах этой монографии –

И.С. Семененко, А.И. Соловьёву, Е.Б. Шестопал, А.В. Селезневой, О.В. Гаман-Голутвиной, М.А. Липман, С.П. Поцелуеву, О.В. Поповой, Л.Н. Тимофеевой, А.Ю. Сунгурову, М.В. Гавриловой, Л.А. Фадеевой и другим коллегам по Исследовательскому комитету РАПН по изучению идей и идеологий в публичной сфере. Особые слова признательности – Российскому гуманитарному научному фонду, поддержавшему многие из наших проектов (о чем подробнее будет сказано в конкретных главах), и благодатной для творчества атмосфере Института Кеннана (г. Вашингтон), Центрально-Европейского Университета (г. Будапешт) и Александровского института (г. Хельсинки), где довелось за эти годы поработать в качестве приглашенного исследователя. Наконец, ничего бы не получилось, если бы не любовь и доверие моих близких, которые год за годом терпеливо переносят муки моего творчества. Огромное им за это спасибо.

## Часть I.

# КАК ИЗУЧАТЬ «ИДЕАЛЬНЫЕ» АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ? МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ

---

### 1. ИДЕИ КАК НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: В ПОИСКАХ АДЕКВАТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ<sup>1</sup>

В современных политических исследованиях «материалистические» объяснения, сводящие поведение участников политических процессов к интересам и структурам, заметно преобладают над «идеалистическими» попытками искать причины наблюдаемых явлений в том, что «находится в головах» – в убеждениях, представлениях, нормах, ценностях и проч. Неявное предпочтение «материальных» независимых переменных «идеальным» отчасти является следствием позитивистских установок, сыгравших определяющую роль в формировании научных подходов к изучению политики: будучи ориентирован на выявление и обобщение «объективных» связей между наблюдаемыми признаками, исследователь должен тщательно контролировать все, что зависит от субъективной позиции интерпретатора. В этой логике идеи<sup>2</sup> оказываются неудобной переменной, ибо их трудно представить в таком виде, чтобы результат наблюдения не зависел от наблюдателя, и не всегда можно выделить в качестве самостоятельно действующего причинного фактора. Неудивительно, что идеи нередко приносятся в жертву принципу экономичности теоретического мышления (*parsimony*): в поисках объяснений политических явлений и процессов исследователи предпочитают сводить то, что «находится в головах», к более «надежным» переменным, под-

---

<sup>1</sup> Исследование проведено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 09-03-00218а. Впервые опубликовано в сборнике научных трудов «Политическая наука: Идеи и символы в политике: Методологические проблемы и современные исследования» [Малинова, 2009б].

<sup>2</sup> Термин «идеи» используется здесь в широком смысле, как собирательное понятие для различных символических форм.

дающимся наблюдению и измерению. Яркий пример такого рода редукции – теория рационального выбора: возможность объяснения политического поведения связывается со способностью индивидов рационально, т.е. предсказуемо реагировать на (материальный) контекст, который и задает структуру интересов. Вместе с тем следует признать, что «материалистический» крен в политической науке в немалой степени определяется и недостаточной разработанностью методического «инструментария», а также сложностью и трудоемкостью исследовательских процедур, позволяющих рассматривать идеи систематически и «всерьез».

Разумеется, идеи остаются главным фокусом исследований, следующих *интерпретирующей* парадигме; однако такие исследования не претендуют на обобщения, ставя своей задачей реконструкцию и анализ конкретных ситуаций. В рамках же нацеленной на поиск общих закономерностей *объясняющей* парадигмы идеям по умолчанию отводится второстепенная роль.

Было бы неверно утверждать, что «идеальное» вовсе обойдено вниманием политических наук<sup>1</sup>. Систематически представленные идеи и теории находятся в центре внимания политических философов, исследователей идеологий и истории политической мысли. Ценностные ориентации, когнитивные установки, поведенческие нормы, социальные представления и идентичности различных общественных групп изучаются политическими социологами и психологами. Циркулирующие в обществе идеи, программы, доктрины, концепции, нарративы более или менее регулярно становятся предметом анализа специалистов, изучающих политические коммуникации, публичную политику, международные отношения, партии, выборы и пр. Однако то, что «находится в головах», в большей степени рассматривается на микроуровне, т.е. служит для объяснения поведения индивидов и групп. Переменные, описывающие все, что имеет отношение к мышлению и сознанию (*ideational variables*), до недавнего времени сравнительно редко включались в теории, описывающие явления и процессы на макроуровне – развитие институтов, трансформацию политических режимов, формирование мирового порядка, эволюцию партийных систем и т.п. Но в последние 15–20 лет в целом

---

<sup>1</sup> И тем более – смежных общественных дисциплин, прежде всего – социологии. К сожалению, социологические теории, объясняющие связи между общественным сознанием и социальными структурами и процессами, не слишком востребованы политологами.

ряде субдисциплин – в институциональных исследованиях, сравнительной политологии, политической экономии, исследованиях международных отношений и публичной политики – появились работы, в которых идеи берутся в качестве независимых переменных, объясняющих изменение структур. Многие аналитики склонны видеть в этом новую тенденцию – поворот к осмыслению роли «идеальных» факторов политики (*ideational turn*)<sup>1</sup>. Как поясняет Л.В. Сморгунов, новизна заключается не в признании банального факта влияния идей, а в рассмотрении «идей в качестве значимых объяснительных причин политических процессов и событий. До этого идеи всегда сводились к интересам, функциям, структурам, институтам, мирам, т.е. к чему-то объективно данному, реальному и аналитически выводимому из наблюдений, и эти объективированные факты рассматривались в качестве основы объяснений. Идеи требовалось объяснить, но сами они редко выступали в качестве фактора объяснения» [Сморгунов, 2009, с. 120].

Обращение к идеям как значимой переменной отчасти было продиктовано ходом мировой политики. Такие события конца XX в., как распад СССР и исчезновение мировой коммунистической системы, посткоммунистические трансформации в Восточной Европе, завершение холодной войны и последующее изменение международного порядка, новые угрозы безопасности и проч., трудно понять без учета их идеологической составляющей. Идеино-ориентированный подход (*ideational approach*) стал активно разрабатываться в исследованиях международных отношений<sup>2</sup>. В частности, появилась целая серия работ, рассматривающих «новое мышление» части советской политической элиты как одну из причин завершения холодной войны [Checkel, 1997; Lévesque, 1997; Herman, 1996; English, 2000; Brown, 2007, p. 157–189]. Еще раньше на идеи обратили внимание исследователи экономической политики, пытавшиеся объяснить сходство и различие реакций разных стран на общие вызовы [The political power of economic ideas, 1989; Sikkink, 1991]. Эти работы послужили импульсом для формирования целого направления в институциональных исследо-

---

<sup>1</sup> Предварительный анализ результатов этого «поворота» в разных областях политических исследований см.: [Blyth, 1997; Blyth, 2002; Campbell, 2002; Ganev, 2005; Gofas, Hay 2008; Hochschild, 2006; Lieberman, 2002; Petrova, 2003; Rueschemeyer, 2006; Сморгунов, 2009. – № 1; Малинова, 2009б; Казанцев, 2009; The role of ideas, 2010; Малинова, 2010а и др.]

<sup>2</sup> Их наиболее яркими «манифестами» стали коллективные монографии: [Ideas and foreign policy, 1993; The culture of national security, 1996].

ваниях, которое называют конструктивистским или дискурсивным институционализмом [см.: Нау, 2006]. Интерес к идеям в какой-то мере был подсказан самими объектами изучения и изначально проявился лишь в некоторых областях политических исследований. Их авторы не ставили под сомнение значение иных объясняющих переменных; они лишь пытались показать, что идеи «имеют значение» самостоятельного фактора, который необходимо принимать в расчет<sup>1</sup>.

В 1990-е годы работы, посвященные роли идей в политике, стали объектом методологической рефлексии в рамках нового институционализма. Сторонники идейно-ориентированного подхода полагали, что обращение к идеям может восполнить недостатки теории рационального выбора, ибо помогают понять, каким образом формируются убеждения, предпочтения и ожидания акторов, принимаемые «рационалистами» как данность. А это, в свою очередь, позволяет лучше объяснить социальные изменения. При этом одни специалисты считают, что новые подходы должны оформиться в самостоятельную исследовательскую программу, альтернативную рациональному выбору [Blyth, 1997, p. 247; Gofas, Нау, 2010, p. 47–49], другие же видят в них возможность «надстроить» модель рационального выбора поясом вспомогательных теорий [Rueschemeyer, 2006, p. 232]. Похожие споры разгорелись и в исследованиях международных отношений, озабоченных исправлением недостатков доминировавших в этой субдисциплине до 1990-х годов неореализма и неолиберализма, или поисками альтернативных подходов [см.: Казанцев, 2009]. Так или иначе, за последние 15–20 лет изучение идей как фактора, значимого для объяснения политических явлений и процессов, в том числе – и на макроуровне, из «кустарного производства»<sup>2</sup> понемногу выросло в самостоятельное направление исследований, стремящееся выработать адекватную методологию.

---

<sup>1</sup> Необходимость доказывать это – хорошая иллюстрация нашего тезиса о предпочтении в пользу «материальных» факторов «встроенном» в подходы, которые доминируют в политической науке. Как с удивлением отмечал в рецензии на одну из работ, утверждающих «значение» идей, представитель смежной профессии, «историки охотно согласятся с данным тезисом, но, пожалуй, будут поражены расточительностью усилий, потраченных на доказательство очевидного» [Weitz, 2000, p. 1062].

<sup>2</sup> Так один из инициаторов «идеационного поворота», британский политэконом Марк Блит охарактеризовал когда-то попытки институционалистов использовать фактор идей в разрабатываемых ad hoc теориях [Blyth, 1997, p. 229].

Анализируя недавние дискуссии, в этой главе я коснусь некоторых проблем, связанных с концептуализацией и операционализацией «идеальных» факторов, а также их включением в уже сложившиеся теоретические модели, и попытаюсь оценить наметившиеся перспективы сопряжения «материального» и «идеально-го» в исследованиях политики.

### **Проблема концептуализации и операционализации «идей» в исследованиях политики**

Начну с уточнения содержания понятия «идеальных» (ideational) факторов политики. Рассуждая о причинной значимости «идей», исследователи не всегда поясняют, какой смысл они вкладывают в данное слово. Нередко вместо определения дается перечисление: «идеи, т.е...» (теории, нормы, убеждения, фреймы и т.п.). Вместе с тем возможны различные подходы к концептуализации «идейных» составляющих политического процесса.

Понятие «идеи» чаще всего ассоциируется с более или менее связными формами выражения сознания, которые могут быть выделены в виде понятий, принципов, представлений, концепций, доктрин, теорий, программ и т.п. Идеи такого рода играют значимую роль в публичной политике и представляют собой удобный объект для анализа, поскольку они поддаются идентификации и фиксируются в текстах, которые можно изучать с помощью широкого набора методов. Однако их причинное воздействие на события и процессы не всегда очевидно: поскольку «публичные» идеи как правило разрабатываются с целью оказать влияние на общественное мнение, они интуитивно воспринимаются как «словесная завеса», прикрывающая истинные намерения акторов. А если это так, то логично предположить, что действительными двигателями событий являются не идеи, но стоящие за ними интересы. Впрочем, это не означает, что идеи *никогда* не оказывают влияния на поведение, в том числе – побуждая людей действовать вопреки их «материальным» интересам: есть немало работ, авторы которых вполне убедительно доказывают обратное<sup>1</sup>. Таким образом, вопрос

---

<sup>1</sup> В качестве примера можно привести исследование М. Финнемор об эволюции модели гуманитарных интервенций в международном праве XIX–XX вв. По мнению Финнемор, меняющийся «нормативный контекст формирует интересы международных акторов, причем делает это системно и систематически» [Finnemore, 1996, p. 154]. Конечно, государства могут нарушать провозглашаемые

заключается не в том, могут ли «публичные» идеи иметь значение самостоятельного причинного фактора, а в том, при каких условиях они его приобретают. В литературе нет недостатка в предположениях на этот счет, однако механизмы влияния идей на политику слишком специфичны, чтобы можно было ожидать появления общей теории, применимой к широкому ряду случаев [Rueschmeyer, 2006, p. 237].

Идеи могут выступать и в «распыленных» формах коллективно разделяемых представлений и норм, когнитивных моделей и ценностных ориентаций, которые кажутся «очевидными» и не всегда поддаются точной формулировке. Изучение идей подобного рода требует специальных подходов, поскольку их невозможно обнаружить в «отдельно взятой голове»; их выявление требует сопоставительного анализа различных проявлений общественного сознания и выявления специфических систем формирования высказываний (дискурсов). Коллективно разделяемые представления несомненно оказывают влияние на поведение, задавая репертуар смыслов, на основе которого интерпретируются события и интересы. Если принимать это влияние «всерьез», приходится признать, что интересы определяются не только материальным контекстом, но и системами представлений, на основе которых они воспринимаются и интерпретируются. Таким образом, логика поведения акторов не может быть выведена из среды, ее реконструкция должна учитывать и особенности их стилей мышления. Влияние на политику не всегда явно выраженных, но широко разделяемых представлений также может быть предметом эмпирического исследования<sup>1</sup>.

Однако это влияние не вписывается в традиционные представления о причинно-следственных связях, согласно которым причина должна существовать независимо от следствия и предше-

---

ими нормы и стандарты. Но если рассматривать их «поведение» по совокупности и на больших временных отрезках, обнаруживаются паттерны, которые соответствуют меняющимся нормативным представлениям. По заключению Финнемора, нормы не детерминируют действия, но формируют для них допускающие условия [Ibid., p. 158].

<sup>1</sup> В качестве примера можно привести работу С. Хоффман, в которой прослеживается влияние того, что она называет «публичной философией» – неявно представленных идеологических парадигм, задающих основные принципы интерпретации социального мира – на политические выборы, определявшие развитие финансовых институтов в США [Hoffman, 2001]. См. также: [The power of public ideas, 1988].

ствовать ему во времени. В случае коллективно разделяемых идей мы имеем дело не столько с линейными причинно-следственными эффектами, сколько с формированием дискурсивных условий, которые задают определенные рамки для действий, событий или процессов, не детерминируя их однозначно. Не случайно некоторые авторы полагают, что успех идейно-ориентированного подхода связан с преодолением оппозиции каузальной и конститутивной логики [Gofas, Nay, 2010, p. 48–49; Tønder, 2010].

Различие между выделенными выше способами концептуализации является сугубо аналитическим. На практике между разными «модусами бытия» идей нет четких границ: осознанно артикулируемые «публичные» идеи приобретают влияние, превращаясь в распространенные убеждения и установки, а неосознанно разделяемые социальные представления в какой-то степени поддаются вербальной реконструкции и могут становиться объектом рефлексии. Степень «оформленности» идей всегда относительна. Однако выбор того или иного способа их концептуализации влечет за собой определенные методологические следствия, в частности в отношении социальной онтологии<sup>1</sup>. Хотя идеи всегда находятся «в головах» индивидов, они имеют социальную природу; и связь между индивидуальным и социальным может быть осмыслена по-разному. «Эксплицитные» публичные идеи могут быть продуктом как индивидуального, так и коллективного творчества; но они всегда так или иначе связаны с агентами, которые их производят, распространяют, обсуждают, критикуют, принимают или отвергают. Поэтому такой способ концептуализации тяготеет к онтологии методологического индивидуализма, фокусирующего внимание на поведении индивидов<sup>2</sup>. «Распыленные» же формы выражения общественного сознания являются для индивидов «объективной» данностью: человек не в состоянии самостоятельно создать полный набор необходимых для жизни в обществе смыслов, кодов, стандартов и проч., хотя и участвует в их воспроизводстве и трансформации. В силу этого второй из обозна-

---

<sup>1</sup> Онтологическая установка связана с выбором базовых социальных единиц, существование которых мы можем обоснованно предполагать. Основной водораздел пролегает между индивидуализмом, рассматривающим в качестве основной социальной реальности индивидов, и холизмом, приписывающим социальным структурам некую внутреннюю логику и способность к самовоспроизводству. Впрочем, спектр альтернатив в действительности шире.

<sup>2</sup> В этом русле лежат наработки некоторых приверженцев рационального выбора. См.: [Goldstein, Keohane, 1993; Goldstein, 1993].

ченных здесь подходов в большей степени тяготеет к сосредоточенному на «внутренней» логике социальных структур холизму, либо к онтологическим установкам, рассматривающим индивидов и социальные структуры как продукт общественных отношений<sup>1</sup>.

Как полагают некоторые критики, способы концептуализации идей, подчеркивающие их структурные и коллективные свойства, более перспективны для объяснения политических явлений и процессов. По мнению А. Гофаса и С. Хея, «идеи непросто приспособить к онтологии рационалистического индивидуализма и подходам, основанным на методологическом индивидуализме, в силу их социального характера» [Gofas, Hay, 2008, p. 12]. Того же мнения придерживается и болгарский политолог В. Ганев<sup>2</sup>. В то же время среди сторонников идейно-ориентированного подхода есть и авторы, разделяющие установки методологического индивидуализма. По мнению Д. Руешмайера, «эксплицитные» идеи вполне можно приписать коллективным акторам – социальным движениям, сегментам политического спектра или значительной части представителей социальной группы. Для этого требуется интерпретировать релевантные высказывания с учетом положения их авторов в коммуникативных сетях [Rueschemeyer, 2006, p. 228–229]. Таким образом, и первый из выделенных выше способов концептуализации позволяет учитывать социальные качества идей.

Не менее сложной является задача операционализации, без которой невозможно эмпирическое исследование «идеальных»

---

<sup>1</sup> Второй подход характерен для исторического и дискурсивного институционализма. См.: [Berger, 1998; Schmidt, 2002 и др.]. Он нацелен на изучение диалектики «эксплицитных» идей (производимых и распространяемых агентами, формирующими мнения) и «имплицитных» представлений, разделяемых как широкой публикой, так и лицами, принимающими решения, которые и определяют политические изменения.

<sup>2</sup> Критикуя тезис о «неолиберальной гегемонии», с помощью которого А. Пшеворский и его последователи объясняют экономическую политику посткоммунистических стран Восточной Европы, он доказывает отсутствие причинной связи между идеологией неолиберализма и выбором курса реформ. По мнению Ганева, для того, чтобы адекватно понять значение неолиберализма для посткоммунистической трансформации, следует рассматривать его в смысле тотальной идеологии по К. Манхейму. Нужно искать общий знаменатель для очевидно разных идей и практик, перенося внимание с анализа доктрин, на реконструкцию теоретических оснований, лежащих в основе суждений индивидов. Таким образом, неолиберальная идеология оказывается «фоновой константой», задающей смысловые рамки для действий политиков и общественности [Ganev, 2005, p. 374–375].

факторов. Очевидно, что «идеи» выполняют разные функции, а значит, важно понимать, какие из них предположительно способны влиять на политические явления и процессы. Необходимо выделить категории идей, значимых для политического анализа. Чаще всего исследователи считают нужным различать *нормативные* (предписывающие некие ценности, идеалы и представления о должном) и *когнитивные* (задающие представления об устройстве социального мира) идеи<sup>1</sup>. В том же русле лежит классификация Дж. Голдштейн и Р. Кохейна, которые выделяют *убеждения-принципы* (*principled beliefs*), обеспечивающие нормативные основания политических решений, *каузальные представления* (*causal beliefs*), помогающие определять стратегии достижения целей, а также фундаментальные *мировоззрения* (*world-view*) [Goldstein, Keohane, 2003, p. 8, 10]; впрочем, рассуждая о механизмах влияния «идей», они пишут преимущественно о первых двух типах. Более пространную, но не вполне четкую типологию предлагает Дж. Кэмпбелл. Он различает: 1) национально специфические когнитивные парадигмы и мировоззрения; 2) нормативные системы; 3) «мировую культуру», т.е. транснациональные когнитивные парадигмы и системы нормативных представлений, играющие важную роль в переносе институтов и практик; 4) фреймы, разрабатываемые политическими элитами для легитимации собственной политики; 5) идеи, имеющие отношение к программам (*programmatic ideas*). Последние представляют собою разновидность когнитивных идей, которые служат руководством по использованию существующих институтов и инструментов в тех или иных ситуациях [Campbell, 2002, p. 22–29]. Все эти классификации разработаны *ad hoc* и имеют фрагментарный характер. К сожалению, исследователям, пытающимся использовать идеи в качестве объясняющей переменной, пока не удалось разработать всеобъемлющую типологию, на основе которой можно было бы строить перспективную исследовательскую программу.

Самостоятельной задачей является идентификация идей, которые должны стать объектами исследования. Основные принципы решения данной задачи можно обнаружить в любом учебнике, описывающем методы анализа текстов. Единственная проблема заключается в том, что выявление и полноценное изучение идей, способных «иметь значение» в конкретном контексте, является

---

<sup>1</sup> См.: [Schmidt, 2002, p. 171; Rueschemeyer, 2006, p. 228]. Последний выделяет еще и третью категорию – идеи, определяющие вкусы и желания.

довольно трудоемкой процедурой. Это обстоятельство отчасти сдерживает применение «идейно-ориентированного» подхода. Каким образом «идеи» влияют на политику?

В исследованиях макрополитики «идеальные» факторы оказываются значимыми для объяснения стабильности и изменения политических структур. Идеи могут выступать и проводниками инноваций, и инерционной силой, определяющей рамки возможных социальных изменений, т.е. фактором удержания и преемственности. С этой функциональной двойственностью связаны некоторые трудности концептуализации влияния идей на политику. Как правило, рассуждая об эффектах, производимых идеями, исследователи концентрируют внимание на какой-то одной из двух функций – инновационной или консервативно-инерционной (последняя иногда описывается с помощью понятий «культура» и «ментальность»).

С одной стороны, внимание приверженцев идейно-ориентированного подхода часто привлекают моменты, когда *идеи выступают в роли катализатора, меняющего композицию других элементов* – моменты «смены парадигм» [Hall, 1993], когда прежние алгоритмы решения проблем ставятся под сомнение, и происходит трансформация представлений о политически возможном, приемлемом и желаемом. Для многих источником вдохновения послужила пионерская работа Питера Холла, посвященная изучению факторов, которые обусловили превращение кейнсианства из академической теории во влиятельную экономическую парадигму, на протяжении десятилетий определявшую политический курс ряда государств [Hall, 1989; Hall, 1993]. Сравнивая опыт распространения идей Дж.М. Кейнса в разных странах, Холл прослеживал двоякую связь идей и материальных обстоятельств: с одной стороны, случай кейнсианства – несомненный пример влияния идей на изменение политической практики, с другой – он, по мнению автора, доказывает, что влияние нового набора идей не зависит исключительно от внутренних качеств самих идей. В заключении к коллективной монографии «Политическая власть экономических идей. Кейнсианство в разных странах» Холл выделял три внешних фактора, определявших такое влияние: 1) соответствие идей проблемам текущего дня; 2) наличие у представителей политической элиты и экспертного сообщества накопленного знания, позволяющего интерпретировать новую теорию (прошлый опыт – одна из причин различий в восприятии одних и тех же идей в разных контекстах); 3) организация процесса принятия решений и распро-

странение информации, определяющие доступ политиков к конкретным идеям и их отношение к ним. Согласно выводу Холла, «случай кейнсианства показывает, что идеи обладают реальной силой в политическом мире; однако он подтверждает и то, что эта сила зависит от конstellляции наличных институтов и интересов» [Hall, 1989, p. 390].

Исследованию условий, при которых возникают и консолидируются «параdigмы», влекущие за собой изменение институтов, посвящена и монография Марка Блита «Великие трансформации. Экономические идеи и институциональные изменения в XX веке», анализирующая роль идей в становлении институциональных контуров демократического капитализма [Blyth, 2002]. На примерах США и Швеции он рассматривает, как государство, профсоюзы и бизнес использовали экономические идеи, формируя новые институты в периоды кризисов 1930-х и 1970-х годов. Согласно концепции Блита, выступая в роли «чертежей» для новых институтов, «идеи позволяют агентам снизить неопределенность, предлагая определенные решения в моменты кризиса и тем самым дают возможность разрешить кризис путем конструирования новых институтов в соответствии с новыми идеями» [Ibid., p. 11].

Наиболее сильным аргументом сторонников тезиса о значимости идей как причинного фактора является демонстрация того, что в моменты неопределенности публично артикулированные идеи не просто «отражают реальность», но и помогают актерам планировать и осуществлять перемены, формируя новые траектории институциональной эволюции. Как показали в своем сравнительном исследовании экономических кризисов последней трети XX в. в США и в Швеции Дж. Хоган и Д. Дойл, кризис сам по себе – необходимое, но не достаточное условие для смены парадигмы макроэкономической политики. Существенным элементом причинных механизмов изменений является консолидация агентов перемен (чиновников, вовлеченных в процесс политических инноваций, политических «антрепренеров», СМИ и международных организаций) вокруг определенного набора идей [Hogan, Doyle, 2007]. В условиях нынешнего экономического кризиса этот вывод побуждает более внимательно присматриваться к дискурсам политических элит в поисках контуров новых парадигм: ведь в отсутствие парадигмальных сдвигов трудно ожидать трансформации сложившегося мирового политического порядка, в котором обособанно усматривают причины наблюдаемых проблем.

С другой стороны, есть немало интересных работ, выявляющих причинное значение идей в периоды институциональной статичности, когда логику поведения акторов определяют «расхожие» представления. В данном случае объектами изучения становятся широко разделяемые и не всегда открыто артикулируемые *идеи, выступающие в роли когнитивных фильтров*, опосредующих восприятие сигналов среды. Так, Д. Хадсон и М. Мартин на примере скандала, разразившегося в 1995 г. вокруг одного из старейших лондонских банков, показывают, как повседневные практики средств массовой информации и доминирующая система неолиберальных представлений способствовали закреплению интерпретации данного случая в качестве ошибки конкретных людей. В том, что случай, который мог бы стать поводом для дискуссии о недостатках неолиберального режима регулирования финансовых рынков, был использован для легитимации наличного порядка, авторы видят не только влияние стратегических интересов вовлеченных в скандал сторон, но и следствие отсутствия влиятельной альтернативы доминирующей неолиберальной идеологии, а также особенностей современных медийных практик [Hudson, Martin, 2010]. В исследованиях международных отношений в последнее время активно развивается подход, подчеркивающий влияние представлений, разделяемых членами национальных стратегических сообществ (стратегической культуры), на восприятие угроз и принятие решений, связанных с обеспечением национальной безопасности [см. обзор: Johnston, 1995; Desch, 1998; Neumann, Heikka, 2005 и др.]. Таким образом, идеи, существующие в виде уже усвоенных «парадигм», тоже имеют политические последствия, ибо они укрепляют ожидания акторов и способствуют стабильности институтов. В этом смысле идеи, как и институты, формируют «тропы зависимости» и задают рамки для принятия решений [Haу, 2006, p. 65].

Очевидно, что существует некоторый разрыв между первой и второй группой исследований. Напрашивается вывод, что воздействие идей на политические явления и процессы может протекать в разных режимах в зависимости от контекста: в условиях институциональной неопределенности оказывается востребованной функция *катализатора перемен*, а после разрешения кризиса идеи, способствовавшие формированию нового институционального порядка, усваиваются акторами и начинают играть роль *ког-*

*нитивных фильтров* [см.: Blyth, 2002, p. 270; Nay, 2006, p. 70]<sup>1</sup>. Однако это не снимает с повестки дня вопросы, которые возникают «на стыке» двух режимов. Какие факторы влияют на производство, конкуренцию и отбор идей и откуда берутся инновационные теории? Что определяет их распространение и применение? Как формируется гегемония новых «парадигм» и при каких условиях оказывается эффективным их оспаривание? Является ли переключение из одного режима в другой следствием стечения исключительно «материальных» обстоятельств или же состояние идейного пространства тоже является значимым фактором? Подобные вопросы пока остаются на периферии внимания приверженцев идейно-ориентированного подхода, однако ответы на них принципиально важны для реализации его объяснительного потенциала.

Вместе с тем доказательство того, что «идеи имеют значение», безусловно, не является самоцелью. Гораздо важнее понять, каковы механизмы их влияния и при каких условиях «идеальные» факторы оказываются значимыми для объяснения политики и не могут быть сведены к другим переменным. Хотя накопленного материала пока недостаточно для построения развернутых теорий, он содержит интересные наблюдения, которые могут послужить основой для дальнейших исследований.

Одна из первых попыток обобщить способы влияния идей на политику была предпринята в рамках исследований международных отношений Дж. Голдштейн и Р. Кохейном, оценивавшими возможности использования новой переменной в объяснительных моделях рационального выбора. В работе, опубликованной в 1993 г., они выделили три типа причинных эффектов, порождаемых идеями. Согласно их классификации, идеи, во-первых, выступают в роли «*дорожных карт*», направляющих акторов в выбо-

---

<sup>1</sup> Можно провести аналогию между аналитическим различием разных режимов воздействия идей на политические структуры и процессы и подходами, применяемыми к решению сходных проблем социологами культуры. Например, американский социолог Энн Свидлер предложила различать две модели влияния культуры на поведение индивидов. В ситуации устоявшегося жизненного уклада (*settled lives*) культура непосредственно включена в действие, обеспечивая образцы, на основе которых индивиды и группы строят свои стратегии, в ситуации же неустановившегося уклада (*unsettled lives*) она выступает в виде открыто артикулируемых систем смыслов, которые становятся объектами дискуссий и основой для формирования новых способов организации социального действия. Таким образом, влияние культуры на социальное поведение может протекать в разных режимах [Swidler, 1986, p. 278–281].

ре стратегии осуществления интересов и помогающих решать проблему неполноты информации [Goldstein, Keohane, 1993, p. 8]. По мнению Голдштейн и Кохейна, каузальные представления частично снимают проблему неопределенности, задавая паттерны достижения поставленных целей, а убеждения-принципы придают поступкам моральную окраску, что позволяет актерам действовать более решительно в отсутствие возможности до конца рассчитать последствия. Во-вторых, идеи имеют значение «фокусных точек» (focal points). Они «вливают на стратегические взаимодействия, способствуя или препятствуя коллективным усилиям, направленным на достижение более эффективных результатов... в отсутствие единственной точки равновесия» [ibid., p. 12]. В конечном счете исход определяется материальными интересами акторов, однако идеи опосредуют переговоры. В-третьих, идеи могут оказывать косвенное влияние на принятие решений, закрепляясь в институциональной оболочке, т.е. будучи воплощенными в институтах [ibid., p. 20].

Однако, как полагают критики, возможности включения идей в объяснительную модель рационального выбора заведомо ограничены, ибо допущение о способности акторов по-разному интерпретировать контекст и собственные интересы противоречит ее фундаментальной посылке о «рациональности» поведения. Идеи могут быть включены в данную модель лишь по остаточному принципу, в роли вспомогательной переменной, рассчитанной на случаи, не поддающиеся объяснению с точки зрения материальных интересов. По заключению А. Гофаса и С. Хейя, теория рационального выбора «едва ли может служить естественным основанием для развития исследовательской программы, направленной на изучение факторов, связанных с мышлением (ideational research program)» [Gofas, Hay, 2008, p. 9; cf.: Blyth, 1997, p. 245]. Прежде всего – потому, что в силу методологических ограничений она не готова учитывать весь спектр воздействия идей на политические явления и процессы. Кроме того, связывая эти воздействия с ситуацией неопределенности, когда однозначная оценка интересов невозможна, теория рационального выбора не объясняет, откуда берутся нужные идеи и как происходит их отбор.

Несколько лучше с задачей привлечения «идейных» переменных для объяснения крупномасштабных изменений справляется исторический институционализм, который рассматривает идеи как один из факторов, определяющих представления акторов об их интересах. Примером исследования такого рода может служить

книга Ш. Берман, объясняющая различия политики германских и шведских социал-демократов в условиях кризиса 1920-х годов. Причину того, что находившаяся у власти СДПГ не предпринимала эффективных попыток борьбы с кризисом, а более слабой и малочисленной шведской социал-демократии удалось в тот же период заложить основы весьма успешной экономической модели, Берман видит в идеологических ограничениях, которыми были связаны выступавшие в роли «хранителей веры» германские социал-демократы, а также в том, что шведам удалось более творчески отнестись к марксистскому наследию [Berman, 1998, p. 176–180]. Таким образом, различие, обусловленное идеями, повлияло на выбор политического курса, который оказался судьбоносным.

Однако и у этого направления есть свои критики. По мнению М. Блита, удачно объясняя роль идей как «инициаторов» принципиальных изменений, исторический институционализм в меньшей степени готов учитывать их влияние на уровне более простых инструментальных перемен [Blyth, 1997, p. 245]. Это связано с тем, что исторический институционализм делает упор на «коллективные» качества идей и рассматривает их как «политические парадигмы», усваиваемые акторами в процессе социализации. Кардинальные сдвиги в политике определяются сменой парадигм, однако как происходит изменение самих парадигм – остается «за кадром».

Объяснение двойного процесса изменения политики и идей лучше удается исследователям, работающим в русле так называемого дискурсивного институционализма. Представители данного направления делают следующий шаг в осмыслении роли идей, используя понятие «дискурс», указывающее одновременно и на набор идей, и на интерактивный процесс, в котором эти идеи производятся и оспариваются. По мнению В. Шмидт, дискурс «является элементом, которого недостает анализу изменений политического курса... Понимаемый и в качестве набора идей в пользу необходимости и приемлемости реформы, и в качестве интерактивного процесса конструирования и обсуждения политического курса, дискурс способен формировать интерактивный консенсус в пользу изменений» [Schmidt, 2002, p. 169]. Таким образом, процесс выработки и изменения идей удастся концептуализировать как часть самой политики (politics), составной частью которой оказывается дискурсивная борьба за переопределение интересов.

## Некоторые уроки дискуссии о роли «идеальных» факторов

Увенчались ли успехом усилия тех, кто стремился доказать значимость идей для объяснения политики? Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы понимаем процедуру «объяснения». Следует ли рассматривать идеи в качестве *причин*, порождающих некие политические *следствия*, или же нужно отказаться от логики линейной причинности и видеть в идеях контекст, задающий рамки для действий акторов, но не детерминирующий их однозначно? Мне ближе позиция тех, кто считает более перспективным последний путь. Возможно, он хуже вписывается в исследовательские программы, направленные на открытие «закономерностей», однако прекрасно работает там, где целью является изучение социальных механизмов. По определению Ч. Тилли и Р. Гудина, «механизмы образуют определенный класс событий, которые меняют отношения между выделенными элементами сходным или почти сходным образом во множестве ситуаций». Хотя механизмы по определению производят единообразные *непосредственные* эффекты, их *кумулятивные* и *долговременные* эффекты более вариативны, ибо зависят от внешних условий и взаимодействия множества факторов [Tilly, Goodin, 2006, p. 15]. Исследователь, изучающий механизмы, заведомо отказывается от редуцирующей простоты и «экономичности» теоретического мышления, и стремится учитывать значимые для решения его задач элементы контекста, чтобы быть в состоянии выявить их кумулятивные эффекты. Строго говоря, такое представление об исследовательских задачах не исключает анализа причинно-следственных связей, однако побуждает отказаться от представления об однозначной детерминированности в логике линейного причинения, предполагать сложение «векторов», петли «обратной» зависимости и т.п. Исследователю социальных механизмов приходится сталкиваться со множеством разнообразных факторов, работающих на разных уровнях и в разных темпоральных срезах, используя соответствующие аналитические схемы<sup>1</sup>.

На наш взгляд, наиболее интересные наработки исследователей, практикующих «идейно ориентированные» подходы, связаны с выявлением взаимодействия и взаимовлияния идей, акторов и институтов. Именно через изучение такого рода связей удается

---

<sup>1</sup> Один из возможных приемов анализа – «воронка причинности». См.: [Ильин, 2002; Мелешкина, 2002; Мельвиль, 2002; Лебедева М.М., 2002].

находить решения проблем, которые возникают, если мы пытаемся видеть элементы данной триады исключительно в качестве причин или следствий. Например, «рационалистов» справедливо критиковали за то, что рассматривая идеи как фактор преодоления неопределенности, они оставляют без ответа вопрос об источниках «нужных» идей. Действительно, отнюдь не все идеи, циркулирующие в публичной среде, оказывают влияние на принятие решений. Их относительная «сила» или «слабость» зависит не только от их интеллектуальных качеств, но от их способности соответствовать контексту<sup>1</sup> и современным технологиям политических коммуникаций. Однако значение имеют не только идеи. Очевидно, что влияние последних в известной мере определяется характером политического режима<sup>2</sup>, особенностями институтов<sup>3</sup> и процедур

---

<sup>1</sup> Считается, что второй аспект более важен. См.: Moore M.H. What sort of ideas become public ideas? // The power of public ideas / Ed. by R.B. Reich. – Cambridge, Mass.: Ballinger publishing company, 1988. – P. 79–80.

<sup>2</sup> Согласно концепции Дж. Чекела, «окна возможностей» для продвижения новых идей, возникающие в условиях неопределенности, в демократических и «централизованных» политических системах устроены по-разному. В первых политические антрепренеры имеют более легкий доступ к лидерам, но и уровень конкуренции идей гораздо выше. Во вторых все зависит от поддержки лидера – дальше централизация и иерархия сделают свое дело [Checkel, 1997, p. 42]. Правда, не все исследователи согласны с этим выводом. Как показывают в своих работах Р. Инглиш, А. Браун и др., для успеха перестройки важное значение имело появление в период хрущёвской оттепели целой когорты специалистов из разных областей, сыгравших в 1980-х годах роль агентов интеллектуальных перемен [см.: Нерман, 1996; Ziegler, 1997; English, 2000, ch. 4; Bockman, Eyal, 2002; Brown, 2007, ch. 6]. Таким образом, не все решалось «командной системой».

<sup>3</sup> Так, В. Шмидт показывает, что дискурс об изменении курса в области социального благосостояния работает различным образом в зависимости от институционального дизайна политической системы. В системах «единственного актора», где правительство может самостоятельно изменить курс (как в Британии, Новой Зеландии до середины 1990-х годов и Франции), обсуждение политических инициатив происходит в более широкой публичной сфере. Результативность легитимирующего дискурса выявляется уже после внедрения нового курса, ибо публика может дать свою санкцию лишь на выборах. В «многоакторных» же системах, где в разработке программы нового курса участвует значительно более широкий сегмент политической элиты, дискурс носит координирующий характер и направлен преимущественно на саму элиту. Коммуникативный дискурс правительства, призванный легитимировать новый курс, оказывается менее насыщенным. В таких системах дискурс оказывает непосредственное влияние на выработку курса, ибо санкцию требуется получить до того, как новая политика станет фактом [Schmidt, 2002, p. 171–173].

принятия решений<sup>1</sup>. Наконец, не следует сбрасывать со счетов и личности людей, которые производят, распространяют, отстаивают или критикуют «публичные» идеи<sup>2</sup>.

Исходя из этого, едва ли имеет смысл тратить силы на выявление причинной значимости идей в качестве особого фактора, как это делали некоторые сторонники идейно-ориентированного подхода. Гораздо перспективнее объединение усилий специалистов из разных областей в рамках исследовательских программ, ориентированных на комплексное изучение циркулирующих в обществе идей во взаимосвязи с институциональными условиями, определяющими правила игры и стратегии акторов, которые эти идеи производят, а также с политическими коммуникациями, обеспечивающими обращение последних. Представляется, что именно в рамках таких программ можно адекватно оценивать сложные взаимосвязи идей и материальных обстоятельств, обуславливающих те или иные политические результаты.

Идеи безусловно не следует рассматривать как «магический шар», с помощью которого можно получить ответы на все вопросы. Но они – важный элемент многих головоломок, с которыми приходится иметь дело исследователям политики. На мой взгляд, идейно-ориентированный подход вряд ли сможет превратиться в самостоятельную исследовательскую парадигму, рядоположенную системному или институциональному подходу – слишком многообразен в проявлениях объект приложения усилий, чересчур велик разброс технологий его исследования. Однако имеет смысл стремиться развернуть его в особую исследовательскую программу, кумулирующую знание о социальных механизмах, опосредующих производство, распространение и конкуренцию идей – потому что последние действительно «имеют значение».

---

<sup>1</sup> Как показывает К. Сиккинг, роль идей на этапах принятия политического курса, его консолидации и воплощения различна [Sikkink, 1991].

<sup>2</sup> Не случайно в литературе о роли идей заметное место занимают работы, прослеживающие, как конкретные акторы – think tanks, исследовательские институты, сети экспертов – вносят идеи, а также исследующих каналы, по которым эти идеи продвигаются в сферу принятия политических решений [См.: English, 2000, ch. 4; Brown, 2007, ch. 6].

## 2. КОНЦЕПТ ИДЕОЛОГИИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ<sup>1</sup>

«Идеология» относится к числу понятий, отягощенных длинным шлейфом значений и сопутствующих смыслов. Как справедливо заметил Терри Иглтон, «слово “идеология” – это *текст*, который соткан из паутины различных концепций и прослеживается сквозь множество разных историй. Возможно, важнее понять, что является действительно существенным внутри каждой из генеалогических линий, а что может быть отброшено, нежели пытаться принудительно соединить их в некую Великую Глобальную Теорию» [Eagleton, 1996, p. 1]. Именно по этому пути и идет большинство авторов, работающих с понятием идеологии, поэтому в описаниях главных направлений его концептуализации нет недостатка [Манхейм, 1994, с. 67–69; Bell, 1988; Larrain, 1979; Thompson, 1990б p. 28–60; Eagleton, 1996; Ideology, 1994; Bauman, 1999, p. 109–122; Freedon, 1996, Капустин, 1996–1997; Тузиков, 2002; Алексеева, 2010 и др.]. Задача настоящей главы – проследить, каким образом данное понятие использовалось в политических исследованиях конца XX в., и оценить познавательные возможности его новых и старых интерпретаций. Однако сначала необходимо очертить то теоретическое пространство, в котором разрабатывается рассматриваемый концепт<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в сборнике научных трудов «Политическая наука: Политическая идеология в современном мире» [Малинова, 2003; см. также: Малинова, 2006в].

<sup>2</sup> Следом за Т.А. Алексеевой слово «концепт» я использую для обозначения понятий, которые в разных *концепциях* интерпретируются по-разному и, таким образом, имеют множество определений, что не мешает им казаться узнаваемыми [Алексеева, 2002].

## Контуры междисциплинарного предметного поля

Неоднозначность термина «идеология» в немалой степени определяется конфигурацией проблемного поля, которое он описывает. Образованное сложной сетью связей, возникающих на пересечении *общественного сознания, социальных отношений и коллективных действий*, это поле представляет немало трудностей для теоретического обобщения. Данное обстоятельство связано не только с неизбежной идеологизированностью исследования идеологии («парадокс Манхейма»), но и с тем, что описываемый феномен имеет великое множество проявлений, которые трудно свести друг к другу (не только по причине того, что для их наблюдения требуется разная исследовательская «оптика», но и в силу ценностной нагруженности самого феномена). Понятие идеологии – классический случай того, что Дж. Сартори назвал концептной натяжкой: имея большой объем (т.е. будучи понятием высшего уровня абстракции), данный концепт стремится схватить описываемое явление во всем его многообразии, приобретая избыточно широкое содержание [Сартори, 2003]. Данное обстоятельство усугубляется междисциплинарностью: различные аспекты идеологии разрабатывались в рамках эпистемологии, социальной теории, социологии знания, а также в контексте исследований политических движений и истории общественной мысли. Переход от одной грани изучаемого феномена к другой не всегда строго рефлексивируется; свойства, обнаруженные в одном контексте, переносятся на другой. Отсюда – конфликты интерпретаций, которые обнаруживаются даже у одного и того же автора<sup>1</sup>. Следствием такого поло-

---

<sup>1</sup> Классический пример – труды мыслителя, оказавшего решающее влияние на формирование теории идеологии К. Маркса. Как показывает Дж. Ларрейн, Маркс разрабатывал данное понятие в двух теоретических перспективах: с точки зрения отношений между: а) сознанием и практикой и б) базисом и надстройкой. В зависимости от того, какая пара противоположностей служит контекстом для понятия идеологии, последнее приобретает разное смысловое содержание [Larrein, 1979, p. 36–65]. Дж.Б. Томпсон обнаруживает у Маркса три разных концепции идеологии: *полемическую* (идеология как теоретическая доктрина, которая ошибочно рассматривает идеи как нечто автономное и неспособна постигнуть реальные условия социально-исторической жизни), *концепцию эпифеномена* (идеология как система идей, выражающих интересы господствующего класса, но представляющая классовые отношения в иллюзорной форме) и *латентную* (идеология как система представлений, которые служат для упрочения существующих отношений классового господства, внедряя образы и идеалы, маскирующие классовые отношения и отвлекающие внимание от истинных целей

жения дел является наличие множества существенно различающихся дефиниций. Классифицируя основные семантические составляющие данного концепта, М. Гамильтон выделил когда-то 27 элементов, которые, по-разному соединяясь, образуют весь «репертуар» определений идеологии [Hamilton, 1987]. Исследователи, использующие данное понятие, вынуждены каждый раз заново решать проблему оптимизации его объема и содержания, выбирая из этого репертуара наиболее удобный рабочий вариант.

Многие аспекты теории идеологии были разработаны в контексте эпистемологии и социологии знания. Хотя слово «идеология» быстро утратило свой первоначальный смысл (провозглашенной Дестюттом де Траси «науке об идеях» не суждено было состояться), в дальнейшем его стали использовать главным образом для исследования проблем, связанных с *познанием социальной реальности*. При этом и К. Маркс, и К. Манхейм рассматривали идеологию как мышление, искажающее социальную реальность, и противопоставляли ее науке (в связи с чем возникала трудная проблема обоснования возможности научного познания<sup>1</sup>). Вместе с тем, начиная с Маркса, идеология стала рассматриваться как *важный аспект самих социальных отношений*. Отсюда – усилия по разработке данного концепта в контексте социальной теории, изучение его связи с такими явлениями, как власть, господство, эксплуатация, с одной стороны, и группа, идентичность, коллективное действие – с другой. В некоторых из этих контекстов слово «идеология» обретает негативный смысл, в других же используется как вполне нейтральное дескриптивное понятие.

Другой теоретический водораздел связан с изучением идеологии под углом преимущественно причинно-следственных или функциональных связей. В первом случае предметом внимания оказываются *причины, порождающие данный феномен*. Как известно, Маркс видел истоки идеологии в ограниченности практи-

---

классовой борьбы) [Thompson, 1990, p. 34–42]. О наличии у Маркса как минимум двух разных концепций идеологии пишет и Г. Терборн [Therborn, 1980, p. 3–5].

<sup>1</sup> Позже П. Рикёр предложил решение этой проблемы, связанное с выходом за рамки исходной оппозиции, которая в действительности вторична («по отношению к более фундаментальной противоположности – между идеологией и реальной социальной жизнью, между идеологией и практикой»); причем в центре внимания исследователя должно оказаться не искажение практики идеологией, а внутренняя взаимосвязь этих двух понятий [Ricoeur, 1986, p. 9–10]. Как мы увидим в дальнейшем, во второй половине XX в. изучение идеологии как аспекта социальной практики станет одним из основных направлений.

ки, которая является причиной противоречий в реальности. Поскольку человеческое сознание не может решить противоречия, которые еще неразрешимы на практике, возникает «ложное сознание», маскирующее и искажающее реальность. На уровне же анализа социальных отношений Маркс рассматривал идеологию как условие функционирования и воспроизводства системы классового господства и в то же время – как производное от экономических отношений. В дальнейшем многие представители марксистской традиции развивали тезис о господствующей идеологии, согласно которому экономически господствующий класс стремится навязать свою картину мира подчиненным классам, используя в этих целях имеющиеся у него ресурсы. У Манхейма представление об обусловленности идеологий особенностями позиций различных социальных групп приобретает всеобщий характер; одновременно термин утрачивает уничижительный оттенок. Поскольку «отдельные возникающие в потоке событий наблюдательные пункты (позиции) позволяют постигать этот поток с различных расположенных в нем точек» [Манхейм, 1994, с. 128–129], всякое социальное познание оказывается идеологическим. Таким образом, проблема заключается не в поисках знания, свободного от идеологии, а в возможности синтеза частичного, неполного знания, ограниченно-го социальной позицией его носителей.

Несколько иная картина возникает, когда идеология рассматривается *с точки зрения выполняемых ею функций*. То, что в контексте эпистемологии предстает как «ложное сознание», с точки зрения социальной теории оказывается существенным элементом общественных отношений, ибо:

1) идеология играет важную роль в легитимации власти и существующего порядка, а значит – классового господства. Данная функция может рассматриваться негативно (тезис о господствующей идеологии) или нейтрально (у Манхейма, когда он пишет о свойстве «наших смысловых значений», заключающемся в способности «подчеркивать и стабилизировать тот аспект вещей, который необходим для нашей деятельности», равно относя это и к легитимирующей существующий порядок идеологии, и к критикующей его утопии [Манхейм, 1994, с. 25]). Тем самым идеология одновременно оказывается:

2) одним из механизмов, обеспечивающих возможность коллективного действия;

3) некоторые авторы рассматривают идеологию как фактор, способствующий формированию и сохранению идентичности

(на уровне группового и индивидуального сознания). По словам А. Грамши, «по своему мировоззрению человек всегда принадлежит к определенной группировке, и именно к той, в которую входят все социальные элементы, разделяющие тот же, что и он, образ мысли и действий... Когда мировоззрение... случайно и бессвязно, человек принадлежит одновременно ко множеству людей-масс, его собственная индивидуальность причудливо пестра...» [Грамши, 1991, с. 25]<sup>1</sup>;

4) в середине 1950-х годов идеологию рассматривали как своего рода «лекарство» от социального напряжения и психологических деформаций, вызванных стрессами модернизации, как символический выход для эмоциональной тревоги [Geertz, 1964, p. 54–55];

5) начиная с Клиффорда Гирца и Поля Рикёра идеологию связывают с символической структурой социального действия и приписывают ей интегративные функции; идеология в этом смысле выступает как «язык», делающий возможной политическую коммуникацию. На уровне социальной психологии это ведет к интеграции индивидов на основе некоторых образцов политического поведения (связанных с поддержкой или критикой системы). На уровне риторики – к формулировке упрощенных стилей и символов, способных овладеть воображением и побудить к коллективным действиям;

б) наконец, идеология выступает еще и как фактор демаркации политического пространства, опосредующий различные формы политического участия. Именно с этой ее функцией связаны опасения, которые иногда высказываются по поводу снижения роли идеологий (понимаемых как более или менее четко артикулированные «системы идей») в современной политике<sup>2</sup>.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Однако он наглядно демонстрирует, что смещение фокуса с при-

---

<sup>1</sup> С идеей Грамши перекликаются высказывания К. Манхейма [Манхейм, 1994, с. 24–25]. Как мы позже увидим, именно с артикуляцией групповой идентичности связывает свое определение идеологии Т. ван Дейк.

<sup>2</sup> По словам Дж. Шварцмантеля, «конец идеологии мог бы означать и конец демократической политики, и конец принципов в политической жизни» [Schwarzmantel, 1998, p. 187]. Мне также неоднократно приходилось писать о том, что активное участие политического класса в публичном обсуждении актуальных политических проблем, в ходе которого формулируются альтернативные идеологические перспективы, можно считать *нормативно желательным* с точки зрения развития демократии [Малинова, 2001; Малинова, 2011в и др.].

чин, порождающих идеологию, на ее функции и следствия создает предпосылки для более нейтральной интерпретации данного концепта.

При таком подходе в поле зрения исследователей рано или поздно должны были попасть *механизмы функционирования идеологии*. Одним из первых эту проблему поставил Антонио Грамши, пытавшийся анализировать связь между идеологией элит и «фольклором», т.е. обыденным сознанием масс. Как будет показано ниже, интерес к этой проблеме проявляют и некоторые современные исследователи.

Теоретическая разработка рассматриваемого концепта происходит главным образом в рамках философии и социологии. Вместе с тем он активно используется в исследованиях по истории общественно-политической мысли и политических движений. Здесь идеологии рассматриваются главным образом *как системы идей*, как «измы» и изучаются под различными углами зрения. С одной стороны, прослеживаются процессы формирования и эволюции конкретных комплексов идей, исследуется наследие мыслителей, которые внесли существенный вклад в эти процессы. С другой стороны, анализируется структура отдельных идеологий, выявляются присущие ей способы интерпретации и связки базовых политических понятий, тем самым выясняются возможные «допуски» категориального аппарата. Наконец, «борьба идей» может рассматриваться как отражение (или программа) борьбы политических течений; в таком случае «успех» идеологии оценивается тем, в какой мере: а) ее сторонникам удалось реализовать свои программы, б) защищаемые ею принципы и ценности укоренились на уровне массового сознания. Несомненный отпечаток на исследования «измов» наложило идеологическое противостояние социальных систем в XX в.: в идеологиях видели «оружие», которое необходимо изучать и критиковать. Это обстоятельство сыграло свою роль в закреплении представления об идеологиях как *о более или менее последовательных системах идей*, предлагающих некую картину прошлого, настоящего и будущего и призванных служить средством мобилизации политического действия.

Кстати, представление об идеологиях как идейных системах, активно развиваемое в исследованиях, посвященных интеллектуальной истории и политическим движениям, не всегда стыкуется с той картиной, которая складывается в рамках эпистемологии и социальной теории. Вне зависимости от того, что является предметом исследования – факторы, порождающие идеологию, или же

выполняемые ею функции, она предстает как нечто *необходимое*. Понимаемая же как конкретная конфигурация идей, идеология обретает свойство *произвольности*, ибо становится очевидной ее зависимость: а) от воли субъектов, творящих и перетасовывающих идеи и концепции, которые служат «кирпичиками» данной идеологии, б) от случайной порой констелляции обстоятельств, определяющих конфигурацию конкретных связей. На последствия такого смещения смыслов в свое время указывал Грамши, отмечавший, что в XX в. идеологией стали называть и необходимую надстройку определенного базиса, и произвольные измышления отдельных индивидов. В результате «худший смысл слова получил расширительное толкование, и это изменило и извратило теоретический анализ понятия идеологии». Идеологии, необходимые определенному базису, имеют «психологическую» действенность. «Произвольные» же создают индивидуальные движения, полемику (впрочем, и они, по мнению итальянского марксиста, могут быть полезны, поскольку оттеняют истину) [Грамши, 1991, с. 75].

Таким образом, не только то обстоятельство, что концепт идеологии интерпретировался по-разному (причем нередко имел негативную окраску), но и само многообразие явлений, которые пытались с его помощью описывать, внесли свою лепту в формирование богатого репертуара его смыслов. Некоторым исследователям ситуация кажется столь безнадежной, что они предпочитают не использовать неудобное слово «идеология», заменяя его терминами, закрепленными за отдельными «сегментами» его семантического репертуара. Однако многие из тех, кто изучает проблемное поле, очерченное пересечением общественного сознания, социальных отношений и коллективных действий, по-прежнему убеждены, что ему «нет замены» и пытаются «заново наполнить это слово смыслом» [Geertz, 1964, p. 52].

### **Конец идеологии?**

В середине 1950 – начале 1960-х годов, на фоне «холодной войны», критики сталинизма и надежд, связанных с научно-технической революцией, всерьез обсуждался тезис о «конце идеологии». Впервые это выражение использовал Альбер Камю еще в 1946 г. В 1955 г. Раймон Арон дал название «Конец идеологического века?» одной из глав своей книги «Опиум интеллектуалов». В том же году Эдвард Шиллз вынес выражение «конец идеологии» в заголовок своего доклада на конгрессе в Милане. Позже Дэниэл

Белл так же озаглавил сборник своих статей, а Сеймур Липсет – главу в книге, посвященной социальным основам политики [обзор дискуссии см.: *The end of ideology*, 1968]. Тезис о «конце идеологии» основывался на специфическом понимании данного термина. Главным референтом, безусловно, служил сталинизм, названный Ароном «крайней, гротескной формой» того, что он называет «идеологией, т.е. *тотальной картины исторического мира, имеющей псевдосистематическую форму*, картины, которая придает смысл и прошлому, и будущему, выводит должное из сущего и предсказывает желательное будущее, которое возникнет из реальности настоящего» [Aron, 1967, p. 144]. Таким образом, идеология понималась не просто как «мировоззрение или система убеждений определенной социальной группы относительно общественной организации, которая морально считается правильной», – такое определение Белл, например, находил слишком широким [Bell, 1988, p. 399]. Это понятие применялось прежде всего к системам идей, предлагающим «апокалиптическое и хилиастическое видение мира», своего рода аналогам светских религий, призванным служить средством «канализации эмоциональной энергии» [Ibid., p. 400–404]. К умеренным системам взглядов, вроде либерализма или консерватизма, определение не прилагалось. По мнению авторов, отстаивавших идею «конца идеологии», в силу целого ряда факторов – очевидной эффективности экономики Запада, снижения накала классовой борьбы, утраты значения «старого политико-экономического радикализма», победы «демократической революции», возникновения либерально-консервативного консенсуса относительно практики welfare state, изменения статуса интеллигенции и др. – потребность в такого рода светских религиях в странах Запада сходит на нет. Впрочем, предполагалось, что идеологическая продукция западных интеллектуалов вполне может находить себе рынок сбыта в развивающихся странах, ибо, по определению Липсета, хотя «идеология и страсть, возможно, больше не нужны для поддержания классовой борьбы в стабильных и развитых демократиях, они явно необходимы в контексте международных усилий по развитию свободных политических и экономических институтов в остальном мире» [Lipset, 1960, p. 417]. Таким образом, «конец идеологии» не рассматривался как процесс глобальный.

Поскольку тезис о «конце идеологии» основывался на чрезвычайно узкой интерпретации данного понятия, он был опровергнут, казалось бы, самой жизнью. В 1988 г. в послесловии к переиз-

данию своей книги Д. Белл сетовал, что она «известна больше по названию, чем по содержанию», и многие замечания оппонентов относятся скорее к первому, чем к последнему [Bell, 1988, p. 409]. Действительно, для того, чтобы показать, что критики «идеологии» сами выступили в роли идеологов, достаточно было лишь немного расширить определение данного понятия, включив в него все *организованные системы убеждений*, которые предлагают связанные интерпретации общественных и политических явлений и служат мобилизации общественных движений и легитимации политического курса властей. Тем не менее оставался открытым другой вопрос, который фактически был поставлен уже в 1960-х, а позже спровоцировал еще одну серию утверждений если не о «конце», то об «исторической маргинализации идеологий» [Bauman, 1999; Соловьёв А.И., 2001; Соловьёв А.И., 2003]<sup>1</sup>: в какой мере идеологии как организованные системы убеждений вообще сохраняют свое значение в качестве средства мобилизации и легитимации в современных политиях? К нему мы вернемся в заключительной части этой главы.

По иронии судьбы, именно в 1960-х годах обнаружилась новая волна интереса к изучению идеологических феноменов. Появился целый ряд работ, авторы которых попытались применить концепт идеологии (или его производные) в качестве инструмента для эмпирического исследования политики. В результате, к началу XXI в., по словам Майкла Фридена, «мы наблюдаем отнюдь не конец идеологии, а настоящий взрыв интереса к ней и одновременно – заметные изменения в интерпретации этого понятия» [Freeden, 2000, p. 9].

В 1964 г. увидел свет сборник «Идеология и недовольство» под редакцией Дэвида Аптера [Ideology and Discontent, 1964]. В ответ на тезис о «конце идеологии» авторы сборника предложили новые прочтения этого «устаревшего» термина. В числе других в сборник вошли знаменитая статья Клиффорда Гирца «Идеология как культурная система» [Geertz, 1964] и не менее знаменитое

---

<sup>1</sup> Основанием для этих утверждений являются фундаментальные изменения, которые произошли в нормативно-символической сфере современной политики под влиянием нарастающей социальной фрагментации, трансформации публичного пространства под воздействием современных средств массовой коммуникации, возрастания роли политических технологий, ориентированных больше на эмоциональное, нежели на рациональное воздействие и опирающихся скорее на образы, нежели на идеи. Критику тезиса о «маргинализации идеологии» см.: [Малинова, 2004а].

исследование Филиппа Конверса о характере систем убеждений элит и массовых групп [Converse, 1964]. Приблизительно в это же время увидели свет работы Роберта Лейна, посвященные изучению идеологии на уровне массовых убеждений [Lane, 1962; Lane, 1972]. Таким образом, интерес к концепту идеологии как инструменту политических исследований одновременно возник и у склонных к количественным эмпирическим исследованиям сторонников поведенческого подхода, и у тех, кто попытался взглянуть на идеологию как на элемент социального культурного кода, используя интерпретативные подходы герменевтики. Хотя с точки зрения исследовательской техники эти подходы радикально различались, они демонстрировали одну общую тенденцию: переключение интереса с *причин и следствий* идеологии на *механизмы* ее функционирования. Причем в отличие от преимущественно умозрительной постановки вопроса о функциях идеологии в рамках эпистемологии и социологии знания, новые подходы были ориентированы на эмпирический анализ.

Американский политолог Ф. Конверс, используя метод интервью, провел социологическое исследование, целью которого было сравнение характера систем убеждений в рамках «вертикального среза» от уровня лидеров соответствующих политических направлений до уровня масс. Термином «система убеждений» (belief systems) он предпочел заменить неудобное слово «идеология». Система убеждений определялась им как «конфигурация идей и установок, элементы которой связаны той или иной формой ограничений или функциональной взаимозависимости», в результате чего наличие у индивида убеждения А заставляет предполагать, что его позиция по вопросу Б с большой вероятностью окажется такой, а не иной (в статическом случае), а изменение в психологическом статусе одной идеи-элемента, вероятно, потребует компенсирующих изменений в статусе других идей-элементов (в динамическом случае) [Converse, 1964, p. 207–208]. Исследование Конверса показало, что по мере продвижения «вниз» от элиты к массовым слоям публики, декларирующей приверженность к определенной политической партии, степень «ограничений», делающих убеждения последовательными, снижается, а доля абстрактных идей уменьшается. Таким образом, рассуждения о «смене идеологических ориентиров общества», которые якобы стоят за сменой администрации, не имеют под собой оснований: большинство избирателей, чьи голоса сыграли определяющую роль в приходе Эйзенхауэра на смену Трумэну, – это люди, пред-

ставления которых весьма далеки от суждения в категориях либерально-консервативного континуума. В исследовании Конверса содержится немало интересных выводов, но главным было то, что оно привлекло внимание к проблеме несоответствия между убеждениями масс и элит. Тем самым проблематизировалась роль идеологии как средства мобилизации участия и легитимации политического курса (по крайней мере на массовом уровне). «Общие контуры решений, которые принимает элита, – писал Конверс, – во времени могут весьма существенно зависеть от основных течений того, что обобщенно называют “историей идей”... Однако для адекватного описания роли привычных систем убеждений ... в обществе в целом, пожалуй, можно предложить аналогию в виде совокупности пирамид, где есть широкая дифференциация убеждений на вершинах (элиты), однако «массовые» основания этих пирамид настолько смыкаются друг с другом, что невозможно определить, где заканчивается одна пирамида и начинается другая» [Ibid., p. 256].

В действенности идеологии как средства легитимации заставляют усомниться и результаты более позднего исследования британских социологов Н. Аберкромби, С. Хилла и Б. Тернера, опровергающего тезис о господствующей идеологии. По заключению авторов, «идеология имеет значение для объяснения единства господствующего класса, но не общества в целом» [Abercrombie et. al, 1980, p. 3]. Проследившая развитие общества от феодализма к раннему, а затем позднему капитализму (в основном, на британском материале), Аберкромби и его коллеги пришли к выводу, что лишь на последней стадии возникает необходимый аппарат для внедрения идей (СМИ, обязательное образование); однако даже здесь трудно говорить о способности господствующих классов навязывать свою идеологию тем, кого они угнетают. Во-первых, идеология слишком противоречива, чтобы последние могли в полной мере ее усвоить. Парадокс заключается в том, что по мере того как возрастают возможности для индоктринации, снижается степень цельности самой идеологии господствующих классов. Во-вторых, культура низших классов в значительной мере остается автономной, ибо господствующие классы не обладают возможностью контролировать повседневные дискурсы. Впрочем, авторы не исключают, что некоторые элементы этой культуры имеют стабилизирующий эффект, снижая оппозиционную активность. Однако это не то же самое, что внедрение господствующей идеологии. Таким образом, единство общества, с одной стороны, силь-

но преувеличено, а с другой – согласие управляемых достигается гораздо в большей степени за счет экономических, нежели идеологических средств. Идеология отнюдь не является «социальным цементом», как это принято полагать.

По-видимому, интегративные функции идеологии связаны не столько со способностью господствующих классов навязать определенные верования массам, сколько с наличием в обществе когнитивных систем, позволяющих систематизировать разнообразные проявления человеческого опыта, обобщив их вокруг неких узнаваемых и наделенных смыслом шаблонов. Начало переосмыслению концепции идеологии в этом направлении положила статья К. Гирца «Идеология как культурная система». Она часто упоминается в отечественной научной литературе, опубликована на русском языке [Гирц, 1998], поэтому нет смысла пересказывать ее содержание. Укажем лишь на предложенное в ней новое понимание идеологий как своеобразных символических матриц – схематических образов социального устройства, помогающих координировать человеческое поведение, которое с точки зрения биологических регуляторов оказывается чрезвычайно пластичным. По Гирцу, роль идеологии, маргинальная в традиционных обществах, где велика власть не подвергаемых сомнению предрассудков, чрезвычайно возрастает в современных обществах. «Идеология, – по его словам, – делает возможным существование автономной политики, ибо она снабжает нас авторитетными концепциями и осмысленными, убедительными образами, посредством которых мы можем эту политику воспринимать» [Geertz, 1964, p. 63]. Идеологии оказываются «картами проблематичной социальной реальности и матрицами, на основе которых формируется коллективное сознание» [Ibid., p. 64]. Такое понимание идеологии дало начало новым подходам к ее изучению. Дополнительным импульсом в том же направлении послужили работы в области герменевтики и лингвистики.

П. Рикёр нашел способ связать описанную Гирцем интегративную функцию идеологии с обнаруженной еще Марксом функцией искажения. По мысли французского философа, идеология может выполнять вторую функцию только на основе первой: «Лишь потому, что структура социальной жизни людей уже является символической, она может быть искажена» [Ricoeur, 1986, p. 10]. Связующим звеном выступает функция легитимации: «Поскольку идеология... служит интерпретационным кодом, обеспечивающим интеграцию, она делает это, узаконивая существую-

щую систему власти» [Ibid., p. 13]. По Рикёру, именно это обстоятельство обуславливает искажение: в процессе легитимации всегда возникает зазор между «спросом» на легитимность со стороны властей и ее «предложением» со стороны граждан. Этот зазор заполняется за счет идеологии. И заполняя его, «идеология смещается за рамки простой интеграции и становится искажением и патологией... Идеология пытается обеспечить единство между притязаниями [власти] и верой [граждан], но она делает это, легитимируя существующую систему авторитета, как она есть» [Ibid., p. 14]. Таким образом, Рикёр продолжает традицию различения идеологии и утопии, заложенную К. Манхеймом. Функция утопии – вскрывать разрыв между «спросом» на легитимность и ее «предложением». Однако и утопическое мышление имеет свои «уклоны».

Дальнейшее развитие сформулированного Гирцем представления об идеологиях как интерпретативных кодах развивалось в направлении уточнения места идеологических представлений в процессах символического обмена. По-видимому, символические формы не являются идеологическими сами по себе, а становятся таковыми в процессе их использования. Таким образом, внимание должно быть сосредоточено на структуре социальных отношений, из которой вырастают конкретные символические формы.

### **Конец XX в.: Новые подходы к анализу идеологии**

Теорию, позволяющую переосмыслить концепт идеологии с этой точки зрения, предложил британский социолог Джон Б. Томпсон. Он попытался переформулировать данное понятие так, чтобы оно могло сочетать новый смысл интерпретационного кода с критическими функциями, вытекающими из исторически сложившихся негативных коннотаций идеологии. Согласно определению Томпсона, идеологию следует понимать «как способы, посредством которых смыслы, заключенные в символических формах, служат установлению и упрочению отношений господства» [Thompson, 1990, p. 265]. Таким образом, изучение идеологии требует: исследования того, каким образом различные символические формы, от повседневных разговоров до сложных образов и текстов, конструируют и передают смысл; изучения социального контекста, внутри которого эти символические формы применяются и употребляются; наконец, выявления механизмов, посредством которых смыслы, мобилизованные символическими формами,

служат установлению и укреплению отношений господства. По мысли Томпсона, одни и те же символические формы могут быть идеологическими в одном контексте и не идеологическими в другом (например, дискурс о правах человека может в одной ситуации поддерживать сложившийся статус-кво, а в другой – служить инструментом его критики и изменения) [Ibid., p. 8]. Как очевидно из этого примера, формы, которые Манхейм и Рикёр называли «утопией», в данное определение идеологии не вписываются. В то же время, сфера действия идеологии оказывается существенно расширена и включает в себя «и повседневную жизнь, и ту сумму специальных институтов, которая образует сферу политики в узком смысле», ибо неравенство и асимметрия, характерные для отношений власти и господства, возникают в самых разных контекстах [Ibid., p. 9].

С точки зрения Томпсона, главным недостатком прежних интерпретаций идеологии было то, что все они не учитывали фактора медиатизации современной культуры и придавали непропорционально большое значение ее секуляризации и рационализации. Отсюда идеологии представляли светскими аналогами религий, относительно упорядоченными «сводами» идей, главное назначение которых – спланировать общество вокруг ценностей, навязываемых господствующими классами. Согласно же концепции британского социолога, именно «медиатизация современной культуры, а не секуляризация и рационализация общественной жизни, должна служить главной системой координат, в рамках которой сегодня следует анализировать идеологию» [Ibid., p. 265]. Это не значит, что СМИ – единственная среда обитания идеологии: идеологические явления могут существовать в разных контекстах, от дружеской беседы до президентского послания. Однако развитие СМИ существенно расширило сферу действия идеологии в современных обществах, ибо оно создает возможности для передачи символических форм потенциально широкой аудитории, рассеянной во времени и пространстве. Таким образом, СМИ – это не только каналы, по которым происходит распространение символических форм: они «делают возможными новые формы социального взаимодействия, а потому служат реструктурированию социальных отношений, частью которых они являются» [Ibid., p. 225]. Предложенное в работе Томпсона понимание идеологии смещает фокус внимания исследователя от анализа философских текстов и политических программ к изучению широкого спектра дискурсов, с акцентом на массовые коммуникации.

В том же направлении двигались исследователи, работающие в области лингвистики и дискурс-анализа. По мысли Гюнтера Кресса, теория языка, всерьез рассуждающая о его социальных функциях и последствиях, «вынуждена вполне сознательно фокусировать свое внимание на проблеме отношения языка к материальным условиям, в которых его используют, равно как и к материальным условиям тех, кто его использует. И здесь существенной категорией оказывается «идеология» как понятие, охватывающее проблему форм познания и их отношения к классовой структуре, классовым конфликтам и классовым интересам, к способу производства и экономической структуре» [Kress, 1985, p. 29]. Язык играет важнейшую роль в том, что П. Бергер и Т. Лукман назвали «социальным конструированием реальности»: он фиксирует мир, делая его более стабильным и связным; эта картина вытесняет то, что мы реально видим, и зазор между реальным и социально сконструированным сокращается. Таким образом, сам язык становится идеологическим феноменом, ибо обладает социально обусловленными оптическими эффектами [Kress, Hodge, 1979].

С появлением новых интерпретаций исследования идеологии перестали быть исключительной сферой политической философии, истории идей и общественных движений – они в значительной степени переместились в области дискурс-анализа и культурологии. В качестве примеров, иллюстрирующих эту тенденцию, можно привести недавние работы Джона Балкина и особенно – Тойна ван Дейка.

Балкин предлагает исследовать идеологию как орудие понимания, созданное в человеческой культуре, благодаря ей и внутри ее. С его точки зрения, комплекс проблем, связанных с социальной природой мышления, лучше всего описывается именно термином «идеология», ибо большинство других понятий, используемых в тех же целях, – дискурс, хабитус, традиция, языковые игры, интерпретативное сообщество и др., – не что иное, как разные версии теории идеологии, отражающие какую-то часть общего комплекса. Для определения главной функции идеологии Балкин использует метафору программного обеспечения. По его словам, «мы можем сравнить определенные черты культуры и способы функционирования последней с программным обеспечением, которое должно быть установлено в компьютере, чтобы тот мог обрабатывать информацию. Подобно компьютерным программам, культурное программное обеспечение позволяет понимать и одновременно ограничивает понимание» [Balkin, 1998, p. 4]. Тем самым культурное

программное обеспечение способно приобретать идеологический эффект. Последний, по мысли Балкина, определяется социальным контекстом. Если Томпсон связывает «идеологичность» той или иной символической формы (текста, образа и т.п.) с ее способностью поддерживать сложившиеся отношения господства, то Балкин предпочитает говорить о способности «культурных программ» создавать или поддерживать несправедливость. Таким образом, «чтобы понять, что является идеологическим, нам нужно представление не только о том, что истинно, но и о том, что справедливо» [Balkin, 1998, p. 105]. По этой причине исследование идеологии необходимо связано с исследованием способов создания, утверждения, распределения власти в обществе.

Т.А. ван Дейк, долгое время занимавшийся изучением дискурсивных проявлений расизма, в целой серии недавних работ попытался операционализировать концепт идеологии для нужд критического дискурс-анализа [Van Dijk, 1998]. Нидерландский исследователь относит данное понятие не ко всему пространству символических форм, но главным образом к фундаментальным убеждениям, которые являются основой социальной репрезентации групп. Таким образом, идеология оказывается структурирована вокруг базовых категорий, отражающих идентичность группы, а главная стратегия идеологических дискурсов может быть выражена принципом «подчеркивай то, что характеризует Нас позитивно, а Их – негативно». По словам ван Дейка, идеологии «представляют ментальное воплощение фундаментальных социальных, экономических и / или культурных целей и интересов группы. Если использовать компьютерную метафору, можно сказать, что в своей совокупности они составляют базовую операционную систему группы или культуры, тогда как соответствующие позиции (attitudes) – это специальные программы, работающие на основе этой системы и выполняющие особые социально-когнитивные задачи» [Van Dijk, 1993, p. 40]. Понимаемые таким образом идеологии играют определяющую роль не только в формировании групповой идентичности, но и в ориентации социального познания и поведения. «Идеология» в данном случае включает в себя и «утопию», ибо «фундаментальные убеждения, способные служить основой репрезентации группы», имеют не только сторонники, но и противники сложившихся отношений господства. Более того, имеет смысл говорить об идеологии не только классов, но и множества других групп, в том числе, гендерных, профессиональных и т.п. Очевидно, что идеологии, в соответствии с интерпретацией

ван Дейка, «не сводятся к основным философским и политическим “измам”. Скорее, их следует рассматривать в качестве базовых аксиом наивных, не выраженных явно социальных теорий, касающихся идентичности групп и их положения в обществе. Такие идеологические системы взглядов не обязательно должны быть особенно точными, связными и хорошо организованными» [Van Dijk, 1995, p. 246].

Приведенный нами обзор не исчерпывает всего круга работ, посвященных исследованию идеологии в контекстах дискурсивных практик<sup>1</sup>. Однако он достаточно полно иллюстрирует тенденции, связанные с переосмыслением данного концепта. Прежде всего, заметно расширилась сфера его применения. Внимание исследователей привлекают не столько *причины*, порождающие эффект «ложного сознания» или его *последствия*, сколько *механизмы* функционирования идеологии. Сама проблематика «ложного сознания» оказалась снята, ибо очевидно, что символические формы, посредством которых мы выражаем себя и понимаем других, не есть противоположность реальности; в известном смысле они сами конструируют то, что является реальным в данном обществе. Как верно заметил Б. Страт, «идеологии можно рассматривать как когнитивные структуры с легитимизирующими функциями. Не существует ясных границ между идеологиями и другими структурами знания, хотя различия между ними несомненны» [Strath, 2006, p. 23]. Заметно изменился объем понятия «идеология» и сфера его применения: согласно формулировке Дж. Б. Томпсона, «анализ идеологии должен ориентироваться не столько на светские системы убеждений, формулируемые и выражаемые организованными политическими группами, сколько на то, как различные символические феномены функционируют в социальном мире, пересекаясь с отношениями власти» [Thompson, 1990, p. 265], – причем отношениями власти в самом широком смысле этого слова. Неудивительно, что в поле внимания исследователей оказались и такие «измы», которые почти не представлены в виде прямо сформулированных теорий – расизм (в широком значении слова), сексизм, консюмеризм и т.п.

На уровне социума идеология предстает как широкий набор символических форм (т.е. не только *идей*, но и образов, жестов,

---

<sup>1</sup> Некоторые из этих работ обобщены в недавней статье Г.И. Мусихина [Мусихин, 2011]. Правда, на основе приведенного в ней обзора не всегда можно определить авторство обобщаемых идей.

поступков, всего, что может быть наделено *смыслом*). На уровне индивидов – не только в виде более или менее осознанных *убеждений*, но и интерпретативных кодов, которые усваиваются в процессе социализации и чаще всего не подвергаются рефлексии. Наконец, «идеологическими», в соответствии с новыми интерпретациями, являются не символические формы и интерпретативные коды сами по себе, а то, как они работают в конкретных контекстах, включающих в себя отношения господства, власти, неравенства, различия социального статуса и т.п. (Соответственно, один и тот же дискурс может быть идеологическим в одном контексте и неидеологическим – в другом.) В свете новых интерпретаций концепта переосмысливаются многие его функции. В частности, становится очевидным, что легитимация существующего порядка может происходить не только за счет внедрения «нужных» идей в сознание масс – она осуществляется и за счет более тонких механизмов, благодаря которым одновременно «контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется» производство дискурса [Фуко, 1996, с. 51].

### **Меняющийся предмет: Исследование идеологий в XXI в.**

Концепции, предложенные Дж. Томпсоном, Т.А. ван Дейком, Г. Крессом, Р. Ходжем, Дж. Балкиным и др., казалось бы снимают с повестки дня тезис об «исторической маргинализации идеологий»: очевидно, что изменения публичной сферы, которые произошли в течение последних десятилетий, не отменяют того факта, что процессы производства, распространения и восприятия символических форм находятся в неразрывной связи с существующими в обществе отношениями неравенства, власти и господства – пусть даже эта связь не столь однозначна, как это предполагается тезисом о «господствующей идеологии». А значит, исследование идеологий как специфической функции символических форм, проявляющейся в контексте отношений власти и господства, сохраняет свою релевантность.

Однако возникает вопрос: не означает ли реконцептуализация идеологии фактической подмены понятий? Правомерно ли обозначать одним и тем же словом *системы идей и убеждений*, посредством которых люди формулируют, разъясняют и оправдывают цели и средства социальных действий, и *способы функционирования* широкого спектра символических форм, как вербальных, так и невербальных? Не имеем ли мы дело с *двумя разными* поня-

тиями? А если это так, то, возможно, в 1988 г., когда многие из подмеченных нами тенденций уже успели проявиться, Д. Белл имел все основания восклицать: «Понятие идеологии загублено безвозвратно. А это грех!» [Bell, 1988, p. 447].

По-видимому, наблюдаемое в последние десятилетия стремительное расширение содержания данного понятия – процесс, который еще нуждается в осмыслении. Новые интерпретации позволяют полнее описать спектр явлений, возникающих на пересечении языка, власти, публичных целей и публичных практик, но одновременно они еще сильнее усугубляют проблему концептной натяжки. Вместе с тем вовсе необязательно противопоставлять идеологии как системы идей и / или убеждений идеологиям, проявляющимся в способах функционирования символических форм и интерпретативных кодов. Первые вполне правомерно рассматривать как частный случай вторых. В таком случае, нуждается в исследовании вопрос о том, в силу каких факторов именно такие способы функционирования символических форм оказались на определенном этапе актуальными, и что с ними будет происходить в дальнейшем.

На мой взгляд, пока рано говорить об исчезновении «систем идей», хотя изменившиеся социальные условия не могли не наложить отпечаток на способы их формирования и функционирования. Распространение идеологии сегодня уже не является исключительной монополией класса интеллектуалов – в этом процессе активно участвуют и другие производители символических форм, прежде всего СМИ. Идеология выражается не только в традиционных политических текстах, она «везде», и потому для ее изучения необходимо использовать разные приемы анализа. Однако «новые» приемы не отменяют «старых», и исследователям идеологий по-прежнему не обойтись без изучения «комплексов идей». Как показал М. Фриден, политическим идеям свойственно образовывать кластеры [Freedен, 1996]. А значит, люди, использующие политический язык, составляют более или менее различимые сообщества, придерживающиеся определенных мыслительных практик. Идеейные кластеры не являются постоянными и неизменными, они рождаются к жизни не столько «железной логикой» философских аргументов, сколько конкретными стечениями обстоятельств, делающими релевантными определенные сочетания и интерпретации базовых идей политического «конструктора». Однако «культурные ограничения могут воспроизводить эти особые обстоятельства в разных обществах и разных точках пространства, создавая

различимые модели» [Freedeen, 2000, p. 14]. А значит, исследование политического дискурса требует структурного анализа циркулирующих в нем идейных сцепок.

Более «массовое» производство идеологии еще больше усилило обозначившийся с начала XX в. процесс размывания «великих идеологических традиций», гибридизации идеологий. По словам М. Фридена, «теперь мы концептуально готовы принять мир идеологий, в котором новые комбинации – нормальное и частое явление, а границы существуют для того, чтобы их пересекать» [Ibid., p. 13]. Наряду с «полными» идеологиями, предлагающими целостное мировоззрение, все большее распространение получают «частичные» идеологии, которые уходят от широкой повестки дня и легко экспериментируют с различными комбинациями идей. Однако возникает вопрос: а не были ли эти эксперименты всегда присущи миру идеологий как «систем идей»? Действительно ли «великие идеологические традиции» являлись такими, какими мы привыкли их представлять, или же их структура, «логика» и даже состав – плод нашего ретроспективного конструирования? И если это действительно так, то почему бы не вернуться к изучению процесса формирования идеологических традиций, чтобы понять, почему одни идеи, присутствовавшие в них на начальных этапах, вошли в состав кластеров, а другие – нет<sup>1</sup>?

Наконец, нуждается в дальнейшем исследовании вопрос о взаимосвязи между идеями, артикулируемыми на уровне теорий, и интерпретативными кодами, широко циркулирующими в обществе. Как показывают работы М. Биллига, С. Кондора, Д. Эдвардса и их коллег, «великие политические и философские системы современного мира являются достоянием не только профессионалов-теоретиков», и можно наблюдать переход понятий и представлений из формальных идеологических теорий в «живую идеологию повседневной жизни» [Ideological dilemmas, 1988, p. 25–26; Billig, 1982]. Причем в отличие от Ф. Конверса, который безуспешно пытался обнаружить у «массовой публики» элементы связанных систем убеждений, социальные психологи из Великобритании исходили из представления о принципиально дилемматическом характере идеологического мышления. Вывод Биллига и его коллег звучит как опровержение тезиса о «двух разных» понятиях идеологии: «Даже если мы не осознаем, каким идеологическим и семантическим наследием мы пользуемся, мы все равно живем в

---

<sup>1</sup> См. об этом: [Малинова, 2001б; Малинова, 2003б].

заданной им традиции. В этом смысле идеологические течения способны незаметно проникать в наше сознание, в силу чего наши мысли могут оказаться не только нашими. Более того, борьба этих течений и противоположные тенденции, имевшие место в прошлом, продолжают влиять на содержание того, что мы думаем о дилеммах нашей нынешней повседневной жизни» [Ideological dilemmas, 1988, p. 42]. Возможно, не «системы идей» исчезают, а наши представления о том, как они формируются, трансформируются и взаимодействуют с другими символическими формами, нуждаются в переосмыслении?

Вторая половина XX в. оказалась, наверное, самым бурным периодом в более чем двухсотлетней истории понятия «идеология»: его использовали как обидный ярлык и как нейтральное научное понятие, отвергали и вновь принимали, наделяли разными значениями и разрабатывали в рамках множества социогуманитарных дисциплин. В начале XXI в. оно употребляется в столь разных смыслах, что нет никакой надежды дать ему четкое и единственное определение. И тем не менее при всей его неоднозначности – а может быть, и благодаря ей – ему, видимо, нет альтернативы, когда мы пытаемся «схватить» этот постоянно ускользающий объект – социально обусловленные способы отражения реальности, которые, в свою очередь, стремятся повлиять на политическую практику. Что не мешает одновременно расширять набор понятий с меньшим объемом и более строгим содержанием, которые могут быть полезны при решении конкретных задач.

### **3. «ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В РОССИЙСКОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ И ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ<sup>1</sup>**

Тема политической культуры пользуется особой популярностью в России: она часто встречается в названиях статей, учебных курсов, дипломных работ и диссертаций и активно используется в публичном политическом дискурсе. Несколько иначе обстоит дело в американской политической науке, где программа исследований политической культуры, амбициозно начатая в 1960-х годах знаменитой работой Г. Алмонда и С. Вербы [Almond, Verba, 1989], уже к середине 1970-х начала сворачиваться, и в середине 1990-х Дэвид Лейтин, немного утрируя, уподобил изучение этой темы «разработке аномалий в птолемеевой астрономии» [Laitin, 1995, p. 169]. Так получилось отчасти в силу недостатков базовой концепции, отчасти – потому, что альтернативные подходы не отличались теоретической ясностью и не вылились в серьезные исследовательские программы, однако в немалой мере – по причине того, что в разработке проблемы демократизации «пальма первенства» перешла к подходам, сфокусированным на действиях элит, что делало изучение политической культуры менее значимым. В 1990-х годах в связи с потребностью в осмыслении посткоммунистических трансформаций, а также проблем, связанных с «культурной политикой» в странах Запада и расцветом религиозного фундаментализма, возникла новая волна исследовательского интереса к данной теме. Однако она не принесла весомых результатов. Неслучайно Р.Дж. Далтон, автор раздела о микрополитических

---

<sup>1</sup> Краткий вариант опубликован в сборнике научных трудов «Политическая наука: Исследования политической культуры: Современное состояние» [Малинова, 2006а]; расширенный вариант – в журнале «Полис» [Малинова, 2006б].

исследованиях, в изданном в конце XX в. фундаментальном труде «Политическая наука: новые направления» констатировал, что «наше понимание элементов политической культуры и отношений между ними не намного продвинулось, по сравнению с “Гражданской культурой”», опубликованной Алмондом и Вербой в 1963 г.». И это – несмотря на то, что сложился весьма благоприятный момент для испытания прогностического потенциала этой теории, ибо появляется возможность «выяснить, как развивается взаимосвязь между политической культурой и политическими институтами, так как в целом ряде стран идут политические преобразования» [Политическая наука: Новые направления, 1999, с. 334; ср. Fleron, 1996].

В настоящей главе, не ставя задачу подробного анализа опыта исследования политической культуры зарубежными и российскими учеными<sup>1</sup>, я попытаюсь выделить некоторые особенности «присутствия» данного концепта в отечественном научном дискурсе, а затем проследить, как он используется политиками и публичными интеллектуалами. Начну с анализа основных методологических проблем, с которыми сталкиваются исследователи культурных аспектов политики.

### **Проблема концептуализации политической культуры: Основные развилки**

Неизменным атрибутом как зарубежных, так и отечественных работ, посвященных политической культуре, является констатация многообразия определений и подходов. Причем за различиями дефиниций и исследовательских практик стоят принципиальные методологические проблемы, осложняющие выработку комплексной стратегии и кумуляцию полученных результатов. Эти проблемы связаны, во-первых, с концептуализацией политической культуры; во-вторых, с ее операционализацией; и, в третьих, – с возможностями использования полученных результатов для объяснения политических явлений и процессов.

---

<sup>1</sup> История данного направления исследований хорошо описана и проанализирована как классиками, так и критиками. См.: [Almond, 1989; Almond, 1994; Brint, 1991; Welch, 1993; Chilton, 1988; Gendzel, 1997; Johnson, 2001; Scott, 2003; Verba, 1989; Формизано, 2002] и др. Обзор работ российских авторов см.: [Шатилов, 2002; Дука, 2006].

В самом общем виде трудности концептуализации политической культуры обусловлены тем, что данное понятие претендует на роль мостика между микро- и макроуровнями политики. Предполагается, что культурные факторы, т.е. разделяемые членами определенного сообщества исторически сложившиеся ценностные установки, репертуары смыслов, модели поведения и др., значимы для понимания политических явлений и процессов, поскольку они определяют особенности функционирования институтов и пределы их изменений. Наличие такого рода связей интуитивно не вызывает сомнения, однако выработка системы понятий для их описания оказывается сложной задачей вне зависимости от того, рассматриваем ли мы культуру в качестве интересубъективного феномена или же свойства сообщества, выявляемого исключительно на социетальном уровне.

Сторонники первого подхода интерпретируют политическую культуру как совокупность социально-психологических свойств, которые проявляются *на индивидуальном уровне*, будучи следствием сходного политического опыта или исторических условий социальной группы. Этот подход развивается в русле методологического индивидуализма, доминирующего в англо-американской политической науке. Именно он был реализован в концепции Алмонда и Вербы, предположивших, что политическое поведение индивидов определяется не только их рационально понятыми интересами, но и усвоенными в процессе социализации *ориентациями*, т.е. диспозициями, располагающими действовать определенным образом в ситуациях того или иного рода. Вслед за Т. Парсонсом создатели концепции политической культуры выделяли когнитивные, аффективные и оценочные аспекты ориентаций. Политическая культура, по их замыслу, может быть представлена как «специфическое распределение типов ориентаций (patterns of orientations) по отношению к политическим объектам среди членов той или иной нации» [Almond, Verba, 1989, p. 13]. При этом предполагалось, что ориентации обладают внутренней связностью. Как писал Л. Пай в книге 1965 г., которая освещала результаты следующего проекта, развивавшего концепцию политической культуры, «традиции общества, дух его общественно-публичных институтов, эмоции и коллективный разум его членов, равно как и действующие кодексы поведения его лидеров, – все это не случайные продукты истории, а взаимосвязанные части единого целого, образующие реальную цепь взаимоотношений»

[Pye, 1965, p. 7]<sup>1</sup>. Понимаемую таким образом политическую культуру можно «измерять» с помощью репрезентативных опросов<sup>2</sup>, проводить сравнительные межстрановые и кросстемпоральные исследования, подвергать полученные результаты статистическому анализу с целью проверки гипотез и т.д. Возможность применения количественных методов считается несомненным преимуществом данной концепции.

Тем не менее с ее *операционализацией*, т.е. переходом от абстрактного выражения качества в понятии к набору конкретных показателей, которые могут быть установлены эмпирически, возникают определенные проблемы. Чаще всего сравнительные количественные исследования политической культуры сосредоточены на изучении социальных установок (*attitudes*), выявляемых в опросах<sup>3</sup>. Предполагается, что установки – это устойчивые ориентации, имеющие глубинный характер (и в силу этого не всегда сознаваемые), в отличие от ценностей (*values*), которые являются результатом оценок. Ценности люди могут разделять, признавать, но не обязательно им следовать; установки же реально (и часто неосознанно) ориентируют их поведение. Но можно ли выявить установки в стандартизированных опросах общественного мнения, если знания респондентов на этот счет заведомо неполны? Некоторые исследователи высказывают сомнения по этому поводу [Welch, 2005, p. 113–117].

Их оппоненты полагают, что многое зависит от правильной организации опроса (составления вопросника, его адаптации к конкретному социокультурному контексту, организации выборки и др. – со времен Алмонда и Вербы эти технологии были усовершенствованы). По мнению тех, кто работает с данными опросов, этот метод обладает рядом достоинств: он дает представление о

---

<sup>1</sup> Эта посылка является одним из оснований для критики данной концепции: принимая групповые культурные установки как нечто готовое, она не учитывает стоящей за их утверждением символической борьбы. Кажущаяся «связность» политической культуры может быть не только «продуктом истории», но и следствием определенных технологий господства, механизм которых при таком подходе ускользает от внимания исследователей [Laitin, 1998, p. 589–593].

<sup>2</sup> Работа Алмонда и Вербы была одним из первых систематических кросс-национальных исследований, использовавших метод массовых опросов.

<sup>3</sup> Впрочем, было бы неверно связывать «психологический» подход к изучению политической культуры исключительно с опросами: некоторые исследователи весьма успешно применяют и качественные, в том числе – и невербальные методы, позволяющие выявлять глубинные установки. См.: [Шестопал, 2004] и др.

политической культуре во всей ее сложности, выявляя сосуществующие в обществе субкультуры; позволяет изучать изменения, происходящие во времени; полученные результаты можно подвергать статистическому анализу, сопоставляя с другими данными, проводить межгрупповые и межстрановые сравнения и т. д.

Однако достаточно ли информации о тех аспектах политической культуры, которые поддаются изучению количественными методами для подтверждения гипотезы о связях между социальными установками индивидов и развитием политических институтов? В заключительной главе к книге «Возвращаясь к гражданской культуре» один из соавторов классической концепции С. Верба вынужден был признать, что зазор между набором социальных установок, присутствующих в социуме, и функционированием политической системы в целом «все же слишком велик». В частности, концепция гражданской культуры не учитывала, что убеждения людей имеют неравный вес (для стабильности демократии важнее позиции наиболее активных). Кроме того, не всегда можно проследить, как именно базовые ценности влияют на изменение политических институтов (хотя это возможно, например, в отношении выборов) [Verba, 1989, p. 403]. Так или иначе, вопрос о корректности теоретических обобщений на основе данных опросов о ценностных установках остается открытым: доказательством их правомерности могло бы служить осуществление прогнозов, однако большинство выводов, сделанных в 1960-е годы авторами «Гражданской культуры», не подтвердилось (наиболее крупные «просчеты» – распад СССР и консолидация демократии в ФРГ).

Разработанная Г. Алмондом и С. Вербой «психологическая» концепция политической культуры безусловно преобладает в англоязычной литературе и широко известна в России<sup>1</sup>. Вместе с тем

---

<sup>1</sup> Без ее упоминания не обходится ни один учебник по политологии. Без преувеличения можно сказать, что «Гражданская культура» Г. Алмонда и С. Вербы – наиболее широко известный в России (по крайней мере, по переказам) проект американской «новой» сравнительной политологии 1950–1960-х годов. При этом изложение данной концепции не всегда отличается внятностью: чаще всего не поясняется термин «ориентации», опирающийся на парсоновскую теорию социального действия, с которой читатели учебников не так хорошо знакомы; нередко чуть ли не главным достижением Алмонда и Вербы объявляется изобретение «знаменитой триады» типов политических культур, которая в действительности служит *инструментом*, а не результатом их исследования; смешиваются исходные гипотезы и выводы. Часто за рамками изложения остается исследовательский замысел проекта, целью которого был поиск условий

уже с конца 1960-х годов стали появляться работы, предлагающие альтернативные способы концептуализации культурных аспектов политики. Некоторые из них используют термин «political culture», присваивая ему новые значения, что не способствует единообразию употребления данного понятия и превращает его в «зонтик для широкого и явно разнородного спектра политических проблем» [Dittmer 1977, p. 552]. Как пишет Г. Экстайн, «политическая культура – это не “реальная вещь, существующая где-то”, которую можно охарактеризовать правильно или неправильно. Политическая культура – это концепт, абстракция, умозрительная конструкция, предназначенная для построения теории. Как таковая, она должна обозначать то, что вкладывали в нее держатели патента, если только нет убедительных оснований не принимать ее» [Eckstein, 1996, p. 473]. Это утверждение совершенно справедливо; эклектическое смешение разных смыслов, связанных со словом «культура» [см. краткий обзор: Thompson, 1990, p. 122–162] – одна из главных причин «инфляции» данного понятия.

Вместе с тем «психологическая» интерпретация политической культуры – не единственно возможный способ концептуализации связей между исторически складывающимися особенностями субъективного восприятия политики и политического поведения и функционированием / изменением политической системы. Поэтому вполне естественно, что «культурализм» в политической науке реализуется во множестве подходов, а термин «политическая культура» используется в разных смыслах – важно лишь, чтобы его значение в каждом отдельном случае было понятно автору и читателям.

Наиболее принципиальным водоразделом для концептуализации политической культуры является интерпретация ее как «психологического» феномена, фиксируемого на уровне субъективных ориентаций или же как свойства сообщества, выявляемого на социетальном уровне. Конечно, эта альтернатива скорее обозначает полюса, к которым в большей или меньшей степени тяготеют разные трактовки. Однако выбор «полюса» предопределяет

---

стабильности демократии; не всегда акцентируются методологические проблемы, которые удалось или не удалось решить авторам «Гражданской культуры». Впрочем, есть и работы, в которых глава об «основных подходах к изучению политической культуры» вообще обходится без отсылки к концепции гражданской культуры (Алмонд и Верба упоминаются лишь в качестве авторов одного из многих определений политической культуры) [Гайдук, 2012].

последующую методологию исследования. Сторонники «социетального» подхода рассматривают политическую культуру как *свойство социальных коллективов*, которое укоренено в исторически обусловленных социальных практиках и репертуарах смыслов, определяющих действия индивидов и функционирование институтов. С этой точки зрения изучать политическую культуру – значит исследовать, как это историческое наследие влияет на развитие и изменение социальных и институциональных практик. В рамках выделяемого таким образом подхода предлагаются разные способы концептуализации политической культуры.

Один из них – интерпретация ее как *исторически складывающихся символических структур*, восходящая к работам известного антрополога К. Гирца. Исходной посылкой этой интерпретации является тезис о том, что человек действует в определенной системе смысловых значений, которая и есть поле культуры. Ориентация в социальном пространстве предполагает наличие некоторых систем смыслов (своеобразный культурологический эквивалент социологическому понятию «ориентация»), которые опираются на предшествующий культурный опыт. И хотя самое сложное, по словам К. Гирца, заключается в том, чтобы «найти промежуточное звено» «между течением событий, образующих политическую жизнь, и паутиной верований, составляющих культуру», именно это является задачей «культурного анализа политики» [Geertz, 1993, p. 311; русский перевод: Гирц, 2004]. По мнению Гирца, решать эту задачу должна не экспериментальная наука, занимающаяся поиском законов, а интерпретирующая наука, ищущая смысл. Открытый антисциентизм этого подхода препятствовал его интеграции в мейнстрим политической науки, тем не менее в 1970–1980-х годах политологи с интересом экспериментировали с идеями Гирца<sup>1</sup>. В 1977 г. Л. Диттмер, отталкиваясь от представления о символах как главных элементах политической культуры, предложил альтернативный способ ее концептуализации в качестве семиологической системы, которая включена в более широкую систему политических коммуникаций; его модель предполагала совмещение методов идентификации ключевых симво-

---

<sup>1</sup> Критическую оценку этих экспериментов см.: [Wedeen, 2002, p. 715–716]. Л. Уэдин, в свою очередь, предлагает обратиться к постгирцеанским теориям культуры и сосредоточиться на том, как символы работают, как и почему они порождают действие и т.д., причем приводит примеры того, как можно применять такую концепцию политической культуры на практике [Ibid., p. 719–720].

лов, разработанных антропологами, с опросами [Dittmer 1977: 583]<sup>1</sup>. Однако данная концепция так и осталась теоретическим наброском, не получившим эмпирического продолжения.

Другое направление в концептуализации политической культуры, тяготеющее к «социетальному полюсу», фиксирует внимание *на культурных основаниях поведенческих практик*. В 1970-х годах именно в этом направлении пытались развернуть данное понятие некоторые советологи<sup>2</sup>. В 1980-х годах интерес к интерпретируемой таким образом политической культуре был стимулирован развитием «нового институционализма». Пожалуй, наиболее известной работой, написанной в русле данного подхода, стала книга Р. Патнэма [Putnam, 1993; Патнэм, 1996], которая хотя и не опиралась систематически на понятие «политической культуры», но продолжала линию исследования связей между исторически складывающимися культурными основаниями политических систем и условиями стабильности демократических режимов, начатую проектом Алмонда и Вербы. Примерно в этом же русле – и подход, предложенный недавно М. Маколи, которая считает важным «вернуть» культуру в исследования политики, но не в духе классической концепции, предложенной когда-то авторами «Гражданской культуры». Преодолевая ложное, на ее взгляд, противопоставление институциональных выборов и политической культуры в качестве факторов, «ответственных» за неудачи демо-

---

<sup>1</sup> К идее исследования политической культуры в контексте политических коммуникаций «с другого конца» подошла Б. Пфетч, которая находит данное понятие (в «классической» интерпретации Алмонда и Вербы) полезным для сравнительного исследования политических коммуникаций. Как резонно утверждает Пфетч, систему политических коммуникаций «следует объяснять не только через показатели институциональной структуры политической и медийной систем, но и через субъективные ориентации акторов обеих систем» [Pfetsch, 2004, p. 347]. Этот подход вполне совпадает с выводами, сделанными в первой главе этой книги. К сходным выводам приходит и К.Ф. Завершинский [Завершинский, 2006б].

<sup>2</sup> Так, Р. Такер обращал внимание на необходимость изучения не только идеальных культурных моделей, которые с большей вероятностью фиксируются опросами, но и реальных, выявляемых антропологами [Tucker, 1987, p. 3–6]. К. Джоуитт же определял политическую культуру как «неформальную организацию государства» или как «набор неформальных адаптивных состояний (postures), как поведенческих, так и связанных с социальными установками, которые возникают в ответ на формальные установления (идеологические, политические и институциональные), характерные для данного уровня общества, и взаимодействуют с последними [Jowitt, 1974, p. 1173].

кратического транзита в России, Маколи призывает учитывать их взаимное влияние: каждый вновь создаваемый институт начинает создавать собственную культуру, которая содержит элементы, обусловленные его правилами и структурой, а также специфической средой, в которой он функционирует. И в этом смысле «говорить об институтах или культуре сообщества – значит обращаться к устоявшимся и хорошо различимым практикам» [MacAuley, 2005, p. 87].

Литература, предлагающая способы концептуализации политической культуры, альтернативные «психологическому» подходу, весьма обширна. Однако «социетальный» подход больше ориентирован на использование интерпретативных методов; он хуже поддается операционализации, его сложно использовать в сравнительных исследованиях, отсюда – ограничения возможностей его эмпирической проверки и его объяснительного потенциала. Неслучайно большинство из предложенных альтернативных концепций политической культуры так и не воплотилось в эмпирические исследования. Как справедливо отмечал Г. Алмонд, оценивая предложения своих оппонентов, «различные определения политической культуры – это, по большей части, попытки дотеоретической категоризации, направленные на доказательство важности этих культурных переменных в объяснении политических явлений, или предшествующие эмпирическим исследованиям какого-то отдельного аспекта или аспектов политической культуры» [Almond, 1989, p. 26].

Таким образом, с одной стороны, критика выявила недостатки и ограничения «психологического» подхода к концептуализации и операционализации политической культуры, однако с другой – и в рамках альтернативных подходов не было достигнуто весомых результатов. Вообще культурные аспекты политики являются собой классический пример ситуации, которую Ф. Конверс когда-то суммировал фразой: «То, что важно узнать, нельзя измерить, а то, что можно измерить – не столь важно для изучения» [Converse, 1964, p. 206]. Но это обстоятельство само по себе – не препятствие для развития исследовательских программ и кумуляции результатов, полученных в рамках отдельных проектов. На мой взгляд, причины того, что исследования политической культуры не воплотились в такого рода программы, коренятся не только в нерешенных методологических проблемах, но и в особенностях научных дискурсов, в рамках которых они обсуждаются.

## Российский академический дискурс о политической культуре в сравнительной перспективе

По-видимому, несмотря на относительную «проницаемость границ», англоязычный (и прежде всего американский) дискурс о «политической культуре» отличается от российского и по преобладающим интенциям, и с точки зрения стандартов аргументации, языка, исследовательских практик<sup>1</sup>. И в том, и в другом случае интерес к теме задается теоретическим контекстом демократизации и политической модернизации. Однако «главные вопросы» формулируются по-разному. Для англоязычного дискурса по-прежнему актуальна алмондовская постановка проблемы: каковы политико-культурные условия стабильной демократии и как можно их воспроизвести в странах, вступающих на путь демократизации? В российском же контексте те же вопросы определяются иначе: каковы возможности и пределы преобразования политической культуры и как особенности политической культуры объясняют трудности и неудачи «демократического транзита»? И в том, и в другом случае интерес к теме продиктован не только логикой научного познания, но и повесткой политической практики<sup>2</sup>, существенно различающейся для обществ, которым отводятся роли «учителей» и «учеников» в «школе политического развития».

---

<sup>1</sup> Конечно, эта граница достаточно условна, поскольку отдельные англоязычные работы по данной теме переведены на русский язык (кроме уже упоминавшихся переводов книг К. Гирца и Р. Патнэма, а также статьи Р.П. Формизано, можно указать на публикацию главы из «Гражданской культуры» [Алмонд, Верба, 1992]). Некоторые из российских авторов опубликовали свои работы на английском языке [Sergeev, Viryukov, 1993; Political culture and political change..., 1997; Lukin, 2000; по-русски: Лукин, 2005]. Наконец, язык – не препятствие для научных коммуникаций. Тем не менее несмотря на проницаемость границ, есть серьезные основания говорить о разных дискурсивных сообществах.

<sup>2</sup> По мнению И. Орена, влияние «повестки дня» на разработку концепции политической культуры надо понимать буквально: в своей статье он попытался «показать, что граница между американскими исследованиями политической культуры в годы холодной войны и политикой национальной безопасности была в лучшем случае проницаемой» [Oren, 2000, p. 545]. Мы не беремся вслед за И. Ореном утверждать, что Г. Алмонд, С. Верба и их коллеги разрабатывали свою концепцию, руководствуясь исключительно потребностями национальной безопасности, однако очевидно, что ученые, разрабатывая проекты своих исследований, не могут не принимать во внимание проблемы, волнующие их соотечественников и современников. Это обстоятельство приходится учитывать и при поиске источников финансирования.

И в том, и в другом случае исследования косвенно вносят некоторую лепту в конструирование коллективных идентичностей.

Впрочем, было бы неправильно сводить различия исключительно к факторам «общеполитического» характера. Не менее значим и собственно научный контекст. В частности, относительная маргинализация темы политической культуры в англоязычном научном дискурсе о демократизации была обусловлена не только критикой концепции Алмонда и Вербы, но и появлением в 1970–1980-х годах серии влиятельных работ Р. Даля, Д. Растоу, А. Лейпхарта и др., акцентировавших институциональные условия стабильности демократии, значение приспособления элит, выбора коалиций и т.п., которые задавали «новый тон». В центре внимания американского политологического мейнстрима оказались другие теоретические проблемы, и изучение политической культуры стало не столь актуальным. Хотя продолжали бурно развиваться «дочерние предприятия» – эмпирические исследования ценностных ориентаций, особенностей электорального поведения, политической идентификации и др., – тем не менее в разделе «исследований демократизации» возобладала точка зрения тех, кто рассматривал культуру как «остаточную» категорию, к которой стоит прибегать лишь если другие объяснения не срабатывают<sup>1</sup>. И когда в 1990-х годах вернулось убеждение, что «культура имеет значение»<sup>2</sup>, уже накопленный к тому времени опыт сравнительных исследований и успехи «конкурирующих» подходов заставили более взвешенно оценивать роль культурных факторов. Как пишет Л. Даймонд, формулируя кредо современных «культуралистов», политическую культуру следует рассматривать скорее в качестве вмещающей, нежели независимой переменной, ибо «ее влияние на характер и жизнеспособность демократии опосредовано множеством факторов» [Diamond, 1994, p. 9]. Кроме того, англо-американскую политическую науку сравнительно мало затронуло увлечение *cultural studies*, стимулированное «постмодернистской» философией. Видимо, отчасти это объясняется преобладанием в американской политологии строгих «сциентистских» стандартов

---

<sup>1</sup> Несмотря на пафос Г. Экштайна, утверждавшего, что именно политико-культурный подход, а не концепцию рационального выбора, следует рассматривать в качестве основной парадигмы развития политической теории [Eckstein, 1988, p. 789–904; Eckstein, 1996]. См. также: [Mishler, Pollack, 2003, p. 241].

<sup>2</sup> Так назывались сразу два последовательно изданных сборника: [Culture matters., 1997; Culture matters., 2000]. Последний переведен на русский язык: [Культура имеет значение, 2002].

исследовательской деятельности, «привитых» когда-то бихевиоризмом, а также – наличием достаточно жестких институциональных границ между обществоведческими дисциплинами<sup>1</sup>. Так или иначе, постмодернистские подходы к «культуре» гораздо более активно разрабатываются в англо-американской социологии, истории и философии, не говоря уже об антропологии, нежели в политической науке.

Иначе обстоит дело в России. Подавляющее большинство отечественных обществоведов убеждены в значимости социокультурных факторов, роль которых «зачастую оказывается значительно выше, чем воздействие на политический процесс институциональных структур или конституционных и законодательно-правовых норм» [Соловьёв А.И., 2002, с. 126; ср. Бирюков, Сергеев, 2004, с. 266]. И лишь очень немногие относятся к «культуралистским обоснованиям» скептически, относя их «к разряду «остаточных категорий», к которым прибегают тогда, когда не в состоянии что-либо объяснить» [Гельман, 2003, с. 9]. Рискну предположить, что столь высокий авторитет «культуры» в качестве объясняющей концепции определяется рядом особенностей российского политологического дискурса. Исходно интерес к «культуре» был стимулирован реакцией против марксистских схем с присущим им универсализмом и экономическим детерминизмом. Как справедливо отмечал Ю.С. Пивоваров, «к середине 90-х годов “политическая культура” стала тем суррогатом утерянной целостности и слаженности мира, который не могли предложить другие науки, теории и школы» [Пивоваров, 2002, с. 27]. Причем роль «и. о. старого мирозерцания» [Пивоваров, 2002, с. 27] досталась «политической культуре» неслучайно: широко понимаемый «культурализм» прекрасно вписывается в национальные интеллектуальные традиции. Неслучайно работы современных российских авторов на эту тему обильно усыпаны цитатами из трудов П.Я. Чаадаева, славянофилов, К.Д. Кавелина, Ф.М. Достоевского, Н.Я. Данилевского, В.О. Ключевского, И.А. Ильина, К.Н. Леонтьева, Н.А. Бердяева и других мыслителей XIX–XX вв., рефлексировавших по поводу особенностей русской истории и культуры. Считается, что это наследие «столь

---

<sup>1</sup> Насколько можно судить стороннему наблюдателю, междисциплинарность приветствуется в рамках специальных проектов и на страницах некоторых книг и журналов, но профессиональная карьера в академической среде определяется следованием практикам, принятым в рамках тех или иных дисциплин (или даже субдисциплин).

богато поразительно глубокими и пронизательными идеями и пророчествами относительно национального характера, отечественной культуры и менталитета, что и сегодня оно является важнейшим теоретическим и методологическим источником в исследовании феномена политической культуры и политического сознания российского общества» [Гаман-Голутвина, 2005, с. 41]. И действительно, многие работы российских политологов на эту тему «теоретически и методологически» выдержаны в русле историософских традиций русской общественной мысли, с присущей им умозрительностью, принципиальной неориентированностью на процедуры эмпирической проверки. никоим образом не умаляя интеллектуальную и культурную ценность этого наследия, обращаю внимание на два обстоятельства. Во-первых, отечественная историософская традиция складывалась в рамках другого этапа развития обществознания. И если говорить о политической науке в России, то наследие русской общественной мысли нужно не только вспоминать, но и переосмысливать с учетом наработанного как зарубежными, так и отечественными учеными в XX и XXI вв. Цитаты классиков прошлого века сами по себе – не аргументы, в лучшем случае предположения, подлежащие проверке. Во-вторых, обращаясь с этим наследием некритически, мы рискуем угодить в теоретические ловушки: умозрительные конструкции, не предполагающие эмпирической проверки, нельзя подтвердить или опровергнуть. С ними можно соглашаться или не соглашаться, руководствуясь собственным интуитивным пониманием – либо противопоставлять им другие конструкции такого же рода. В-третьих, рассматривая культуру как нечто однородное и неизменно «присущее» данному обществу («описанное еще» тем или иным классиком), мы обрекаем себя на «партикуляристский уклон», преувеличиваем уникальность российской политической культуры, и лишаемся возможности *сравнивать* и видеть наш объект в разных ракурсах.

Завершая рассуждения о причинах «популярности» политической культуры в России, стоит упомянуть еще об одном обстоятельстве. Включение «культуры» в дискурс отечественной политической науки облегчается и тем, что она входила в «первоначальный профессиональный багаж» многих российских политологов, начинавших свой творческий путь в качестве философов, историков, научных коммунистов, филологов и даже физиков и инженеров. Однако будучи хорошим ресурсом, междисциплинарность одновременно оказывается и источником проблем: какофония профессиональных языков порождает некую всеядность, пре-

пятствуя «нормализации» научного языка; отсутствие же жестких стандартов (которые, конечно, имеют не только достоинства, но и недостатки) осложняет критическую коммуникацию и «корпоративный контроль качества». Хотя отмеченные проблемы в той или иной мере характерны для всех социальных наук<sup>1</sup>, для политологии они особенно остры. Я отмечаю эти особенности не для того, чтобы упрекнуть кого-то в недостатке профессионализма. Однако для каждого из нас «планка» научного дискурса, в котором мы участвуем, – это социальная реальность, в сотворении которой мы участвуем. Безусловно, российский политологический дискурс никогда не станет – не может и не должен стать – *таким же*, как англо-американский. Но он может стать *другим*, творчески развивая интеллектуальные традиции, на которые он опирается, и осознанно преодолевая их недостатки.

Вернемся, однако, к тому, как отечественные политологи работают с «политической культурой». Как и их западные коллеги, они сталкиваются с проблемой ее концептуализации (и в меньшей степени – операционализации, поскольку число эмпирических исследований сравнительно невелико). В российских работах представлен практически тот же спектр дефиниций, что и в кратко охарактеризованной выше англоязычной литературе. Есть и оригинальные интерпретации<sup>2</sup>. Однако гораздо более типичный случай – простое перечисление разных определений (нередко – без критической оценки), сопровождаемое выводом о «многогранности» данного явления и завершаемое «интегративным» определением, в которое включаются и «убеждения», и «представления», и «репертуары смыслов», и «модели поведения» (иногда еще и «модели функционирования политических институтов»). Вследствие такого недифференцированного подхода в дальнейших рассуждениях разные смыслы понятия начинают смешиваться, и столь проблематичный для западных исследователей скачок от «психологи-

---

<sup>1</sup> Интересный анализ современных тенденций в дискурсах российских социальных наук см.: [Батыгин, 2002, с. 91–102].

<sup>2</sup> Такова, в частности, концепция, предложенная Н.И. Бирюковым и В.М. Сергеевым в русле когнитивного подхода [Бирюков, Сергеев, 1995; Бирюков, Сергеев, 1998; Бирюков, Сергеев, 2005; Бирюков, 2006]. Несомненным достоинством этих работ является то, что авторы не ограничились разработкой оригинальной «теории», но применили ее для эмпирического изучения влияния традиционной культуры на процесс становления представительных институтов власти в СССР (1989–1991) и России (1991–1993).

ческого» полюса к «социетальному» и обратно совершается без долгих рассуждений. Но вместо синтеза получается компиляция.

Отчасти такая «широта» подхода определяется тем, что большая часть российских работ о политической культуре носит «теоретический» характер: некоторые из них стремятся познакомить читателей с данной концепцией и подчеркнуть ее важность для постижения мира политики [Пивоваров, 1996; Арутюнян, 1999; Арутюнян, 2000; Шестопал, 2000: 90–120 и др.], другие посвящены характеристике разных политических культур [Баталов, 1994б; Политическая культура..., 1994; Фадеева, 2006], в частности – особенностям российской [Ахиезер, 2002; Ачкасов, 1997; Верченков, 1999; Гудименко, 1994; Каменец и др., 1997; Политическая культура..., 2003; Пивоваров, 1994], а также – региональных культур [Качкин, Качкина, 2002; Псковская политическая культура, 2004; Морозова, 1998а; Морозова, 1998б; Региональное самосознание..., 1999; Фадеева, 2006, с. 222–271]. Есть работа о «политической культуре государственных служащих», которая, правда, основана исключительно на анализе нормативных документов и вторичных источников [Гайдук, 2012]. Среди литературы о политической культуре – немало пособий к соответствующим учебным курсам [Фадеева, 2000; Малинова, 2002а; Пикалов, 2004 и др.] и большое число работ, развивающих «теорию» политической культуры [Градинар, 1996; Завершинский, 2002а; Завершинский, 2002б; Завершинский, 2002в; Фадеева, 2002; Соловьёв А.И., 2002; Соловьёв А.И., 2004; Дука, 2006 и др.].

Примечательно, что классики и «держатели патента» не рассматривали данную концепцию в качестве теории. Как писал Г. Алмонд, «политическая культура – не теория; она лишь указывает на набор переменных, которые могут быть использованы для создания теории» [Almond, 1989, p. 26]. В российском же дискурсе просматривается явная тяга к теоретизированию, разработке обобщающих построений на фоне гораздо более скромных усилий по их эмпирической проверке. Тем не менее интересные эмпирические исследования тоже имеются [Российская повседневность..., 1996а; Российская повседневность..., 1996б; Назаров, 1997; Павлова, 2005; Рукавишников, 1998; Рукавишников и др., 1998; Шестопал, 2004 и др.]. Много работ, использующих понятие политической культуры для анализа тех или иных аспектов социальной действительности [Ачкасов, Бабаев, 2000; Крадин, 2000; Малинова, 2000; Лукин, 2005; Соловьёв А.И., 1999; Шатилов, 2000; Ширинянц, 2002 и др.]. Дать подробный анализ этой обширной лите-

ратуры в рамках данной главы заведомо невозможно, поэтому выделю лишь некоторые тенденции.

Как уже отмечалось, интерес отечественных политологов к данной теме сосредоточен на двух главных вопросах: каковы возможности и пределы преобразования политической культуры и как особенности политической культуры объясняют трудности и неудачи «демократического транзита»? Нам представляется возможным аналитически разделить эти несомненно взаимосвязанные вопросы, поскольку есть очевидные различия в интерпретациях «политической культуры» в зависимости от того, на что делается основной упор («как меняется политическая культура?» или «почему не получается с демократизацией?»).

Характерной особенностью работ, сосредоточенных на вопросе «как», является понимание политической культуры в качестве *сложного и разнородного комплекса*, который, будучи весьма консервативным, все-таки способен к постепенным *изменениям*. Такой подход в большей степени характерен для специалистов по политической социологии и психологии, занимающихся эмпирическими и сравнительными исследованиями [Российская повседневность..., 1996; Рукавишников и др., 1998; Шестопад, 2004 и др.]. Однако его разделяют и некоторые теоретики [см.: Соловьёв А.И., 2004, с. 317–318]. Интерпретации, акцентирующие плюрализм субкультур, побуждают искать механизмы интеграции сложной и неоднородной политической культуры постсоветского общества и фиксировать ее динамику<sup>1</sup>. Такой подход особенно важен с точки зрения возможности целенаправленного влияния на политическую социализацию и в частности – практики гражданского образования.

---

<sup>1</sup> В качестве примера можно привести исследования изменений институциональных практик, осуществляемые коллективом Института сравнительной политологии РАН под руководством С.В. Патрушева, а также работы одного из членов этого коллектива – Г.Л. Кертмана, демонстрирующие значимость таких адаптивных механизмов постсоветской политической культуры, как традиционалистская реинтерпретация новых институтов, позволяющая уподоблять их привычным, знакомым структурным аналогам, или «катастрофизм», смягчающий социально-психологические последствия трудных процессов трансформации [Институциональная политология, 2005, с. 104–140, 265–276, 327–339, 438–447, 532–550; Кертман, 2000]. Интересный анализ трансформации советской политической культуры, заложившей предпосылки для реформ 1990-х годов, предлагается в работе А.Ю. Зудина, который подвергает сомнению «монотипическую модель» советской культуры, воспроизводящую ее «официальный автопортрет» [Зудин, 2002].

Большинство работ, пытающихся найти ответ на вопрос о причинах неудач демократизации в России, рассматривают политическую культуру как относительно неизменный «монолит», предопределяющий неизбежность «возвращения к тому, что было всегда». Подобная интерпретация не обязательно свидетельствует о том, что развивающие ее авторы не видят «сложности» политической культуры; скорее они стремятся акцентировать тенденции, которые кажутся им определяющими. Однако в результате такой редукции доминирующие формы политической культуры предстают в роли факторов, жестко детерминирующих развитие общества. Отметим, что интерпретация культуры как относительно неизменного «монолита» пользуется влиянием и в англо-американской литературе – достаточно сослаться на успех работ С. Хантингтона [Huntington, 1993; Huntington, 1996; Хантингтон, 1994]. Представляется, однако, что такого рода интерпретации – шаг назад по сравнению с концепцией *political culture*, которую Алмонд и Верба разрабатывали, преодолевая очевидные недостатки теорий «национального характера», весьма популярных в публицистике XIX в. и поставленных на «научную почву» американскими психологами и антропологами в годы Второй мировой войны [Almond, 1989, p. 14–15]. Проблема не только в издержках редукционизма – аналитическая ясность всегда обретается ценой редукции; вопрос лишь в том, действительно ли отсекаемое нами несущественно. На мой взгляд, модели, учитывающие плюрализм субкультур, сложные механизмы их взаимодействия и интеграции, противоречивую динамику разных пластов политической культуры, более перспективны для понимания данного феномена и более «современны» (в смысле соответствия интеллектуальным тенденциям XX–XXI вв.). Конечно, это – вопрос исследовательских предпочтений. Однако проблема еще и в том, что холистские интерпретации сопряжены с определенными дискурсивными рисками. В частности, представляя культуру как «монолит», сложнее удерживать дистанцию между аналитической категорией (выделенной нами по принципу противопоставления другим аспектам политических явлений и процессов, которые не есть культура) – и ярлыком, указывающим на некие неизменные черты конкретного сообщества. Смещение же этих смыслов оборачивается культурным детерминизмом не только в абстрактно-теоретической, но и в практико-идеологической плоскости.

## «Политическая культура» в политическом дискурсе современной России

Понятие «политическая культура» активно используется не только политологами, но и политиками, и российский случай в данном отношении – не исключение. По словам Арчи Брауна, «политическая культура – понятие, вошедшее в повседневный язык. Оно появляется в солидных газетах, иногда его используют политики (подчас смутно понимая, что именно они хотят сказать)» [Brown, 2005, p. 182]. То, что категории общественных наук проникают в широкий публичный дискурс, вполне естественно. С одной стороны, слово ученого обладает значимым авторитетом и за рамками научного дискурса. Авторитет «науки» встроен в культуру современного общества, и апелляция к нему является важным ресурсом, позволяющим упрочить позиции говорящего (к сожалению, часто – вне зависимости от степени его знакомства с предметом). С другой стороны, плоды трудов ученых-обществоведов в той или иной мере действительно становятся достоянием «широкой публики», отчасти – благодаря их презентации целевым аудиториям (через практические семинары и конференции, публикации в массовых изданиях и др.), но в большей степени – в обобщенном виде, через систему образования и СМИ. И в этом смысле ученые наделены определенной символической властью, ибо они принадлежат к числу групп, *дающих названия* вещам. Разумеется, эту власть не следует преувеличивать. К тому же обмен действительно является взаимным: ученые играют значимую (хотя, разумеется, не исключительную) роль в формировании «репертуаров смыслов», которыми люди оперируют, интерпретируя – и конструируя – свое социальное бытие; однако при этом и сами они не менее активно (и не всегда осознанно) черпают из тех же источников.

Пожалуй, единственной (хотя и весьма существенной) российской особенностью является отсутствие жестких границ между профанным и профессиональным знанием о политике. «Знаток» политологии считает себя едва ли не каждый выпускник советского вуза (ведь курсы «общественных наук» проходили и философы, и инженеры), а на статус «специалистов» порой претендуют люди, весьма поверхностно знакомые с состоянием этой дисциплины.

В этой части статьи я прослежу некоторые тенденции использования понятия «политическая культура» в публичном дискурсе, чтобы затем сопоставить их с обозначенными выше особен-

ностями дискурса политического. Объектом моего анализа стали тексты российских политиков и публичных интеллектуалов, которые содержат упоминания о «политической культуре» и при этом прямо или косвенно апеллируют к «научному» пониманию данного предмета<sup>1</sup>. (Многочисленные случаи употребления данного понятия в оценочном / «прогрессистском» смысле, когда на «политическую культуру» ссылаются как на что-то, чего «не хватает», что должно быть «развито» и т.п., здесь не рассматриваются.)

Понятие «политическая культура» выполняет в публичных дискурсах две основные (и взаимосвязанные) функции: оно работает на конструирование коллективных идентичностей (граждан, членов нации, «большинства» и т.д.) и служит для обоснования тех или иных политических программ. И в том, и в другом случае имеет место конкуренция разных интерпретаций.

В публичном дискурсе термин «политическая культура» чаще всего употребляется в широком значении, в качестве синонима «национального характера», «менталитета» и вообще «национальных / цивилизационных особенностей». Впрочем надо отметить, что подобное «нестрогое» использование термина – не редкость и в научной литературе. При этом говорящие / пишущие чаще всего воспроизводят «общепризнанные» характеристики русской политической культуры, список которых восходит еще к дискуссиям XIX в. Он включает в себя: склонность к авторитарной власти, доминирующую роль государства, слабые способности к самоорганизации, приверженность коллективизму, равенству и справедливости, правовой нигилизм и проч<sup>2</sup>. Происхождение этих особенностей отечественной политической культуры увязывается с географией, климатом, историей, религией и типом цивилизации. К данному способу интерпретации отечественной политической культуры, как правило, прибегают политики, находящиеся в более или менее жесткой оппозиции к «Западу» и предлагающие программы, которые отстаивают «наш собственный путь» развития и независимую (от «Запада») внешнюю политику.

---

<sup>1</sup> «Ответственной» за знание о российской политической культуре объявляется не только политология, но и история.

<sup>2</sup> Эти черты отечественной политической культуры отмечаются и в научной литературе. Весьма полный перечень представлен в статье Д.В. Гудименко [Гудименко, 1994]. Не так давно А.В. и П.В. Лукины предприняли попытку поставить под сомнение некоторые из этих «констант» [Lukin, Lukin, 2005; Лукин, Лукин, 2009].

Конструируемая таким образом модель коллективной идентичности оспаривается политиками и интеллектуалами из либерально-западнического лагеря. В этом отношении особого внимания заслуживает деятельность Фонда «Либеральная миссия», который в середине 2000-х годов стремился развивать диалог между либералами-западниками и либерально настроенными «почвенниками» [Западники и националисты, 2004; Российское государство, 2007 и др.]. Многие участники этих дискуссий ставили под сомнение «монолитную» версию российской политической культуры и пытались представить более сложную картину прошлого и настоящего. «Либеральная миссия» стремится широко освещать результаты эмпирических исследований, подвергающих проверке «константы» нашей политической культуры. В частности, можно сослаться на проект «Самоидентификация россиян в начале XXI века», авторы которого обнаружили в российском обществе существование значительного сегмента, ориентированного на нормы и принципы современной (модернистской) культуры и отвергающего как ценности, считающиеся «традиционными», так и авторитарную модель политического управления. Согласно выводу Т.И. Кутковец и И.М. Клямкина, характерной особенностью современной российской политической культуры является не столько традиционализм, сколько острый конфликт разных субкультур [Кутковец, Клямкин 2002а; Кутковец, Клямкин 2002б]. Таким образом, интерпретации, представляющие в качестве «настоящей» лишь авторитарно-традиционалистскую субкультуру, мягко говоря, не вполне правомерны.

В середине 2000-х годов, в рамках предварительной подготовки электорального сезона 2007–2008 гг., когда вопрос о третьем сроке В.В. Путина еще не был закрыт, тема политической культуры была взята на вооружение идеологами «Единой России». «Правильная» интерпретация русской политической культуры должна была сыграть особую роль в легитимации сложившегося политического режима, отчасти дополняя, а отчасти заменяя доктрину «суверенной демократии», пропагандистский характер которой был слишком очевиден. В июне 2006 г. партия «Единая Россия» и издательство «Европа» при участии Российского государственного гуманитарного университета провели в Москве месячную акцию «Дни русской политической культуры», которая широко освещалась СМИ. Согласно официальному заявлению, задача акции – «утверждение в общественном и политическом сознании российского общества понимания основ русской политической культу-

ры» [«Единая Россия» напомним., 2006]. Следует заметить, что идея не нова: о том, что «России нужна новая политическая культура, признающая огромные достижения страны, как за последние десять лет, так и в советском прошлом», идеологи и активисты партии власти говорят давно [Новая общественно-политическая культура., 2003]. Образ русской политической культуры, представленный политиками и публичными интеллектуалами, выступавшими в рамках июньской акции, был призван способствовать, с одной стороны, легитимации действующего политического режима, а с другой – интеграции общества вокруг новой стратегии национального успеха.

Обращает на себя внимание, что участники акции говорили о *русской*, а не *российской* политической культуре. Смело внедряя прежде «неполиткорректный» термин, организаторы акции преследовали двойную цель: дистанцироваться от политики ельцинского периода и «национального нигилизма» «либералов-западников», стремившихся продвигать «гражданский» вариант национальной идентичности, и «реабилитировать» традиции имперского прошлого и культуры, за которой исторически закрепилось название «русская». Впрочем, предлагая «восстановить в правах» русскую идентичность, член Президиума Генерального совета партии «ЕР» А. Исаев пояснял, что определять ее следует в терминах языка и культуры, а не происхождения [Исаев, 2006, с. 7].

В рамках акции с публичными лекциями выступили известные политики, деятели культуры, представители Русской православной церкви, журналисты и др. Предложенные ими интерпретации русской политической культуры заметно варьировались. Однако можно выделить две сквозные темы, так или иначе звучавшие в большинстве выступлений: (1) «Россия не должна стесняться своей политической культуры» [о. Чаплин, 2006] и (2) «культура определяет политику» [Кончаловский, 2006], а значит, России нужна политика, соответствующая ее политической культуре [Исаев, 2006].

Каков же образ русской политической культуры, утверждаемый «в общественном и политическом сознании российского общества» единороссами? Прежде всего, он отнюдь не «монолитен». Так, губернатор Твери Д. Зеленин, ссылаясь на политологов, которые выделяют «три типа политической культуры – тоталитарную,

авторитарную и демократическую»<sup>1</sup>, подчеркивал, что в России, вопреки стереотипам, все три типа «существовали в исторической взаимосвязи». Правда, «авторитарная составляющая в России обычно совпадала с историческими особенностями нашей страны, требовавшими как раз мобилизации ресурсов для того, чтобы обеспечить ее безопасность. Но, как правило, она не вытесняла народную составляющую, которая была связана с идеями свободы и самоуправления» [Зеленин, 2006]. Впрочем, доминировал, по Зеленину, все же авторитарный тип властной культуры. Однако и здесь были свои противовесы, ибо «тот же самодержец не может править без посредствующих властей». Уроки русской политической культуры, таким образом, свидетельствуют о главном: «...Желанный путь эволюции российской государственной системы не в государственном ограничении и размывании президентской власти, а в обретении опыта последующими, посредствующими властями. Если станут сильными партии, если они поднимут на новый качественный уровень зрелость законодательной власти, то исторический акцент на властецентризм исправится сам собой. И эта российская традиция эволюционным путем подведет нас к полноценной российской модели демократии, которая будет хороша тем, что она выросла из отечественных традиций» [Зеленин, 2006].

Впрочем, под «партиями» в данном случае понимается прежде всего сама «ЕР». Эта тема была развита в лекции А. Исаева, представившего развернутый образ русской политической культуры, черты которого идеально соответствуют политике, проводимой президентом В. Путиным и программе «ЕР». (1) Главным фактором национальной самоидентификации, по Исаеву, является государство, которое «воспринимается как абсолютная ценность». Отсюда – потребность в «суверенной демократии»: ведь в России может утвердиться любой политический режим, лишь бы он не угрожал суверенитету и «национальной идентичности, проявляющейся через государство». (2) Наша политическая культура «склонна к идеократии», «русский народ хочет идейного удовле-

---

<sup>1</sup> Это – один из продуктов «теоретизирования» российских политологов, кочующий из одного учебника в другой. В одном из них данная типология обосновывается тем, что «содержание политической культуры определяется господствующим политическим режимом власти» [Кравченко, 2001]. Вряд ли надо пояснять, насколько такая «теория» далека от исходной концепции «держателей патента».

творения больше, чем идеального». Отсюда – задача «возрождения России как сверхдержавы». (3) «Русская политическая традиция предполагает наличие ясно обозначенного лидера». Отсюда – «ЕР» открыто объявляет себя партией Путина. (4) Важная черта русской политической культуры – соборность («наличие сильного лидера в России всегда уравнивалось склонностью к детальному обсуждению, сопоставлению различных точек зрения, выработке соборного решения»). Отсюда – проект Общественной палаты. (5) Особое понимание ценностей справедливости (как «соответствия моральному чувству», а отнюдь не как равенства – отсюда правомерность программы социальных реформ), свободы (этот элемент «нуждается в пестовании», чем и собирается заняться «ЕР») и т.д. Вывод напрашивается сам собой: Россия находится в состоянии перехода и нуждается в «политической силе, которая возьмет на себя ответственность», и есть только одна такая сила – «ЕР», единственная «партия русской политической культуры». Пока она одна, ей и должны принадлежать власть и ответственность. Другим же партиям «нужно повзрослеть», а для этого – «соотнести себя с русской политической традицией». И как только это произойдет – «ЕР» проиграет выборы и уйдет в оппозицию [Исаев, 2006].

В рамках акции много говорилось о «самостоятельности» русской политической культуры, о необходимости «модернизации, но с опорой на *свою* традицию». По мысли будущего патриарха Русской православной церкви, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, постулат о необходимости модернизации «сегодня должны принять и почвенники, и либералы, и западники, и патриоты». Но «ни одна политическая сила, приходя к власти, не имеет права ставить под вопрос духовную и культурную самобытность своей страны, Россия должна остаться Россией», а для этого необходимо заботиться о сохранении «базисных» ценностей. В качестве примера такого подхода митрополит Кирилл привел Декларацию о правах и достоинстве человеческой личности, принятую недавно X Всемирным русским народным собором [Кирилл, 2006].

Еще более остро поставил проблему «самостоятельности» другой представитель РПЦ – глава отдела Межхристианских связей Московского Патриархата отец Всеволод Чаплин. По его словам, «Россия не должна стесняться своей политической культуры», которая в отличие от западных культур основана на «идеале единства народа и власти». Но ведь идея «балансирования расходящихся

ся интересов через их столкновение и через их взаимоисключающее подчеркивание» свойственна «максимум для десяти процентов населения планеты», которые уже «теряют власть – в силу того, что остальная часть этого населения начинает осознавать свои интересы, свою инаковость». Поэтому «нам не нужно бояться декларировать какие-то вещи, даже если они не совпадают с уходящей политической культурой, доминирующей из единого центра» [о. Чаплин, 2006].

Образ русской политической культуры, представленный участниками акции, организованной «ЕР» в 2006 г., отличается от ее монолитно-традиционалистского портрета, который в середине 1990-х годов тиражировали сторонники народно-патриотической оппозиции [Зюганов, 1996; Подберезкин, 1996]. Проект единороссов ориентирован на поддержку программы авторитарной модернизации, он признает некоторую гетерогенность отечественной политической культуры и подчеркивает потенциал ее развития (которое, однако, должно осуществляться при умелом руководстве). Однако нетрудно заметить, что при всей «широте» подхода и стремлении учесть разные аспекты и тенденции, предложенный единороссами образ русской политической культуры репрессивен по отношению к иным интерпретациям: все, что не вписывается в представленный список, может быть объявлено чуждым отечественным традициям – с последующим зачислением сторонников иных политических курсов в ряды «не желающих», чтобы «Россия оставалась Россией». Таким образом, «политическая культура» превращается в оружие идеологической борьбы, наполняясь различными смыслами.

Год спустя, уже на старте нового электорального цикла тему «русской политической культуры» подхватил главный идеолог путинского режима, заместитель главы администрации президента В. Сурков<sup>1</sup>. В лекции, прочитанной в Президиуме РАН, он изложил собственное понимание связи между «новым зданием российской демократии» и политической культурой, интерпретируя последнюю как «генетическую формулу», определяющую спектр

---

<sup>1</sup> Примечательно, что годом раньше в программной статье «Национализация будущего» Сурков говорил о *российской* нации и особо подчеркивал, что «вне татарского, угорского, кавказского измерений русское политическое творчество неполно» [Сурков, 2006а, с. 40–41]. Тем не менее в 2007 году он счел нужным поддержать «бренд», разрабатываемый «ЕР». Впрочем, он нашел возможность подчеркнуть «параллелизм» терминов («Нам Бог велел быть русскими, россиянами» [Сурков, 2007б]).

будущих возможностей. Согласно формулировке Суркова, происходящий из европейской цивилизации «новый демократический порядок» «жизнеспособен в той мере, в какой естественен, т.е. национален. Если не отрицает русскую политическую культуру, а принадлежит ей и развивается не вопреки, а вместе с ней» [Сурков, 2007б]. Выделяя три фундаментальные особенности русской политической культуры («стремление к политической целостности через *централизацию* властных функций», *идеализацию* целей политической борьбы и *персонификацию* политических институтов), Сурков доказывал, что «концепция суверенной демократии наилучшим образом соответствует основам русской политической культуры», которая «располагает достаточным потенциалом для выработки российской демократической модели» [Сурков, 2007б].

Позже выражение «политическая культура» было несколько раз использовано в программных текстах президента Д.А. Медведева, провозглашавших курс на «модернизацию». В статье «Вперед, Россия!», опубликованной в сентябре 2009 г., упоминалось о том, что будущая российская политическая система должна «отвечать *политической культуре* свободных, обеспеченных, критически мыслящих, уверенных в себе людей» (которой еще только предстоит возникнуть). Правда, как уточнялось несколькими абзацами ниже, предполагаемая трансформация произойдет не вдруг и на основе нашего собственного исторического опыта, ибо «*политическую культуру* не переделать простым подражанием политическим обычаям передовых обществ» [Медведев, 2009а]. А в послании Федеральному Собранию в числе «многих аспектов политической жизни», обоснованно подвергающихся «общественной критике», было указано на «низкий уровень политической культуры» [Медведев, 2009б]. Таким образом, заимствованный из политической науки термин был использован и для легитимации целей модернизации (политическая система должна «отвечать» политической культуре), и для объяснения причин невозможности их реализации в ближайшем будущем («низкий уровень политической культуры»), и для определения ориентиров (будущая «политическая культура свободных... людей»), и для утверждения национального «я» («только наш собственный опыт демократического строительства...»). Как было показано выше, всем этим смысловым модальностям термина нетрудно найти соответствия и в академическом дискурсе.

## Заключение

Приведенные примеры показывают, как легко понятие, разработанное для «нейтрального» сравнительного анализа культурных оснований стабильности демократических режимов, приобретает нормативные и предписывающие функции, превращаясь в средство обоснования конкретных программ. Идеологизация «политической культуры» облегчается, с одной стороны, многозначностью термина<sup>1</sup>, а с другой – встроенными уже в базовую концепцию Алмонда и Вербы нормативными «уклонами». Не стоит забывать, что она разрабатывалась в годы «холодной войны», в контексте жесткого противостояния «демократии» и «тоталитаризма». «Политическая культура» указывала на совокупность исторически сложившихся свойств, которые оказывались своего рода «пропуском», облегчавшим или затруднявшим путь к «хорошему» (т.е. демократическому) обществу. Вряд ли вынесение такого рода вердиктов входило в планы авторов «Гражданской культуры» (скорее, наоборот: стремление «изучить демократию с точки зрения чувств и отношений» было продиктовано желанием дать «элитам новых наций» рецепты успеха [Almond, Verba, 1989, p. 4]). Однако их проекту (как и теориям политической модернизации, в русле которых он задумывался) был не чужд «культурный империализм», т.е. стремление представить некий опыт как универсальный и нормативно желательный, задавая тем самым шкалу для оценки для других типов опыта. Независимо от намерений его авторов, проект вносил определенную лепту в конструирование коллективных идентичностей изучаемых сообществ, ибо его результаты имели не только теоретическое, но и практическое значение. Тем, у кого не было шансов на получение «высоких оценок», оставались две стратегии: пытаться усовершенствоваться в соответствии с заданными стандартами (рассматривая знание о политической культуре демократических режимов как ориентир для программ гражданского образования и др.) или найти другие

---

<sup>1</sup> По-видимому, выбор словосочетания «политическая культура» для обозначения «политической системы, как она преломляется в знаниях, чувствах и оценках населения» [Almond, Verba, 1989, p. 13] был не вполне удачным. Слово культура имеет множество ценностно окрашенных коннотаций, что затрудняет его использование в качестве нейтральной аналитической категории: слишком велик соблазн свести «культуру» к «чертам», присущим конкретному сообществу, и перевести обсуждение в плоскость символической борьбы за определение и переопределение его «идентичности».

стандарты, которые позволят оправдать собственную инаковость. Обе стратегии представлены в российском публичном дискурсе, хотя вторая несомненно доминирует.

Впрочем, было бы неправильно объяснять эффект идеологизации «политической культуры» исключительно исходными «нормативными уклонами» концепции *political culture*. Стремление политических акторов найти идеологические решения, позволяющие «узаконить» их программы в глазах населения, равно как и желание обратиться при этом к культуре и традициям вполне естественны. Как понятно и то, что, интерпретируя культуру и традиции, партийные идеологи стремятся не столько воспользоваться плодами научного знания, сколько использовать его авторитет в собственных целях. Они делают свое дело и справляются с ним неплохо. Вопрос в том, могут ли российские политологи предложить альтернативные интерпретации, опирающиеся на серьезные исследования – и не просто предложить, но и эффективно представить их широкой публике? Смогут ли они провести ясную границу между научным и политико-идеологическим дискурсом? Хотелось бы верить, что когда-нибудь так и будет: и интерес отечественных исследователей к данной теме, и уже накопленные ими заделы внушают определенный оптимизм. Однако стоит поторопиться, чтобы границу не провели те, кому хотелось бы вернуться к «принципу партийности в науке», предписав обсуждать политическую культуру исключительно в соответствии с «генеральной линией».

#### 4. ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И НАУЧНОГО АНАЛИЗА<sup>1</sup>

В последней трети XX в. «идентичность» стала модным словом в западном научном и публичном дискурсе, причем дискуссии в академической среде оказались одновременно и реакцией на новые политические тенденции, и их катализатором. Интерес к этой теме был стимулирован фундаментальными социальными и политическими трансформациями, которые принято описывать с помощью понятий «постмодерн», «постколониализм», «глобализация», «распад коммунистической системы», «конец истории» и т.д. [см.: Лапкин, 2012]. Мода на «идентичность» знаменовала собой распространение новых способов интерпретации социальной реальности, которые сформировались в русле интеллектуальных течений, вызванных потребностью в осмыслении этих разновекторных процессов. Хотя русскоязычная литература по данной проблематике в количественном отношении существенно уступает англоязычной, и в России в последние 10–15 лет проблематика «идентичности» оказалась популярной у представителей разных дисциплин – философов, социологов, психологов, этнологов, специалистов по международным отношениям, историков и др. В том числе ее активно осваивают и политологи [Права человека..., 2005; Морозов В., 2009; Идентичность как предмет..., 2011; Политическая идентичность..., 2012а, 2012б и др.]; в 2009 г. возникла и активно развивается Экспертная сеть по исследованию идентичности<sup>2</sup>, на ее основе в 2010 г. была создана исследовательская группа

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в сборнике научных трудов «Политическая наука: Идентичность как фактор политики и предмет политической науки» [Малинова, 2005а; см. также: Малинова, 2005б].

<sup>2</sup> Подробнее см. сайт: <http://www.identity.ucoz.ru>

Российской ассоциации политической науки. В этой главе я попытаюсь проследить путь, проделанный понятием «идентичность» в западном академическом и общественно-политическом дискурсе за последние 30 с лишним лет, и оценить перспективы его использования в качестве инструмента для исследования политики.

С 1960–1970-х годов все более заметную роль в формировании политико-идеологических ландшафтов западных демократий стали играть так называемые новые общественные движения, требующие признания «идентичности»<sup>1</sup> различных групп, занимающих подчиненное положение в обществе (расовых, гендерных, этнических, религиозных и др.). Идеологии этих движений весьма разнообразны, однако все они подчеркивают культурные различия, стоящие за существующей системой социального неравенства, и указывают на необходимость пересмотра доминирующих концепций, представлений, образов и практик<sup>2</sup>. Таким образом, их «новизна» заключается в стремлении сместить акценты со ставших традиционными для западной политики второй половины XX в. проблем распределительной (экономической) справедливости на вопросы, связанные с символической (культурной) несправедливостью.

Впрочем, эта новизна отчасти была следствием специфической оптики, присущей классической социальной теории, видевшей главный мотив коллективных политических действий в *интересах*. По словам известного социолога Крейга Кэлхуна, «политика идентичности... была неотъемлемой частью современной политики и общественной жизни на протяжении сотен лет. Однако она вынуждена была соперничать с различными универсализирующими концепциями..., отвергавшими различия, и это обстоятельство повлияло на формирование природы не только политики,

---

<sup>1</sup> Понятие «идентичность» (от лат. *identitas* – тождественность) имеет множество разных определений, что определяется его междисциплинарностью и наличием принципиально разных концептуальных подходов. В настоящей работе данное понятие используется для обозначения *социально детерминированных представлений индивидов (или групп) о своем Я (или Мы)*.

<sup>2</sup> Существуют разные термины для описания этих требований: «политика идентичности», «политика признания», «политика различий», «мультикультурализм», «права меньшинств», «дифференцированное гражданство» и др. Отсутствие устоявшейся терминологии, по-видимому, является следствием практической актуальности проблемы адаптации культурных различий: понятия перетекают из быстро меняющегося политического дискурса в теоретический и обратно, не успевая обрести устоявшийся конвенциональный смысл.

но и академического мышления» [Calhoun, 1994, p. 23; ср.: Рашковский, 2012]. Таким образом, «политика идентичности» была инициирована теми, кто подвергся маргинализации как вследствие сложившихся политических практик, так и в силу преобладающих теоретических представлений. Неудивительно, что она стимулировала заметные изменения в «объяснительных парадигмах» общественных наук: в фокусе внимания оказались не *интересы* и *нормы*, а *идентичности* и *солидарность*, что означало иной подход к объяснению социального действия. Теории «политики идентичности» исходят из предположения, что люди, относящиеся к одной социальной категории и имеющие сходный жизненный опыт (в зависимости от пола, цвета кожи, принадлежности к тому или иному поколению, сексуальной ориентации и др.), будут действовать на основе этих общих атрибутов (а не по причине рационально понятых интересов или усвоенных ценностей). Таким образом, была подвергнута критике идея универсального социального актора, который при ближайшем рассмотрении оказался наделен весьма специфическими свойствами индивида мужского пола с белым цветом кожи, принадлежащего к западной цивилизации и воспитанного в духе иудеохристианских культурных традиций [см.: Somers, Gibson, 1994, p. 53–54].

Новые политические и академические тенденции были тесно взаимосвязаны. Идея «политкорректности» в США поначалу была новой версией левой идеологии, альтернативной терявшим свое влияние марксизму и либерализму. Первые работы, легитимировавшие идею исследования истории и теории общества с точки зрения исключаемых и принижаемых групп (гендерных, расовых и др.), были, по словам Тодда Гитлина, написаны учеными, которые «одной ногой стояли» в движении за гражданские права и антивоенном движении (хотя основная теоретическая работа была выполнена их учениками). Это поколение создало свою «политику» подобно тому, как другие формируют свою моду и свою музыку [Gitlin, 1994, p. 153–154]. Дискурс об идентичности, возникший как маргинальное течение, спустя два десятилетия превратился в уважаемый академический мейнстрим.

Понятие «политика идентичности» объединяет множество разных движений, стратегий и дискурсов, общим для которых является отрицание иерархии идентичностей, сформированной капиталистической мир-системой. Последняя устроена по принципу бинарных оппозиций, в рамках которых различия интерпретируются с точки зрения несомненного превосходства одной из кате-

горий (универсальное – партикулярное, Запад – Восток, мужское – женское, белый – черный (цветной), цивилизованный – отсталый и т.д.). Эта иерархическая система оставляет «подчиненной» стороне каждой из оппозиций две возможные стратегии. Первая («стратегия равенства») заключается в том, чтобы доказать свою принадлежность к привилегированной категории, показав, что различия не являются политически значимыми. В качестве инструментов ее реализации может выступать борьба за права человека или равное гражданство<sup>1</sup>. К такой стратегии прибегало рабочее движение в XIX в., либеральный феминизм, движение за гражданские права в США в 1960-х годах, а также некоторые антиколониальные движения. Вторая («стратегия переоценки различий») предполагает борьбу за признание достоинства «подчиненной» идентичности и изменение ее положения в иерархии. Как показывает Джудит Сквайерс, эти две стратегии (по крайней мере, теоретически) обозначают разные полюса в женском движении и выражаются в принципиально разных требованиях. Сторонницы «перспективы равенства» стремятся преодолеть сексистские предубеждения, дискриминирующие женщин, добиваясь участия в публичной сфере на равных с мужчинами. Сторонницы «перспективы различий» утверждают, что «стратегия равенства», с одной стороны, обречена на поражение в обществе, где господствуют патриархатные нормы, а с другой – подавляет «истинную» природу женщин. Поэтому нужно стремиться сделать привилегированным то, что прежде занимало подчиненное положение, дав женщинам возможность говорить «своим собственным языком», к которому необходимо внушить уважение [Squires, 2002, p. 8–12].

Проблема, однако, заключается в том, что «стратегия переоценки различий», стремясь разрушить устоявшиеся иерархии и связанные с ними практики исключения и принижения, «цементирует границы», порождая, согласно выражению Маргарет Сомерс, «свои собственные “обобщающие фикции”, в рамках которых одна-единственная категория (например, гендер) перевешивает любое количество иных налагающихся друг на друга различий (таких как раса или класс)» [Somers, 1994, p. 610]. Тем самым одной *эссенциалистской* (т.е. представляющей групповые различия

---

<sup>1</sup> Роль гражданства в качестве инструмента исключения и объекта борьбы за включение хорошо продемонстрирована И. Валлерстайном [Wallerstein, 2003]. Обзор дискуссий по проблемам гражданства в контексте «политики идентичности» см.: [Малинова, 2004].

как нечто «естественное», фундаментальное и неизменное) интерпретации противопоставляется другая, не менее эссенциалистская. Такого рода интерпретации в какой-то мере ориентируются на обыденное значение понятия «идентичность»<sup>1</sup>, подчеркивая *фундаментальное тождество*, с одной стороны, между людьми, принадлежащими к группе, с другой – индивидов самим себе во времени. Предполагается, что идентичность – это то, чем обладают или должны стремиться обладать *все* индивиды и *сложившиеся* социальные группы. Более того, идентичность – это то, чем можно обладать неосознанно, а значит, то, в отношении чего можно заблуждаться, что можно «открыть». (Такая логика особенно характерна для национализма, рассматривающего «пробуждение» национального самосознания в качестве одной из главных своих функций.)

Эссенциалистские интерпретации стали объектом критики со стороны *социального конструктивизма* – ныне весьма влиятельного подхода, начало которому положила книга Питера Бергера и Томаса Лукмана «Социальное конструирование реальности» (1966) [Бергер, Лукман, 1995]. Следствием теоретических и эмпирических исследований конструктивистов стало постепенно утверждающееся в научном дискурсе представление о том, что «идентичность» – вовсе не «цельная и истинная» сущность, а нечто неоднозначное, подвижное, множественное, зависящее от контекста. Вопреки привычному семантическому репертуару, в аналитическом смысле данное понятие отнюдь не указывает на некое стабильное ядро «Я», сохраняющееся от начала до конца несмотря на «внешние» перипетии. В современном обществе идентичности становятся все более множественными, фрагментированными, изменчивыми, зависимыми от контекста. По словам Стюарта Холла, «речь не столько о том, “кто мы” и “откуда”, сколько о том, чем мы можем стать, как нас представляют другие и как это соотносится с нашими собственными представлениями о себе... Идентичности создаются в процессе репрезентации, а не за его рамками» [Hall, 1996, p. 4]. И в этом смысле «политика идентичности» несомненно конструирует и переопределяет группы, от имени которых она осуществляется. Выступая против сложившихся

---

<sup>1</sup> Эти представления, в свою очередь, сконструированы на основе множества концепций, составляющих метанарратив Современности, которые в снятом виде стали частью обыденного знания, воспроизводимого во множестве разных дискурсов, от научных до художественных и повседневных.

практик исключения и принижения, ее сторонники представляют различия как нечто бесспорное и несомненное (а не относительное и существующее в контексте определенных отношений), постулируя при этом некое *содержание* данной идентичности, на основе которого и формулируются притязания на ее «признание». Сам факт принадлежности к группе зачастую интерпретируется как право говорить от ее имени, а наличие соответствующего опыта – как показатель истинного знания. В стремлении обеспечить пресловутую «политкорректность» и то, и другое порою доводится до абсурда [см.: Scott, 1995, p. 9–10].

Под влиянием конструктивизма в социальной теории утвердились более «мягкие» интерпретации «идентичности», переосмысливающие данное понятие. Так, многие исследователи предпочитают говорить не об идентичности (как результате), а об *идентификации* (как процессе). Согласно формулировке Этьена Балибара, «в действительности, нет никаких идентичностей, только идентификации: либо с институтами как таковыми, либо с другими субъектами посредством институтов... Идентичности являются всего лишь идеальной целью процесса идентификации..., воображаемым референтом» [Balibar, 1995, p. 187.]<sup>1</sup>. Такой подход ориентирует на анализ сложных и противоречивых *процессов*, результатом которых (никогда не окончательным) являются те или иные представления об идентичности. Как справедливо заметил К. Кэлхун, «рассматривать идентичности только как отражение “объективных” социальных позиций или обстоятельств – значит изучать их ретроспективно. Таким образом мы не можем осмыслить того динамического потенциала, который – к лучшему или к худшему – заключен во внутренних конфликтах индивида, а также в соперничестве культурных дискурсов, которые приписывают индивидам определенное место» [Calhoun, 1994, p. 28]. Акцент на идентификацию позволяет, таким образом, показать реляционный, динамический и всегда незавершенный характер того, что мы называем «идентичностью».

---

<sup>1</sup> Той же позиции придерживается и С. Холл, по словам которого «идентификация – это... процесс артикуляции, склеивания и переопределения, а не категоризации... Как и все практики приписывания смыслов, идентификация подвержена игре различий. Она подчинена логике “больше, чем одно”. А будучи процессом, она осуществляется через различия и предполагает дискурсивную работу по установлению и маркировке символических границ» [Hall, 1996, p. 3].

Кроме того, идентичности всегда *множественны и относительны*. Социальный агент – это своего рода «ансамбль субъективных позиций», который никогда не застывает в жесткой системе различий. По мысли Шанталь Муфф, такой агент конституируется множеством разных дискурсов, между которыми нет необходимых отношений, но есть постоянное движение переопределения и вытеснения. «Идентичность» его всегда вероятностна, она лишь временно зафиксирована на пересечении субъективных позиций и зависит от специфических форм идентификации. При этом имеет место не столько «сосуществование» множества субъективных позиции, скорее их постоянное переопределение и взаимовытеснение, что делает возможным «суммарные эффекты» в рамках поля, границы которого тем не менее открыты [Mouffe, 1995, p. 33–34].

В современной литературе преобладает трактовка «идентичностей» как *дискурсивных* конструкторов, которые оказываются весьма гибкими и зависимыми от контекста. Как подчеркивает Ивер Нойман, «идентичности подвижны не только во времени и пространстве, но даже когда они относятся к одним и тем же субъектам в той же самой точке времени и пространства» [Neumann, 1998, p. 400]. В зависимости от контекста активизируются разные репрезентации Нас и Других. Признание дискурсивной природы идентичности влечет за собой и другой важный вывод: наши представления о групповой (коллективной) идентичности являются результатом *символической борьбы*, соперничества разных способов классификации и названия, разных нарративов об идентичности. По словам Денниса-Констана Мартина, «всегда сосуществует несколько нарративов об идентичности, соперничающих друг с другом за политический рынок, и граждане могут делать между ними выбор» [Martin, 1995, p. 5]. В результате этого соперничества одни модели идентичности (т.е. представления о том, что *значит* быть представителем данной группы) могут оказаться преобладающими, тогда как другие будут вытеснены на второй план, однако «победу» никогда нельзя считать окончательной. Таким образом, важно помнить, что группы, которые конституируют идентичности индивидов, сами постоянно находятся в состоянии определения и переопределения (причем происходит это в контексте отношений власти и господства).

Изменились и представления о механизмах формирования идентичностей: наряду с исследованиями идентификационных эффектов классификаций, навязываемых властью или иными но-

сителями авторитета<sup>1</sup>, вслед за Полем Рикёром исследователи обратили внимание на конструирующие функции *нарративов*. По мысли социолога М. Сомерс, «маленькая революция с потенциально огромными последствиями», которая произошла в связи с переосмыслением значения нарративов, позволяет по-новому взглянуть на процесс формирования идентичностей [Somers, 1994, p. 613. Ср.: McNay, 1999]. На смену прежним представлениям о повествовании как форме репрезентации знания, позволяющей упорядочить хаос живого опыта, пришли концепции, доказывающие, что общественная жизнь фундаментально «историзирована», и нарративность представляет собой ее *онтологическое условие*. Именно через «истории» люди познают и интерпретируют социальный мир. Они поступают так, а не иначе на основе проекций, ожиданий и воспоминаний, почерпнутых из широкого, но все же ограниченного репертуара социальных и культурных повествований, которые им доступны. По мнению Сомерс, исследование формирования идентичности через концепт нарратива позволяет ввести в наш анализ дополнительные измерения времени, пространства и отношения, благодаря чему исчезает соблазн отождествлять «идентичность» с фиксированными единичными категориями [Somers, 1994, p. 606]<sup>2</sup>.

Критика эссенциализма побуждает к пересмотру описанных выше стратегий сопротивления господствующим практикам исключения и принижения: и «стратегия равенства», и «стратегия переоценки различий» ведут к «цементированию границ». Вместе с тем деконструкция идентичностей через указание на социальные и культурные процессы, в результате которых они были сконструированы, сама по себе не решает проблемы несправедливости

---

<sup>1</sup>Прежде всего властью навязывать идентичность через классификацию обладает государство, своими правовыми установлениями разделяющее находящиеся на его территории индивидов на множество разных категорий в зависимости от качеств, которые определяются как значимые (причем отнесение к той или иной группе влечет за собой некие практические последствия). Важную роль в определении межгрупповых границ имеют и статистические процедуры, осуществляемые по инициативе или при поддержке государства, в частности переписи населения. Интересный анализ переписей как инструмента конструирования идентичностей см.: [Kertzer, Arel, 2002]. Однако «властью называть» обладают также и ученые, см.: [Расизм., 2002].

<sup>2</sup>Примером применения данной идеи может служить интересное исследование дискурсивного конструирования национальной идентичности в Австрии: [The discursive construction..., 1999].

сложившихся символических (и связанных и ними материальных!) практик. В качестве альтернативы «политике идентичности» некоторые теоретики предлагают «политику различий» или «перспективу многообразия (diversity)», настаивая на том что различия следует не замораживать и не разрушать, но «поощрять», уходя от мышления посредством иерархически организованных пар категорий. В поисках политических форм для реализации этой программы сторонники «перспективы многообразия» обратились к анализу идеала «делиберативной демократии», предложив новые варианты его прочтения [Young, 1997; Miller, 2000], которые, по видимому, уже претендуют на роль самостоятельных нормативных концепций [Four models..., 2002, p. 306–316; Williams, 2000]. Важно, однако, отметить, что в контексте данного подхода «идентичность» оказывается избыточной категорией: излишняя озабоченность на этот счет скорее мешает перестройке общественного мышления на нужный лад, поскольку в повестке дня – не формирование сильного чувства коллективной идентичности (всегда чреватого эссенциализмом), а «позитивное» признание множественных и пересекающихся различий.

Вместе с тем высказываются сомнения и в продуктивности «идентичности» как научного термина. В получившей заметный резонанс статье «За пределами идентичности» Р. Брубейкер и Ф. Купер предлагают разделять использование данного понятия как категории практики и научного анализа. То обстоятельство, что слово «идентичность» широко используется обычными социальными акторами (прежде всего – политическими антрепренерами, стремящимися убедить людей *определённым* образом понимать себя и свои интересы), не означает автоматически, что оно эффективно в качестве категории научного анализа. По мнению Брубейкера и Купера, дело обстоит как раз наоборот: «жесткие» концепции идентичности страдают эссенциализмом; они фактически сливаются с языком практики, что делает их непригодными для ее анализа; «мягкие» же, конструктивистские концепции означают «слишком мало, почти ничего». Поэтому «та теоретическая и концептуальная работа, которую, как предполагается, должно выполнять это понятие, может быть выполнена гораздо лучше с помощью совсем других понятий, менее двусмысленных и менее нагруженных коннотациями» [Brubaker, Cooper, 2000, p. 1; Бру-

бейкер, Купер, 2002]<sup>1</sup>. В частности, авторы статьи предлагают исследовать: 1) процессы *идентификации* и *категоризации* (различая при этом реляционную идентификацию, ориентированную на позицию в системе социальных отношений, и категориальную, определяемую выделенными (кем-то!) классами, отличающимися общими атрибутами); 2) *понимание субъектом себя и своего места* (self-understanding и self-location) (эти термины представляются Брубейкеру и Куперу предпочтительными по отношению к «самоидентификации», ибо не предполагают обязательной артикуляции и не имеют семантической связи с категориями сходства и подобия); 3) *общность, связанность отношениями, принадлежность к группе* (commonality, connectedness, groupness), т.е. разные формы и механизмы социальных связей, определяющих чувство принадлежности [Brubaker, Cooper, 2000, p. 14–21]. По мнению авторов статьи, «настало время выйти за рамки «идентичности» – не во имя воображаемого универсализма, а ради концептуальной ясности, которая нужна и для социального анализа, и для понимания политики» [Ibid., p. 36].

Таким образом, проделав долгое путешествие по страницам газетных полос, телепередач, а также научных книг и журналов, «идентичность» подошла к рубежу, за которым она в силу перегруженности взаимоисключающими смыслами стала восприниматься как «лишняя» категория. И это, наверное, вполне закономерно для понятия, оказавшегося в эпицентре не только теоретических, но и политических дискуссий, которые привели к трансформации прежних способов интерпретации социальной реальности. Окажется ли «идентичность» исключена из научного дискурса или же переосмыслена – покажет время. На наш взгляд, вероятнее все же последнее: во-первых, в силу невозможности эффективно контролировать границы между научными и обыденными дискурсами, во-вторых, потому, что несмотря на очевидную потребность в более дифференцированном анализе *разных* явлений, объединяемых данным термином, сохраняется и необходимость понимания того общего, что их связывает (ибо социально конструируемый характер этой связи не означает, что она не является реальностью общества, в котором мы живем).

Релевантность «идентичности» как категории *политической практики* вряд ли подлежит сомнению. «Идентичность» была и

---

<sup>1</sup> К отказу от «идентичности» призывают и некоторые отечественные авторы: [Малахов, 1998].

остается одним из наиболее эффективных механизмов мобилизации: чтобы побудить людей на коллективные действия, важно заставить их воспринимать себя как группу, сплоченную общими интересами и противостоящую другим группам; при этом чем к более «очевидным» факторам сходства и различия мы апеллируем, тем проще достичь данной цели. Поэтому стремление политиков использовать «идентичность» для оформления собственных притязаний вполне объяснимо. (И в этом смысле не совсем понятно, как «политика различий», которая сознательно стремится к размытию жестких демаркационных линий между группами, может осуществляться в качестве «нормальной» политики, ставящей целью доступ к власти, а не только борьбу за доминирование определенного дискурса.) Проблема консолидации особенно актуальна в отношении больших воображаемых сообществ, «образующих» политики, которые структурируют современную мировую политику [см.: Семененко, 2012]. Таким образом, конструирование, артикуляция и мобилизация идентичностей были и остаются существенными аспектами политического процесса, которые необходимо изучать. Вместе с тем «политика идентичности» – благодатное поле для анализа механизмов символической борьбы: как бы ни относиться к идее «смены парадигм», смещающей фокус с «интересов» на «идентичности», апелляция к последним действительно играет значимую роль в современной политической практике и заметно влияет на конфигурацию идейно-символического пространства (что я и попытаюсь продемонстрировать в третьей части).

Разумеется, категориальный аппарат для такого рода исследований нуждается в переосмыслении и дифференциации. Существует потребность в конкретизации разных смыслов, вкладываемых в понятие «сообщество» (*community*), «группа» (в частности, К. Кэлхун предлагает различать собственно «*сообщества*» – относительно малые группы, создавшиеся по сетевому принципу на основе непосредственно межличностных (а не исключительно формально-юридических) отношений; «*категории*» – большие группы с низкой плотностью межличностных связей, основанные на общности неких признаков (действительных или мнимых) и «*публики*» – квазигруппы, формируемые за счет участия в общем публичном дискурсе [Calhoun, 1999])<sup>1</sup>. Стоит уточнить значение

---

<sup>1</sup> Хочется отметить, что феномен «сообществ» стал предметом самостоятельного анализа отечественных исследователей [Сообщества..., 2009].

некоторых метафор, используемых для описания феномена «коллективной идентичности», например, метафоры «коллективной памяти». Как показал Дункан Белл, необходимо различать коллективные воспоминания, связанные с общим опытом в рамках пространства и времени (т.е. акты коллективной артикуляции таких воспоминаний) и то, что он называет мифопанорамами (*mythscapes*), т.е. дискурсивные сферы, в которых постоянно формируются, распространяются, обсуждаются и реконструируются мифы, лежащие в основе тех или иных коллективных идентичностей (прежде всего – мифы нации) [Bell, 2003]. Важным уточнением наших представлений о формировании идентичностей является и упоминавшаяся выше концепция «нарративной идентичности».

Примеры можно продолжать, однако все они указывают на необходимость, с одной стороны, дальнейшего изучения *разных* (в большинстве своем – политических) механизмов конструирования социально-культурных различий, а с другой – уточнения системы понятий, с помощью которых мы можем описывать как соответствующие процессы, так и их временные и текущие результаты. Иными словами, «идентичность» по-прежнему остается важным объектом для изучения. Однако этот объект требует более дифференцированного описания.

## Часть II.

# ТРАНСФОРМАЦИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ И БОРЬБА ЗА СМЫСЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ

---

### 5. ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА И КОНКУРЕНЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В РОССИИ: ОТ 1990-х К 2010-м<sup>1</sup>

Изменение практик производства, распространения и конкуренции политических идей – существенная составляющая постсоветской трансформации, которая нередко выпадает из поля зрения исследователей. Контраст между позднесоветским обществом, в котором прочно доминировала официальная коммунистическая идеология, и плюрализмом доктрин и программ, обнаруживаемым в публичном пространстве России постсоветской, очевиден. Но как этот плюрализм «задействован» в политическом процессе, в какой мере конкуренция идей влияет на поведение элит и рядовых граждан? И насколько полно артикулированные в публичном пространстве идеи отражают реальный спектр общественных настроений? В теории полиархии Р. Даля свобода выражения мнений рассматривается не только как основное право человека, но и как одно из фундаментальных условий демократического правления. «Качество» политических коммуникаций определяется тем, насколько они способствуют достижению гражданами «просвещенного понимания» вопросов, по которым принимаются властные

---

<sup>1</sup> Первый набросок текста этой главы был представлен в качестве доклада на семинаре «State and Society in Transition», организованного Институтом Кеннана Международного научного центра им. Вудро Вильсона в Университете Дарема (Великобритания) 19–20 января 2006 г. (см.: [Malinova, 2011]). На русском языке статья была опубликована в журнале «Полис» [Малинова, 2007a]. Позже тема трансформации публичной сферы в постсоветской России была развита в рамках коллективного исследовательского проекта «Идейно-символическое пространство политики в постсоветской России: структура, институциональная среда, акторы», поддержанного Российским гуманитарным научным фондом, грант № 10-03-00209а [Идейно-символическое пространство..., 2011].

решения [Даль, 2003, с. 166–167]. Конкурирующие политические программы формируют спектр альтернатив, в рамках которого граждане могут осуществлять свой выбор. Таким образом, значение имеет не только возможность высказать те или иные взгляды, но и способность разных акторов представить более или менее ясные способы понимания и решения общественных проблем, а также донести эти представления до нужной аудитории.

Очевидно, что современный российский политический режим по многим параметрам (в том числе и с точки зрения практик публичной коммуникации) не вписывается в идеально-типические рамки демократии даже при узко-процедурном ее понимании. Однако он существенно отличается и от позднесоветского. Как справедливо пишет К. Рогов, «мягкий, «электоральный» авторитаризм, хотя и стремится редуцировать прямое влияние общества на правительство, в то же время весьма озабочен проблемой общественного мнения... В свою очередь, и общественное мнение в условиях подобных режимов обладает значительной автономией от власти...» [Рогов, 2010, с. 9]. Поэтому деятельность, направленная на производство конкурирующих способов интерпретации социальной реальности, представляется значимой для политических акторов, даже если она прямо не влияет на политический выбор, а складывающуюся конфигурацию идейно-символического пространства приходится учитывать при анализе институтов и процессов. При этом, как я попыталась показать выше, существует потребность в изучении не только содержания представленных в публичном пространстве идеологических альтернатив, но и меняющихся институциональных условий их производства и конкуренции.

В данной главе, опираясь на работы других авторов и результаты моих собственных исследований я попытаюсь проследить, как менялись институциональные возможности для артикуляции и распространения конкурирующих дискурсов в России в последние два-три десятилетия.

### **Публичная сфера как среда производства и конкуренции идей**

В качестве инструмента анализа я буду использовать понятие *публичной сферы*, указывающее на совокупность арен, где в более или менее открытом режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные идентичности. Публичная

сфера может быть локализована в различных институтах и сочетать разные форматы общения: как «живые», так и опосредованные письменными текстами. Она конституируется множеством частично пересекающихся «публик», границы которых меняются во времени, пространстве, а также в зависимости от характера обсуждаемых тем. Объем публичной сферы зависит как от меры дозволенного государством, так и от циклических колебаний интереса к общественным проблемам.

В литературе представлены различные подходы к интерпретации и анализу публичной сферы. Водоразделом служит вопрос о том, следует ли выделять ее, ориентируясь на некие функции или же на определенное качество их исполнения. В целом преобладает нормативный подход, опирающийся на концепцию Ю. Хабермаса [Habermas, 1993]. В поисках институциональной среды, где частные лица могли бы «использовать собственный разум для решения общественных проблем» (по Канту), современный немецкий философ описал формирование буржуазной публичной сферы в Западной Европе (XVII–XVIII вв.) и ее последующую трансформацию. Не ограничиваясь исторической реконструкцией, Хабермас попытался вычлнить черты нормативной модели публичной сферы, которая соответствует идеалу демократии. Устройство идеальной публичной сферы должно создавать условия для *рационально-критического дискурса* о политических проблемах, решающую роль в котором играют аргументы, а не социальный статус или традиции. Таким образом, концепция Хабермаса, с одной стороны, описывает исторически-особенный тип буржуазной публичной сферы, а с другой – предлагает нормативную модель, которая служит инструментом для критики и совершенствования наличных демократических практик<sup>1</sup>.

Вместе с тем возможен и дескриптивный подход к изучению *различных типов* публичных сфер, в том числе – и весьма существенно отличающихся от идеальной модели, описанной Хабермасом. Примером такого подхода могут служить работы Ш. Эйзенштадта и его коллег, разрабатывавших концепцию публичной

---

<sup>1</sup> Работы немецкого философа стимулировали целую серию исследований, анализирующих отношения между социальными институтами, общественными дискурсами и политическим участием [Habermas and the Public Sphere, 1992; Roberts, 2003; After Habermas, 2004]. Нормативный подход к анализу публичной сферы применяется и для осмысления процессов, происходящих в постсоветской России [см.: Засурский Я.Н., 2002; Красин, 2005; Seth, 2008].

сферы в контексте изучения модернизации в незападных обществах [Public spheres..., 2001; The public sphere in Muslim societies, 2002]. Согласно данному подходу, «публичная сфера, хотя и не обязательно напоминающая “гражданское общество”, возникает в любой более или менее сложной цивилизации, где есть определенный уровень грамотности. Это – сфера, расположенная *между* частной и официальной, она расширяется и сжимается по мере включения в нее профессиональной страты (carrier strata), не входящей в состав правящего класса» [Eisenstadt, Schluchter, 2001, p. 12]. Понятие «публичная сфера» указывает на наличие площадок, где обсуждаются вопросы, представляющие общий интерес. Предполагается, что такие площадки не только автономны от сферы государственного управления, но и в большей или меньшей степени открыты для разных секторов общества. Как подчеркивают Эйзенштадт и Шлюхтер, «публичные сферы имеют свою собственную динамику, которая хотя и связана с событиями и процессами, происходящими на политической арене, но не совпадает с ними и не определяется динамикой последней» [Ibid., p. 11]. Влиятельность публичной сферы зависит от ее институционального устройства: имеет значение, разнородна она или унифицирована, сосредоточена в центре или открыта для периферии, основана преимущественно на устной или письменной коммуникации, предполагает интерпретацию общего блага перед лицом правящих или в среде частных лиц и т.д.

Для анализа политических трансформаций в постсоветской России представляется более плодотворным второй подход: в то время как нормативная концепция служит эффективным инструментом критики наблюдаемой реальности, позволяя выявить и проанализировать «отклонения» от идеала<sup>1</sup>, дескриптивный подход дает возможность проследить реальные изменения, происходящие в публичной сфере. В то же время он помогает разработать критерии для оценки состояния и изменения публичной сферы в конкретном обществе. В качестве таковых могут выступать: сте-

---

<sup>1</sup> Стоит добавить, что не все современные практики обсуждения общественно-значимых проблем вписываются в хабермасовскую концепцию публичной сферы. В частности, является дискуссионным вопрос о том, можно ли рассматривать в таком качестве Интернет, коммуникация в котором может быть весьма далека от модели поведения акторов, которые встречаются лицом к лицу и в соответствии с некими правовыми или рациональными процедурами обсуждают вопросы, составляющие общий интерес, исходя при этом из собственных интересов [см.: Dean J., 2003].

пень автономии публичной сферы от официальной и частной сфер, ее открытость для разных сегментов общества, ее фрагментированность, структура каналов коммуникации (сочетание «живого» обсуждения и общения посредством печатных текстов, особенно циркуляции последних) и др.

Далее я попытаюсь очертить траекторию развития публичной сферы в России от 1990-х к 2010-м годам, сосредоточив внимание на институциональной трансформации арен, на которых происходило обсуждение общественно значимых проблем, изменения состава и стратегий их участников, а также на основных векторах эволюции политико-идеологического ландшафта. По необходимости это будет «взгляд из центра», ибо анализ регионального разнообразия дискурсов и практик требует самостоятельного исследования [см. напр.: Семенов, 2011а; Семенов, 2011б].

### **Практики обсуждения общественных проблем в СССР: Псевдопубличное и квазипубличное пространство**

В качестве отправной точки следует взять позднесоветское общество. На первый взгляд, «публичная сфера в СССР» – оксюморон, сочетание несочетаемого. Вопросы, представляющие общий интерес, безусловно обсуждались; более того, существовала разветвленная система институтов, призванных осуществлять (а чаще – имитировать) функцию формирования и выражения общественного мнения. Однако эти институты не были автономны от официальной сферы, а их участники были несвободны в высказывании своих мнений (причем ценой «неудачного» высказывания могли стать работа, свобода и даже жизнь). Степень вовлечения в эту *официальную псевдопубличную сферу* была весьма велика: телевидение и радиовещание охватывало практически всю территорию СССР, подписка на центральные газеты была «добровольно-принудительной», и, как справедливо пишет В. Шляпентох, «советские люди, пусть и против собственной воли, были основательно погружены в систему массовой информации и каждый день неизбежно получали солидную порцию официальной пропаганды» [Shlapentokh, 1989, p. 104]. Кроме того, значительная часть населения была включена в систему политического просвещения в качестве слушателей или преподавателей: по подсчетам В. Шляпентоха, около 12–14 млн. человек занимались идеологической работой на постоянной основе и еще 8 млн. человек были вовлечены в нее на общественных началах. В совокупности эти

две (частично совпадавшие) категории составляли значительную долю активного населения [Ibid., p. 106]. Кампании по «всенародному» обсуждению наиболее важных документов, таких, как Конституция 1977 г. или решения съездов партии, принимали поистине широкий размах<sup>1</sup>. Однако участники этих кампаний хорошо сознавали, что их задачей является ритуальная артикуляция официально одобренных мнений. Именно поэтому Ю.А. Левада полагал, что «в условиях показного принудительного “единомыслия” тоталитарного общества существование общественного мнения в современном смысле этого слова было невозможным» [Левада, 2000, с. 15].

И тем не менее эта псевдопубличная сфера не была абсолютно однородной, что давало определенный простор для *разномыслия*<sup>2</sup>. Во-первых, в рамках официальной идеологии (безусловно накладывавшей существенные ограничения) сосуществовали разные дискурсы. Как тогда шутили, в СССР нет плюрализма подходов, но есть плюрализм подъездов (намек на разночтения интерпретаций «партийной линии» разными отделами ЦК, размещавшимися в здании на Старой площади). Этот скрытый плюрализм и связанные с ним социальные практики еще ждут серьезного исследования<sup>3</sup>. Во-вторых, институты официальной псевдопубличной сферы (общественные организации, СМИ и др.), несмотря на их формальный характер и подконтрольность, в какой-то мере служили каналом обратной связи, пусть и весьма несовершенным [Сунгуров, 2008, с. 21–29, 35–36]. Именно это обстоятельство позволило придать новый импульс деятельности некоторых из этих институтов в годы перестройки.

Наконец, в послесталинский период, когда государство уже не могло тотально контролировать все общественные сферы, стало

---

<sup>1</sup> Начало такой практики в послесталинский период положили закрытые партийные собрания, на которых коммунистов знакомили с текстом обличительного доклада Хрущёва на XX съезде КПСС в 1956 г.

<sup>2</sup> Термин Б.М. Фирсова, по определению которого разномыслие – это одна из возможных альтернатив официально навязываемому единомыслию. Разномыслие предполагает реконструкцию и критику доминирующей ментальной картины мира без отказа от конституирующей ее идеи (в отличие от инакомыслия, подразумевающего радикальное изменение таковой под влиянием другого типа устройства общественной жизни) [Фирсов, 2008, с. 10].

<sup>3</sup> Шаг в этом направлении – работа Н. Митрохина, показывающая влияние Политбюро и аппарата ЦК КПСС на движение русских националистов [Митрохин Н., 2003].

формироваться то, что И. Освальд и В. Воронков назвали «публично-приватной сферой», т.е. некое пространство между официальной публичной и собственно приватной сферами, в котором становилось возможным обсуждение тем, выходящих за рамки разрешенных, и высказывание взглядов, отличающихся от «предписанных сверху» [Osvald, Voronkov, 2004]<sup>1</sup>. Необходимо отметить, что в коммунистических обществах границы публичного и приватного были весьма специфичны: по справедливому замечанию польского социолога Е. Шацки, приватная сфера «включала то, что вытеснялось из публичной сферы в силу монополизации последней одной категорией граждан и подчинения ее идеологическому контролю». Таким образом, важной частью приватной сферы «были ценности, которые подавлялись в публичной жизни, но оставались слишком важными, чтобы люди могли их забыть...» [Szacki, 1995, p. 88]. Правила поведения в официальной и публично-приватной сферах существенно различались. На протяжении своей жизни советские люди приучались тщательно разделять, что следует говорить в официальной среде, что можно обсуждать в кругу друзей, а чего вообще высказывать не следует. Необходимость строго дифференцировать высказывания в зависимости от места и контекста породила феномен «двоемыслия» («лукавства») [Левада, 2000, с. 508–529; Хархордин, 2002; Фирсов, 2008].

Строго говоря, «публично-приватная» сфера было *квазипубличной*, ибо она не была открытой. Ее участниками могли быть лишь те, кто вызывал доверие – и это обстоятельство весьма существенно для формирования практики обсуждения общественно-значимых проблем в России. Как точно подметил К. Калхун, важной особенностью публичного дискурса является то, что в отличие от семьи и других «арен», локализованных в частной сфере, его участники говорят друг с другом как незнакомые, т.е. понимание должно быть установлено в процессе коммуникации, оно зависит от *убедительности аргументов*, и не является данностью, вытекающей из общности опыта. Другими словами, публичный дискурс создает узы солидарности, которые не заменяются (хотя и дополняются) сходством культурных практик [Calhoun, 1999; ср.: От общественного к публичному, 2011, с. 492]. В России, где публичная сфера на протяжении почти всей своей истории развивалась в условиях цензуры (в разной степени жесткой), квазипуб-

---

<sup>1</sup> Это квазипубличное пространство все больше привлекает внимание исследователей [см.: Шубин, 2006; Фирсов, 2008 и др.].

личные практики обсуждения *общественных* проблем в кругу знакомых людей, составленному по принципу *доверия*, были весьма значимы для обращения идей, давая относительную свободу *высказывания*. Однако, частично компенсируя ограничения, действующие в «официальном» публичном (или – как в случае позднесоветского общества – псевдопубличном) пространстве, практики квазипубличного пространства не обеспечивают эффекта открытого диалога, необходимого для полноценной конкуренции идей, и не формируют эффективных каналов для агрегирования мнений<sup>1</sup>. Впрочем, существовали и некоторые механизмы преодоления фрагментации «публично-приватной сферы» – например, культура анекдотов [Oswald, Voronkov, 2004, p. 110].

Отметим, что идеи, существенно отличавшиеся от официальных, предназначенных для «массового употребления», высказывались и вне границ приватного пространства – в частности на вполне легальных мероприятиях, предназначенных для узкого круга специалистов (сотрудников академических институтов, работников высшего звена системы политического просвещения и др.). Так что помимо «публично-приватной сферы» существовала еще и публичная сфера «для служебного пользования» [см.: Черкасов, 2004; Herman, 1996; English, 2000].

Таким образом, в позднесоветском обществе сложилась целая система институтов, работавших по правилам *неофициальной квазипубличной сферы*: «кухни» и неформальные кружки (в числе которых были и те, в которых зародилось диссидентское движение, и вполне деполитизированные, вроде клубов самодеятельной

---

<sup>1</sup> Некоторые наблюдения относительно влияния такой конфигурации публичного пространства на развитие российского идейно-символического пространства на материале XIX в. см.: [Малинова, 2011б]. По мнению С.В. Патрушева, вынужденная гипертрофия «сетей доверия» имеет более фундаментальные последствия для развития социальных структур. По его определению, «самодеятельность россиян имеет тенденцию порождать в качестве базовой формы самоорганизации общности, конституированные из неформальных связей. Именно они, а не другие социальные формы... образуют особый тип общественной организации, общественного порядка – "социум клик". Фундаментальной характеристикой этого типа организации (порядка) является устойчивое сочетание социальной интеграции внутри микросред и социетальной дезинтеграции макросреды» [Патрушев, 2011, с. 124]. На уровне коммуникации указанное сочетание проявляется в виде фрагментации публичного пространства, тенденции к формированию относительно замкнутых «публик» единомышленников и одновременно – к поляризации идеологических различий, которая затрудняет достижение консенсуса по значимым проблемам.

песни), закрытые и полузакрытые научно-практические семинары, самиздат, радио-«голоса» и многое другое.

### **Перестройка: Рождение «нормальной» публичной сферы?**

С началом перестройки (1985–1991) границы официального и неофициального публичного пространства стали более проницаемыми, что определялось как изменением правил функционирования первого («гласность», попытки внедрения внутрипартийной демократии, реформа политической системы и др.), так и расширением рамок второго (включение «неформальных» (т.е. не санкционированных властями) организаций в публичный политический процесс, стирание дискурсивных границ между митингом и «кухней»). Возникли новые «места дислокации» публичной сферы. Ими стали прежде всего средства массовой информации, сначала печатные, а затем и электронные. После вступления в действие закона СССР о СМИ (1 августа 1990 г.) стало возможным появление независимых СМИ. С 1989 г. весьма значимой ареной выражения политических идей и мнений стали съезды народных депутатов, заседания которых напрямую транслировались радио и телевидением, привлекая внимание широчайшей аудитории [Бирюков, Сергеев, 2004, с. 77–230]. Наконец, появилось множество арен, предполагавших живой формат общения – от собиравшихся эпизодически собраний и митингов до постоянно действующих политических клубов. Буквально на глазах возникала вполне «полноценная» и притом активно функционирующая публичная сфера.

Менялся стиль поведения на публике официальных лиц. Практики традиционно-советских общественных организаций и творческих союзов наполнялись новым содержанием. Все более заметными становились «неформальные» организации. С 1990 г. стали появляться новые политические партии. В формировании перестроечной публичной сферы активно участвовали профессионалы – журналисты, ученые, писатели, кинематографисты, художники и др. – и просто граждане, захваченные волной политической активности. Огромную роль в формировании перестроечной публичной сферы сыграли журналисты. Вплоть до распада СССР и начала экономических реформ в России главной преградой деятельности СМИ оставались сугубо политические запреты. По мере их ослабления пресса превращалась во влиятельную «четвертую» власть. При этом, по оценке И.И. Засурского, значительная часть

журналистского корпуса видела «своей задачей не *информирование публики* или формирование *достоверной картины реальности*, но *просвещение, агитацию и организацию масс* во имя истинных целей и идеалов» [Засурский И.И., 1999, с. 54]. СМИ сыграли решающую роль в распространении новых идеологий, подготовивших последующую политическую и экономическую трансформацию.

Менялись нормы поведения в публичной сфере. Если в начале перестройки задача политиков сводилась к разъяснению «линии партии», причем оттенки позиций обозначались лишь пунктиром, то уже к 1990 г. появилась возможность открыто артикулировать *разные* политические программы. Что не менее существенно, появился серьезный стимул для производства политических идей: в условиях массового подъема идеи превращались в весомое оружие в борьбе за власть.

Для перестроечной публичной сферы была характерна специфическая конфигурация форм и каналов политической коммуникации. Наблюдался настоящий бум печатного слова: газеты, журналы, извлеченные «из столов» литературные произведения широко читались и активно обсуждались (позже аналогично обстояло дело с передачами независимого телевидения и радио), что создавало эффект беспрецедентной интеграции аудитории, почти синхронно обсуждавшей постоянно расширявшийся, но все же доступный для освоения корпус текстов. Нельзя не заметить, что столь интенсивная коммуникация была возможна в силу особого стечения обстоятельств, в частности благодаря сохранению, пусть и в расстроенном виде, советского экономического уклада с гарантированной зарплатой, возможностью в рабочее время украдкой читать дефицитные «перестроечные» тексты, обсуждать их, участвовать в деятельности политических клубов, ходить на митинги и т.д. Конечно, годы перестройки не были идиллией: в условиях дефицита на самое необходимое повседневная жизнь была полна трудностей. Но в то время разочарование было «лестницей», по которой люди «постепенно взбирались из приватной жизни на публичную арену» (если использовать выражение А. Хиршмана [Hirschman, 2002, p. 65–66]). Так или иначе по степени интеграции аудитории и интенсивности обращения текстов перестроечная публичная сфера была чрезвычайно близка к идеалу, обрисованному Хабермасом.

С приходом рынка экономические условия резко изменились, и для многих стало недоступной роскошью тратить время на общественную активность. Кроме того, уже первые результаты

реформ заставили усомниться в ее эффективности. Однако причины того, что наблюдавшийся в годы перестройки расцвет публичной сферы продлился недолго, были связаны не только с циклической амплитудой общественной активности. Как верно заметил Дж. Беккер, в годы перестройки «свобода прессы опиралась не на институты, а на упадок партийного аппарата и внутрирежимные расхождения» [Becker, 2004, p. 156]. Вновь возникавшие практики общественной коммуникации еще только предстояло превратить в устойчивые институты «нормальной» публичной сферы – и справиться с этой задачей оказалось не так просто.

Перестройка была временем быстрых и существенных перемен в идеологической структуре советского общества [см. обзор: Согрин, 2001]. Прежде всего они затронули официальную идеологию. В 1985 г. новый курс, инициированный М.С. Горбачёвым, начинался под лозунгом: «Больше социализма!» Первоначально главным словом было «ускорение», со временем его дополнила «гласность» (предполагавшая критику недостатков, затруднявших развитие социализма). В 1987 г. появилось новое слово – «перестройка» (т.е. устранение недостатков социалистического общества), а с ним – новые лозунги: «Назад, к Ленину!» и «Больше демократии!» На этом этапе репертуар официальной идеологии был дополнен такими «буржуазными» понятиями, как «правовое государство», «парламентаризм», «разделение властей», «права человека» и др. Как вспоминает помощник Горбачёва А. Грачёв, «когда ленинских формул для оправдания тех или иных действий не хватало, Горбачёв, не смущаясь, изобретал свои. Главное было – снабдить любое неортодоксальное понятие успокоительным термином «социалистический»... В засахаренной «социалистической» оболочке и общество, и даже ортодоксы в Политбюро и в идеологическом отделе партии готовы были «заглотить» то, из-за чего еще недавно спускали с цепи и своих инструкторов, и Главлит, а в ряде случаев и КГБ...» [Грачёв, 2001, 148–149]. Таким образом, официальная идеология заметно эволюционировала в сторону демократического социализма. Для пропаганды новых идей по-прежнему использовался огромный идеологический аппарат. Но перемены были столь радикальны и стремительны, что официальные комментарии для системы политического просвещения не поспевали за изменениями публичного дискурса власти, и пропагандистам приходилось полагаться на собственные силы, что само по себе было отступлением от канона. По точному наблюдению И. Чечель, «идеологическая вертикаль стала поли-

центричной и в меньшей степени обусловленной распределением социальных ролей [Чечель, 2004, с. 161, сн.].

Изменения в официальной идеологии стимулировали оппозицию со стороны как радикалов, так и консерваторов<sup>1</sup>. Первая воплотилась в своего рода «базовой демократической идеологии» (термин Г. Голосова [Голосов, 2000, с. 79–80]) – в расплывчатом, хотя и вполне различимом наборе идей, которые распространяли «перестроечные» издания. Позже эти идеи легли в основу идеологий новых партий, созданных «демократами». В основе «базовой демократической идеологии» лежало представление о советской «тоталитарной» системе как отклонении от «нормального» пути развития. Разрушение этой системы рассматривалось как первый шаг к «нормальности», представления о которой опирались на переосмысление образа «Запада» как Значимого Другого [см.: Малинова, 2009а]. В условиях коллапса экономики и кризиса политической системы эти идеи мало-помалу завоевывали умы, становясь если не доминирующими, то весьма влиятельными.

Однако были и другие альтернативы меняющейся официальной идеологии. Во-первых, ортодоксальный коммунизм, сторонники которого не считали советскую систему «неправильной», а в политике Горбачёва видели предательство коммунистических идеалов. Этот род оппозиции был представлен и на официальном уровне (в ЦК КПСС его олицетворял Е. Лигачёв), и на неформальном (в 1988 г. был создан ряд неформальных коммунистических организаций). Во-вторых, русский национализм (или патриотизм). Эта идеология имела корни и в диссидентском движении, и в литературных кругах (журналы «Молодая гвардия» и «Наш современник») [Митрохин Н., 2003]. В годы перестройки она не пользовалась большим влиянием: акцент на критику западного опыта делал ее недостаточно оппозиционной по отношению к советской системе, однако уже к середине 1990-х разочарование плодами реформ, инициированных демократами-западниками, создало предпосылки для ее успеха. К этому следует добавить другие «национальные» идеологии, под знаком которых проходила перестройка на огромном пространстве СССР (и РСФСР).

---

<sup>1</sup> По-видимому, первым проявлением радикальной оппозиции было выступление Б.Н. Ельцина на Октябрьском (1987) Пленуме ЦК КПСС. Консервативная же оппозиция открыто заявила о себе в марте 1988 г., когда в газете «Советская Россия» была опубликована статья Н. Андреевой «Не могу поступиться принципами» [Андреева, 1988].

Главным идеологическим водоразделом периода перестройки была оценка советской системы и ее антипода – западного капитализма. Бурное развитие публичной сферы, в которую оказалась включена неискушенная в открытых политических дискуссиях публика, способствовало популярности радикально-критических концепций.

### **1990-е: Конфликтный плюрализм дискурсов и трансформация институтов публичной сферы**

С распадом СССР и началом экономических реформ в России публичная сфера вступила в новый этап. Состав образующих ее арен и их участников отчасти сохранился: ведущая роль в формировании общественного мнения по-прежнему принадлежала СМИ; заметной площадкой для артикуляции политических идей оставался парламент (структура и положение которого были изменены Конституцией 1993 г.). Со спадом массовой политической активности публичные арены, предполагавшие непосредственно личный формат общения, стали более специализированными, ориентированными на определенные политические организации или профессиональные группы. К традиционным способам коммуникации во второй половине 1990-х годов добавился Интернет, значение которого в дальнейшем постепенно возрастало<sup>1</sup>. Список основных «производителей смыслов», состоявший из публичных политиков, журналистов и экспертов, в середине 1990-х годов пополнили политтехнологи<sup>2</sup>. Однако наиболее важные изме-

---

<sup>1</sup> Хотя первые политические информационные ресурсы в Рунете появились еще в середине 1990-х годов, согласно анализу Н.В. Солениковой, этот канал коммуникации начал играть значимую роль лишь в третьем электоральном цикле (1999–2002): именно тогда начался крупный приток инвестиций в этот сектор, Сеть стала активно использоваться для проведения информационно-пропагандистских кампаний, расходы «на Интернет» были прописаны отдельной строкой в электоральных бюджетах многих политиков и т.п. А уже в четвертом электоральном цикле (2003–2004) «присутствие» политиков в Интернете стало обязательным правилом, а использование интерактивных технологий – популярным приемом воздействия на электорат [Соленикова, 2007, с. 70–73; ср.: Овчинников, 2002; Песков, 2002; Кондрашина, 2010, с. 51–52 и др.]. Лишь в 2000-х годах с увеличением аудитории пользователей Интернет стал оказывать значительное влияние на структуру политических коммуникаций.

<sup>2</sup> Интересные наблюдения по поводу становления профессии политтехнолога в России и ее восприятия общественным мнением см.: [Подвинцев, 2009].

нения касались институциональных условий, т.е. правил игры, определяющих стратегии акторов.

В результате экономических реформ начала 1990-х годов произошла коренная трансформация медиасистемы. После либерализации цен в 1992 г. периодические издания столкнулись с резким удорожанием бумаги, типографских услуг и доставки. Эти новые проблемы возникли одновременно с сужением рынка прессы, вызванным распадом СССР. Как верно подметили М. Липман и Н. Петров, «сама тенденция к снижению тиражей не является исключительно российской, но особенность России состоит в том, что с началом рыночных реформ была разрушена система подписки и, как следствие, привычка к регулярному чтению газет» [Липман, Петров, 2007, с. 211–212]. Процесс носил почти катастрофический характер. По оценке Б.В. Дубина, «аудитория, реально читавшая печатную периодику... сократилась во второй половине 1990-х годов примерно в 20 раз: из каждого 1 млн. осталось 50 тыс. человек» [Дубин, 2005а, с. 251]. С 1992 г. начинается резкое и необратимое снижение тиражей всероссийской периодики и падение ее влияния. Правда, параллельно происходил бурный рост региональных изданий, которые, с одной стороны, оказывались ближе к реальным проблемам своего потребителя (абстрактная политическая риторика уходила в прошлое), с другой – выигрывали конкуренцию за счет более дешевой доставки. По подсчетам Л. Реснянской и И. Фомичевой, в 1980-х годах аудитория центральной и местной прессы совпадала примерно на четыре пятых, а уже в середине 1990-х годов этот показатель сократился до 50% [Реснянская, Фомичева, 1999, с. 14, 58]. Таким образом, итогом радикальной трансформации медиасистемы в 1990-х годах стало резкое сокращение тиражей и фрагментация аудитории печатных СМИ.

Начиная с 1992 г. единство российского информационного поля обеспечивается в основном телевидением. Это стало возможным благодаря тому, что Россия получила в наследство от СССР систему теле / радиовещания, покрывавшую большую часть территории страны; имело значение и то, что телевидение, в отличие от газет, напрямую не стоит потребителю денег. Превращение «самой читающей нации» в «сообщество телезрителей» имело существенные последствия с точки зрения «качества» публичной сферы: логика аудиовизуальных коммуникаций подчинена особым правилам, она отдает приоритет развлекательности, порой – за счет информативности и обстоятельности обсуждения. И хотя

было бы неверно рассматривать телесмотрение как исключительно «пассивную» форму освоения информации – любое медиапотребление предполагает интерпретацию предлагаемого символического материала [Коломиец, 2010, с. 62], – в целом печатный текст, который можно перечитать, проанализировать, сопоставить с другими текстами, больше располагает к рационально-критическому восприятию, нежели аудиовизуальный ряд.

Нельзя не признать, что на протяжении 1990-х годов телевидение играло весьма значимую роль в распространении политических идей. Многие каналы успешно осваивали жанры политической аналитики и ток-шоу (лидером здесь безусловно был НТВ), менялся стиль новостного вещания. Телевидение 1990-х было одной из главных площадок, где обсуждались общественные проблемы и соперничали разные представления о способах их решения. Вместе с тем будучи главным каналом массовой политической коммуникации, оно стало ареной борьбы финансовых и политических группировок.

В середине 1990-х годов обозначилась тенденция концентрации СМИ в крупные медиахолдинги. По оценке Л. Белин, основной причиной «корпоративизации» сектора СМИ стали его системные финансовые проблемы, обусловленные не только реструктуризацией медиасистемы, но и завышенными запросами структур-монополистов (Федерального агентства Роспечать, Министерства связи, которому почти до конца 1990-х годов принадлежали телекоммуникации и др.). Во второй половине 1990-х годов распространение модели экономически несамодостаточных СМИ, развивающихся за счет поддержки корпораций, позволило создать значительное предложение на медиарынке [Belin, 2002, р. 139–145]. Роль катализатора для притока корпоративных инвестиций в медиасферу сыграли президентские выборы 1996 г., показавшие, что вложения в СМИ и прежде всего в телевидение, могут обернуться политическими дивидендами. Подчинение СМИ интересам крупных корпораций стало одной из причин «информационных войн», развернувшихся в 1997–1999 гг. между крупными медиахолдингами.

Трансформация политической и медиа- систем обусловила изменение стратегий основных акторов публичной сферы. «Золотой век» российских СМИ с присущей ему романтической идеологией просветительской миссии «четвертой власти» остался в прошлом. Политические идеи в СМИ становятся товаром, производство и

распространение которого зависят от рыночной конъюнктуры<sup>1</sup>. Тем не менее почти до конца 1990-х годов СМИ оставались относительно самостоятельными игроками в публичной сфере (яркий пример тому – оппозиция войне в Чечне).

В наименьшей степени на состоянии «идеологического производства» сказались изменения в политической системе. Предусматриваемый принятой в 1993 г. конституцией порядок формирования органов государственной власти, а также распределение компетенции между ними, слабо стимулировали партии к публичной артикуляции *идей* в качестве *средства борьбы за власть*: партии оказались устранены от выработки и реализации политического курса. В силу этого, а также ряда других обстоятельств [см.: Малинова, 2001а; Толпыгина, 2011] им оказалось удобнее решать задачу борьбы за голоса избирателей за счет «имиджеологии» и политической «рекламистики». Конечно, были и партии, которые более или менее последовательно идентифицировали себя с определенной идеологией (КПРФ, партии либеральной части спектра). Однако большинство партий и движений 1990-х годов не рассматривали кропотливую работу по продвижению идеологически последовательных политических программ как залог электро-рального успеха.

В середине 1990-х годов структура «рынка» политических идей характеризовалась резкой поляризацией: в публичном пространстве доминировали главные противники – «демократы» и «коммунисты». Дискурс «демократов» сложился в процессе развития и диверсификации «базовой демократической идеологии» перестроечной поры. Он был сфокусирован на идее превращения России в «нормальную цивилизованную страну» с рыночной экономикой, частной собственностью и демократическими политическими институтами. Главными выразителями этой идеи были партии либеральной части спектра (наиболее крупные из них – «Демократический выбор России» (и пришедший ему на смену «Союз правых сил») и «Яблоко» [см.: Малинова, 1998]), а также некоторые СМИ, прежде всего – телеканал НТВ и другие издания холдинга «Медиа-Мост». В систематическом виде «демократический» дискурс был представлен в брошюрах и газетах, распространявшихся по ограниченным партийным каналам, а с конца 1990-х годов – на партийных интернет-сайтах. Однако многие его

---

<sup>1</sup> Об особенностях профессиональной мотивации в журналистике 1990-х годов см.: [Кустарев, 2000].

элементы воспроизводились и в официальной риторике, и в СМИ, что делало его узнаваемым для широкой аудитории.

«Коммунисты» позиционировали себя в качестве бескомпромиссных противников «режима национального предательства». Наиболее электорально успешный вариант «коммунистической» идеологии [см.: Холмская 1998], предложенный Коммунистической партией Российской Федерации и ее союзниками по Национально-патриотическому блоку, соединял традиционную коммунистическую риторику с жесткой критикой либерализма и западничества и некоторыми элементами великорусского имперского национализма. Эти идеи также распространялись через партийную прессу (имевшую более широкую аудиторию, чем издания «демократов»). Они в меньшей степени были представлены на телеканалах, однако нельзя сказать, что последние совсем игнорировали деятельность и идеологию коммунистов: и то, и другое освещалось регулярно (хотя и не вполне нейтрально).

СМИ, активно использовавшие фрейм противостояния двух «непримиримых систем ценностей» при освещении политических событий, способствовали поляризации идейного спектра (в действительности партийный спектр был более пестрым и аморфным; он не вполне вписывался в дихотомическую модель). Особенно ярко это проявилось во время президентской избирательной кампании 1996 г. Считается, что своей победой на этих выборах Ельцин был обязан поддержке СМИ, и прежде всего – телевидения. Однако уже во время следующих федеральных выборов в Государственную думу в 1999 г.<sup>1</sup> сценарий медийного освещения кампании изменился: соперничество проектов, опиравшихся на разные ценностные перспективы, отошло на второй план; в центре внимания оказались скандальные обвинения, призванные повлиять на имидж участников электоральной гонки<sup>2</sup>. Отчасти это было обусловлено тем, что основная борьба развернулась не между

---

<sup>1</sup> Как показало исследование С. Уайта и его коллег, и на этих выборах отчетливо проявился эффект влияния телевидения на электоральное поведение. В частности, анализ данных национального репрезентативного опроса, проведенного сразу после выборов, показал, что поддержка ОРТ и РТР сыграла существенную роль в том, что созданный буквально накануне выборов блок «Единство» смог набрать 23% по партийным спискам [White, McAllister, Oates, 2002].

<sup>2</sup> «Обмен компроматом» происходил между электронными и печатными СМИ, контролируемыми Б. Березовским, с одной стороны, и каналом ТВ-Ц, патронируемым московским правительством, и отчасти – НТВ В. Гусинского, – с другой.

сегментами партийно-идеологического спектра, а внутри них. Главной интригой стало соперничество двух «партий власти» – избирательных блоков «Единство» и «Отечество – Вся Россия», имевших весьма расплывчатые, но в целом сходные программы [Малинова, 2002б]; острое соперничество имело место и в сегменте либеральных партий (между СПС и «Яблоком»). Вместе с тем нельзя не согласиться с исследователями, которые полагают, что уже во время избирательной кампании 1999–2000 гг. проявилось стремление российского политического класса к поискам «центристской» позиции, отрицающей крайности национал-патриотизма левых и западничества правых [Prozorov, 2005].

Главной отличительной чертой публичной сферы ельцинской поры был конфликтный плюрализм: в борьбе за общественное мнение участвовали *разные* акторы, и власть, азартно участвуя в схватке, не проявляла стремления остаться единственным игроком на этом поле (хотя и не стеснялась использовать ресурсы давления – в этом смысле игра отнюдь не была равной). В официальных выступлениях президента Б.Н. Ельцина «избавление от гнета идеологического государства» представлялось безусловным достижением постсоветского режима [Ельцин, 1996]. Но в то же время идеологический плюрализм косвенно указывался в качестве источника проблем: «споры о преимуществах тех или иных “измов”» определялись как «символы противостояния и ненависти» [Ельцин, 1994], «дефицит согласия» объявлялся одной из причин недостаточной эффективности и последовательности реформ [Ельцин, 1999], идейные разногласия интерпретировались как контрпродуктивные, выходящие за рамки «системы демократических ценностей» [Ельцин, 1996]. Свобода слова провозглашалась священной, но одновременно порицались журналисты, которые «злоупотребляют» ею, необоснованно присваивая себе роль «политической оппозиции» [Ельцин, 1995]. Таким образом, отношение власти к идеологическим практикам российского политического класса было неоднозначным. Весьма симптоматично, что в начале своего второго президентского срока Б.Н. Ельцин поставил вопрос о поиске «национальной идеи».

Подводя итоги, отметим, что в результате политических и экономических реформ 1990-х годов в России сложилась особая конфигурация публичного пространства: в нем выделяется «ядро», представленное телевидением (точнее, его федеральными каналами), и разнуровневая «периферия», образованная каналами коммуникации, привлекающими не столь многочисленную аудито-

рию, – газетами и журналами, радио, кабельным телевидением, Интернетом, а также многочисленными публичными площадками, где общение происходит в «живом» режиме (форумы, конференции, семинары, дискуссионные клубы и т.п.). С течением времени соотношение между отдельными каналами, разумеется, менялось, однако вплоть до начала 2010-х годов сохранялся огромный разрыв между телевидением и другими массмедиа. Исследования российских и зарубежных социологов позволяют составить некоторое представление о масштабах этого разрыва (наиболее полные данные имеются для второй половины 2000-х годов). По официальным данным, охват населения телевещанием составляет 98%. При этом реальная ежедневная аудитория телезрителей, по результатам мониторинга компании TNS, в 2004–2008 гг. оценивалась в 75–73% [цит. по: Полуэхтова, 2010, с. 67–68]. Значительное большинство населения России регулярно смотрит центральные каналы<sup>1</sup>. Данные по аудитории печатных СМИ существенно варьируются в зависимости от методики подсчета. Согласно исследованиям Левада-Центра, в 2000–2005 гг. доля регулярно читающих общенациональные газеты не превышала 1–2% взрослого населения страны [цит. по: Липман, Петров, 2007, с. 212] (с учетом региональной и местной прессы эта цифра должна оказаться выше). По самым оптимистичным оценкам, аудитория наиболее популярных общенациональных газет не превышает 10% взрослого населения<sup>2</sup>. Что касается радио, число его слушателей суммарно не так уж мало, но радиоаудитория сильно фрагментирована; наибольшей популярностью пользуются радиостанции, специализирую-

---

<sup>1</sup> По данным финского исследователя Ю. Пиетилайна, 75% опрошенных в рамках общероссийской выборки в 2007 г. оказались зрителями Первого канала (бывшего ОРТ), 69 – канала Россия (бывшего РТР); аудитория НТВ составила 45, СТС – 28, ТНТ – 18, РЕН ТВ – 12, канала Культура – 8% и т.д. [Pietilainen, 2008, p. 368].

<sup>2</sup> По данным Ю. Пиетилайна, лидерами читательских симпатий в 2007 г. оказались «Комсомольская правда» (10,7%) и «Аргументы и факты» (10,6%) [Ibid., p. 371]. Согласно исследованию TNS (которое охватывает взрослое население, проживающее в городах с численностью 100 тыс. человек и выше), в мае–октябре 2012 г. усредненное количество одного номера газеты в среднем по России составляло: для «Метро» – 3,2%, для «Российской газеты» – 1,8, для «Московского комсомольца» – 1,7, для «Известий» – 0,6, для «Коммерсанта» – 0,4, для «Ведомостей» – 0,2% и т.д. от общего числа опрошенных [Группа компаний TNS. Пресса].

щиеся на музыкально-развлекательных передачах<sup>1</sup>. Рунет, к анализу роли которого мы еще вернемся, начал играть значимую роль в политических коммуникациях в конце 1990-х годов; однако лишь в 2003 г. доля пользователей превысила порог 10% взрослого населения страны [Чугунов, 2006, с. 5]. Таким образом, с точки зрения потенциального охвата аудитории разрыв между каналами коммуникации, образующими «ядро» и «периферию» публичной сферы, в 2000-х годах был весьма значителен.

Данное обстоятельство влечет за собой два важных следствия: во-первых, шансы того или иного дискурса на «популярность» зависят от того, насколько он представлен в «ядре» публичного пространства; во-вторых, для того, чтобы эффективно управлять общественной «повесткой дня», достаточно контролировать наиболее массовые каналы коммуникации: арены, образующие «периферию» публичной сферы, слишком малочисленны и слишком изолированы друг от друга, чтобы оказывать существенное влияние. В 1990-х годах власти не предпринимали серьезных попыток воспользоваться этим, чтобы исключить из «ядра» публичной сферы «неудобные» для нее дискурсы. Трудно сказать, что было тому причиной – приверженность первого президента России демократическим ценностям, его потребность в поддержке или слабость государства [Липман, Петров, 2007, с. 198–199]. По-видимому, и то, и другое, и третье.

### **2000-е годы:**

#### **Установление контроля над «ядром» публичной сферы и вытеснение плюрализма на «периферию»**

С приходом к власти президента В.В. Путина векторы развития публичной сферы заметно изменились. Сдвиги носили системный характер: в результате политических реформ, проводившихся под лозунгом укрепления государства, произошла трансформация партийной и избирательной систем, усилилась зависимость парламента от исполнительной власти, сократился список обладателей

---

<sup>1</sup> По данным TNS, в апреле–сентябре 2012 г. общая доля радиослушателей в России составляла 63,2%. При этом максимальную ежедневную аудиторию собирали музыкальные радиостанции («Европа Плюс» – 17,7%, «Автордио» – 15,0, «Русское радио» – 14,8, «Дорожное радио» – 14,1% и др.); доля слушателей радиостанции «Маяк» составила 7,4%, «Радио России» – 7,3, «Эхо Москвы» – 4,8% [Группа компаний TNS. Радио].

властных полномочий, избираемых гражданами, была ослаблена власть губернаторов и нейтрализовано политическое влияние бизнеса, оказалась ограничена независимость СМИ и др. По удачному определению А.Ю. Зудина, итогом политических реформ начала 2000-х годов стал переход от «полицентризма» к «моноцентризму», сопровождавшийся исключением или маргинализацией игроков, которых не получалось контролировать [Зудин, 2003]. Побочным результатом предпринятых мер стало сокращение числа площадок, на которых могут публично обсуждаться и оспариваться конкурирующие политические проекты. В известном смысле оказался ограниченным и спектр самих альтернатив, поскольку существование партий, неугодных Кремлю, стало проблематичным. Хотя одновременно с понижением роли представительной власти была создана дополнительная арена для демонстрации общественного мнения в лице Общественной палаты<sup>1</sup>.

Частью общего курса стали усилия по установлению контроля государства над «ядром» публичной сферы. Первым шагом на этом пути была борьба за контроль над частным холдингом «Медиа-Мост» и телекомпанией НТВ в 2000–2001 гг., завершившаяся передачей активов последней «Газпрому». В 2001 г. Б. Березовский был вынужден продать свою долю акций ОРТ (в настоящее время контрольный пакет акций этого канала принадлежит государству). Затем последовало закрытие канала ТВ-6, на который перешли многие журналисты «старого» НТВ, позже – смена собственника РЕН-ТВ. В начале 2000-х годов произошла масштабная реэтактизация СМИ, причем, как показала М. Липман, расширение государственной собственности в медиасекторе, было лишь одной, хотя и весьма эффективной формой контроля наряду с изменением законодательства, лицензированием, контролем за назначением менеджеров и главных редакторов и др. [Lipman, 2009]<sup>2</sup>. Отчасти меры по усилению контроля коснулись и печатных СМИ (пример тому – смена собственника газеты «Известия», наиболее тиражного из нетаблоидных ежедневных изданий). Однако в целом печатные СМИ сохраняют заметно бóльшую свобо-

---

<sup>1</sup> Анализ роли этого нового института в реформированной политической системе России см.: [Петров, 2006].

<sup>2</sup> По данным, приводимым в этой работе, государству полностью принадлежит канал Россия и 51% акций Первого канала; около 20% федеральных печатных СМИ и около 80% – региональных [Ibid. P. 160–161].

ду, чем телевидение<sup>1</sup>. Было бы неверно говорить о введении запрета на свободу слова: оппозиционные идеи просто вытеснены на «периферию» публичной сферы. Результатом такой трансформации стало умножение и «публик единомышленников», которые во многом воспроизводят (если не в буквальном, то в виртуальном смысле) принцип «круга доверия», и дальнейшая фрагментация публичной сферы.

Новые возможности для производства и обращения политических идей дает развитие российского сегмента Интернета, формирующее не только дополнительные каналы для трансляции традиционных СМИ<sup>2</sup>, но и принципиально новую среду общения. Примерно с 2008 г. наблюдается резкий рост числа пользователей, что дает основание говорить о новом качестве данной формы коммуникации<sup>3</sup>. Возможно не случайно этот скачок совпал с бурным развитием социальных сетей. «Интернетизация», постепенно набиравшая темп на протяжении 2000-х годов, принесла свои плоды к началу следующего десятилетия (к оценке последних мы еще вернемся).

В России, как и в других странах, развитие интернет-технологий вызвало надежды на качественные изменения в состоянии публичной сферы [Трахтенберг, 2007], причем мнения аналитиков разделились. Оптимисты рассматривают «Сеть» как «самиздат в

---

<sup>1</sup> По заключению М. Липман, следствием такого положения дел стало то, что «Россия в телевизионном освещении кардинально отличается от России “газетной”: у них разные новостные приоритеты, разные события, разные ньюсмейкеры, не говоря уже о разных интерпретациях» [Липман, 2006, с. 3].

<sup>2</sup> По данным социологов, *новостные сайты* Интернета пока существенно отстают в рейтинге от других каналов информации и прежде всего – от телевидения. Примечательно, однако, что среди активных пользователей преобладает представление, что Интернет «в подаче новостей не зависит от властей, в то время как традиционные СМИ, наоборот, часто подают информацию так, как это выгодно властям» [Полякова, 2007, с. 33]. Таким образом, Интернет воспринимается как «пространство свободы».

<sup>3</sup> Систематический мониторинг аудитории Интернета в России ведет Фонд Общественное мнение (см. <http://www.fom.ru/projects/23.html>). По данным этого исследования, на весну 2012 г. суточная аудитория Интернета составляла 39% взрослого населения России, недельная – 48, месячная – 51% (для сравнения: в 2002 г., когда ФОМ начал этот мониторинг, суточная аудитория – 2%, недельная – 4 и месячная – 6%). По проникновению Интернета (этот показатель считается по месячной аудитории в процентном отношении к населению) Россия (51%) вплотную приблизилась к Италии (59) и Испании (66) и заметно обгоняет Бразилию (39) и Китай (38%) [Интернет в России, 2012].

режиме реального времени, который уже на световые годы ушел вперед от ритуального содержания как электронных, так и печатных СМИ» [Засурский И.И., 2002, с. 102]. Пессимисты же полагают, что развитие новых технологий коммуникации не нарушает сложившуюся модель власти: Рунет работает как машина для распространения информации, но главным образом среди закрытых кластеров пользователей-единомышленников, которые редко могут или хотят кооперироваться. По определению Ф. Фоссато, Интернет берет на себя роль инструмента адаптации, позволяющего пользователям / гражданам приспособиться к новой политической реальности, которая находится за пределами их личного или коллективного влияния [Fossato, 2009; cf. Fossato, Lloyd, Verkhovsky, 2008]. Отметим, что к сходному выводу пришли авторы исследования об использовании Интернета в восьми странах с разными типами авторитарных режимов Ш. Калатил и Т. Боас. По их заключению, «Интернет – не обязательно угроза для авторитарных режимов... Многие авторитарные режимы активно продвигают развитие Интернета, поскольку он скорее служит их интересам, нежели угрожает им». Таким образом, нельзя судить о политических возможностях новых технологий по отдельным примерам их использования для организации протестных акций [Kalatil, Boas, 2003]. Кроме того, увеличение числа пользователей Интернета отнюдь не означает автоматического изменения качества гражданского участия – во всяком случае, именно об этом свидетельствуют имеющиеся исследования [Быков, Халл, 2011]. По-видимому, Интернет – это большой кластер технологий, которые могут применяться с разными целями. Тем не менее нельзя отрицать, что быстрая «интернетизация» создает принципиально новую коммуникативную среду – и к оценке данного обстоятельства я вернусь в заключительной части настоящей главы. Однако по крайней мере до конца 2000-х годов Интернет оставался частью «периферии» публичной сферы, фрагментированным сегментам которой приходилось конкурировать с контролируемым властью «ядром», тиражирующим политически значимые идеи для широкой публики.

Произошедшая в начале 2000-х годов реорганизация медийного пространства давала возможность обеспечивать «правильное» освещение принимаемых властью решений и целенаправленно формировать общественное мнение по важным для Кремля

вопросам<sup>1</sup>. Она позволяла продвигать «нужных» спикеров и маргинализировать неудобные власти дискурсы; помогала поддерживать высокие рейтинги действующих политических лидеров и обеспечивать «преемственность» власти при передаче ее посредством выборов. В то же время вне рамок «ядра» публичной сферы сохранялась определенная автономия<sup>2</sup>, которая давала желающим возможность *высказываться*. Однако в системе институтов, сложившейся в начале 2000-х годов, наблюдался недостаток механизмов *агрегирования* мнений и трансформации их в *коллективные действия*, а также были сведены к минимуму каналы *обратной связи*. Примечательно, что одновременно с выхолащиванием специальных институтов, призванных выполнять эту функцию – парламента, партий, выборов, СМИ – стала складываться практика «прямого» общения политического лидера с народом, призванная демонстрировать открытость и эффективность власти<sup>3</sup>. Вслед за Дж. Беккером можно определить сложившуюся систему общественных коммуникаций как неоавторитарную [Becker, 2004]<sup>4</sup>, т.е. принадлежащую к типу медиасистем, который характерен для ряда недемократических режимов, консолидировавшихся в условиях доминирования идеи демократии в мировой политике и развития современных технических средств связи.

Частичное восстановление государственного контроля над СМИ и механизмов управления общественным мнением вызывает определенные аналогии с советским прошлым. Однако правы те,

---

<sup>1</sup> Наблюдения за тем, как постепенно оттачивалась техника контроля над СМИ на примерах освещения катастрофы подводной лодки «Курск» (2000), захвата заложников во время представления мюзикла «Норд-Ост» в Москве (2002) и в Беслане (2004) см.: [Lipman, 2009, p. 165–167].

<sup>2</sup> Практики этих относительно автономных публичных арен, которые нередко бывают организованы по принципу «круга единомышленников, еще ждут серьезного исследования. Для их анализа может быть полезной концепция контрпубличных сфер, предложенная Дж. Доуни и Н. Фентон [Downey, Fenton, 2003].

<sup>3</sup> См. практикуемые с 2001 г. выступления В.В. Путина в прямом теле- и радиоэфире, во время которых даются не только ответы на вопросы граждан, но и нередко решаются поставленные ими проблемы.

<sup>4</sup> По оценке Беккера, характерными особенностями неоавторитарных медиасистем являются сочетание контроля за телевидением с плюрализмом печатных СМИ; воздействие на контент не посредством предварительной цензуры, а через избирательное экономическое и квази-юридическое давление; расчет на самоцензуру; нечеткость законодательства и слабость судебной системы. Обзор характеристик, используемых для определения типа российской медиасистемы см.: [De Smaele, 2010].

кто говорит о «ложном дежавю», подчеркивая, что «в отличие от советского времени, когда СМИ были частью системы идеологической обработки населения, пропаганды, агитации, нынешние масс-медиа не являются мобилизационными...»; в России «нулевых годов» их роль «сводится к развлечению и отключению населения от нежелательной информации» [Дубин, 2009, с. 8; Гудков, Дубин, 2007, с. 28]. В то же время было бы неверно полагать, что современная властвующая элита вовсе не стремится использовать контроль за «ядром» публичной сферы для трансляции «правильного» мировоззрения «ввиду отсутствия такового» [Липман, Петров, 2007, с. 206]. И дело не только в идеологических проектах Кремля, набравших обороты с середины 2000-х годов. Нетрудно заметить, что в годы правления В.В. Путина контроль над наиболее массовыми средствами информации с успехом использовался для проведения символической политики, направленной на ценностную консолидацию общества. Эта политика учитывала ошибки 1990-х годов, когда в условиях жесткой конфронтации «коммунистов» и «демократов» попытки властвующей элиты предложить новый дискурс о коллективной идентичности, ориентированный на демократические ценности («возвращение на путь цивилизации»), вели лишь к углублению конфликтов и дальнейшей политической фрагментации (подробнее см. в главах 9–10). Как верно отметила Ф. Фоссато, целью новой идеологии, которая формировалась с помощью телевидения, было «помочь телезрителям разобраться в новых правилах социального поведения и заново обрести чувство единения и гордости, утраченное в 1990-е годы» [Фоссато, 2006, с. 16]. Эта цель осуществлялась с помощью целого арсенала символических средств, в котором заново переопределяемые «старые» советские ценности эклектически сочетались с заверениями в приверженности «новым» идеалам демократии и рынка.

Избранная в начале 2000-х годов стратегия принесла определенные результаты: она если и не породила искомое согласие, то по крайней мере создала основания для консолидации аморфного «путинского большинства» вокруг широких и не вполне четких идей, которые могут по-разному интерпретироваться. Однако она не привела – и вряд ли могла привести – к формированию *содержательного* общественного консенсуса относительно системы ключевых ценностей, поскольку не была нацелена на «проработку» различий в их интерпретациях, без которой невозможен критический синтез. Как верно подметили Ирина и Святослав Каспэ, основным посылом путинской символической политики был «призыв к тотальной кон-

солидации», сопровождавшийся «фобией любых разделений внутри пространства консенсуса» [Каспэ, Каспэ, 2006]. Дискурс прокремлевской части политической элиты был сосредоточен вокруг нескольких узловых концептов («сильное государство» (2000), «суверенная демократия» (2005), «модернизация» (2009) и т.п.), которые интерпретировались радикально по-разному [см.: Петров, 2006; Карпенко, 2007; Казанцев, 2008; Подвинцев, 2011; Мюллер, Троцук, 2011 и др.]. Сложившийся гегемонистский дискурс противодействует кристаллизации внятных альтернатив, поскольку стремится вобрать все смыслы, способные импонировать публике. Одним из условий продвижения такого дискурса является ограничение физического доступа оппозиции к каналам коммуникации, образующим «ядро» публичной сферы [Malinova, Casula, 2010]; в свою очередь, запрос на него свидетельствует о том, что в условиях конфликтного плюрализма 1990-х годов политический класс не справился с задачей производства смыслов, способных консолидировать постсоветское общество.

Сжатие пространства, в котором деятельность по производству смыслов способна приносить политические дивиденды, не способствовало росту идеологической активности политиков. Предлагаемая Кремлем «частичная» идеология была слишком аморфна, чтобы стимулировать усилия лояльной власти части политической элиты по ее систематической разработке (хотя она несомненно давала некоторые ориентиры тем, кто видел в производстве «подходящих» смыслов средство для продвижения по карьерной лестнице). Что же касается оппозиционной части элиты, ее шансы представить свои идеи публике заведомо ограничены, а электоральный успех зависел не столько от привлекательности программ, сколько от расположения Кремля. В следующей главе я попытаюсь продемонстрировать, как проанализированные выше институциональные стимулы повлияли на идеологические практики верхушки политического класса. В то же время те производители идей, чьи мотивы напрямую не связаны с борьбой за власть, благодаря относительной экономической стабильности «нулевых годов» и развитию доступных и дешевых информационных технологий даже приобрели дополнительные возможности для своей деятельности. В силу этого на «периферии» публичной сферы имел место своеобразный бум смысловотворчества. Однако ввиду слабости политических институтов – партий, выборов, СМИ и др. – отсутствовали механизмы, которые позволяли бы агрегиро-

вать идеи, артикулируемые в разных сегментах «периферии», превращая их в инструмент коллективного действия.

Несмотря на некоторые изменения в символической политике, привнесенные президентом Д.А. Медведевым, четырехлетний период его президентства можно рассматривать как развитие тенденций, характерных для публичной сферы «нулевых» годов. Функционирование власти в режиме «тангема» не предполагало внятной артикуляции различий в определении политического курса. Изменения связывались с высказываниями и жестами первого лица, которые прочитывались наблюдателями как свидетельство «либеральности» его установок. В этот ряд укладываются и идеология «модернизации» (логически противоположная проводившейся Путиным идее «стабилизации», но представляемая в логике «преемственности» – подробнее см. в главе 7), и разговоры о политической реформе, и введенные Медведевым в практику встречи с руководством разных, не только «парламентских» политических партий, надлежащим образом освещаемые СМИ (которые должны были демонстрировать внимание к мнению оппозиции), и активное использование современных информационных технологий для прямого общения президента с народом (ведение блога, общероссийский прием посетителей в режиме интернет-конференции) и многое другое. Однако эти высказывания и жесты не выстраивались лидером и его окружением в связную модель, отчетливо противопоставляемую иным политическим проектам.

### **Предварительные итоги и перспективы трансформации публичной сферы в постсоветской России**

Подводя итоги, можно констатировать, что по разным причинам в процессе политической трансформации 1990-х годов России не удалось создать эффективные институциональные «площадки» для обсуждения общественно значимых проблем и способов их решения. Идеологические конфликты в фрагментированном публичном пространстве существенно затрудняли решение задачи консолидации макрополитического сообщества, стоящего за новым Российским государством – и это обстоятельство сознавалось политическим классом как проблема. В 2000-х годах был взят курс на установление «согласия сверху» путем частичного ограничения плюрализма в «ядре» публичной сферы и одновременно – попыток внедрения своего рода «частичной» идеологии, эклектически сочетающей элементы разных дискурсов. Эта стра-

тегия оказалась успешной с точки зрения смягчения и «замораживания» символических конфликтов и мобилизации массовой поддержки «курса Путина», но не решения спорных вопросов. В то же время она эффективно препятствовала формированию влиятельных альтернативных программ, способных последовательно структурировать общественные дискуссии.

Следует согласиться с выводом ряда исследователей о том, что сложившаяся в России система политических институтов неэффективна, но устойчива, поскольку у действующих политических элит есть и стимулы, и возможности исключать любые вызовы своему доминирующему положению [Институциональная политология, 2006; Гельман, 2010]. Вместе с тем даже если у правящей элиты нет потребности менять сложившиеся практики, импульсы перемен могут возникнуть в силу обстоятельств, которые она не контролирует. Дальнейшая трансформация публичной сферы может быть связана с социально-демографическими сдвигами, а также с набирающим темпы процессом «интернетизации».

Спрашивается: есть ли основания полагать, что рост «среднего класса» со временем вызовет подъем гражданской самостоятельности и сформирует новую стилистику политической коммуникации? Или что распространение новых технологий изменит структуру публичного пространства и приведет к сокращению разрыва между «ядром» и периферией? Конечно, было бы соблазнительно истолковать подъем протестной активности в Москве и ряде крупных городов после выборов в Государственную думу в декабре 2011 г., и тем более – неожиданную готовность к взаимодействию на общегражданской и демократической платформе идеологически разных политических сил, как проявление активности нового «среднего класса». Есть ли основания для таких предположений – покажут исследования социологов. Однако с поправкой на «удельный вес» участников протестного движения в общей массе населения едва ли можно ожидать быстрых перемен в поведении большинства.

Что же касается второго вопроса, здесь мы имеем дело с разновекторными процессами, течение которых сложно прогнозировать. «Интернетизация» действительно меняет информационные предпочтения населения. В апреле 2012 г. был зафиксирован символический рубеж: по данным исследовательской компании TNS, портал Яндекс обогнал по объему дневной аудитории Первый канал: дневная аудитория Яндекса в возрастной группе 12–54 года составила 19,1 млн. человек – почти на 1 млн. больше, чем аудито-

рия Первого канала. По результатам того же исследования, в апреле ежедневно Интернетом пользовались 30,5 млн. россиян – это всего лишь на 1 млн. меньше, чем смотрели ТВ [Болецкая, 2012]. Правда, исследование TNS Marketing Index не отражает картины по всей России: оно проводится в городах с населением более 100 тыс. человек и охватывает респондентов в возрасте 16–54 лет, а уровень проникновения Интернета существенно варьируется по стране в зависимости от региона и типа поселения [Интернет в России, 2012]. Вместе с тем опросы ФОМ показывают, что активные пользователи Интернета не только менее интенсивно смотрят телевизор, но и имеют несколько иную структуру телевизионных предпочтений [Лебедев, 2009]. Поскольку время – ограниченный ресурс, по мере развития телекоммуникаций различные медиа неизбежно будут вступать в борьбу за внимание потребителей.

Правда, пока еще рано говорить о том, что эта конкуренция всерьез угрожает доминированию телевидения в качестве основного канала публичной коммуникации: ежедневная телеаудитория, по данным той же TNS, остается относительно стабильной – на фоне неуклонного сокращения числа читателей газет и журналов, а также радиослушателей [Группа компаний TNS. Телевидение; Группа компаний TNS. Пресса; Группа компаний TNS. Радио]. Однако в среднесрочной перспективе можно ожидать изменения соотношения между «ядром» и «периферией» публичной сферы<sup>1</sup>. Развитие новых технологий коммуникации (в том числе – и в сегменте теле вещания) ведет к дифференциации каналов включения в публичную сферу, следствием которой станет размывание «ядра» (хотя для значительного большинства российских граждан телевидение по-прежнему будет оставаться основным источником ин-

---

<sup>1</sup> По данным исследования, проведенного «Группой 808. Информационный аудит», оказалось, что статистика поиска по ключевым словам, фиксируемая поисковой системой «Яндекс», может рассматриваться в качестве репрезентативного источника, который показывает реальную степень интереса общества к ключевым темам, событиям, явлениям и персонам. В частности, исследование показало высокую степень корреляции между интересом интернет-пользователей к участвующим в выборах политическим партиям и прогнозом результатов выборов в ГД в декабре 2011 г., рассчитанный ВЦИОМ с учетом опросов населения и экспертов-политологов [Выборы... 2011]. Конечно, это не делает автоматически Интернет главным каналом получения информации, однако эффект диверсификации каналов информации (и одновременно – фрагментации аудитории в зависимости от доступа к тем или иным ее источникам) отчетливо проявился уже в думской кампании.

формации). Чем разнообразнее источники информации, тем сложнее их контролировать. Данное обстоятельство может иметь как минимум два последствия.

Во-первых, ситуация «нулевых», когда было сравнительно несложно установить гегемонию поддерживаемого властью дискурса, меняя собственников и / или руководство нескольких телевизионных каналов и центральных газет, уходит в прошлое. И хотя после президентских выборов 2012 г. власть попыталась действовать по наработанному сценарию, приняв законы, разрешающие избирательно блокировать интернет-ресурсы под предлогом защиты детей от «информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и «ограничения доступа к противоправной информации», контент, транслируемый через каналы электронных средств связи, контролировать намного труднее, чем содержание передач центральных телеканалов. А значит, по мере массового освоения Интернета властвующей элите придется вести борьбу за смыслы в более конкурентной и более фрагментированной публичной среде.

Во-вторых, дифференциация каналов включения в публичную сферу может быть сопряжена с углублением фрагментации общества. Доступ к новым технологиям коммуникации коррелирует с социально-демографическими характеристиками (прежде всего с возрастом, образованием и типом поселения). По результатам исследования И.А. Быкова и Т.Э. Халл, до сих пор «интернетизация» в России сопровождалась увеличением масштабов цифрового неравенства, и ввиду «колоссального отставания инфраструктуры малых городов и сельской местности от крупных городов и мегаполисов» прогноз неутешителен [Быков, Халл, 2011, с. 156–159]. Сохранение нынешней ситуации, когда степень идеологического контроля в разных сегментах медиасистемы заметно отличается, может привести к тому, что граждане России будут жить в существенно разных информационных пространствах в зависимости от того, какой спектр технологий публичной коммуникации им доступен и ими освоен. Данное обстоятельство создает для правящей элиты соблазн действовать по принципу «разделяй и властвуй», противопоставляя друг другу «интеллигенцию» и «трудовой народ», «столицы» и «провинцию» и т.п., как это было на заключительном этапе президентской избирательной кампании 2012 г. (см. главу 8), однако такая символическая политика несет очевидную угрозу для единства и безопасности страны.

Наконец, трансформация институтов публичной коммуникации необходимо связана с развитием политической системы:

«результативность» конкуренции идей определяется не только возможностями для их высказывания и распространения, но и качеством их публичной критической «проработки», а также наличием механизмов агрегирования мнений и их трансляции в сферу принятия решений. В отсутствие развитой системы обратной связи при некотором стечении обстоятельств идеологический плюрализм может оказаться фактором дестабилизации политического порядка.

## **6. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ: АНАЛИЗ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ СМИ (2008–2009)<sup>1</sup>**

В качестве определяющей характеристики политических элит как правило рассматривается способность принадлежащих к данной группе индивидов оказывать влияние на принятие властных решений. Реже предметом анализа становится другая функция, тесно связанная с первой: поскольку принятие решений предполагает коммуникацию по поводу их выработки, согласования и легитимации, политические элиты неизбежно участвуют в процессе производства и конкуренции смыслов – идей, символов, нарративов, норм, идеологий и т.п., – определяющих восприятие политики как самими политиками, так и широкой публикой. Хотя функция производства смыслов является неотъемлемой частью деятельности элит, ее содержание, объем и способ осуществления варьируются в зависимости от степени публичности процесса принятия решений, особенностей институтов и процедур, в рамках которых он происходит, параметров идеологического пространства, в котором осуществляется легитимация политического курса, а также характеристик самих элит [см.: Малинова, 2011в]. К сожалению, в силу ряда факторов структурного (особенности институтов власти и партийной системы) и политико-культурного характера в России производство смыслов до недавнего времени не являлось значимым инструментом борьбы за власть, а проблема мобилизации массового участия для сложившегося в 2000-х годах политического режима была не слишком актуальна. В силу этого у элит были вполне рациональные

---

<sup>1</sup> Исследование проводилось в рамках коллективного проекта «Человеческий капитал российских политических элит» (науч. рук. Е.Б. Шестопал), поддержанного Российским гуманитарным научным фондом, грант № 10-03-00325а. См.: [Человеческий капитал, 2012].

причины не рассматривать задачу артикуляции *относительно связанных представлений о предпочтительных целях развития общества, которые задают водоразделы, определяющие политический «ландшафт»* (именно их часто называют *идеологиями*), в качестве приоритетной. Однако перспектива движения российской политической системы в сторону большей конкурентности и открытости в немалой степени зависит от того, в какой мере политические элиты способны выполнять идеологические функции.

Следует отметить, что идеологические представления и дискурсивные практики самих российских элит (в отличие от идеологических конструкций, представленных в публичном пространстве, и массовых идеологических предпочтений) изучались мало. Можно выделить лишь несколько проектов, посвященных эмпирическому анализу ценностно-мировоззренческих представлений и установок элитных групп. Прежде всего это проект «Мировоззрение и идеология современной российской политической элиты», осуществленный Институтом общественного проектирования под руководством М. Тарусина в 2006–2007 гг. Его целью было изучение мировоззренческих и идеологических установок различных групп современной российской элиты (представителей законодательной, исполнительной и судебной властей, СМИ, силовых структур, бизнеса, интеллектуальной и научной элиты, общественности и религиозных организаций). В проекте использовались методы глубоких неформальных интервью и анкетирования (выборка – 326 человек, 30 субъектов РФ). Вопросы интервью предполагали, с одной стороны, изучение представлений респондентов о желаемых перспективах развития России и ее позиционировании в мире, а с другой – их ориентаций, связанных с наиболее актуальными идеологическими конструкциями (выяснялось отношение к понятиям «суверенная демократия», «свобода», «справедливость», «возрождению «либерального консерватизма», как политического мировоззрения, сочетающего традиционные национальные ценности с ценностями демократии и свободы»), а также установок на идеологическое творчество (предлагалось высказаться о том, какой «должна быть политическая идеология в России») [Сумма идеологии, 2008, с. 8–15]. Исследование выявило признаки «консенсуса по отношению к тому или иному базовому набору ценностей и главных вопросов развития страны» [там же, с. 5, 25]. В то же время отмечалась «идеологическая невнятность» представлений элитных групп, которую авторы проекта отчасти объясняли тем, что «реальной политической борьбы в последние восемь лет нашей стране

удалось избежать», а отчасти связывали с тем, «что ряд имеющихся противоречий и проблем не нашел отражения в публичной политике и в развитии идеологии тех или иных групп». Однако с учетом «быстрого развития страны и общества, предусмотренного программой нового президентства», высказывалось предположение, что «жизнь поставит перед элитой задачу преодоления идеологической аморфности» [там же, с. 6]. Поскольку настоящее исследование охватывает более поздний период, оно дает возможность проверить, в какой мере это предположение реализовалось.

Интересную информацию об идеологических установках элит содержит работа американского политолога М. Урбана, в которой на основе дискурс-анализа серии глубинных интервью с представителями пяти когорт политической элиты федерального уровня (горбачёвской, ельцинской (два срока) и путинской (два срока)) исследуются «культура(ы) власти» постсоветской России. Поскольку политическая культура рассматривается автором не как совокупность убеждений и ценностей, а как «смысловой интеграл поведения, соразмерный самому поведению и представляющий его внутреннюю логику или рациональность» [Urban, 2010, p. 5], его внимание сосредоточено на разделяемых элитой репрезентациях мира и стоящих за ними дискурсах. Таким образом, объектом изучения оказывается сознание российского политического класса, выражаемое в его дискурсе. Опираясь на разработанную им на основе концепций М. Вебера и Ю. Хабермаса идеально-типическую модель политического дискурса, Урбан анализирует дискурс сообщества (представления элит об обществе и государстве), представления о морали и ее роли в политике, особенности понимания профессионализма, а также оценки недавней революции (распада СССР и рождения нового Российского государства) и восприятие социальных отношений внутри элиты (в том числе – оценку нормативных и реальных механизмов ее интеграции). Хотя исследование Урбана не нацелено на изучение собственно идеологических установок, оно содержит интересные наблюдения относительно картины мира, разделяемой российской элитой, и ее представлений о желаемых перспективах политического развития, на которые мы можем опираться.

В этом отношении также представляет интерес книга А.В. Лукина об особенностях политической культуры российских «демократов», которая относится к более раннему периоду [Лукин, 2005].

Э. Бак изучал мировоззрение региональных политических элит второй половины 1990-х годов на примере Тамбова, пытаясь выявить связь между сетевыми и мировоззренческими различиями. Его ис-

следование подтвердило гипотезу Д. Лейна и К. Росса [Lane, Ross, 1998] о том, что конкурирующие элиты могут обладать несходными культурными ориентациями, которые отчасти вытекают из конкуренции мировоззрений или принимаемых на веру представлений об устройстве социального порядка. Выделенные Баком на основе экспертных характеристик и организационной принадлежности три кластера элит действительно имели сходное мировоззрение. Рассматривая положение в социальных сетях как определяющий фактор поведения элит в рамках конфликта, Бак утверждает, то мировоззрение углубляет сетевые различия [Buck, 2007].

Наконец, стоит упомянуть и о проекте «Мыслящая Россия», в рамках которого была предпринята попытка анализа содержательной структуры российского интеллектуального поля. Сборник аналитических очерков и интервью, ставший результатом этого проекта [Мыслящая Россия, 2006], знакомит с представлениями определенного сегмента российского политического класса (той его части, которая связана собственно с производством идей, а не принятием решений) о состоянии и динамике современного российского идеологического пространства, а также о его акторах.

Вместе с тем остается немало вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. В какой мере представители российской политической элиты готовы к выполнению своих идеологических функций? Какими идеологическими представлениями они руководствуются, выступая в роли акторов публичного пространства? Какие интерпретации социальной реальности она пытается предложить обществу? В какой мере различия артикулируемых ею подходов к решению общественных проблем связаны с партийными идентичностями и исполняемыми политическими ролями и насколько они глубоки? Ответы на эти вопросы мы пытались получить в рамках коллективного исследовательского проекта, посвященного изучению человеческого капитала российских политических элит [Человеческий капитал, 2012]. Материалом для анализа идеологических представлений послужили 150 публичных выступлений пяти федеральных министров, десяти губернаторов и 12 депутатов Государственной думы, преимущественно – интервью для средств массовой информации, опубликованные в 2008–2009 гг.<sup>1</sup>. Общественно-политический контекст этих выступлений – изменения в политической

---

<sup>1</sup> Выборка текстов формировалась с учетом комплексных задач коллективного исследовательского проекта; принципы отбора см.: [Человеческий капитал, 2012, с. 89–90].

системе, последовавшие за президентскими выборами 2007 г., российско-грузинский конфликт августа 2008 г., мировой экономический кризис, разработка программы модернизации и др. – позволяет зафиксировать умонастроения элиты в критический момент изменения формата политической системы и корректировки политического курса. Все это должно было побуждать элиту к *выработке и артикуляции стратегий поддержания и / или изменения порядка.*

То обстоятельство, что исследование идеологических представлений опиралось на тексты интервью, данные средствам массовой информации, с одной стороны, накладывает некоторые ограничения, а с другой – открывает определенные возможности. Содержание таких интервью не всегда позволяет оценить позицию интервьюируемого по всему кругу интересующих исследователя вопросов, многое остается «за кадром». Кроме того, в подготовке текстов данного рода нередко участвуют специалисты PR-служб, в силу чего личностные особенности авторской речи могут быть смазаны. В то же время выступления, адресованные широкой публике, выполняют функцию репрезентации политика (а также группы, с которой он себя идентифицирует – его партии, его «команды» и т.п.) и легитимации принимаемых им решений, т.е. создаются *в контексте, предполагающем артикуляцию идеологических представлений.* Интервью для СМИ содержат важную информацию если не о том, что их авторы «на самом деле думают», то о том, что они *считают правильным говорить* в соответствующем контексте – а значит, о том, как они видят и понимают социальную реальность, которой стремятся «соответствовать». И если круг вопросов для интервью задается текущей медийной повесткой (которую формируют PR-службы и журналисты), то набор затрагиваемых тем и используемых аргументов определяется представлениями политика о том, что следует сообщить публике, дабы заслужить ее одобрение. Тексты данного типа прямо или косвенно отражают разделяемые говорящим фундаментальные когнитивные представления о социальном порядке и стратегии его поддержания / изменения, а также ценностные основания интерпретации текущих событий и процессов. Другими словами, несмотря на то, что интервью для СМИ не всегда дают возможность установить позицию политика по конкретным проблемам, значимым для его идеологической идентификации, они позволяют выявить представления, которые определяют его восприятие социальной реальности и задают культурные коды, воспроизводимые им в процессе публичной коммуникации.

## Идеологические представления политической элиты: Концептуализация и операционализация

Хотя носителями *идеологических представлений* являются индивиды, природа их социальна: это социально принятые способы интерпретации реальности, а не личные мнения. По определению Т. ван Дейка, идеологии – «это разделяемые людьми “интерпретативные рамки”, позволяющие членам группы понимать и наполнять смыслом социальную реальность, повседневную практику и отношения с другими группами» [Van Dijk, 1995, p. 245]<sup>1</sup>. Идеологические представления – продукт коллективного творчества групп, а также инструмент их интеграции и идентификации, основа социальной практики ее членов. Они выступают в качестве наиболее фундаментальных социальных представлений и, в соответствии с теорией С. Московичи, выполняют двоякую функцию: «во-первых, устанавливают порядок, позволяющий индивидам ориентироваться в материальном и социальном мире и справляться с ним; и во-вторых, делают возможной коммуникацию между членами сообщества, предоставляя им коды, на основе которых происходит социальный обмен, недвусмысленно называются и классифицируются различные аспекты их мира и их индивидуальной и групповой истории» [Moscovici, 1973, p. XIII; подробнее о теории социальных представлений см.: Емельянова, 2001]. Идеологические представления усваиваются в процессе социализации, причем из разных источников и не всегда отличаются связностью и последовательностью.

Предлагаемое рабочее определение *идеологических представлений* политической элиты, как *коллективно разделяемых представлений о социальном порядке и стратегии его поддержания / изменения, а также о собственной позиции в качестве члена референтной группы (или групп)*, опирается на теорию социальных представлений С. Московичи и дискурсивный подход к изучению идеологии, разработанный Т. ван Дейком. Вслед за ван Дейком мы рассматриваем идеологию как *основу* социальных представлений группы и исходим из того, что в речах и текстах политиков пред-

---

<sup>1</sup> Согласно трактовке ван Дейка, «идеологии не обязательно должны быть подробно разработанными и сформулированными системами убеждений» и «не сводятся к основным философским и политическим «измам». Скорее, их следует рассматривать в качестве базовых аксиом наивных, не выраженных явно социальных теорий, касающихся идентичности групп и их положения в обществе. Такие идеологические системы взглядов не обязательно должны быть особенно точными, связными и организованными» [Ibid., p. 246].

ставлены по крайней мере два кластера идеологических представлений: то, что ван Дейк называет «профессиональной идеологией» (представления, определяющие социальную идентичность политиков как членов статусной и профессиональной группы и как исполнителей соответствующих ролей) и собственно «социально-политическую идеологию», которой они привержены в качестве членов партий и социальных групп и которая организует отношения к блокам социальных проблем [Van Dijk, 2002, p. 15, 24].

В данном случае имеет смысл говорить об идеологических представлениях, а не об идеологиях, резервируя последний термин для эксплицитно декларируемых «систем убеждений»: очевидно, что не все оказавшиеся в поле нашего внимания политики могут быть названы идеологами в том смысле, который вкладывает в это понятие в своей недавней работе Стивен Хансон<sup>1</sup>, т.е. берут на себя функцию артикуляции связанных представлений о желаемом социальном порядке (хотя некоторые из них справляются с нею вполне успешно).

В качестве коллективно разделяемой когнитивной рамки, опосредующей восприятие и конструирование социальной реальности, идеологические представления тесно связаны с представлениями о политике, власти, государстве, политической системе, политических институтах и политических ролях, а также о наделяемых политическими качествами сообществах. Можно сказать, что они выступают в качестве определенного измерения или *функции политических представлений*, которая «включается» в контексте легитимации политических решений, борьбы за общественное мнение, мобилизации электоральной поддержки, конструирования политически значимых идентичностей и т.п. коммуникативных действий, в процессе которых политик стремится оказывать влияние на публику. Именно в публичной коммуникации проявляются «идеологические» свойства политических представлений – установка на изменение социальной реальности, мобилизацию коллективного действия, стремление к доминированию, ориентация на «борьбу» с конкурирующими системами смыслов и т.п. Как уже отмечалось, идеологические представления усваиваются из различных источников и активизируются в

---

<sup>1</sup> С. Хансон определяет идеологию как «ясное и последовательное определение критериев членства в желаемом политическом порядке», способное задавать ориентиры для политической самоидентификации и служить основой коллективного действия. В этом смысле круг «идеологов», т.е. социальных акторов, «способных формулировать ясные и связанные определения членства в политическом сообществе, которому они отдают предпочтение», действительно узок [Hanson, 2010, p. 46–47].

определенном контексте. В их структуре выделяется «ядро», образуемое фундаментальными когнитивными установками, которые как правило не рефлексированы, и «периферия», включающая смысловые конструкции, которые являются предметом осознанного выбора и целенаправленно используются с учетом обстоятельств.

Разные способы аргументации принимаемых или предлагаемых решений предполагают использование разных пластов идеологических представлений. Отталкиваясь от основных типов аргументов, обнаруженных в изученных текстах, можно выделить следующие *способы репрезентации идеологических представлений* в публичной риторике российских политиков (см. табл. 1):

Таблица 1

**Способы обоснования решений в публичной риторике и идеологические представления политиков**

Типы аргументов	Логика обоснования	Представления о социальном порядке и способах его поддержания / изменения	Представления о собственной группе и ее задачах
1	2	3	4
1. Апелляция к общественному благу / благу «людей», «населения» / национальным интересам / интересам отдельных групп	Через указание на связь с тем, что рассматривается в качестве «самоочевидных» фундаментальных ценностей	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Каким видится субъект, благо которого рассматривается в качестве приоритета</li> <li>• Каковы критерии принадлежности к данной категории</li> <li>• Как понимается благо и как ранжируются его составляющие</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Как понимаются задачи политика / партии / команды по обеспечению блага</li> <li>• Кто или что может помешать решению этой задачи</li> <li>• Какими качествами (знаниями, установками, навыками) политик / партия / команда должны обладать, чтобы обеспечить благо</li> </ul>
2. Предотвращение вредных социальных последствий	Через установление причинно-следственных связей между некими событиями / решениями и тем, что представляется социально вредным	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Что следует считать вредным</li> <li>• Какие причины определяют соответствующие вредные последствия</li> <li>• Кто или что является источником опасности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Как понимаются задачи политика / партии / команды по предотвращению вреда</li> <li>• Какими качествами (знаниями, установками, навыками) должны обладать политик / партия / команда, чтобы предотвратить вред</li> <li>• Кто или что может помешать решению этой задачи</li> </ul>

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4
3. Апелляция к нормам социальных отношений / «правильному» исполнению ролей	Через отсылку к нормам (морали, справедливости, праву, «правам»), которые, как предполагается, разделяются всеми	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Как «устроены» нормы, каков механизм их установления, поддержания и изменения</li> <li>• Какова иерархия норм</li> <li>• Как «правильно» должны функционировать институты / выполняться роли</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Какие обязанности и задачи рассматриваемые нормы налагают на политика / партию / команду и «Других» (партнеров, противников, союзников, оппонентов, врагов и т.п.)</li> <li>• Как «правильно» исполняются роли «Мы» (и как неправильно – «Другие»)</li> </ul>
4. Указание на «объективную» полезность, эффективность, целесообразность решений	Через установление причинно-следственных связей между действиями и предполагаемыми последствиями на основе экспертного знания («опыта», «данных науки» и др. коллективно разделяемых представлений)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Каковы связи между рассматриваемыми социальными явлениями</li> <li>• Какова «правильная» стратегия поддержания / изменения социального порядка</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Что нужно и чего не нужно делать</li> <li>• Какими качествами (знаниями, установками, навыками) должны обладать политики / партия / команда, чтобы принять и реализовать «правильные» решения</li> <li>• Кто – те «Другие», которые видят ситуацию иначе, и какой должна быть стратегия поведения по отношению к ним</li> </ul>
5. Ссылка на (положительные и отрицательные) примеры других стран	Ссылка на «факты», доказанные чужим опытом	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Представление о принципиальной универсальности или партикулярности социетального опыта</li> <li>• Представление об «исторических особенностях» России и применимости / неприменимости к ней чужого опыта</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Как правильно извлечь уроки из этих примеров</li> </ul>

1	2	3	4
6. Указание на ответственность по отношению к сообществу, существующему во времени и пространстве	Через апелляцию к моральной ответственности по отношению к прошлым и будущим поколениям	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Представление о воображаемом сообществе, существующем во времени и пространстве, и его границах</li> <li>• Коллективные автостереотипы, описывающие социокультурные особенности этого сообщества</li> <li>• Представления о месте обязательств, вытекающих из принадлежности к данному сообществу, в общей иерархии целей и ценностей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Какие обязательства вытекают из факта нашей принадлежности к воображаемому сообществу</li> <li>• Как следует противостоять коллективным угрозам</li> </ul>
7. Ссылка на «готовые» идеологические конструкции	В расчете на одобрение теми, кто идентифицирует себя с этими конструкциями	• Инструментальное представление об «идеологиях» как о работающем механизме сплочения группы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стремление идентифицировать себя / свою партию со «старыми» идеологическими «семействами»</li> <li>• Использование актуальных идеологем</li> </ul>

**1. Апелляция к общему благу / благу «людей», «населения» / национальным интересам / интересам отдельных групп.** Легитимация осуществляется за счет ссылки на «самоочевидные» фундаментальные ценности. Такой способ аргументации опирается на представление о субъекте, благо которого рассматривается в качестве приоритетной политической цели (представление о Нас). В логике современной политической картины мира в роли такого субъекта выступает «народ» или «нация»; однако и базовые структурные единицы, из которых складывается коллективный субъект («граждане», «налогоплательщики» – или «люди», «население» и др.), и характер образующих его связей (равенство прав и возможностей, иерархия статусов и ролей) могут пониматься по-разному («это на пользу людям», «ты приходишь во власть, чтобы помочь народу», «это закон который защищает наших избирателей», «когда мы помогаем, мы помогаем деньгами налого-

плательщиков», «главная задача государства – обеспечить достойную жизнь своим гражданам» и т.п.). Соответственно, речь может идти об «общем благе» целого, о благе «каждого» из составляющих это целое «индивидов» или о благе отдельных групп («трудящихся», «селян», «малого бизнеса»). Критерии принадлежности к группе, определяемой в качестве Нас, могут варьироваться. Наконец, по-разному могут интерпретироваться и ранжироваться ценности, выступающие в качестве «ингредиентов» блага.

**2. Аргументы, указывающие на необходимость предотвратить вредные социальные последствия.** По структуре связанных с ними идеологических представлений они сходны с аргументами первого типа, поскольку также опираются на социальную онтологию и негативную идею вреда, констатируют причинно-следственные связи между действием и вредными последствиями, соответствующим образом маркируя социальные явления («государство не вливает деньги, а помогает в тяжелых условиях...»). Вместе с тем аргументы второго типа могут содержать прямые или косвенные указания на агентов, которые являются источниками опасности, т.е. опираются на представления о Недружественных Других («Западу абсолютно не нужно, чтобы у нас была сильная политическая власть»).

**3. Апелляция к нормам социальных отношений / «правильному» исполнению ролей.** Оправдание решений осуществляется через отсылку к нормам, которые, как предполагается, разделяются всеми. При этом как содержание норм, так и механизмы их установления, поддержания и изменения могут пониматься по-разному. Участники российского политического дискурса чаще апеллируют к нормам морали и «справедливости», реже – к праву и «правам». Причем ссылки на право скорее можно обнаружить в международном, нежели в национальном контексте («Поскольку государство выполняет задачу социальной защиты определенных категорий людей, то оно в бюджете должно держать определенные средства, чтобы оплачивать то, что оно регламентирует; а бизнес есть бизнес – он должен быть рентабельным»; «у бизнеса должна быть своя доля ответственности»; «многообразию мира требует, чтобы лидерство было представительным в географическом и цивилизационном отношении» и т.п.). Особую категорию аргументов данного типа составляют доводы, опирающиеся на представления о «правильном» исполнении ролей и функций («Именно Государственная дума – место для ярких политических дискуссий», «никому не нужна оппозиция ради самой

*оппозиции, цель... – добиться конкретных результатов» и т.п.).* Рассматриваемый способ легитимации решений не только «проявляет» представления говорящего о социальных нормах и их иерархии, но и может использоваться для активного утверждения разделяемого им способа интерпретации социальной реальности и «защиты» нарушаемых (Другими) норм.

**4. Указание на «объективную» целесообразность, эффективность и полезность принимаемых / предлагаемых решений.** Такой способ аргументации предполагает установление причинно-следственных связей между действиями и их предполагаемыми последствиями на основе экспертного знания («опыта», «данных науки» и др.). (*«Главный вывод, который можно сделать из динамики показателей: нам чрезвычайно важно повышать конкурентоспособность нашей экономики»; «Должна ли пенсия стать цивилизованной?... Но тогда за это придется заплатить. Это означает, что нам придется увеличить налоги» и т.п.*) Несмотря на кажущуюся «внеидеологичность», он базируется на коллективно разделяемых представлениях, которые являются предметом оспаривания (поскольку существует больше чем один способ интерпретации «опыта») и в конечном счете определяются ценностным выбором (ибо каждый из альтернативных способов решения проблем имеет и положительные и отрицательные последствия, которые приходится взвешивать, ранжируя ценности). Именно аргументы этого типа лежат в основе различий конкретных политических программ; они опираются не только на «научно-обоснованные» подходы к решению проблем, но и на конкурирующие стратегии поддержания и / или изменения социального порядка.

**5. Ссылка на пример других стран.** Хотя логически этот способ аргументации является частным случаем предыдущего, в российском контексте его имеет смысл выделить в самостоятельную категорию, поскольку ссылка на «факты», доказанные чужим опытом (положительным или отрицательным), опирается не только на представление об универсальности или партикулярности социетального опыта как такового, но и на понимание «исторических особенностей» России, в силу которых «чужой опыт» может приниматься или отвергаться как принципиально неприменимый. Другими словами, этот тип аргументов встраивается в контекст долгого спора «западничества» и «почвенничества» (*«государство должно основные риски взять на себя, в принципе так во всем мире», «российская экономика не может строиться по образцу американской» и т.п.*).

**6. Указание на ответственность по отношению к сообществу, существующему во времени.** Этот тип аргументов опирается на способ воображения сообщества, «стоящего за государством», характерный для современной политической картины мира, т.е. на идею нации, существующей во времени и «привязанной» к определенному пространству. Он апеллирует к моральной ответственности по отношению к прошлым и будущим поколениям, опирается на автостереотипы, описывающие социокультурные особенности Нашего сообщества и отражает конкуренцию различных моделей коллективной самоидентификации (*«наша политическая система должна отвечать отечественным традициям», «у россиян общинный менталитет, и мы многие проблемы привыкли решать сообща» (к вопросу о развитии гражданского общества) и др.*).

**7. Ссылки на «готовые» идеологические конструкции** включаются в публичную риторику политиков в расчете на одобрение той части публики, которая их поддерживает, а также в целях идеологической самоидентификации политика и его партии. В основе этого типа аргументов – инструментальное представление об «идеологиях» как работающем механизме сплочения группы. В российском политическом дискурсе можно обнаружить и попытки опереться на авторитет «старых» идеологических «семейств», и примеры продвижения актуальных идеологием (*«сильное государство», «суверенная демократия», «инновации», «модернизация» и проч.*).

Проанализированные примеры показывают, что аргументы, используемые в публичной риторике, дают богатую информацию не только о «периферии», но и о «ядре» идеологических представлений российской политической элиты. Метод качественного анализа публичных выступлений на основе категориальной схемы позволяет не только изучить представления российской политической элиты о социальном порядке и стратегиях его поддержания / изменения и об исполняемых ею профессиональных ролях, но и выяснить, каким образом эти представления работают в контексте обоснования принимаемых или предлагаемых решений, борьбы за общественное мнение, мобилизации поддержки, конструирования групповых идентичностей и т.п.

Ориентируясь на опыт применения теории проблемных измерений в анализе партийных программ [Budge et al., 1987; Oates, 1998; Попова, 2004; Мелешкина, Толпыгина, 2009], а также на исследования массовых представлений, акцентирующие дилемматическую природу идеологий [Ideological dilemmas, 1988; Billig,

1991], мы положили в основу категориальной схемы анализа интервью российских политиков основные ценностно-мировоззренческие дилеммы, представленные в современном российском публичном дискурсе: патернализм / опора на собственные силы, иерархия / равенство, прогрессизм / традиционализм, демократия / авторитаризм, национализм / интернационализм (мультикультурализм), западничество / почвенничество. Позиционирование по соответствующим осям служило в качестве инструмента оценки высказываний.

Предметом анализа стали представления членов российской политической элиты о власти и обществе, о политической системе и перспективах ее изменения, о социальных и экономических функциях государства, об идентичности макрополитического сообщества, стоящего за Российским государством. Мы попытались обнаружить общее и особенное в представлениях разных политиков, соотнося эмпирически выявленные кластеры идеологических представлений с исполняемыми ими ролями и партийной принадлежностью. Нас также интересовала «профессиональная идеология» политиков, т.е. их представления о собственной социальной идентичности, определяющие понимание исполняемых ими ролей (законодатель, министр, губернатор, лидер / представитель политической партии, лидер / член «команды»<sup>1</sup>). Наконец, мы попытались зафиксировать особенности идеологической самоидентификации политиков и то, в какой мере и каким образом они используют идеологемы, предложенные в течение последних пяти-шести лет кремлевской администрацией и активно включаемые в риторику главы государства («суверенная демократия», «модернизация», «инновации» и т.п.).

---

<sup>1</sup> Последнее понятие, как показал М. Урбан, широко применяется членами российской политической элиты для характеристики связывающих их сетей; при этом «чужие» сети зачастую определяются как «кланы» [Urban, 2010, p. 48–54]. С учетом «внепартийности» федеральной, а отчасти – и региональной исполнительной власти, именно «команда» оказывается чаще всего той группой, с которой стремятся отождествлять себя ее представители. Очевидно однако, что если идентификация с партией предполагает необходимость публично демонстрировать приверженность ее «идеологии» и связь с определенными социальными группами (электоратом), то принадлежность к «команде», как правило, определяется «внеидеологически», с помощью «сугубо профессиональных» характеристик. В этом отношении есть заметные различия между моделями саморепрезентации «партийных» представителей законодательной власти и «беспартийных» министров.

## Власть и общество

Представления российских политиков об отношениях власти и общества, на первый взгляд, на удивление единодушны и могут быть выражены формулой: «Задача власти – помогать людям». Есть, однако, семантические нюансы, за которыми можно разглядеть целый спектр вариаций в интерпретации этой базовой установки. Обращает на себя внимание, что объект своей заботы российские политики чаще всего определяют словом «люди»; иногда – «население»; гораздо реже – «граждане» или «народ». Очевидно, что и «люди», и «население» – пассивный объект заботы власти, но не равноправный по отношению к ней субъект; в лучшем случае это масса «зрителей», наблюдающих политический спектакль. «Граждане» в наших примерах выступают субъектами социальных, а не политических, – но все-таки *прав*. Некая *коллективная субъектность* просматривается лишь в упоминаниях о «народе», который хотя и не готов пока к протесту, но «в пику власти» голосует за «обиженных». Обращает на себя внимание, что понятия «народ» и «общество», в прошлом игравшие весьма значимую роль в отечественном публичном дискурсе [Малинова, 2012а], сравнительно мало используются современными политиками. Депутаты иногда вспоминают об «избирателях», а представители исполнительной власти – о том, что они распоряжаются деньгами «налогоплательщиков». В рассмотренном массиве текстов нам не удалось обнаружить ни одного упоминания о «нации» в качестве субъекта, чьи интересы призвана представлять власть: видимо, эта формула «политкорректного» определения отношений власти и общества не входит в арсенал, который российские политики считают правильным использовать в своих публичных выступлениях. Правда, термин «нация» изредка используется лидерами «Единой России», чтобы подчеркнуть единство власти и народа (ниже мы вернемся к этим примерам).

Таким образом, главным визави власти оказываются «люди», т.е. масса индивидов, не обладающая коллективной субъектностью. Отношения с нею мыслятся скорее в категориях морального долженствования (власть должна «решать проблемы людей», обеспечивать их «потребности» (не интересы!)), нежели права и прав. Причем большинство политиков говорят о своей обязанности помогать «людям» вообще, избегая прямых обращений к конкретным адресным группам. Некоторое исключение на этом фоне составляет риторика депутатов-коммунистов, которые

подчеркнуто апеллируют к «массе трудящихся» (особенно в выступлениях, адресованных однопартийцам) и более активно используют «субъектно-ориентированные» понятия «народ» и «общество» (что, возможно, является данью наследию советской идеологии). Однако и в их выступлениях упоминания о «людях» вообще – не редкость.

Описанные особенности понятийного ряда видимо неслучайны. В подавляющем большинстве выявленных нами высказываний на тему власти и общества доминирует патерналистская модель отеческой заботы о «людях», которая, в свою очередь, подкрепляется представлениями о пассивности населения (оппозиционными политиками она воспринимаются как качество, которое в перспективе следует менять<sup>1</sup>). Примечательно, что «воспитание» масс тоже мыслится в категориях патерналистской заботы со стороны власти<sup>2</sup>. Немногочисленные высказывания авторов наших текстов о гражданском обществе свидетельствуют, что последнее рассматривается как набор промежуточных между властью и «людьми» «общественных» структур, решающих заведомо невыполнимую (с учетом качеств «нашего населения») задачу. Соответственно, успех гражданского общества всецело определяется тем, что будет делать для него власть<sup>3</sup> – или же оппозиция<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> «...у нас в стране так уж сложилось, что в течение последних десятилетий *население* во многом пассивно... И вот это надо менять!» [Жириновский, б. г.]; «...по привычке, укоренившейся со времен Советского Союза, власть воспринимается как мать родная. Хотя это давно уже злая мачеха, кормящая *людей* объедками с олигархического стола» [Зюганов, 2009а].

<sup>2</sup> «Неужели сейчас... мы не можем прозреть, перестать быть слепыми и глухонемыми и обеспечить нормальное развитие нашим гражданам? Научиться им все разъяснять, растолковывать, не молчать?» [Жириновский, 2009а]; «основная часть [общества. – О.М.] ищет в повседневной жизни материальных выгод для себя. Мы зря упускаем из вида прагматическую основу сознания масс, не умеем использовать ее в высоких политических целях» [Зюганов, 2009а].

<sup>3</sup> См. рассуждения О.В. Морозова о том, почему «роль государства в становлении институтов гражданского общества» в России – не оксюморон: поскольку «власть умудрилась за века убить всех непокорных», «теперь именно власть должна сделать так, чтобы *люди* не боялись участвовать в общественной жизни» [Морозов О., 2009, а].

<sup>4</sup> «Для гражданского общества нужна сильная оппозиция», потому что именно партии «делают людей более активными, деловитыми, дисциплинированными, заставляют думать, сопоставлять, а не махать рукой – “и без нас все решат”» [Жириновский, б. г.].

Впрочем модель отеческой заботы – не единственный способ репрезентации отношений власти и общества. В рассмотренных нами текстах достаточно широко представлена и другая модель, в соответствии с которой последние рассматриваются в логике обязательств «поставщиков» «государственных услуг» перед «потребителями»<sup>1</sup>. Обращает на себя внимание, что эту модель используют политики, работающие в исполнительной власти. Идея «потребительства», возникшая в контексте административной реформы и активно продвигаемая в последнее время российской властью<sup>2</sup>, амбивалентна. С одной стороны, она предполагает интерпретацию отношений гражданина и власти в терминах прав и обязанностей, и каждый «потребитель» может оценивать качество «услуги» и даже вступать в обратную связь с ее «поставщиками». Однако идея «потребительства» не работает в отрыве от более комплексной идеи «гражданства», которая в дискурсе российских политиков представлена преимущественно в одной ипостаси – социальных прав. В логике модели «потребительства» индивид рассматривается как самостоятельный субъект, способный выбирать способы реализации своего личного блага, но не как сознательный член сообщества, участвующий в определении коллективных интересов.

Наконец, в нашей выборке удалось обнаружить небольшое количество текстов, в которых отношения между властью и обществом рассматриваются в терминах антипатернализма: это интервью губернатора Кировской области Н.Ю. Белых, губернатора Красноярского края А.Г. Хлопонина и федеральных министров А. Фурсенко и С.К. Шойгу<sup>3</sup>. Однако эти примеры – скорее

---

<sup>1</sup> «Перед нами остро стоит задача без наращивания затрат улучшить качество и увеличить объемы *государственных услуг*» [Кудрин, 2009а]; «...скорость предоставления *государственных услуг* следует признать главным в оценке деятельности госслужащих» [Шаймиев, 2008а] и др.

<sup>2</sup> Анализ дискурса о «гражданах как потребителях» и его возможных перспективах см: [Сулимов, 2011].

<sup>3</sup> Например: (в контексте обсуждения вопроса о переименовании Кирова) «Однако мое мнение – ни в коем случае не сигнал к действию. Вообще ни одно социально значимое решение не должно приниматься под влиянием меньшинства, и тем более одного человека. Именно поэтому мы и решили создать рабочую группу, задача которой – изучение общественного мнения...» [Белых, 2009]; (в контексте вопроса об административном ограничении количества вузов, в которые можно подавать документы) «Чтобы ответить на этот вопрос, важно понять: такси для пассажира или пассажир для такси?.. В этом плане абсолютно нормально, когда у студента есть выбор... и конкуренция вузов в данном случае –

исключение из общего правила. Авторы большинства рассмотренных нами текстов мыслят и / или считают нужным говорить в патерналистских категориях «заботы власти о людях» и «помощи народу».

Впрочем, при всей своей пассивности «народ» в представлениях элиты – отнюдь не всегда легко управляемая масса: он не доверяет власти, считает, что именно в ней «корень зла», способен «в пику» правящим проголосовать «за обиженных» и является источником угрозы «социального взрыва» и даже «революционной ситуации». Исходя из этого, власти важно правильно позиционировать себя в выступлениях для публики. Какие профессиональные качества кажутся российской элите важными в борьбе за «доверие людей»? Различаются ли представления по этому поводу народных избранников и политиков, пришедших к власти через назначение? Общий принцип саморепрезентации, который в полной мере разделяют все российские политики, может быть определен словами Б.В. Грызлова: «Люди должны всегда видеть, что народные избранники делают все для профессионального решения задач развития России» [Грызлов, 2009б]. Однако в его применении вполне отчетливо просматриваются ролевые и партийные особенности.

Представители исполнительной власти дружно делают упор на демонстрацию собственной компетентности – знаний, опыта, волевых качеств, способностей к прогнозированию ситуации. Более того, именно эти качества многие из них рассматривают как более «легитимное» основание для исполнения собственной роли, нежели партийная принадлежность или готовность осуществлять определенную политическую программу. Например, губернатор Кировской области Н.Ю. Белых, обсуждая работу своей «команды», в состав которой он пригласил известных либеральных политиков, подчеркивает: «Я руководствуюсь исключительно критериями профессионализма и способности работать в команде... Так что дело не в принадлежности к правым силам» [Белых, 2009]. А губернатор Сахалинской области А.В. Хорошавин в интервью по случаю 100 дней нахождения в должности говорил о преимуществах назначения перед выборами, апеллируя к общественному

---

благо» [Фурсенко, 2009]; «Если человек не хочет заботиться сам о собственной безопасности, никакими законами, никакими репрессивными мерами мы не сможем его обезопасить!» [Шойгу, 2009] и др.

благу<sup>1</sup>. Впрочем, нельзя сказать, что такая расстановка акцентов в публичной репрезентации ролей исполнительной власти лишена рациональных оснований: статус ее обладателей не зависит от борьбы за голоса избирателей и колебаний партийной линии, что побуждало бы фиксировать внимание на содержательном осуждении альтернативных подходов. В то же время у них есть возможность мобилизовать поддержку «людей», демонстрируя «сугубо профессиональные качества», поскольку они принимают решения и руководят «командой», которая приводит их в действие (в отличие от законодателей, связанных принципом большинства).

По-видимому, неслучайно и стремление нуждающихся в электоральной поддержке депутатов в большей мере концентрироваться на теме «помощи людям», нежели на «скучных» подробностях своей законодательной деятельности. В этом смысле весьма характерны объяснения В.В. Володина по поводу поспешности, с которой принимался бюджет 2009 г.: «Так надо быстрее помогать людям. Человеку надо помогать, или бумаги гонять по кабинетам?» [Володин, 2009а]. Не менее примечательны и его рассуждения о том, надо ли депутату заниматься социальными проектами, «строить школы, вузы, вести к селам воду». По мнению заместителя председателя Государственной думы, «...если мы все, представляя законодательную, исполнительную власть, будем решать эти проблемы, люди от этого только выиграют» [Володин, 2009б]. Забавно, что при этом г-н Володин стремится тщательно развести «помощь людям» и «популизм», которым грешат его оппоненты<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> «Я полагаю, что назначение позволяет губернатору спокойно и системно работать, без лихорадки, без суеты лишней. И поэтому сто дней – ну и что?.. Нам надо выстроить нормальную, спокойную, системную работу. Не отмечать эти даты, а работать на перспективу. У Черчилля есть очень хорошая фраза: "Какая разница между политиком и государственным деятелем? Политик думает о следующих выборах, а государственный деятель думает о следующих поколениях". Ну, не будем проводить параллели с Черчиллем, но фраза сама по себе очень интересная» [Хорошавин, 2007]. ср.: «...среднестатистическому россиянину безразлично, каким способом наделяется полномочиями глава территории. Ему важно, чтобы губернатор был эффективным хозяйственником, и чтобы была возможность его снять, если это окажется не так» [Морозов О., 2009а]. Кстати, приведенная Хорошавиным цитата Черчилля пользуется популярностью: ее охотно используют и другие единоросы.

<sup>2</sup> (В ходе дебатов с Н. Левичевым на канале НТВ): «...вот здесь я хочу призвать моего коллегу и других представителей парламентских партий *все-таки думать о людях, а не о популизме*» [Володин, 2009в].

С учетом установки на «решение проблем» как основной способ легитимации депутатского статуса последние оказываются в заведомо проигрышном положении, ибо возможности оппозиционных партий для «помощи людям» гораздо скромнее. Красноречивый пример – размышления лидера фракции «Справедливая Россия» Н.В. Левичева о кризисе как возможности для подъема левых сил: «Ну, развернуться – это сильно сказано, потому что мы предлагаем идеи, алгоритмы какие-то, варианты решения проблем, но коль скоро они не реализуются... Ведь людей интересуют не прожекты, а какая будет у них зарплата и пенсия сегодня и завтра» [Левичев, 2009а]. Депутатам оппозиционных фракций, чтобы завоевать «доверие людей», приходится искать иные способы саморепрезентации – через акцентирование своих личных качеств, демонстрацию открытости, принципиальности, прямую апелляцию к адресным социальным группам и т.п.

В свою очередь, депутаты «Единой России» также не прочь поиграть на контрасте, противопоставляя «разговорам» своих оппонентов «реальные дела»<sup>1</sup>. Лидеры этой партии активно продвигают образ «единой власти», всецело сосредоточенной на «помощи людям», призывая коллег из других партий объединить свои усилия «для того, чтобы у человека проблем стало меньше» [Володин, 2009а]. К идее «единой власти» мы еще вернемся, пока же зафиксируем, что в ее основе – представление о пассивности, аполитичности и слабой информированности «людей», которые обеспокоены лишь собственными «проблемами».

Вместе с тем многие политики с обидой и тревогой говорят о недоверии общества к власти и необходимости преодоления сложившихся стереотипов. Таким образом, в представлениях политической элиты о взаимоотношениях власти и общества фиксируется некий «дефицит понимания»: несмотря на все усилия «соответствовать ожиданиям людей», налицо когнитивный диссонанс, в силу которого общество не отвечает на усилия властей должной мерой доверия.

---

<sup>1</sup> «...всегда есть альтернатива: либо покричать от желания просто привлечь внимание к проблеме, не заботясь о том, как она будет решена. Либо скрупулезно продолжать над ней работать и найти эффективное решение. Я сторонник второго подхода» [Морозов О., 2009б].

## Политическая система и перспективы ее реформирования

Проанализированные нами тексты отражают реакции различных групп российской политической элиты на изменение формата политической системы, последовавшее за президентскими выборами 2007 г.: становление «тандема» Д.А. Медведева и В.В. Путина, внесение (впервые с 1993 г.) поправок в главы Конституции, определяющие правовой статус высших государственных органов и изменение сроков полномочий президента и депутатов Государственной думы, символические жесты в адрес оппозиционных партий и др. Какие стратегии поддержки или критики вновь складывающегося статус-кво можно обнаружить в выступлениях представителей разных сегментов российской элиты?

Задача легитимации состоявшихся перемен, вполне естественно, легла на плечи лидеров «Единой России», которые настойчиво доказывали, что целью инициированных новым президентом поправок было «сделать политическую систему более открытой и демократичной, а в конечном счете конкурентоспособной», а также повысить «ответственность власти перед обществом» [Грызлов, 2009а]. Единороссы пропагандировали эффективность принципа «тандема» и перспективность Путина в качестве нового лидера партии. При этом, как и положено «консервативной партии», они апеллировали к истории, подчеркивая, что «российская политическая система должна в полной мере отвечать отечественным традициям и строиться исходя из них» [Грызлов, 2008а].

Представители оппозиционных парламентских партий политическую систему в ее новом формате критиковали, хотя и с разной степенью жесткости. «Непримиримую» позицию заняли коммунисты, характеризовавшие систему, «созданную правящей группировкой» как «авторитарную» [Зюганов, 2009а] и предсказывавшие, что в условиях «тандема» «у вертикали власти неизбежно возникнут трудности с определением ориентира» [Мельников, 2010]. Хотя о программе Медведева, заявленной в статье «Россия, вперед!», лидеры КПРФ отзывались с некоторым сочувствием, в конечном счете они определяли ее как «охранительную по отношению к политической системе» и критиковали за «большой перегиб в сторону индивидуализма в ущерб исконной черте нашего народа – коллективизму» [там же].

В.В. Жириновский, напротив, одобрил идею «тандема» как шаг в сторону демократизации<sup>1</sup>. Главным предметом его критики стала «монополия одной партии». Список изменений в политической системе, предложенных лидером ЛДПР, включал ограничение президента одним сроком («чтобы все знали, что этот человек пришел и обязательно уйдет»), одобрение кандидатур министров думским большинством (однако «министры должны быть беспартийные»), упразднение верхней палаты («слово “федерация” губительно для России; у нас должно быть централизованное, унитарное государство») и избрание законодательных органов всех уровней по партийным спискам [Жириновский, 2009а].

«Справедливая Россия», которая поддержала кандидатуру Д.А. Медведева на выборах 2007 г., не выдвигала столь радикальной программы реформирования политической системы, однако и ее лидеры боролись с монополизмом единороссов, позиционируя свою партию в качестве «полноценной оппозиции». По словам председателя думской фракции «СР» (а с апреля 2011 г. – председателя партии) Н.И. Левичева, «в парламенте должны быть представлены разнохарактерные и разнонаправленные социальные силы... Сила законодательных органов в демократическом государстве – в пропорциональном представительстве в них основных политических течений» [Левичев, 2009б].

Отметим, что все авторы рассмотренных нами текстов предполагают, что демократия – это благо (хотя понимают они его по-разному); при этом все, кроме коммунистов, так или иначе утверждают, что Россия движется по пути демократизации (хотя и расходятся в оценках ее успехов). Таким образом, существует *формальный* консенсус относительно демократии как цели и ценности. Кроме того, обращает на себя внимание, что критика думских оппозиционеров по поводу политических реформ адресована либо «Единой России», либо «власти» вообще; принимая навязанные правила игры, они избегают *прямых* критических высказываний в отношении президента и премьер-министра. Тем самым возникает видимость сугубо межпартийных разногласий.

---

<sup>1</sup> «У нас появился идеальный вариант, когда бывший президент не отдыхает, не ушел куда-то в сторону, а возглавил правительство, имея огромный опыт... Если в перспективе все будет идти по линии усиления роли партий, то, конечно, идеальный вариант, когда руководитель партии может стать и президентом, и премьер-министром с тем, чтобы, наконец, люди осознали, в чем смысл партийной демократии» [Жириновский, б.г.].

В понимании единокороссов, период политических реформ уже завершен. По определению О.В. Морозова, «здесь уже нужны скорее не “хирургические”, а “терапевтические” меры» [Морозов О., 2008а]. Стратегия лидеров «ЕР» направлена на поддержание сложившегося порядка.

Не случайно ключевым элементом их дискурса является **идея единства**, которая имеет несколько ипостасей: 1) *единство «всей здравомыслящей элиты»* в рамках «ЕР» [Морозов О., 2009в], 2) *единство внутри власти*, предполагающее соблюдение договоренностей между партиями<sup>1</sup>, 3) *единство власти и народа* (примечательно, что именно в этом контексте иногда используется слово «нация»)<sup>2</sup>. *Единство*, складывающееся в настоящем, противопоставляется опыту 1990-х годов, когда «доверие людей к власти и тому, что она делает, отсутствовало», а решения принимались «кулуарно» [Володин, 2009д; Грызлов, 2008а]. Напротив, современная политическая система объявляется «открытой» и дающей «возможность человеку реализовать себя, участвуя в управлении государством» [Володин, 2009д]. Впрочем, иногда *единство* осознается как проблема, ибо предполагает охват «широких слоев людей», имеющих разные вкусы и интересы<sup>3</sup>. Наконец, идее *единства* придается патриотический смысл, что позволяет рассматривать ее оппонентов как маргиналов<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> «...Сплотив силы, договорившись по базовым вопросам развития страны и соблюдая эти договоренности, уважая друг друга и наших избирателей, мы, безусловно, добьемся успеха» [Грызлов, 2009б]. Характерно, что единокороссы нередко апеллируют к представлениям «людей», в сознании которых власть «едина», т.е. не дифференцирована по функциям («Люди воспринимают власть как единое целое – им не важно, губернатор, депутат или глава района. Для людей это – власть» [Володин, 2009в]).

<sup>2</sup> «...очень важно, особенно в знаковые периоды истории, чтобы *нация* была *едина*. Важно, чтобы граждане одной страны понимали друг друга и поддерживали действия власти» [Васильев, 2008а]; «...говоря о кризисе, конечно, первое, с чего надо начать – с культуры, которую должны пропагандировать и подавать пример руководители и представители партии, когда они должны *объединиться* ради народа» [Володин, 2009в].

<sup>3</sup> «Нужно создать условия, чтоб *общество не впало в междоусобицы и хаос* (как было в 1990-х годах? – *О.М.*). Сейчас совершенно очевидно мы должны работать с очень широкими слоями людей. Причем эти слои общества достаточно структурированы, и есть такие направления, где мы, по сути, не работаем» [Васильев, 2009].

<sup>4</sup> «...логика развития России показывает, что будущее есть лишь у тех партий, которые... стоят на патриотических позициях...» [Грызлов, 2008а].

Стратегия других думских партий направлена на изменение сложившегося порядка. Однако все они принимают правила игры и разделяют ключевой «консервативный» принцип партии власти: никаких революций<sup>1</sup>. Их требования сводятся к упрочению статуса «оппозиции».

Анализ рассуждений российских политиков о роли оппозиции позволяет выявить особенности их представлений о поддержке / сохранении политического статус-кво.

Для лидеров думского меньшинства ключевой проблемой является неравноправие партий и отсутствие перспективы получить доступ к исполнительной власти (которая и воспринимается как «настоящая»), что автоматически лишает оппозиционные партии возможности влияния на политический курс. Этим обусловлены особенности восприятия представителями этих партий собственных ролей. Не случайно лидеры КРПФ и ЛДПР – политики с большим стажем, – критикуя поведение «власти», единодушно жалуются на невозможность реализовать свой опыт и потенциал<sup>2</sup>. Главным направлением усилий парламентской оппозиции оказывается борьба за упрочение статуса Думы в качестве публичной площадки, а не только органа, чисто «технически» принимающего законы. Лидеры думского меньшинства подчеркивают важность функции формирования общественного мнения и актуальность структурирования партийного спектра по идеологическим принципам. Именно они настойчиво продвигают представление о партиях как артикуляторах «политических альтернатив», без которых «невозможно сформулировать национальные цели развития» [Левичев, 2009б].

---

<sup>1</sup> «Мы категорически против политических рисков перехода от парламентских методов борьбы за власть к радикальным действиям, о чем последнее время стали говорить сторонники так называемой “перестройки-2”» [Левичев, 2009б]; «мы – конструктивная оппозиция. Мы не оголтелые, мы за то, чтобы сохранять страну, территорию и вместе с центральным руководством, с центральными органами власти обеспечивать защиту интересов нашей фракции» [Жириновский]; «...политический кризис нельзя разрешить мерами 1993 года: выходить с оружием, стрелять, разгонять... Так что никакой чрезвычайщины быть не должно» [Зюганов, 2009б].

<sup>2</sup> «Если честно, то самое противное состояние – это когда понимаешь что происходит, осознаешь, что надо делать, но у тебя нет никакой возможности заставить это сделать тех, в чьих руках власть» [Зюганов, 2009б]; «Вот прошла монетизация льгот – Греф молчал. Я бы выступил и сказал: ребята, вы чего? Я вам деньги даю.. Но не объяснили же ничего людям. Три года должно было пройти, чтобы все поняли, согласились... А объяснить сразу не могут, не умеют. Я умею, а мне не дают – я в оппозиции» [Жириновский, б. г. ].

Лидеры «Единой России» отводят оппозиции роль «публичного оппонента» «парламентскому большинству, которое в результате диалога начинает корректировать свою позицию» [Морозов О., 2008а]. Однако они не готовы видеть в оппозиционных партиях серьезных противников в борьбе за власть. Формирование «сильной партии, стоящей на демократических позициях и альтернативной «Единой России»», они считают отдаленной перспективой, связанной, например, с «выделением» такой партии из самой «ЕР», когда в нее придет «совсем новое поколение» [Морозов О., 2009а].

Таким образом, задачей артикуляции «политических альтернатив», связанных с изменением сложившегося порядка, озабочены лишь политики, представляющие оппозиционные партии. Именно они пытаются представить публичные идеологические функции в качестве значимой составляющей политического процесса. Лидеры же «Единой России» стремятся позиционировать ее как «партию дела» и настойчиво продвигают идею *единства*, которая предполагает установку на «неальтернативность» (что дает возможность «работать с очень широкими слоями людей») и «безальтернативность» (что позволяет маргинализировать оппонентов, обвиняя их в недостатке патриотизма). Примечательно, что эта дискуссия устроена именно по партийному принципу; беспартийные министры в ней не участвуют, а губернаторы-единороссы если и высказываются, то в соответствии с «линией партии». Возникающие проблемы они предпочитают решать, не артикулируя их публично, а ведя «работу с Москвой»<sup>1</sup>.

## **Социальные и экономические функции государства**

Развернувшийся осенью 2008 г. кризис стал испытанием на прочность путинской экономической и социальной политики. Хотя поначалу первые лица государства пытались представлять события как «не наш кризис», усматривая причину проблем ис-

---

<sup>1</sup> См., например, рассуждения А.В. Хорошавина о том, как изменения в Бюджетном и Налоговом кодексах ущемляют интересы сахалинцев («Наш регион мог бы быть абсолютно не дотационным, если бы не межбюджетные отношения, которые установились в последние несколько лет»). Технология решения проблемы – консультации с правительством, в результате которых, по мнению губернатора, «мы найдем взаимопонимание» [Хорошавин, 2007]. Ср. реплики его коллег на ту же тему: «мы, конечно, предприняли ряд мер, чтобы Ростовскую область посетили наши руководители... продолжается работа с Москвой по тем направлениям, которые помогают нашим предприятиям...» [Чуб, 2009] и др.

ключительно в политике США, в дальнейшем пришлось признать, что «дела наши обстоят далеко не самым лучшим образом» и что «мы сделали далеко не все необходимое в предшествующие годы» [Медведев, 2009а]. Таким образом, сложился контекст, который, казалось бы, побуждал к переоценке прежнего политического курса. Вместе с тем формат «тандема» не предполагал репрезентацию инициатив Д.А. Медведева в качестве альтернативы политике В.В. Путина, поэтому прогрессистская цель «модернизации» интерпретировалась в консервативной логике «преемственности». Как члены российской политической элиты представляют цели и задачи социально-экономической политики в условиях кризиса? Какими ценностными установками определяются их приоритеты? Как они понимают принципы справедливости, равенства, свободы и механизмы обеспечения общего блага – т.е. то, что составляет основное измерение «лево-правой» шкалы?

Нужно сказать, что политическая элита абсолютно солидарна в своем стремлении рассматривать социальную поддержку как приоритетное направление государственной политики, особенно в период кризиса. Такой подход стал своего рода визитной карточкой путинского периода – по контрасту с 1990-ми. Неудивительно, что с началом кризиса элита безоговорочно приняла озвученную главой государства установку: «...мы не для того развивали социальную сферу все последние годы, чтобы в одночасье все потерять» [Шаккум, 2009]. Разумеется, «забота о людях» не в последнюю очередь направлялась пониманием необходимости «избежать социального взрыва и революционной ситуации» [Бабаков, 2009а]. Однако в основе ее, по-видимому, лежит широко разделяемое политической элитой идеологическое представление, согласно которому государство обязано оказывать социальную поддержку (в том числе и потому, что это – один из основных критериев оценки власти населением), причем делать это следует адресно.

Как при этом интерпретируются принципы равенства и распределительной справедливости? Большинство авторов рассмотренных нами текстов видят проблему, с которой надо бороться, в бедности, и в качестве главного объекта забот государства рассматривают малообеспеченные слои населения (доля которых в

России весьма высока)<sup>1</sup>. Лишь коммунисты связывают неравенство с ростом богатства и ведут речь о необходимости перераспределения вплоть до частичной национализации.

Выравнивание экономического положения «малоимущих» является приоритетной проблемой – во всяком случае именно о ней российские политики *считают нужным* больше всего *говорить*. Вместе с тем в повестку дня все явственнее встает задача реорганизации системы социальной поддержки на основе дифференцированного подхода: некоторые представители политической элиты поднимают вопрос о «возвращении стимулов в пенсионную систему», критикуя современную ситуацию, когда люди «имеют очень похожую пенсию, которая, по сути, превратилась в социальное пособие» [Кудрин, 2008а]. Очевидно, что эта тема является трудной и болезненной: за «цивилизованную пенсию» «придется заплатить» [Кудрин, 2009б], а это – вопрос увеличения налогов и сокращения других программ, т.е. выбора между интересами общественных групп и ранжирования различных видов благ.

Проблема выбора приоритетов («помощь людям» или «развитие») стала центральной при выработке антикризисной политики. С одной стороны, стремясь смягчить социальные последствия кризиса, правящая элита заботилась о сохранении рабочих мест, что на практике не всегда означало поддержку экономически эффективных предприятий. С другой стороны, многие восприняли установку президента Д.А. Медведева на «модернизацию», которая диктует иные приоритеты государственной поддержки. Характерно, что зачастую ситуация не мыслилась по принципу «или – или»: идеологические представления, широко разделяемые политической элитой, не позволяют публично заявить об отказе от поддержки. Например, в теледебатах на НТВ лидер справедливороссов Н.В. Левичев, утверждал, что «...гораздо честнее было бы в антикризисной программе дать те средства, которые выделяются на упавший и вряд ли способный подняться отечественный автопром, в раздел социальной защиты, потому что это не есть под-

---

<sup>1</sup> «Мы должны жить... нуждами» людей малообеспеченных; «а у кого есть деньги, они и без нас неплохо обходятся» [Шаймиев, 2007б]; «сохранение такого явления, как массовая бедность – это крайне опасная угроза для будущего России» [Грызлов, 2008а]; (*о тех, кто не может заработать*) «вот здесь государство должно взять на себя полностью защиту человека» [Володин, 2009в]; (*о принципах повышения зарплаты бюджетникам*) «те бюджетники, которые получали меньшую заработную плату, у них прирост [за счет повышения зарплат в условиях кризиса] больше, чем у тех, кто получал бóльшую» [Чуб, 2009].

держка инновационной экономики» [Левичев, 2009в]. Таким образом, поддерживая идею инновационного развития, он *одно-временно* демонстрировал приверженность принципу социальной поддержки. В то же время его оппонент В.В. Володин защищал неэффективный автопром вполне в духе «консервативного» подхода: «...какой бы она ни была, это наша промышленность. Мы за 70 лет советской власти, потом в 90-е годы, когда эксперименты производили, создали то, что имеем. И бросать людей один на один с проблемой нельзя» [Володин, 2009в]. По тому же принципу «государственной ответственности» за «людей» многие политики высказываются за необходимость поддержки сельскому хозяйству. Отметим, что в этой логике сохранение рабочих мест – т.е. обеспечение возможности зарабатывать и самостоятельно решать свои проблемы – рассматривается как социальная поддержка. Предложение, озвученное Левичевым, более последовательно с точки зрения различения ситуаций государственной опеки и опоры на собственные силы. Однако большинство российских политиков опасаются открыто артикулировать принцип опоры на собственные силы (хотя безусловно следуют ему на практике) – вероятно потому, что не считают его приемлемым для аудитории. Характерный пример – рассуждения Б.В. Грызлова о том, что реализация человеческого капитала требует участия не только власти, но и общества. Утверждая, что следует «стимулировать людей к образованию, к занятию спортом, к заботе о своем здоровье», он считает нужным оговориться: «Не хочу сказать, что все эти вопросы должны быть переложены на плечи каждого отдельного человека по принципу “каждый за себя” – это как раз неподходящий принцип, и я против него. Но без активного общественного участия результаты развития страны будут намного скромнее, чем могли бы быть» [Грызлов, 2008а].

В целом, идеологические представления о равенстве / дифференциации, публично артикулируемые российской политической элитой, заметно смещены влево, что не в последнюю очередь обусловлено стремлением соответствовать патерналистским ожиданиям общества. Только политики, готовые позиционировать себя в качестве «решительных реформаторов» – и при этом в силу исполняемой роли способные позволить себе не бороться за массовую поддержку, – могут выступать за конкуренцию на основе «равенства возможностей» без какой-либо «социальной страхов-

ки»<sup>1</sup>. Возможно, поэтому те, чьи публичные высказывания ближе к полюсу антипатернализма, опоры на собственные силы, процедурного равенства и конкуренции, представляют назначаемую исполнительную власть.

Еще одна дискуссионная проблема, поставленная на повестку дня кризисом – экономические функции государства. Внутри российской политической элиты наблюдался консенсус по вопросу о более активном вмешательстве государства в экономику в условиях кризиса, в том числе – административными средствами<sup>2</sup>. Однако мнения относительно дальнейшей траектории государственного курса резко расходились. Федеральные министры, отвечающие за экономический блок, в своих публичных выступлениях всячески подчеркивали, что предпринятые меры – временные, и в дальнейшем «государственное присутствие» должно снижаться. А лидеры «Единой России» высказывали иную точку зрения. По мнению Б.В. Грызлова, «времена веры в безграничные возможности свободного рынка прошли, и в новых условиях необходима грамотная и консолидированная политика государственного регулирования, конечно же не угнетающая экономику, политическая стабильность и крепкое централизованное управление, что, безусловно, вписывается в идеологию российского консерватизма» [Грызлов, 2009в]. Об усилении роли государства как о глобальной тенденции говорят и справедливороссы<sup>3</sup>, и коммунисты. Последние всячески подчеркивают, что предпринятые в условиях кризиса меры – это уступки, на которые власти «идут ровно настолько,

---

<sup>1</sup> Например, министр образования А.А. Фурсенко: «Я сторонник того, чтобы более справедливые условия для абитуриентов устанавливались не предоставлением различных льгот, а предоставлением школьникам, которые в силу различных социальных причин или здоровья не в состоянии получать необходимые в полном объеме знания в школе, дополнительных форм качественного образования. Может быть, посредством введения только для них каких-нибудь подготовительных курсов. Человеку надо помочь компенсировать его проблемы, но принимать в вуз все-таки необходимо именно по знаниям» [Фурсенко, 2009] и др.

<sup>2</sup> «...мы должны сегодня прямо сказать: рыночные механизмы в условиях такого беспрецедентного кризиса не срабатывают. Поэтому мы должны подставить плечо, и в общем пережить этот трудный момент, государство должно взять часть рисков» [Кудрин, 2008а]; «на данном этапе важно уже то, что приходит понимание: рыночная стихия губительна» [Зюганов, 2009в] и др.

<sup>3</sup> «...Расхлебывать заваренную либералами кашу будут социалисты» [Левичев, 2008а]. В отличие от коммунистов, справедливороссы не ориентируют свою программу на борьбу с «капитализмом» и видят свою задачу в социальной ответственности бизнеса и одновременно – его поддержке.

насколько это помогает спасти капитализм; своими решениями они только сглаживают остроту проблемы, отодвигают ее, но не решают», тем не менее «социализм все отчетливее встает на повестку дня человечества» [Зюганов, 2009в]. За увеличение доли государственного сектора до 80% высказывается и Жириновский, мотивируя это тем, что частный сектор «не потянет экономику России», «ведь к предпринимательству способны только 5% населения». Государство – это надежнее [Жириновский, 2009а].

Очевидно, что позиции российской политической элиты по социально-экономическим вопросам далеки от консенсуса и образуют «нормальный» лево-правый спектр (несколько смещенный к центру, поскольку высказывания, которые можно было бы соотнести с крайними точками осей патернализм / опора на собственные силы, иерархия / равенство, свободный рынок / государственное регулирование экономики, в рассмотренном нами массиве текстов встречаются редко). Вместе с тем конкурирующие подходы не всегда представляются в виде конкретных альтернатив, а ценностный выбор, стоящий за определением приоритетов, редко обсуждается, в силу чего дискуссия «смазана», и для выявления представленных в ней позиций требуются некоторые аналитические усилия. Отсутствие у российских политиков установки на четкую артикуляцию различий в подходах, по-видимому, отчасти определяется особенностями доминирующего дискурса, который эклектически соединяет логически противоречащие друг другу цели и ценности («модернизацию» и «стабильность», «социальную поддержку» и «развитие» и т.п.) и навязывает формулу «единства власти», а отчасти – стремлением политиков соответствовать ожиданиям «людей» (но не конкретных адресных групп), избегая заведомо непопулярных высказываний.

### **Идентичность макрополитического сообщества, стоящего за Российским государством. Мы и Другие**

Важным элементом политического дискурса являются представления о сообществе, стоящем за государством, которые могут открыто декларироваться или выступать в качестве фона для рассуждений о Нас как коллективном субъекте. За более чем 20 лет существования нового российского государства так и не удалось достичь общественного консенсуса по поводу целого ряда проблем, определяющих представления о макрополитической идентичности: продолжают споры о том, как она соотносится с идеей

нации («российская нация», «русская нация», «многонациональный народ» и др.), каковы критерии, по которым она определяется (гражданство, культура, язык и др.), по каким моделям ее следует представлять (чем следует гордиться в Нашем прошлом, каким видеть Наше будущее, как определять различия и сходство со Значимыми Другими). Эти дискуссии лишь отчасти нашли отражение в рассмотренном нами массиве текстов. Тему «межнациональных» отношений затрагивали в своих выступлениях лишь немногие [см.: Шаймиев, 2008а; Жириновский, 2009б; Зюганов, 2009г]. Возможно, это объясняется тем, что в период, на который пришлось большинство изученных интервью, повестка дня не побуждала высказываться по данному предмету. Вместе с тем политики, не рассматривающие «национальный вопрос» в качестве своего «конька», предпочитают не обращаться к нему в фоновом режиме в силу его «недорешенности» (отсюда, в частности, уже отмеченное нежелание использовать слово «нация»).

В то же время контекст безусловно побуждал к высказываниям по поводу отношений России с ее традиционным Значимым Другим («Западом», «Европой», «Америкой» и т.п.). Как выглядели идеологические представления политической элиты периода «тандемократии» с точки зрения старейшей дилеммы отечественного общественно-политического дискурса – западничества / почвенничества (антизападничества, самобытничества)?

Прежде всего обращает на себя внимание диверсификация образа Значимого Другого. «Запад», выступающий в качестве образца и источника опыта, распадается на множество конкретных стран. Хотя ссылки на практику решения той или иной проблемы «на Западе», или «во всем мире» вообще тоже встречаются. Вместе с тем в роли ориентиров и легитимирующих примеров нередко выступают и незападные страны (Южная Корея, «азиатские тигры», Китай). По мере расширения кругозора российской политической элиты фетишизация «Запада» как символа прогресса уступает место более прагматичной оценке чужого опыта. То, что С.Н. Булгаков назвал «деловым и буржуазным западничеством», приходит на смену «западничеству религиозному, вере в обетованную землю» [Булгаков, 1915, с. 37–38].

Россия достаточно часто рассматривается как подобная «другим развитым странам». При чем эта формула сопоставления со Значимыми Другими может выступать в нейтральной модальности, в качестве констатации факта Нашей включенности в гло-

бальный мир<sup>1</sup>, но может использоваться и для легитимации того, что Другие считают Нашим отклонением<sup>2</sup>. В последнем случае ссылка на Других работает в логике идеологемы «суверенной демократии», к чему мы вернемся в следующем разделе настоящей главы. Наконец, сравнение с Другими нередко проводится в пользу России (особенно любят это делать единокороссы)<sup>3</sup>. Таким образом, в логике идеально-типической западнической модели (см. главу 13) многими представителями политической элиты Россия рассматривается как Подобная своему Значимому Другому (причем не только в будущем, но уже сейчас – что соответствует подходу, предложенному в 2000-х годах В.В. Путиным и его спичрайтерами<sup>4</sup>). Западничество современной российской политиче-

---

<sup>1</sup> «...сокращение численности населения происходит не только в России, но и во многих других развитых странах» [Грызлов, 2008б]; «нельзя сказать, что нам хуже, чем всем другим. Это не так» [Кудрин, 2009б]; «единство экономического, финансового пространства привело к тому, что зашатавшаяся ипотечная система США бьет под дых всему человечеству. А произошли финансовый кризис всего двадцать лет назад, мы узнали бы о нем из газет в виде какого-то политического анекдота об «их нравах». Сегодня мы сами пользуемся ипотекой, зарубежными кредитами, покупаем акции, открываем счета в различных банках... И соответственно можем прогореть» [Морозов О., 2009г] и др.

<sup>2</sup> «Если говорить о зарубежном опыте, то могу сказать, что Россия не является рекордсменом по изменениям в своем Основном Законе» [Грызлов, 2008в]; «это отнюдь не чисто русский вариант, когда широкомасштабные цивилизационные изменения осуществляются одной доминирующей партией, имеющей устойчивое парламентское большинство. Это особенностью развития парламентаризма в посткризисную эпоху, которую Россия переживает и по сей день» [Морозов О., 2008б]; «никому и в голову не придет обвинить США в отсутствии демократии на основании того, что у них нет прямых выборов президента. У нас вот они есть, а губернаторских нет» [Морозов О., 2009а].

<sup>3</sup> «Сегодня уже смело можно утверждать, что, хотя кризис ударил по России сильнее, чем по другим странам, население нашей страны пострадало меньше» [Володин, 2009г]; «...уже Европа – прибалтийские страны – выплачивают пенсии с задолженностями. (...) Если говорить о Европе, прибалтийские страны ушли уже на снижение зарплаты бюджетникам, а у нас бюджетникам будет индексация...» [Володин, 2009а]; «...если сравнивать структуру экономики разных стран, то с этой точки зрения Россия оказалась более эффективной» [Грызлов 2009в].

<sup>4</sup> В рамках этого подхода Россия одновременно представляется и как *подобная* Значимому Другому (актуально или потенциально – в зависимости от критерия оценки), и как *отличающаяся* от Него (*своим путем* идущую к осуществлению *общих* целей). Стремясь отойти от разделяемой классическим западничеством метафоры *ученичества*, Путин и его спичрайтеры подчеркивали *равенство статуса* России в «сообществе самых развитых государств», в том числе – и ее способность служить *образцом* (как в прошлом, так и в настоящем). Подробнее см. главу 14.

ской элиты – «деловое», прагматичное, избирательное и критичное, признающее достоинства и недостатки Значимого Другого и не склонное к самоуничижению. Оно мало похоже на радикальное западничество 1990-х годов (см. главу 13).

Вместе с тем в дискурсе политической элиты значительную роль играет тема самобытности, в том числе – и в духе национального фундаментализма, настаивающего на том, что мы принципиально отличаемся от Значимого Другого, опыт которого в наших условиях неприменим<sup>1</sup>. Очевидно, что приведенные примеры можно по-разному классифицировать по оси западничества / почвенничества: в то время как одни политики (Г.А. Зюганов, в определенном смысле – В.В. Жириновский) настаивают на ценностно-сущностном характере различий между Россией и Западом, другие демонстрируют ситуативное почвенничество, указывая на невозможность буквального переноса чужого опыта и необходимость выработки собственных моделей. Обращает на себя внимание, что российская политическая элита постепенно осваивает более широкую палитру сравнений, и все чаще, оправдывая Наши особенности, апеллирует к опыту незападных стран. Кроме того, «Америка» систематически противопоставляется «Европе», причем последняя рассматривается как более «подходящий» пример для подражания. Таким образом, несмотря на то, что представления о «собственном пути» определяются давно сложившимися стереотипами<sup>2</sup>, «почвеннический» полюс дискурса российской политической элиты также заметно изменился по сравнению с 1990-ми годами: здесь тоже превалирует избирательный подход, позволяющий рассматривать Наши отличия от Значимых Других по принципу «больше – меньше» (а не «или – или»). Стоит уточнить, что этот вывод реле-

---

<sup>1</sup> «...российская экономика не может и не должна строиться по образцу американской или любой другой экономики. Если двигаться по этому пути, то в лучшем случае мы получим уменьшенную и недоразвитую копию, а в худшем – этакую карикатуру на зарубежные модели» [Грызлов, 2009в]; «никакой опыт не нужно перенимать, ни китайский, ни американский, это все ошибочно, другая история, другая психология. У нас есть свой опыт» [Жириновский, 2009б]; «либерализм для России смертелен. Абсолютно... Россия – это совсем другая цивилизация, тут другая система отношений и другие условия жизни. Тут можно выживать только сильной государственной властью, эффективной вертикалью, коллективными способами решения всех вопросов – от хозяйственных и политических до бытовых» [Зюганов, 2009б].

<sup>2</sup> В ходу коллективизм [Зюганов, 2009б], духовность и сосредоточенность на нематериальном [Бабаков, 2009б], патернализм [Бабаков, 2009а], потребность в сильном государстве [Зюганов, 2009а, Морозов О., 2009а] и др.

вантен лишь для идеологических представлений политического истеблишмента: в общественном дискурсе наблюдается гораздо более существенный разброс позиций.

События 2008 г. – война с Грузией и международная реакция на нее, а затем мировой политической кризис, – несомненно спровоцировали рассуждения о Недружественных и Опасных Других, которых в нашем массиве текстов немало. Реакция на события августа 2008 г. и политика, направленная на расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе, стали поводом для рассуждений о «двойных стандартах» и продолжающейся «холодной войне», а кризис – основанием для критики «либеральной экономики», которую «Запад в агрессивной форме навязывает миру» [Левичев, 2008а]. В проявлениях антизападнических настроений элиты также наблюдается широкий разброс: от установки на принципиальную враждебность «Запада», которому не следует доверять, до ситуативной критики партнера, на поведение которого мы не теряем надежды повлиять. Справедливости ради следует добавить, что «Запад» – не единственный Опасный Другой России в представлении политиков, попавших в нашу выборку: губернатор Сахалина А.В. Хорошавин по вполне понятным причинам наделяет соответствующими качествами Японию, а президент Татарстана М.Ш. Шаймиев – силы, которые не прекращают «попытки проникновения на территорию республики чуждых нам религиозных воззрений» [Шаймиев, 2008а].

Таким образом, дискурс российской политической элиты в целом смещен к центру оси западничество / почвенничество, но с некоторым уклоном в сторону второго полюса. В нем преобладают умеренные позиции, сочетающие прагматическое и критичное западничество с почвенническим стремлением двигаться по «собственному пути». Ситуативное антизападничество не мешает российским политикам выражать прагматическую заинтересованность в продолжении сотрудничества.

### **Идеологическая самоидентификация и актуальные идеологемы в дискурсе российских политиков**

Как было показано в предыдущих разделах, российская политическая элита не стремится четко артикулировать идеологические различия; конкурирующие подходы к решению актуальных проблем редко представляются по принципу «либо А, либо В», чаще используется формула «больше А – меньше В». С точки зре-

ния анализа идеологических практик российских политиков интересно посмотреть, как они работают с традиционными идеологическими маркерами и уже существующими идеологемами (в частности – со словами-символами, предложенными в течение последних пяти-шести лет кремлевской администрацией и активно включаемыми в риторику главы государства).

Как и следовало предполагать, идентификация с готовыми идеологическими маркерами (либералы, консерваторы, социалисты, социал-демократы, коммунисты, правые, левые, центристы и т.д.) значима исключительно для политиков, представляющих политические партии.

Как известно, «Единая Россия» позиционирует себя в качестве сторонницы консервативного подхода. Судя по изученным нами текстам, в понимании ее лидеров консерватизм означает установку на сильное государство, опору на отечественные исторические традиции, в том числе – бережное и ответственное отношение к советскому наследию, признание недопустимости революционных перемен и апелляцию к единству нации (понимаемой как власть + народ). Эта интерпретация весьма специфична, однако нельзя сказать, что она полностью лишена консервативного содержания. Наследие же либерализма сегодня крайне непопулярно у политического истеблишмента; в изученном нами массиве текстов обнаружилось немало критических высказываний в адрес либерализма и ни одной попытки использовать его идеологический ярлык для самоидентификации.

На идеологическую нишу социализма претендуют сразу две политические партии – КПРФ и «Справедливая Россия». Последняя предприняла шаги к вступлению в Социнтерн, рассматривая членство в международном объединении социалистических и социал-демократических партий как важный идеологический ресурс, и позиционирует себя в качестве «партии социал-демократов, защищающей людей наемного труда в условиях рыночной экономики» [Левичев, 2008б]. Вместе с тем справедливороссы испытывают некоторые сложности с самоопределением внутри идеологического пространства современных социалистических сил. По словам одного из их лидеров, еще преждевременно «констатировать формально, какая на самом деле наша партия: социально-демократическая или социалистическая. Мы свою программу писали, не исходя из наследия Плеханова, а основываясь на сегодняшних мыслях и чаяниях нашего народа, и поэтому мы себя определили «актуальными левыми»» [Левичев, 2008в].

КПРФ позиционирует себя как поборницу «русского социализма», который, по Г.А. Зюганову, «имеет четыре несущие опоры»: сильное государство, коллективизм, веру в справедливость и в «правду» («Бог для нас не в силе, а в правде») [Зюганов, 2009б]. Задача построения коммунизма значится в программе КПРФ в качестве конечной цели, актуальная же риторика ее лидеров скорее ориентирована на корректировку существующей капиталистической системы, в силу чего некоторые наблюдатели говорят об эволюции КПРФ в сторону социал-демократии. Однако лидеры партии не спешат использовать этот маркер. По словам И.И. Мельникова, социал-демократия «настолько уже себя опорочила в глазах людей... это некий профсоюз при правительствах западных стран стал. Поэтому вот для меня сейчас это слово больше ругательное» [Мельников, 2007].

Лидер ЛДПР обходится без готовых идеологических маркеров, он позиционирует свою партию в качестве «конструктивной оппозиции», готовой сотрудничать с «центральным руководством» [Жириновский, б. г.]. В качестве основного конкурента за эту нишу политики из ЛДПР воспринимают КПРФ, поэтому считают нужным оспаривать «подлинность» ее оппозиционности («Какая же она оппозиционная, когда она живет на наследство богатейшей партии, которая дольше всех находилась у власти?» [там же]).

В целом, репертуар традиционных идеологических инструментов, используемых российской политической элитой, достаточно скуден. В какой-то мере этот недостаток компенсируется за счет идеологем, предложенных в свое время В.В. Путиным и Д.А. Медведевым – «суверенной демократии», «модернизации», «инноваций» и др.

Хотя в изученном массиве текстов не удалось обнаружить ни одного упоминания термина «суверенная демократия», в интервью лидеров «ЕР» можно выделить высказывания, воспроизводящие отдельные аспекты этой идеологемы<sup>1</sup>. В свою очередь, ли-

---

<sup>1</sup> «Наша экономика и наша демократия только наши, и мы не можем кроить их по лекалам, которые не только не соответствуют нашим интересам, но и оказываются крайне неэффективными» [Грызлов, 2009в]; «...стоит обратить самое пристальное внимание на независимость нашей финансовой системы, которая не должна сдаваться западному капиталу» [там же]; Польша, Прибалтика «никогда государствами как таковыми не были. Им непросто развиваться. Ну, были они раньше в составе одной большой страны, сейчас они нашли себе другую» [Васильев, 2008б] и др. Анализ концепции «суверенной демократии» см.: [Казанцев, 2008; Карпенко, 2007; Морозов В., 2006б; Поляков, 2007], а также в гл. 14.

дер КПРФ Г.А. Зюганов считает нужным подчеркнуть принципиальное отличие между «русским социализмом» и «суверенной демократией»<sup>1</sup>. Таким образом, можно сказать, что конструкция, впервые озвученная в президентском послании В.В. Путина 2005 г., оставила след в идеологических представлениях некоторой части политической элиты.

Осваивается и новая идеологема «модернизации» / «инноваций», предложенная Д.А. Медведевым. Многие представители элиты включают в свои публичные выступления слова о необходимости перехода на «инновационный путь развития», о реструктуризации экономики, развитии наукоемких производств, «о модернизации экономики». Вообще терминология, с помощью которой описывается новая идеологическая установка, варьируется: некоторые политики используют понятие «модернизация», по-разному его интерпретируя<sup>2</sup>, другие предпочитают говорить об «инновациях»<sup>3</sup>, третьи же вообще благополучно обходятся без этих «ключевых слов». Из приведенных примеров видно, что новая идеологема имеет расплывчатое содержание. Подобно «суверенной демократии», она задает широкий набор тематически сфокусированных фреймов, которые помогают организовать идеологический дискурс, но не способствуют его четкому структурированию.

### Основные выводы

Подводя итоги, отметим, что спектр идеологических представлений, обнаруживаемых в публичных высказываниях российской политической элиты, не отличается резкими размежеваниями и глубокими расколами. Хотя по некоторым из рассмотренных нами дилемм позиции расходятся достаточно значительно, различия сглаживаются особенностями идеологических практик: стремлением большинства партий (за исключением КПРФ) и всех пред-

---

<sup>1</sup> «В моем представлении демократия – это прежде всего народовластие. Извините, это ничего общего с суверенной демократией не имеет» [Зюганов, 2009б].

<sup>2</sup> Слово «модернизация» как правило связывается либо с улучшениями вообще, либо с конкретными объектами: «модернизация предприятий», «модернизация автопрома», «модернизация сельского хозяйства» и др.

<sup>3</sup> «И если российская экономика не выйдет в ближайшее время на многовекторное инновационное развитие, она может отстать навсегда» [Грызлов, 2009в]; «от сырьевой экономики мы должны перейти к инновационной» [Левичев, 2008а] и др.

ставителей исполнительной власти ориентироваться на предпочтения «медианного избирателя», необходимостью приспособляться к дискурсивной стратегии «Единой России», претендующей на охват «широких слоев людей» за счет размытости лозунгов, отсутствием готовности внятно артикулировать «пункты» разногласий. Вопреки прогнозу авторов проекта «Мировоззрение и идеология современной российской политической элиты», несмотря на формальное изменение политических приоритетов («модернизация» вместо «стабильности») подвижек с точки зрения «преодоления идеологической аморфности» [Сумма идеологии, 2008, с. 6] в 2008–2009 гг. не произошло (хотя эта задача и осознается в какой-то мере политиками из оппозиционных партий).

Вместе с тем значительная часть политической элиты разделяет ряд общих идеологических установок. Прежде всего это относится к восприятию отношений власти и общества: в высказываниях российских политиков безусловно доминирует патерналистская модель, интерпретирующая «людей» как пассивный объект заботы власти и не предполагающая наличия у них способности самостоятельно интерпретировать общее благо и права на коллективный выбор. Этим обусловлено сходство идеологических практик различных политических сил.

Существует формальный консенсус по поводу демократии как цели и ценности; он определяет рамки допустимых высказываний, налагая табу на открытую артикуляцию антидемократических идей. Вместе с тем в высказываниях российских политиков обнаруживаются значительные вариации в понимании демократии; однако различия подходов остаются непроговоренными – в том числе и в силу официальных установок.

Наконец, предметом вынужденного согласия является принцип лояльности в отношении сложившегося статус-кво, в силу которого оппозиция разделяет лозунг правящей власти: никаких революций.

Обнаруженные нами различия в идеологических представлениях элиты отчетливо коррелируют с исполняемыми политическими ролями и с партийной принадлежностью. Представители исполнительной власти, с одной стороны, могут позволить себе более открыто заявлять установки, не совпадающие с ожидаемыми предпочтениями «людей», выступая в роли «реформаторов» (это относится в большей степени к федеральным министрам, нежели к губернаторам), а с другой – не участвуют в дискуссиях по многим пунктам общественной повестки дня, предоставляя артикуляцию

альтернативных подходов партийным представителям законодательной власти. С учетом того, что партийные оппозиционеры, как правило, адресуют свою критику либо «Единой России», либо «власти» вообще, визуальное пространство идеологических дискуссий оказывается сведено к диалогу между партиями – хотя в действительности значимыми их участниками являются президент и исполнительная власть.

Программы партий, которым в большей или меньшей степени следуют в своих публичных выступлениях их лидеры, формируют основные идеологические водоразделы российской политики (хотя в действительности за рамками этих водоразделов оказывается обширное пространство идей, высказываемых от имени «власти»). В силу такой конфигурации публичного пространства идеологический спектр отличается аморфностью, поскольку по многим из выделенных нами осей (патернализм / опора на собственные силы, западничество / почвенничество) позиции большинства авторов рассмотренных нами текстов смещены к центру, в то время как по другим (государственное регулирование / свободный рынок, равенство / дифференциация, прогрессизм / традиционализм) они не артикулированы достаточно четко; нередко проблема выбора «чего-то одного» вообще не осознается. С сожалением приходится констатировать, что на современном этапе российская политическая элита плохо подготовлена к осуществлению своих идеологических функций – что можно было считать рациональным в условиях политического режима, сложившегося в 2000-х годах, но может оказаться серьезной проблемой для «системных» политических сил в условиях активизации конкуренции.

## 7. ДИСКУССИИ О МОДЕРНИЗАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ (2007–2011)<sup>1</sup>

Лозунг «модернизации», выдвинутый в 2009 г. президентом Д.А. Медведевым в качестве цели нового политического курса, вызывает очевидные ассоциации с чередой слов, которыми на протяжении последних 20–30 лет обозначали приходившие на смену друг другу программы реформ советского, а затем российского общества – *ускорение, перестройка, либерализация*... Все эти слова-девизы были предложены официальными первыми лицами в качестве ответов на проблемы, которые при ближайшем рассмотрении оказались частными проявлениями более глубокого системного кризиса. Первоначально во главу угла ставилась экономическая составляющая; однако позже выяснялось, что речь должна идти о более комплексной социальной трансформации. Публичная артикуляция очередного девиза являлась сигналом того, что власть признает наличие проблемы и готова ее решать. Выбранное слово указывало на «ключевое звено» в цепи задач, призванных исправить положение, и должно было работать на мобилизацию поддержки будущих реформ (программу которых еще предстояло разработать). Слова-девизы «запускали» общественную дискуссию, придавая «официальный» публичный статус проблемам, которые ранее если и обсуждались, то в более узких и специальных средах<sup>2</sup>. В силу

---

<sup>1</sup> Опубликовано в журнале «Политическая наука» [Малинова, 2012в].

<sup>2</sup> По утверждению сторонников конструктивистского подхода, статус *социальных проблем* задается не только «объективно» складывающимися ситуациями, которые имеют «вредные» последствия, и не только тем, как они «субъективно» переживаются индивидами, но и тем, кто, как и на каких публичных аренах заявляет о них в качестве *проблем*, требующих общественного внимания [Хилгартнер, Боск, 2008]. С этой точки зрения, артикуляция проблемы первым официальным лицом резко поднимает ее «ранг» в общественной повестке дня.

того, что власть исходно стремилась поставить решение номинированной ею проблемы в определенные рамки, а другие участники публичного пространства не располагали организационными и интеллектуальными ресурсами для агрегирования и продвижения альтернативных программ, предметом обсуждения в большей мере оказывалось *определение проблемы*, нежели конкурирующие подходы к ее решению. Вследствие этого водоразделы, связанные с ответом на вопрос «кто виноват?», оказывались представлены более четко, нежели спектр позиций по другим «традиционным вопросам» – «что делать?» и «с чего начать?». Этому способствовала и исходная неопределенность слов-девизов, оставлявшая участникам дискуссии пространство для смыслового маневра. Наконец, следует отметить еще одну особенность сложившихся дискурсивных практик. В обсуждении курса очередных реформ важную роль играет темпоральная составляющая: корни сегодняшних затруднений усматриваются в прошлом, а их преодоление связывается с будущим, которое рисуется существенно отличающимся от настоящего.

В какой мере отмеченные особенности «национального способа» обсуждения нового политического курса проявились в ходе недавней дискуссии по поводу «модернизации»? Чтобы ответить на этот вопрос, я проанализирую материалы данной дискуссии, сосредоточив внимание на том, как идея модернизации интерпретировалась ведущими российскими политиками и какую роль в ее обосновании играли представления о коллективном прошлом, настоящем и будущем. При этом я не ставлю своей задачей дать полный обзор выступлений, посвященных теме модернизации. Предметом моего внимания будет не столько описание спектра позиций, представленных в этой дискуссии, сколько анализ дискурсивных практик<sup>1</sup>, которые воспроизводят ее участники, т.е. то, каким образом заявляются, обосновываются и оспариваются разные подходы к *модернизации*.

---

<sup>1</sup> Данное понятие используется в значении, предложенном М. Фуко, и указывает на совокупность анонимных правил, которые устанавливают условия выполнения функций высказывания в данную эпоху и для данного социального, лингвистического, экономического или географического пространства [см.: Квадратура смысла, 1999].

## Что понимается под *модернизацией*?

Хотя лозунг *модернизации* был официально предложен Д.А. Медведевым лишь осенью 2009 г., на втором году его президентства [Медведев, 2009а; Медведев, 2009б], нотки неудовлетворенности сложившейся траекторией общественного развития и представление о необходимости неких перемен появились в официальной риторике полутора годами раньше. Эту тему поднял В.В. Путин в конце своего второго президентского срока. В выступлении на расширенном заседании Государственного совета 8 февраля 2008 г. он констатировал «крайнюю неэффективность» сегодняшней российской экономики и предлагал для исправления ситуации «реализацию инновационного сценария», который призван обеспечить четырехкратный рост производительности труда за ближайшие 12 лет. Таким образом, в качестве ключевого слова в политическом завещании Путина были названы *инновации*; тогда же был сформулирован принцип: «Переход на *инновационный путь развития* связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в *человеческий капитал*» (выделено мною. – О.М.). Однако слово *модернизация* также упоминалось: уходящий президент говорил о «модернизации существующих производств», «действующих дорог, вокзалов, портов, аэропортов, электростанций и систем коммуникаций», а также о «модернизации государственного управления», которая называлась в качестве условия достижения главной цели – «вхождения России в число мировых политических лидеров» [Путин, 2008]. Таким образом, в путинской постановке вопроса *модернизация* рассматривалась как обновление уже существующих экономических объектов и управленческих структур, приведение их к современным стандартам, что, в свою очередь, должно было служить главной цели – переходу на *инновационный путь развития* и повышению производительности труда. Стоит отметить, что и Д.А. Медведев активно отработывал тему *инноваций* во время своей избирательной кампании: можно вспомнить его выступление на Красноярском форуме, где был сформулирован принцип четырех «и», необходимых России – институты, инфраструктура, инновации, инвестиции [Медведев, 2008а]. Тем не менее новый президент сделал основным девизом собственного политического курса не *инновации*, а *модернизацию*.

Заметим, что по своим лингвистическим характеристикам эти слова подобны: они представляют собой отглагольные существительные, т.е. обозначают отвлеченное понятие о действии.

Правда, первое слово использовалось для определения целей политического курса преимущественно в форме прилагательного («инновационный путь развития», «инновационный сценарий» и т.п.), т.е. указывало общий признак предметов. Оба слова – иностранного происхождения, имеют ограниченную область функционирования и не вполне освоены широкой аудиторией. В то же время в качестве специальных терминов они имеют несколько разных интерпретаций, тесно связанных с научными теориями, у которых имеются как сторонники, так и противники. Таким образом, слова-девизы, использовавшиеся для обозначения нового политического курса, сами по себе не способствовали выработке конкретного знания о действиях политика<sup>1</sup>. И если бы их основной функцией была мобилизация поддержки вполне определенного набора мер, выбор следовало бы считать неудачным. Можно, однако, предположить, что Д.А. Медведев решал несколько иную задачу: ему требовалось обозначить «авторский» подход к выработке стратегии, доказывающий его самостоятельную политическую субъектность, и в то же время подтвердить «преемственность» с прежним курсом. С этой точки зрения смысловая нечеткость ключевого понятия должна выглядеть скорее достоинством, нежели недостатком.

Так или иначе, выбор пал на *модернизацию*, и оба лидера властного «тандема» включили данное понятие в свой репертуар. Однако анализируя выступления Медведева и Путина, нетрудно обнаружить характерные различия в его использовании.

В речах Медведева тема *модернизации* звучала заметно чаще; при этом значение данного понятия варьировалось. В качестве главного объекта модернизации рассматривалась экономика («мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы» [Медведев, 2009б]), а также отдельные ее отрасли, конкретные проекты (Сколково) и даже отдельные предприятия. Предполагаемый «разворот экономики в сторону модернизации» описывался, во-первых, по контрасту с нынешним положением вещей: «мы должны уменьшить... нашу унижительную зависимость от сырьевого экспорта и, может быть, что еще более важно, прекратить выжимать последние капли из научно-промышленного потенциала советского периода» [Медведев, 2010б]; и

---

<sup>1</sup> Подробнее о лингвистических особенностях слова «модернизация» см.: [Гаврилова, 2012]. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность М.В. Гавриловой за консультацию.

во-вторых, как переход к эффективной и «умной» экономике, опирающейся на внедрение современных интеллектуальных достижений («внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, развитие космических и телекоммуникационных систем, радикальное повышение энергоэффективности» и др. [Медведев, 2009б]).

Вместе с тем с момента артикуляции нового слова-девиза третий президент России стал говорить о *модернизации* и в более широком смысле: «в XXI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация»; наша задача – осуществить «последовательную и системную модернизацию России» [там же] и др. Таким образом, в качестве объектов модернизации рассматривались не только производственная и технологическая сферы, но и «наше общество» в целом. В выступлениях Медведева можно найти ряд содержательных характеристик *модернизации* во втором, более широком смысле. Так, в послании Федеральному собранию РФ 2009 г., официально провозглашая определяемый этим термином политический курс, президент специально уточнял, как именно следует понимать «стремление быть современными»: «Поннастоящему современным может считаться только общество, настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные преобразования социальных практик, демократических институтов, представлений о будущем, оценок настоящего, на постепенные, но необратимые перемены в технологической, экономической, культурной областях, на неуклонное повышение качества жизни» [там же]. Он связывал модернизацию с усложнением общества («умная экономика может быть создана только умными людьми. Поэтому наше общество усложняется, оно неоднородное, многомерное, составляющие его группы ведут разный образ жизни, имеют разные вкусы и взгляды, в том числе и политические взгляды...» [Медведев, 2010а]). При этом особо отмечал необходимость преодоления «широко распространенных в обществе патерналистских настроений» [Медведев, 2009а, Медведев, 2010а] и др. С точки зрения более широкого подхода *модернизация* должна включать в себя изменения не только в экономической, но и в политической, социальной, культурной сферах. И в текстах Медведева действительно можно обнаружить примеры подобной интерпретации ключевого слова-девиза.

Примечательно, однако, что в его первых программных выступлениях, провозглашавших курс на *модернизацию*, данный термин почти не использовался в разделах, посвященных пред-

полагаемым изменениям в политической системе<sup>1</sup>. Ту же особенность терминологического ряда можно заметить и в некоторых более поздних выступлениях. Например, в нашумевшем видеообращении Медведева в блоге, посвященном устранению обнаружившихся в политической системе «симптомов застоя», слово *модернизация* не использовано ни разу [Медведев, 2010г]. Представляется, что это неслучайно. Отказ от прямого использования словосочетания «политическая модернизация» позволял толковать позицию президента двояко: то ли политические изменения – необходимое условие и составная часть намеченных перемен, то ли они должны рассматриваться как самостоятельный процесс, который имеет иные темпы и сроки. Настаивая на немедленной модернизации экономики, Медведев неизменно подчеркивал постепенность обещаемых им политических реформ<sup>2</sup>. Неудивительно, что вопрос о сроках и темпах политической модернизации оказался одним из наиболее явных водоразделов в общественной дискуссии.

Хотя термин *модернизация* в риторике Медведева с самого начала употреблялся в разных значениях, можно говорить о постепенном нарастании его смысловой «инфляции». В частности, в серии выступлений президента, имевших место после объявления

---

<sup>1</sup> Исключение – фраза о «модернизации российской демократии» в статье «Вперед, Россия!», высказанная в контексте рассуждений о том, что наше самобытное политическое развитие («российская демократия не будет механически копировать зарубежные образцы») не отменяет потребности в прагматическом сотрудничестве с «ведущими демократическими странами» [Медведев, 2009а]. Сравните с текстом президентского послания Федеральному собранию 2009 г., где также в разделе о состоянии и перспективах политической системы нет упоминаний о *модернизации* [Медведев, 2009б]. В послании 2010 г. *модернизация* по-прежнему не ассоциировалась с политической системой, однако этот термин был использован в контексте рассуждений об «оптимизации системы оказания государственных и муниципальных услуг» [Медведев, 2010д]. И лишь в 2011 г. упоминание о политической модернизации было включено в ежегодное программное выступление президента: «Проведенная модернизация политической системы сделала ее эффективнее», – рапортовал Д.А. Медведев за два дня до массового митинга на проспекте Сахарова против нарушений в ходе недавно прошедших выборов [Медведев, 2011в].

<sup>2</sup> Странники «модернизации при консервации политической системы» не без основания ссылались на Медведева, статья которого «никак не допускала двойных толкований. Президент был исключительно точен в формулировках: модернизировать целые отрасли экономики – да, отдельные важные институты – да, но подрывать основы политической системы – нет» [Перла, 2009, с. 60].

в сентябре 2011 г. о грядущей «рокировке» в правящем «тандеме», слово *модернизация* оказалось связано с широким кругом объектов, принадлежащих к самым разным сферам: модернизируется не только «экономика», «промышленность», но и «страна», «социальная жизнь» вообще, а также «здравоохранение» и «система образования» в частности. Выступая на съезде «Единой России» и позже перед своими «сторонниками», Медведев говорил о необходимости «практического курса на модернизацию всей нашей жизни», и в этом контексте – о уже имеющей место модернизации «политической системы», «избирательного законодательства» и даже – в перспективе – «самой партии» [Медведев, 2011а]. К числу сторонников «курса последнего времени» президент отнес «людей, которые действительно хотят изменений, хотят *модернизации* страны...» [Медведев, 2011б]. Приходится констатировать, что слово, номинированное в качестве девиза нового политического курса в 2009 г., спустя два года не обрело в риторике своего «автора» статус понятия, ассоциируемого с конкретной последовательностью шагов, направленных на достижение ясных для граждан целей, но осталось абстрактным символом *изменений* вообще.

В выступлениях В.В. Путина слово *модернизация* имело более узкий диапазон значений и использовалось заметно реже. Глава российского правительства считал нужным говорить о *модернизации* экономики, а также отдельных ее отраслей и производств и даже рабочих мест<sup>1</sup>. Он особо выделял задачу *модернизации* оборонно-промышленного комплекса и назвал «возросший Гособоронзаказ одним из важнейших инструментов модернизации как самого ОПК, так и всей экономики России» [Путин, 2011а]. Таким образом, данное понятие ассоциировалось с техническим и технологическим обновлением экономики и сферы управления. Путин также рассуждал о *модернизации* применительно к социальной сфере и связывал ее с развитием «человеческого капитала». По его определению, «модернизация, другими словами поступательное и качественное развитие... это прежде всего вложение в человека, его способности, таланты, создание условий для самореализации и

---

<sup>1</sup> Выступая на съезде «Единой России» в качестве уже заявленного кандидата в президенты, Путин поставил задачу в течение ближайших 20 лет «модернизировать каждое третье рабочее место» [Путин, 2011б]. На первый взгляд, его подход к «модернизации» кажется более конкретным, нежели медведевский; однако в действительности указание на цифры – не более чем риторический прием: отчитываясь, Путин редко возвращается к тем же количественным показателям, которые использовал в прошлых обещаниях.

инициативы» [Путин, 2010]. Наконец, в отдельных выступлениях премьер-министра можно обнаружить упоминания о «модернизационной повестке» вообще, по-видимому, призванные подчеркнуть согласие внутри «тандема» (например, на сентябрьском съезде «Единой России» – в контексте рассуждений о Д.А. Медведеве как возможном будущем главе правительства, который сможет «продолжить работу по модернизации всех сторон нашей жизни» [Путин, 2011б]; то же – в инаугурационной речи 7 мая 2012 г. [Стенограмма церемонии инаугурации..., 2012]). Однако особенности употребления данного слова-девиза двумя лидерами «тандема» ясно указывали на различия их подходов к определению целей политического курса. Путин в целом остался верен пониманию «модернизации» как процесса приведения экономических и управленческих структур и практик к современным стандартам, сформулированному еще в его выступлениях в качестве передающего свой пост президента. В свою очередь, Медведев пытался использовать выбранное им слово-девиз как в узком, так и в широком смысле, но не слишком преуспел в наполнении его конкретным содержанием.

Уступив власть «старшему партнеру» по тандему, он проиграл и символическую борьбу за номинированный им лозунг. После «рокировки», вернувшей Путину пост президента, слово «модернизация» не ушло из оборота первого лица государства, но оказалось отодвинуто на задний план и утратило широкое значение, связанное с *изменениями вообще*. Нетрудно заметить, что Путин включил в свои предвыборные декларации некоторые идеи, которые был готов связывать с «модернизацией» и в годы своего премьерства – например технологическое обновление экономики (создание 25 млн. «высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест»), опору на «человеческий капитал» (призыв использовать «образовательный драйв» и рост «среднего класса» «для обеспечения экономического роста и устойчивого развития страны») [Путин, 2012а], модернизацию ЖКХ [Путин, 2012д] или оборонно-промышленного комплекса [Путин, 2012е]. Особенности этого отбора лишний раз подтверждают, что и в период первого «тандема» за вербальным согласием относительно целей политического курса стояли содержательные различия [ср. Шестопал, 2011].

## Тема модернизации в дискурсах политических партий

Еще более существенные расхождения в интерпретации рассматриваемого слова-девиза можно обнаружить в выступлениях других политических акторов. Хотя формально Д.А. Медведев был прав, заявляя на II Мировом политическом форуме о «полной поддержке модернизации со стороны всех политических и общественных сил» [Медведев, 2010в], в действительности для разных политиков это слово означало разные вещи.

Лидеры КПРФ увидели в объявленном курсе стыдливое признание ошибок 1990-х и стремление восстановить разрушенные высокотехнологические отрасли производства (т.е. своего рода реиндустриализацию). Считая верными заявленные цели, коммунисты настаивали, что их невозможно осуществить без радикального изменения существующей социально-экономической и политической системы. Они разоблачали «классовые корни предлагаемой властью модернизации» и доказывали, что «правлящий класс вполне устраивает положение, когда колоссальная собственность, созданная трудом многих поколений, попала в руки кучки нуворишей, а десятки миллионов людей трудятся на них, оставаясь на грани нищеты». Поддерживая общую идею, коммунисты критиковали ее осуществление действующей властью («реальных планов модернизации как не было, так и нет») [Зюганов, 2010б].

Сходной тактики придерживались и лидеры «Справедливой России», а также «Яблока», однако они в большей степени ориентировались на широкую интерпретацию термина, настаивая на необходимости более комплексного подхода. Как говорил С.М. Миронов, выступая на заседании Государственного совета 22 января 2010 г., «когда мы сегодня говорим о модернизации, многие думают прежде всего о высоких технологиях. Но модернизация – это всегда политический, социальный и культурный сдвиг. Сегодня мы сталкиваемся в нашем обществе с нарастающими угрозами, и их источником является несовершенство политической системы» [Миронов, 2010а]. В том же духе выступал и лидер «Яблока» С.С. Митрохин: «Мы, безусловно, поддерживаем требование, выдвинутое Президентом России, о необходимости модернизации нашей страны. Но мы считаем при этом, что нынешняя политическая система несовместима с модернизацией» [Митрохин С., 2010]. И «Справедливая Россия», и «Яблоко» выдвигали предложения, направленные на углубление реформ, расширяя список задач, изначально поставленных властью. При этом пре-

тендовавшие поначалу на роль второй «партии власти» справедливороссы заявляли о своей готовности перехватить инициативу: они критиковали выдвинутую «Единой Россией» идею «консервативной модернизации» и утверждали, что именно их партия может «сплотить вокруг себя реальные общественные силы и сформировать модернизационный класс» [Миронов, 2010б].

В отличие от других партий «системной оппозиции», ЛДПР не стремилась к «освоению» и переосмыслению предложенного властью слова-девиза, однако в своей предвыборной программе не преминула покритиковать действующую власть за «отсутствие стратегии развития страны» и за «провал» «первой модернизации», которую следовало провести «на базе сверхдоходов энергетических, сырьевых и металлургических отраслей российской промышленности в период пикового экономического всплеска в 2002–2007 гг.». В то же время обрисованный в программе образ прекрасного будущего вполне совпадает с картинками, представленными в текстах Медведева [Программа ЛДПР, 2011].

Таким образом, «поддерживая» идею *модернизации*, оппозиционные политические партии в зависимости от собственных программных установок вкладывали в нее разный смысл. Примечательно, что при этом они опирались на широкий спектр значений данного слова-девиза, обозначенных его «автором», делая выбор из предложенного «меню» сообразно своим тактическим задачам. Трактовки *модернизации*, предложенные разными «партийными отрядами» политической элиты, очевидным образом различались. Однако эти различия не стали предметом публичных дебатов, они артикулировались преимущественно в режиме монолога, что не стимулировало взаимную критику и дополнительную аргументацию заявленных позиций. Предложение о межпартийных дискуссиях по проблемам *модернизации* в эфире центральных телеканалов, озвученное Г.А. Зюгановым вскоре после провозглашения нового слова-девиза [Зюганов, 2010а], не получило поддержки свыше. В этих обстоятельствах оппозиционные партии едва ли могли серьезно повлиять на структуру идеологических размежеваний относительно интерпретации идеи *модернизации*, в то время как ключевые акторы, определявшие направление политического курса, предпочитали маневрировать в широком диапазоне значений этого непонятого, но притягательного слова-девиза.

В более сложном положении оказалась «Единая Россия»: как «партия власти», она была призвана поддержать и возглавить инициативу президента по *изменению* сложившегося уклада; однако

это надлежало сделать таким образом, чтобы не бросить тень сомнения на результаты деятельности его предшественника и формального лидера партии, которые были достигнуты под противоположным по смыслу лозунгом *стабилизации*. Неудивительно, что основные усилия по «освоению» нового слова-девиза поначалу были направлены на его адаптацию к уже сложившимся представлениям о партийной идентичности. Идеологи «ЕР» были поглощены не столько разъяснением смысла нового понятия (который оставался туманным не только для большинства избирателей, но и для самих партийцев), сколько уточнением признаков той *модернизации*, которая может рассматриваться в качестве цели, заслуживающей поддержки. Результатом их усилий оказалась концепция «консервативной модернизации», которая, по определению первого заместителя секретаря Президиума Генсовета партии А. Исаева, «может быть осуществлена на основе консервативного сценария – сценария демократического, ненасильственного, требующего участия большинства народа в проведении такой модернизации» [Стенограмма презентации..., 2009]. Таким образом, интерпретируя предложенный Медведевым девиз как приглашение к *изменениям*, единокороссы с самого начала попытались провести четкую грань между «хорошей» («консервативной», «ненасильственной», «органической», «демократической», «при участии большинства») и «плохой» («радикальной», «революционной», «по либеральным и социалистическим рецептам», «насиленной») модернизацией. Впрочем, разрабатывая эту тему, они двигались по пути, намеченному самим Медведевым, для которого вопрос: «От какого наследия мы отказываемся?», – с самого начала имел принципиальное значение при обсуждении темы *модернизации*.

### **Почему России снова нужна модернизация?**

Обращает на себя внимание, что для всех основных политических акторов *модернизация* означает качественное изменение будущего по сравнению с настоящим, некий *рывок в развитии*, который позволит России преодолеть отставание от лидеров и подкрепит ее претензии на роль ключевого игрока в мировой политике. Причем необходимость такого рывка ни у кого не вызывает сомнений, а вот его характер, в частности его соотношение с аналогичными попытками изменений, имевшими место в прошлом, является предметом дискуссии. Обращение к прошлому в контексте обоснования или оспаривания программы политическо-

го курса вообще типично для сложившихся в России дискурсивных практик (см. главу 10). Представляется, что это – следствие отсутствия консенсуса в отношении базовых принципов коллективной идентичности [Малинова, 2010б]. С учетом «непредсказуемости» национального прошлого историческое измерение приобретает особое значение в *определении проблем*, подлежащих решению, ибо оно задает смысловые рамки не только для постановки целей, но и для легитимации власти инициаторов очередных перемен в обществе, которому не единожды приходилось переживать революционные трансформации. Ответ на вопрос «что делать?» тесно связан с решением проблемы «кто виноват?». Неоднозначность оценок прошлых попыток заставляет тщательно взвешивать аргументы в пользу очередных реформ. Наконец, необходимость соблюдать «преемственность» по отношению к прежнему курсу создает для инициатора нового «рывка» дополнительные ограничения: задачу всеобщей мобилизации ради лучшего будущего нужно представить так, чтобы она оказалась приемлемой не только для тех, кто не удовлетворен результатами предыдущих реформ и жаждет продолжения, но и для тех, кого вполне устраивала путинская *стабилизация*.

Неудивительно, что рассуждения о прошлом и будущем играли важную роль в программных выступлениях Д.А. Медведева<sup>1</sup>. Обосновывая необходимость *модернизации*, он подчеркивал, что «ноша» современных проблем, вынесенных из прошлого<sup>2</sup>, не позволяет рассчитывать на достойное будущее («Добиться лидерства, полагаясь на нефтегазовую конъюнктуру, невозможно» [Медведев, 2009а]). Тем не менее выход из замкнутого круга негативных явлений, с которыми Россия «знакома не первые сто лет», есть, ибо влияние прошлого не фатально: традиции, «вписываясь в

---

<sup>1</sup> В основу анализа, представленного в данной части настоящей главы, положены тексты, в которых было дано первое определение и обоснование нового политического курса – статья «Вперед, Россия!» и Послание Федеральному собранию 2009 г.

<sup>2</sup> Отметим, что список «проблем», которые Россия должна решить, чтобы обеспечить себе достойное будущее, в текстах Д.А. Медведева определен существенно шире, чем в рассуждениях В.В. Путина о переходе к «инновационному сценарию» [Путин, 2008]. Он включает не только «неэффективную» сырьевую экономику, но и «хроническую коррупцию», патерналистские настроения, невозможность «до бесконечности» пользоваться «достижениями прошлого» и др. [Медведев, 2009а, Медведев, 2009б]. Таким образом, обоснование выстраивалось в расчете на «всестороннюю модернизацию» [Медведев, 2009б].

каждую новую эпоху, все же претерпевают изменения» [там же]. Модернизация представлялась Медведевым как двойной разрыв с инерцией прошлого: во-первых, это усилие коллективной воли, обеспечивающее переход на «новую, более высокую ступень развития цивилизации», во-вторых, это отказ от повторения методов предыдущих модернизаций – «петровской (имперской) и советской», которые были «оплачены разорением, унижением и уничтожением миллионов наших соотечественников» [там же] (см. рис. 1).



Рис. 1. Модель сопряжения национального прошлого, настоящего и будущего в статье Д.А. Медведева «Вперед, Россия!»

Нынешняя *модернизация* определялась как «первый в истории опыт» такого рода, «основанный на ценностях и институтах демократии» [Медведев, 2009б]. Медведев доказывал привлекательность нового курса, рисуя парные образы настоящего и будущего: «Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии..., полезные людям. Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей. Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю политику, подчиненную сугубо прагматичным целям. Вместо прошлой построим

настоящую Россию – современную, устремленную в будущее молодую нацию, которая займет достойные позиции в мировом разделении труда» [Медведев, 2009б].

Примечательно, что, говоря о прекрасном будущем, президент стремился избегать прямых ассоциаций с зарубежными образцами, «отставание» от которых России надлежит преодолеть: «Наивные представления о непогрешимом и счастливом Западе и вечно недоразвитой России неприемлемы, оскорбительны и опасны» [Медведев, 2009а]. *Модернизация* представлялась как «наш собственный» выбор, который связан с сознательной «эндогенной» трансформацией коллективной идентичности и не предполагает «механического копирования зарубежных образцов»<sup>1</sup>. При постановке задач нынешней *модернизации* Медведев попытался обойтись без традиционного мотивирующего примера Значимого Другого. Правда, его образ все равно играл важную роль в идеологической конструкции, призванной мобилизовать поддержку *модернизации*, поскольку главным стимулом для смены курса объявлялось «выживание нашей страны в современном мире» и обретение ею «статуса мировой державы на принципиально новой основе» [Медведев, 2009б]<sup>2</sup>. Таким образом, сохранялись основные коннотации, связанные с «Западом» как историческим соперником, противостояние с которым стимулирует *модернизацию*. Однако аргументы Медведева не были напрямую связаны с образом Значимого Другого (в качестве образца для подражания или источника угроз), и основную смысловую нагрузку в них несла идея «изменения будущего» по нашей собственной воле.

В этой логике настоящее оказывается точкой перелома инерции прошлого, началом принципиально новой траектории развития. Возникает вопрос: что дает основания полагать, что на

---

<sup>1</sup> Последняя фраза относилась к российской демократии [Медведев, 2009а].

<sup>2</sup> Это представление разделялось практически всеми политическими силами, и во многом определяло синкретический «консенсус» в отношении *модернизации*. Однако и здесь имели место фактически противоположные по смыслу интерпретации тезиса об «удержании роли мирового лидера». Если одни аналитики хотели видеть Россию будущего «одной из ведущих экономик мира», «радикально сократившей отставание» от Запада «по уровню состояния институтов, темпам развития и диверсификации экономики», членом НАТО и стратегическим союзником ЕС [Россия XXI века, 2010, с. 42–45], то другие видели в модернизации «не цель, а средство... выжить и победить» и категорически возражали против ситуации, «когда ценой модернизации объявляется сдача врагу или даже отказ считать его таковым» [Леонтьев, 2009].

этот раз все получится не «как всегда» и что обещанная «демократическая» и «ненасильственная» модернизация окажется возможной? В текстах Медведева можно обнаружить несколько аргументов в пользу такого предположения. (1) Наше время – «настоящему новое», ибо оно «открывает перед нашей страной... огромные возможности», которых «не было и в помине двадцать, тридцать, тем более сто и триста лет назад». (2) *Модернизация* начинается на базе путинской *стабилизации* (Россия «уже не то полупарализованное полугосударство, каким была еще десять лет назад»); впрочем, провозглашение нового курса означало, что прежний себя исчерпал (социальные системы «лишь воспроизводят текущую модель, но не развивают ее»). (3) Нынешняя *модернизация* впервые будет «демократической» (хотя чуть позже уточнялось, что движение к «свободной, справедливой и гуманной» политической системе мы только «начали»). (4) Наше прошлое – источник не только «проблем», но и положительных примеров, самый важный из которых – победа в Великой Отечественной войне. По словам Медведева, «народ, победивший жестокого и очень сильного врага в те далекие дни, должен, обязан сегодня победить коррупцию и отсталость» [Медведев, 2009а]. (5) «Настало время... сегодняшним поколениям российского народа сказать свое слово» и «поднять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилизации» [Медведев, 2009б]. В конечном счете все эти аргументы опирались исключительно на специфическую модель временного континуума, согласно которой настоящее определяется прошлым (что «извиняет» его несовершенство), однако будущее всецело зависит от выбора, который надлежит сделать сегодня. Прошлое в этой схеме используется не столько для подкрепления заявляемых политических целей «опорой на традиции», сколько для оправдания потребности в «еще одной модернизации», которая тем не менее должна оказаться «не такой» как предыдущие.

### **Какая модернизация нам нужна?**

С учетом такой структуры аргументации в пользу нового курса, вряд ли стоит удивляться, что вопрос об оценке прошлых опытов *модернизации* – в качестве источника проблем, надежд и образцов для подражания – стал одним из значимых направлений общественной дискуссии. Этому отчасти способствовали усилия «Единой России» по адаптации нового слова-лозунга к ранее вы-

бранной ею идеологической ориентации, которые вылились в разработку концепции *консервативной модернизации*. Воспроизводя модель временного континуума, предложенную Медведевым, идеологи правящей партии позаботились о том, чтобы дистанцировать нынешнюю *модернизацию* от предыдущих попыток, и прежде всего – от опыта советской индустриализации и постсоветских реформ (примечательно, что реформы Петра I и Александра II в этом контексте почти не обсуждались). Это давало возможность подчеркнуть преемственность по отношению к политике «нулевых» годов, представляя *модернизацию* в качестве «третьего этапа плана Путина» [Стенограмма презентации..., 2009]. За недостатком адекватных образцов для подражания в отечественном прошлом идеологи «Единой России» вынуждены были обратиться к зарубежному опыту. Ссылаясь на примеры Либерально-демократической партии Японии, Христианско-демократического союза ФРГ, Отто фон Бисмарка, Шарля де Голля, Конрада Аденауэра, Маргарет Тэтчер, Роналда Рейгана и др. они доказывали, что в XX в. «самыми лучшими модернизаторами... оказались именно консерваторы» [Стенограмма презентации..., 2009]. Получалась несколько парадоксальная конструкция: *консервативная модернизация*, основным признаком которой объявлялась органичность по отношению к «базовой структуре жизни общества и народа» [Стенограмма презентации..., 2009], была призвана радикально изменить отечественную традицию социального реформирования, ориентируясь при этом на зарубежный опыт, который вряд ли мог считаться «органичным» для России. Неслучайно некоторые дискуссанты пытались привлечь внимание к рискам, которыми чревато «скрещивание» консерватизма и модернизации. Так, М. Ремизов приглашал участников обсуждения идеологического проекта «Единой России» «истолковать консерватизм как идеологию, отвечающую не столько за стабильность общества, сколько за его целостность», как «политику идентичности», позволяющую «меняться, чтобы оставаться собой» [Стенограмма презентации..., 2009]. В. Фадеев предлагал конструкцию, позволяющую интерпретировать нынешнюю модернизацию как «органичную» в силу того, что она опирается на достижения уже состоявшейся «революционной» модернизации, благодаря которой «Россия, в классическом смысле, является, несомненно, модернизированной страной» [Стенограмма презентации..., 2009; Фадеев, 2009]. Однако в целом в «консервативном» дискурсе правящей партии доминирующей оказалась модель «прерывания традиции», позволявшая

не только дистанцировать новую *модернизацию* от негативного опыта предыдущих, но и сгладить семантический контраст между заложенной в новом курсе идеей *изменений* и прежней установкой на *стабилизацию*.

Оппоненты концепции «консервативной модернизации», предлагавшие более широко подойти к интерпретации заявленного президентом Медведевым слова-девиза, также не обошлись без оценок прошлого. Главными объектами идеологического противостояния оказались перестройка и реформы 1990-х годов, а также советский опыт модернизации. Либеральные критики «консервативной модернизации» проводили параллель с перестройкой, задача которой заключалась «в том, чтобы преодолеть нарастающее отставание от Запада именно в модернизационной составляющей экономического соревнования с ним» [Гринберг, 2010]<sup>1</sup>. *Модернизацию* предлагалось рассматривать как продолжение перестройки, которая интерпретировалась как «небывалый рывок из посттоталитаризма к ценностям свободы и права, демократии и рынка» [Россия XXI века, 2010, с. 41].

У данной трактовки были противники как справа, так и слева. В числе первых были авторы экспертного доклада, подготовленного «Агентством политических новостей», которые доказывали, что поскольку главной миссией модернизации является «полноценная социализация человека и формирование нации как культурно однородного и солидарного сообщества», перестроечный и постсоветский опыт нельзя считать модернизационным, ибо «из фокуса внимания государства... выпало главное содержание процесса модернизации» [Модернизация России., 2009]. Согласно данному подходу, на современном этапе речь должна идти о преодолении имевшей место в последние десятилетия «демодернизации». Уникальность этой задачи заключается в том, что «России придется стать страной-пионером в деле построения общества модерна из общества потребления, существующего на обломках прежних модернизационных проектов» [Модернизация России., 2009]. По мнению авторов доклада, методология такой социальной трансформации предполагает «формирование очагов, эпицентров, моделей нового общества без превентивно-революционного разрушения старого...» [Модернизация России., 2009].

---

<sup>1</sup> Впрочем, учитывая содержание официальной риторики, сравнение модернизации с ускорением выглядело более реалистично [Пастухов, 2010].

Критики перестройки слева тоже описывали постсоветский этап как «демодернизацию», но делали это с помощью другой терминологии: необходимость современных преобразований они связывали с тем, что «Россия, превратившаяся в опытный полигон реставрации дикого капитализма образца XVIII века, почти на 20 лет выпала из процесса развития», а в качестве предпосылки успеха называли преобразование социально-политической системы и «переход от олигархических бесчинств... к социалистической системе» [Зюганов, 2010в, с. 7, 34].

Таким образом, спор по поводу интерпретации прошлого оказывается лакмусовой бумажкой, отчетливо проявляющей различия в определении природы современных проблем и в подходах к их решению. Можно согласиться с наблюдением В. Иноземцева, согласно которому нынешний «масштаб запроса на исторические экзерсисы» определяется тем, что «власть, не располагающая идеологическим обоснованием своего доминирования и не способная похвастаться экономическими достижениями, не может не быть падкой на масштабные идеологемы, оправдывающие ее действия исходя из представлений о прошлом» [Иноземцев, 2010]. Представляется, однако, что «историоризация» общественной дискуссии объясняется еще и тем, как устроено обсуждение политического курса: предметом спора является не столько выбор оптимальной программы мер, сколько то, как «правильнее» определять проблему. Не располагая ресурсами для самостоятельного изменения повестки, оппоненты стремятся либо убедить власть скорректировать свою точку зрения, либо делегитимировать ее монополию на артикуляцию целей, продемонстрировав неадекватность заявленных ею подходов. И то, и другое проще делать, оспаривая *определение проблемы*, нежели занимаясь разработкой практических альтернатив. А опора на прошлое придает конкурирующим определениям «системный» характер.

### **По ту сторону «согласия»: Особенности дискурсивных практик обоснования и критики политического курса**

Нетрудно убедиться, что за формальным согласием с заявленным президентом Медведевым курсом на «модернизацию» стоит целый спектр разных интерпретаций как проблем, так и задач, подлежащих решению. На чем же тогда основан эффект «согласия»?

Во-первых, кризис 2008–2009 гг. способствовал появлению широкого запроса на *изменения*, который был удачно «упакован» в нейтрально-патриотическую терминологию, не имевшую отчетливых право-левых коннотаций («сохранение места России в мире», «обретение статуса мировой державы на принципиально новой основе» и т.п.). В контексте тектонических подвижек, охвативших весь мир, необходимость что-то менять ни у кого не вызывала сомнения. А выбранное слово-девиз давало достаточный простор для определения содержания перемен.

Во-вторых, как в конце 1980-х и начале 1990-х годов, несмотря на изменившуюся структуру публичного пространства, в роли главного артикулятора общественных целей выступала власть; другие акторы сочли целесообразным не изобретать альтернативные слова-девизы, а заниматься переопределением уже заданного. Тактически в условиях сложившейся в 2000-х годах медиасистемы это давало возможность работать в «ядре» публичного пространства, создавая информационные поводы в рамках установленной сверху повестки дня. Однако стратегически, как показали события, начавшиеся в декабре 2011 г., это было ошибкой: благодаря скачкообразной «интернетизации» на рубеже 2000–2010-х годов возникли предпосылки для изменения соотношения «ядра» и «периферии» публичной сферы (см. главу 5), что делало весьма актуальным поиск альтернативных слов-девизов, способных стать символами политических альтернатив. Напротив, работа на смысловом поле, предложенном властью, оказалась не слишком эффективной: у оппозиционных сил не оказалось организационных и интеллектуальных ресурсов, чтобы структурировать пространство идеологической конкуренции, а инициировавший дискуссию президент Медведев предпочел маневрировать в широком диапазоне значений вброшенного слова-лозунга, не конкретизируя его. В конце концов, артикулируя слово-девиз, власть прежде всего решала проблему легитимации собственных управленческих решений!

Наконец, коммуникация оказалась сосредоточена вокруг *определения проблемы*. Хотя отдельные акторы предпринимали усилия для того, чтобы переориентировать дискуссию на обсуждение *задач*, их попытки встречали заметное сопротивление, что не в последнюю очередь определялось сложившимися дискурсивными практиками, блокирующими кристаллизацию смысловых альтернатив.

Подводя итоги, можно констатировать, что президент Медведев был абсолютно прав, критикуя своих сограждан за «низкое качество общественной дискуссии» [Медведев, 2009а]. Однако «качество» инициированного им обсуждения «модернизации», в свою очередь, определялось дискурсивными практиками, во многом сходными с теми, которые задавали рамки коммуникации по поводу *ускорения, перестройки, либерализации* и т.д. Изменение этих практик окажется возможным при условии формирования четко структурированного пространства политических альтернатив, что связано с изменением установок как власти, так и оппозиции.

## **8. МЕЖДУ АГИТАЦИЕЙ ПРОТИВ «ДРУГИХ» И ДЕМОНСТРАЦИЕЙ «ЕДИНСТВА»: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В.В. ПУТИНА (2012)<sup>1</sup>**

Выборы – это всегда проверка политической системы на прочность: даже если никто не оспаривает правила игры, а фавориты известны заранее, в начале электоральной кампании невозможно знать наверняка, какой расклад сил сложится по ее итогам и каким будет новый политический курс. Что не менее существенно, действия участников электоральной гонки способствуют углублению социальных размежеваний: стремясь мобилизовать поддержку избирателей, они не только раздают обещания, но и конструируют виртуальные границы между «своими» и «чужими», чем способствуют «цементированию» сложившихся или наметившихся водоразделов. Таким образом, устойчивость политической системы, вступившей в зону электоральной турбулентности, зависит не только от поддержки правил, которая поможет проигравшим смириться с поражением, но и от крепости уз солидарности, связывающих политическое сообщество поверх социальных и идеологических барьеров.

На заключительном этапе электорального цикла 2011–2012 гг. российская политическая система оказалась перед необходимостью выживать в условиях снижения надежности обеих «подушек безопасности». Правила игры после выборов в Думу были открыто поставлены под сомнение массовыми протестными акциями; требование пересмотра декабрьских результатов стало платформой, на которой впервые удалось сплотиться широкой «внесистемной» оппозиции. Вместе с тем обилие нерешенных проблем, связанных с фор-

---

<sup>1</sup> Первый вариант статьи был опубликован в журнале *Pro et Contra* (т. 16, № 3 (55), май-июнь 2012) [Малинова, 2012г] © 2012, Carnegie Endowment for International Peace. Публикуется с разрешения Московского центра Карнеги.

мированием коллективной идентичности в постсоветской России [см.: Миллер, 2007; Тишков, 2007а; Дробижина, 2008; Зверева, 2009; Зевелев, 2009; Каспэ, 2012 и др.], давало все основания предполагать, что «национальный вопрос» в различных его измерениях станет одной из ключевых тем избирательной кампании, а неудачные шаги на данном направлении чреваты не только потерей голосов, но и расшатыванием гражданской солидарности. Хотя результат президентских выборов был в общем-то известен заранее, их последствия для политической системы определялись в жесткой политической борьбе, в том числе – и на символическом поле.

Настоящая глава посвящена одному из аспектов этой борьбы – репрезентации Нас и Других / Своих и Чужих в предвыборной риторике победившего кандидата – премьер-министра В.В. Путина, и ее «прочтению» представителями различных сегментов политического спектра. Выбор такого ракурса не связан с невниманием к повесткам других кандидатов – они заслуживают отдельного исследования. Однако анализ путинской кампании представляет особый интерес, поскольку ее сопоставление с идеологическими практиками предыдущих 12 лет позволяет проследить наметившиеся сдвиги.

### **Принцип «единства» перед вызовом негативной мобилизации**

Символическая политика В.В. Путина в период его первых двух президентских сроков заметно отличалась от политики его предшественника. Как уже отмечалось в пятой главе, в начале 2000-х годов был взят курс на установление «согласия сверху» путем ограничения плюрализма в «ядре» публичной сферы и одновременно – попыток внедрения своего рода «частичной» идеологии, эклектически сочетающей элементы разных дискурсов. Эффект «стабильности» и «единения»<sup>1</sup> достигался за счет включе-

---

<sup>1</sup> Как верно подметил О.Б. Подвинцев, эти две идеи были основой идеологического багажа власти в течение последних 12 лет; «все прочие провозглашенные цели и принципы были временны, ситуационны, неустойчивы» [Подвинцев, 2011, с. 21] – именно потому, что служили инструментами для реализации основных задач символической политики и создавались по контексту. Однако я бы добавила к этим двум идеям третью: символическая политика Путина–Медведева несомненно имела в виду специфическое решение проблемы «постсоветской идентичности» и была нацелена на повышение коллективной самооценки. Этот аспект будет более подробно рассмотрен в третьей части книги.

ния в высказывания политиков, выступающих от имени государства, слов, образов, символов, нарративов, способных показаться созвучными носителям разных политических взглядов (в последующих главах можно обнаружить примеры того, как работает эта технология). Озвучиваемые «через запятую», эти узнаваемые смыслы были призваны создавать впечатление, что власть контролирует ситуацию и стремится отвечать чаяниям «людей». Возникающие при этом противоречия не принято было обсуждать на аренах, составляющих «ядро» публичной сферы. Такая символическая политика была направлена не только на мобилизацию широкой поддержки действующей власти, но и на противодействие кристаллизации внятных альтернатив. Последнее в какой-то мере было реакцией на идеологические конфликты 1990-х годов, и вместе с тем – являлось условием успеха стратегии «единения». Очевидно, что это условие обеспечивалось не только символическими, но и административными средствами, и поддерживалось политической апатией общества. Указанной стратегии соответствовала тактика «замалчивания» идеологических различий: неупоминание об альтернативных мнениях способствовало их маргинализации. Этот прием систематически использовался в программных выступлениях первых лиц.

С декабря 2011 до марта 2012 г. благодаря протестному движению ситуация изменилась. Власть оказалась вынуждена пойти на частичное ослабление режима цензуры и пообещать политические реформы. И хотя начавшийся общественный подъем обнаружил вопиющий дефицит предложения на идеологическом рынке, сам факт наличия протестного ядра, сплотившегося вокруг «негативной повестки», требовал корректировки прежнего символического курса. Правящая элита оказалась перед выбором: либо сосредоточить усилия на адаптации прежней стратегии «демонстрации единства» в расчете на маргинализацию протестующего меньшинства, либо сделать ставку на раскол в рядах последнего, частично перехватив лозунги оппозиции и применив более адресный подход к мобилизации поддержки (что так или иначе требовало артикуляции различий). В первом случае приходилось опасаться, что в условиях подъема общественной активности технологии, направленные на обеспечение «единства» за счет игнорирования различий, могут не сработать – и даже оказаться раздражающим фактором; во втором случае возникал риск, что действия правящей части элиты будут расшатывать хрупкие узы гражданской солидарности и способствовать «цементированию»

идентичностей, которые могут быть мобилизованы другими игроками. Как будет показано ниже, на практике применялись обе стратегии, причем их роль в ходе кампании менялась.

### **Избирательная кампания В.В. Путина: От мобилизации поддержки к манифестации единения**

Следует признать, что кандидату Путину удалось совершить резкий тактический поворот и не только максимально дистанцироваться от «запятнанной» победой в думской кампании «Единой России», но и достаточно эффективно использовать инструмент публичной коммуникации, прежде игравший в битвах за электорат в лучшем случае второстепенную роль – печатную прессу. Не удовлетворившись размещенной на официальном сайте еще в ноябре программой, составленной для кандидата от партии «Единая Россия» [Предвыборная программа., 2012], Путин и его избирательный штаб подготовили серию из семи программных статей, еженедельно публиковавшихся в ведущих федеральных газетах. Разумеется, кампания сопровождалась ежедневными появлениями на телеэкране, чему немало способствовала премьерская должность кандидата, встречами с различными адресными аудиториями (причем Народному фронту демонстративно отдавалось предпочтение перед «Единой Россией»), беспрецедентно широкой кампанией в Интернете<sup>1</sup>, а также организацией многотысячных митингов в поддержку Путина. Коммуникативные и административные технологии работали в комплексе. Однако публикация статей, которые одновременно с появлением в печати становились доступны в Интернете и явно были адресованы новому «среднему классу», стала решающим шагом, позволившим Путину захватить инициативу в кампании. Благодаря преимуществам печатного текста, располагающего к анализу, сопоставлению и аргументированной критике, статьи оказывались не просто информационными поводами, но объектами обязательного соотнесения для политической и интеллектуальной элиты. Симметричной реакции со стороны конкурентов не последовало<sup>2</sup>, однако в жур-

---

<sup>1</sup> По данным «Ведомостей», общий бюджет Путина на продвижение кампании в Рунете составил около 1,5–2 млн. долл., т.е. примерно столько же, сколько расходы на телевизионную кампанию и наружную рекламу соответственно [Болецкая и др., 2012].

<sup>2</sup> Кампания вообще носила асимметричный характер: Путин уклонился от участия в дебатах, но «вместо этого» публиковал статьи, на которые его конку-

налистской и экспертной среде опубликованные тексты получили самый широкий резонанс. Отношение к путинским статьям было разным: одни критиковали их всерьез, другие призывали не рассматривать их как «заявление о реальных намерениях», ибо «нет никаких гарантий даже того, что формальный автор текстов их читал» [Деягин, 2012], третьи разыскивали первоисточники, «вдохновлявшие» копирайтеров<sup>1</sup>, четвертые, напротив, уверяли, что «судя по стилю, текст был написан самим премьером» [Султанов, 2012]. Однако сути дела это не меняет: опубликованные от имени кандидата В.В. Путина, статьи стали значимым фактором идеологической демаркации, побуждая представителей различных сегментов политического пространства к ответным высказываниям.

Хотя с точки зрения набора обещаний между ноябрьской программой, подготовленной «Единой Россией», и опубликованными в январе-феврале статьями прослеживается определенная преемственность, в том, что касается репрезентации адресата этих обещаний, налицо примечательные различия (см. табл. 1). За несколько месяцев, разделяющих публикацию данных текстов, российское общество успело заметно перемениться. В программе «Единой России» традиционно<sup>2</sup> практически отсутствуют упоминания о каких-либо Они – наших партнерах, конкурентах, противниках, выступающих в качестве независимых политических субъектов, с которыми необходимо выстраивать отношения, рассчитывая шаги по реализации собственных планов. Место-

---

ренты, в свою очередь, не сочли нужным отвечать – хотя сами печатные издания и выражали вполне естественную заинтересованность в их реакциях [см.: Самарина, 2012]. В отличие от Путина, кандидаты от «системной» оппозиции явно не успели перестроить свои стратегии между думскими и президентскими выборами.

<sup>1</sup>Так, шеф-редактор «Русского журнала» Александр Морозов обнаружил, что примерно треть статьи премьер-министра про «национальный вопрос» является «просто пересказом» «Проекта развития поликультурного образования в РФ», который был подготовлен Минобразования в 2010 г. на основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», вышедшей годом ранее [Журналисты..., 2012]. Правда, один из авторов концепции академик РАН В.А. Тишков уверял, что «в данном случае говорить о заимствовании Путиным наших идей неуместно. Хотя бы потому, что эта статья вызывает у меня ряд возражений» [Тишков, 2012].

<sup>2</sup>Эта черта характерна для программных документов «Единой России» с момента ее образования – в отличие от организаций, послуживших ее «конструирующими блоками» [см.: Малинова 2002б].

имение «мы» (авторы программы употребили его 62 раза) указывает на разные множества, между которыми не проводится четкой дифференциации – партию «Единая Россия», власть, правящую элиту, а также на союз партии и граждан и на «Россию» вообще. Этот прием вообще часто используется в различных политических программах: предполагается, что избиратель «незаметно» переносит свое отношение с сообщества в целом на партию / кандидата.

В качестве Других, с которыми Нам приходится взаимодействовать, лишь единожды упоминаются «наши партнеры» на международной арене, «не учитывающие мнение России и ее интересы»; внутри страны какие-либо Они, отличные от Нас, отсутствуют [Предвыборная программа., 2012]. Вместе с тем Мы – это сложносоставное целое: для его обозначения в программе используются разные существительные<sup>1</sup>, а внутри него выделяются различные группы<sup>2</sup>. Таким образом, складывается картина единого и сплоченного общества, в котором власть стремится учитывать интересы не только всех, но и каждого.

Несколько иначе выглядит репрезентация социально-политического ландшафта российского общества в статьях Путина [Путин, 2012а-ж]. Местоимение «мы» здесь также упоминается как в широком (власть + граждане, страна), так и в узком (правящая элита) значении. Спектр соответствующих ему существительных несколько шире: не только «Россия», «народ», «общество», «россияне», но и – правда, только в одном из семи текстов – «нация» и «русский народ» [Путин, 2012б]. Если в программе, подготовленной «ЕР», для обозначения тех, с кем приходится иметь дело правящей элите, вариант номинации, предполагающий некоторую субъектность («граждане»), неожиданно преобладает над «пассивными» конструкциями («население», «люди») <sup>3</sup>, то в статье

---

<sup>1</sup> Для Нас в широком смысле: «Россия» – 21 раз, «народ» – 7, «общество» – 12, «россияне» – 3 раза; для тех, кто является объектом забот Нас в узком смысле: «граждане» – 30 раз, «люди» – 16, «население» – 3 раза.

<sup>2</sup> «Чиновники» / государственные служащие упоминаются 5 раз, «предприниматели» / «бизнес» – 12, «бюджетники» – 2, «средний класс» – 3, «пенсионеры» – 4, «молодежь» – 5 раз, «армия» как часть общества – 1 раз.

<sup>3</sup> Как было показано в предыдущей главе, наибольшей популярностью в лексиконе российской политической элиты пользуется именно пассивная номинация – «люди». Однако представители исполнительной власти довольно быстро осваивают и возникшую в контексте административной реформы идею «потребителя».

ях Путина суммарное соотношение – обратное: «люди» и «население» упоминаются заметно чаще. В некоторых фрагментах предпочтение «пассивных» конструкций там, где по логике контекста речь должна идти о субъектах – *гражданах* или *народе*, особенно бросается в глаза. Смотрите, например, объяснение причин неудач демократии в России в начале первой из статей: «Не может быть реальной демократии без того, чтобы политика принималась бы большинством *населения*... Да, возможно на короткий период увлечь значительную часть *общества*... образами прекрасного будущего; но если потом *люди* не увидят себя в этом будущем – они надолго отвернутся и от политики, и от общественных задач» [Путин, 2012а]. И тот же понятийный ряд – в рассуждении о современном «среднем классе»: «Сегодня наше *общество* совсем другое, чем в начале 2000-х годов. Многие *люди* становятся более обеспеченными, более образованными и более требовательными» [Путин, 2012г]. Став более образованными и обеспеченными, *люди* не превратились в *граждан* – они лишь стали более «требовательными» потребителями поставляемых государством услуг.

Преимущественно в этом качестве они и рассматриваются в путинских статьях. Набор целевых групп в них пополнен новыми по сравнению с программой «ЕР» категориями: наряду с «предпринимателями», «чиновниками», «средним классом», «молодежью», «пенсионерами» и «бюджетниками» в трех статьях из четырех появляется «креативный класс» («*новое поколение творческих и ответственных людей*», «*образованные и амбициозные люди*», «*образованные и ответственные люди*» и т.п.), многократно (но почти исключительно в «специальных» статьях) упоминаются армия (не как институт, но как часть общества) и «мигранты». Очевидно, что разработчики новой программы стремились сделать ее более адресной, отвечающей специальным запросам конкретных групп, включая и новый «средний класс». Но общий посыл остался неизменным: власть видит проблемы «людей» и готова о них позаботиться.

**Упоминания о Нас в предвыборной программе,  
подготовленной «ЕР» и предвыборных статьях В.В. Путина**

Категории идентификации	Предвыборная программа ЕР на выборах президента	Статьи Путина: ВСЕГО	Известия. 16.01.12	Независимая газета. 23.01.12	Ведомости. 30.01.12	Коммерсантъ. 6.02.12	Комсомольская правда. 13.02.12	Российская газета. 20.02.12	Московские новости. 27.02.12
«Россия» (как субъект)	<b>21</b>	<b>142</b>	21	12	22	6	6	17	58
«Народ» (применительно к России в целом)	<b>7</b>	<b>14</b>	2	4	0	7	1	0	0
«Нация» (применительно к России)	<b>0</b>	<b>4</b>	0	4	0	0	0	0	0
«Русский народ»	<b>0</b>	<b>8</b>	0	8	0	0	0	0	0
«Народы» / «народности», входящие в состав России	<b>0</b>	<b>10</b>	1	7	0	1	1	0	0
«Россияне»	<b>3</b>	<b>2</b>	2	0	0	0	0	0	0
«Общество»	<b>12</b>	<b>55</b>	11	9	4	19	9	3	0
«Граждане»	<b>30</b>	<b>86</b>	15	8	5	30	19	3	6
«Население»	<b>3</b>	<b>19</b>	5	0	4	3	7	0	0
«Люди»	<b>16</b>	<b>89</b>	24	13	5	13	26	7	1
Другое	<b>33</b>	<b>175</b>	17	12	32	24	40	43	7

Более существенные различия обнаруживаются в подходах к репрезентации Других (см. рис. 1). В статьях Путина появляются отсутствующие в программе «ЕР» «внутренние Другие» – оппоненты, чьи мнения не совпадают с мнением кандидата в президен-

ты, и политические противники, чьи действия он критикует. Это *безответственные оппозиционеры*, которые ратуют за «разные формы обновления политического процесса» и передачу власти «лучшим людям», но якобы не знают, что «делать дальше» [Путин, 2012а]. Это *популисты*, которые еще недавно «подталкивали нас поскорее потратить то, что приносили нефтяные доходы», а сегодня в ходе президентской кампании раздают обещания, «заведомо не надеясь выиграть» [там же]. Это те, кто повинен в распаде СССР, а также *«разного рода провокаторы и наши противники»*, которые сегодня «под насквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение» хотят «заставить людей своими руками уничтожить собственную Родину». Это внутренние и внешние враги, пытающиеся «взломать русский культурный код». Наконец, это те, кто «паразитирует на теме «национального угнетения русских»» и «одновременно по всякому поводу голосит про «русский фашизм»» [Путин, 2012б]. Это *оппоненты* экономического курса власти, которые утверждают, что России не нужна промышленная политика, и советуют «решать экономические проблемы безответственным печатанием денег» [Путин, 2012в]. Это те, кто «унижал армию», а также те, кто ошибочно полагает, «что возрождение оборонно-промышленного комплекса – это ярмо для экономики, непосильная ноша, которая в свое время разорила СССР» [Путин, 2012е]. Критика конкурентов и полемика с оппонентами – нормальный прием предвыборной коммуникации, который, однако, является отступлением от тактики неупоминания, преобладавшей до сих пор в выступлениях первых лиц.

Нетрудно заметить, что наиболее резкие выпады против внутренних Других содержатся в двух первых статьях, в последующих же публикациях противопоставления такого рода встречаются реже, и внутренние Другие если и упоминаются, то в модальности «оппонентов», а не «противников»<sup>1</sup>. Отказ от артикуляции идеологических различий в пользу демонстрации «солидарности большинства» отчетливо заметен в статье «Демократия и качество государства», опубликованной 6 февраля, после параллельных митингов противников и сторонников Путина 4 февраля, когда стало ясно, что технология «встречной» мобилизации массовой поддержки работает. В статье, посвященной

---

<sup>1</sup> Единственное исключение – порицание в адрес «некоторых деятелей», которые «просто дня не могли прожить без того, чтобы побольнее пнуть и унижить Армию» [Путин, 2012е]. Однако оно относится к «лихим девяностым».

центральному пункту повестки оппозиции – политической реформе – отсутствуют какие-либо упоминания о внутренних Других (а также критические замечания в отношении внешних «других» в стиле «суверенной демократии»); оппозиция упоминается лишь однажды, в контексте борьбы с коррупцией, политическую ответственность за которую ей следует нести совместно с властью [Путин, 2012г]. Нет ни попытки опровергнуть обвинения оппозиции, ни критики ее предложений. Видимо, убедившись, что с задачей шельмования протестующих справится «группа поддержки», организаторы избирательной кампании приняли решение не педалировать тему внутренних Других в статьях, публикуемых за подписью Путина. В последующей части печатной «эпопеи» основным объектом критики выступают внешние Другие (см. рис. 1) (анализ их репрезентации – отдельный сюжет, который в этой главе я смогу затронуть лишь отчасти). Очевидно, после 4 февраля в риторике кандидата ставка была сделана на манифестацию солидарности «большинства» и мобилизацию поддержки за счет адресных обещаний, а технологии, ориентированные на открытую артикуляцию идеологических различий, поручены «группе поддержки». Идея выборов как «борьбы с врагами», предполагавшая противопоставление «продавшей Западу интеллигенции» и «простого народа», «плохих столиц» и «хорошей провинции» и т.п. реализовывалась усилиями организаторов митингов и мобилизованных на поддержку Путина интеллектуалов. В печатных текстах самого кандидата противопоставления такого рода отсутствовали: хотя проступавшая в них картина социальных водоразделов и отражала наличие в российском обществе внутренних конфликтов, об отношении к ним Путина можно было только догадываться.

Правда, Путин вернулся к этой теме в своей победной речи на митинге «сторонников» вечером 4 марта 2012 г. Результат только что завершившихся выборов он представил как победу над Враждебными Другими, в борьбе с которыми Нам удалось отстоять «самостоятельность и независимость». Путин не уточнял, кто эти враги, однако по контексту следовало догадаться, что речь идет не просто о соперниках по электоральной гонке, но о коалиции внутренних и внешних (ведь отстояли «независимость») сил, которые ставили «перед собой только одну цель – развалить российскую государственность и узурпировать власть» [Путин, 2012з]. Такая дискурсивная стратегия вполне вписывается в логику демонстрации «единения» и «солидарности большинства»,

предполагающую маргинализацию Других: в контексте уже состоявшейся победы выдвигавшуюся ими повестку можно было не рассматривать как объект соотнесения.

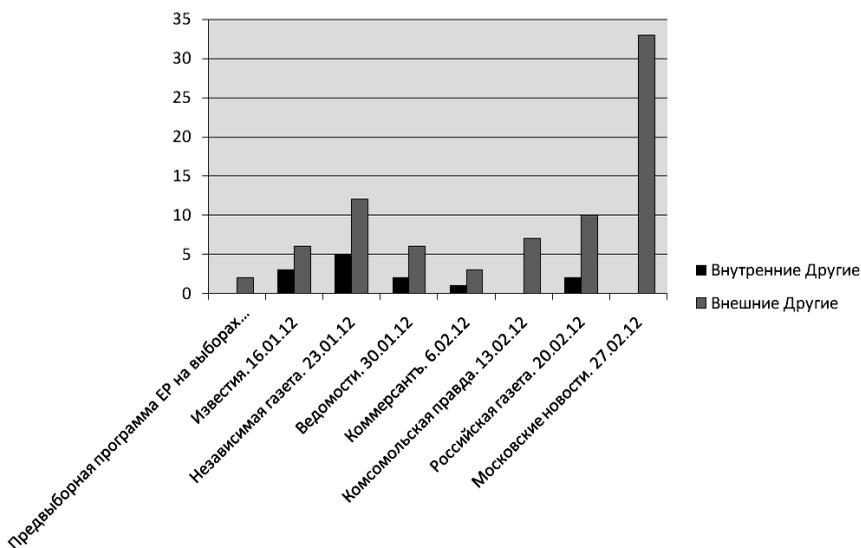


Рис. 1. Упоминания о внешних и внутренних Других в предвыборной программе, подготовленной «ЕР» и предвыборных статьях В.В. Путина

### Формула коллективной идентичности по Путину

Тем не менее можно предположить, что в начале кампании Путин и его штаб не исключали перспективу ее развития в формате аргументированной полемики с оппонентами (хотя и заочной – не в публичных дебатах, но в «заменяющих» их статьях). На это указывает решение обратиться к сложной теме национального строительства, от развернутых высказываний о которой российские официальные лица до сих пор воздерживались. При наличии в обществе серьезных разногласий практически по всему спектру вопросов, связанных с интерпретацией коллективной идентичности (см. следующую главу), правящая часть политической элиты стремится формулировать свою позицию максимально неопределенно, чтобы сохранять пространство для маневра. Поэтому подготовка специальной статьи по «национальному вопросу», имеющей очевидную полемическую направленность (в этом тексте – наибольшее количество упоминаний о внутренних Других), сама

по себе выглядит как отступление от прежней символической политики. Ввиду болезненности темы это был рискованный шаг, на который, вероятно, решились в расчете внести раскол в ряды протестующих.

Так или иначе, статья «Россия: национальный вопрос» 23 января появилась в «Независимой газете» и вызвала оживленную дискуссию, в которую оказались вовлечены представители всех сегментов идеологического спектра (из семи статей именно эта собрала наибольшее число откликов). Нельзя сказать, чтобы содержание данной публикации вносило определенность в позицию кандидата по «национальному вопросу»: напротив, текст выдержан в фирменном путинском стиле эклектики «на грани фола». Тем не менее очевидно стремление автора (ов) текста расставить акценты вполне определенным образом. Не претендуя на всесторонний анализ этого весьма любопытного предвыборного документа, я сосредоточусь лишь на трех моментах, значимых с точки зрения данного исследования: а) выбор понятий, используемых для определения макрополитической идентичности, б) логика конструкции «полиэтнической цивилизации», призванной продемонстрировать «принципиальную инаковость» «национального вопроса» в российском контексте, в) интерпретация опыта значимого Другого как средство обоснования данной конструкции.

Вынося в заголовок статьи словосочетание «национальный вопрос», Путин и его копирайтеры сделали выбор в пользу терминологии, сложившейся на рубеже XIX–XX вв. в контексте утверждения этнонационалистического прочтения идеи нации. Усматривая суть «национального вопроса» в достижении «гражданского и *межнационального* согласия», автор(ы) статьи и дальше в основном придерживаются линии на отождествление национальности и этничности<sup>1</sup>, что не мешает ему (им) попутно вспомнить о «дне рождения гражданской нации» в России, связав его с событиями XVII в. (которые имели место задолго до оформления соответствующей идеи во время

---

<sup>1</sup> Местами – за счет передергивания фактов. См., напр., утверждение, что модель «национального государства» «исторически строилась исключительно на основе этнической идентичности» [Путин, 2012б], которому сложно найти соответствующие примеры. Большинство специалистов сходятся во мнении, что все современные «национальные государства» опираются на комбинацию «гражданских» и «этнических» оснований идентификации. Эффект сближения моделей национальных идентичностей, которые принято считать идеально-типическими воплощениями разных подходов к нациестроительству, хорошо показал У. Сафран [Сафран, 2011].

Французской революции). Однако соотношение между «гражданской нацией» и формулой «полиэтнической цивилизации», обоснованию которой посвящена значительная часть статьи, не поясняется. И это неслучайно: новая «цивилизационная» терминология, видимо, призвана помочь избежать проблем, обусловленных конфликтом между разными интерпретациями слова «нация» в российском контексте.

Как некогда евразийцы 1920–1930-х годов, Путин и его копирайтеры оставляли Европе легитимацию политических сообществ на основе идеи нации, предлагая для России другой, цивилизационный масштаб. Логика «национального вопроса» по-российски выглядела следующим образом: (1) наша ситуация – «принципиально иная», чем у испытывающих кризис «национальных государств» Европы и Америки: «историческая Россия – не этническое государство и не американский “плавильный котел”»; (2) наши проблемы связаны с «разрушением СССР, а по сути, исторически – большой России, сложившейся в своей основе еще в XVIII веке»; (3) наша «многонациональность» сложилась «исторически», а потому есть «уверенность, что мы сможем обеспечить гармоничное развитие поликультурной общности»; (4) мы – «уникальная» «полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром», т.е. принципиально иной по отношению к нациям Европы и Америки тип сообщества («в нашей идентичности – другой культурный код»); (5) тем не менее нам необходима «стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме» (без ссылки на опыт Европы и Америки по части реализации такого рода политики).

Правда, разворачивая модель коллективной самоидентификации, ориентированную на идею цивилизации, автор(ы) не смогли (или не захотели) избежать включения целого пласта представлений, связанного с «националистической картиной мира», которая представляет человечество в виде совокупности герметичных сообществ (народов / наций), выступающих в качестве основных субъектов мировой политики. Непосредственно за пассажем о «другом культурном коде» нашей идентичности следовало заявление: «Русский народ является государствообразующим – по факту существования России»<sup>1</sup>. Таким образом, Путин не толь-

---

<sup>1</sup> Ниже пояснялось, что носителями «русской культурной доминанты» «выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности». Таким образом, «национальные государства» строятся «исключительно на основе этнической идентичности» лишь в Европе – в России дело обстоит иначе [Путин, 2012б].

ко возвращался к доминирующему дискурсу о нациях как сообществах, легитимно конституирующих государства, но и делал это, используя терминологию русского национализма (чего до сих пор российские официальные лица избегали!). Несмотря на слабую структурированность российского идеологического пространства, есть символические маркеры, которые прочно «приписаны» к определенным его сегментам, что делает их переопределение проблематичными. Хотя Путин, казалось бы, выступал против «попыток проповедовать идеи построения русского «национального», «моноэтнического государства», однако позаимствовав выражение, которое активно используется в русском националистическом дискурсе, он дал последнему важные преимущества в символической борьбе за номинацию (чем участники этого дискурса не преминули воспользоваться – см. ниже). Таким образом, «цивилизационная» модель описания макрополитической идентичности эклектически дополнялась «национальной», причем понятие нации связывалось то с этнической (в случае Европы), то с культурной идентичностью (в случае России). Путин и его копирайтеры остались верны стратегии, направленной на завоевание симпатий разных целевых аудиторий за счет обтекаемости, а порой – откровенной непоследовательности формулировок.

Стержнем рассмотренной выше идеологической конструкции является противопоставление (негативного) опыта решения «национального вопроса» «на Западе» (позитивному) опыту «исторического» Российского государства. К сожалению, произвольность аргументов здесь слишком очевидна: хотя модели нациестроительства, реализованные в Европе и США, действительно столкнулись с серьезными проблемами, их «кризис» пока не поставил на грань распада ни одно из государств, в которых мультикультурализм был подвергнут критике на самом высоком уровне. Вместе с тем российское «историческое государство» дважды на протяжении последнего столетия прекращало свое существование в прежних границах, и этот факт едва ли можно объяснить исключительно происками «участников этих процессов». Однако «проблемных» страниц отечественной истории автор(ы) статьи предпочел(ли) не касаться<sup>1</sup>. Апеллируя к антизападническим настроениям

---

<sup>1</sup> Например, едва ли случайно, что, рассуждая о «полиэтнической цивилизации», автор(ы) статьи практически не использу(е)т для обозначения «исторического государства» слово «империя», с которым связаны многочисленные нарративы, «объясняющие» «разрушение большой России» неэффективностью

избирателей, он(и) не жалел(и) критических замечаний, рассуждая о чужих неудачах. Таким образом, вся конструкция путинской программы держится исключительно на селективных оценках «своего» и «чужого» опыта.

Мировой кризис, сделавший явными многочисленные противоречия современного развития, дает основания для критики «Запада» – но не России. Демонстрация Наших преимуществ перед Другими осуществляется за счет акцентирования различий исторических траекторий России и Запада. Эта технология соответствует традиционному «почвенничеству» и свидетельствует об отступлении от подхода к репрезентации Нас и Другого, который был характерен для риторики Путина в 2000–2007 гг. (см. главу 14). Пока трудно сказать, связана ли эта тенденция с предвыборным контекстом или закрепится в риторике новой главы государства.

### **Не найденное согласие: Реакция в прессе на путинскую статью о «национальном вопросе»**

Как уже было отмечено, статья о «национальном вопросе» вызвала большое количество откликов и комментариев в центральной прессе. Позицию тех, для кого эта тема была главной, подытожил Дмитрий Rogozin, заявив в ответной статье в «Известиях»: «Путин вывел русский вопрос из подполья» [Rogozin, 2012]. Впрочем, за «храбрость» Путина хвалили не только националисты, но и либеральные государственники, интерпретировавшие его программный текст как попытку «найти равнодействующую между... национализмом больших и малых наций», которую следовало предпринять даже если она заведомо безуспешна [Радзиховский, 2012]<sup>1</sup>.

В каждом из сегментов российского политического спектра путинская статья о «национальном вопросе» была прочитана на свой лад. Я попробую проиллюстрировать это, ориентируясь на основные подходы к определению / конструированию макро-

---

созданных в ней моделей адаптации этнокультурных различий. Это слово встречается лишь однажды, в квазичитате из программ русских этнонационалистов про «разрушение империи, сидящей на шее у русского народа» [там же].

<sup>1</sup> По мысли Радзиховского, «государственный» подход к национальному вопросу может заключаться только в том, что все группы действительно равны в правах; однако этот принцип «почти невозможно последовательно реализовать, вопреки инстинктам общества» [там же].

политической идентичности в России, которые неплохо описаны в нашей литературе.

Некоторые сторонники проекта *гражданской нации*, апеллируя к рассуждениям о «гражданском патриотизме», увидели в статье о «национальном вопросе» свидетельство готовности строить коллективную идентичность по модели согражданства. По мнению В. Никонова, Путин предложил по примеру «многих ведущих стран мира» «выстраивать модель гражданской нации, которая построена не по этническому принципу, а по принципу сообщества людей, проживающих на общей территории, разделяющих общие ценности и осознающих себя единой общностью в пространстве и времени» [Никонов, 2012а; ср.: Радзиховский, 2012]. Однако отказ автора (ов) статьи использовать слово «нация» и тем более – фраза о «государствообразующем русском народе» давали основания усомниться в правдоподобности такой интерпретации. Неслучайно многие приверженцы идеи гражданской нации увидели в программном тексте Путина «реверанс» в сторону своих оппонентов [Тишков, 2012; Паин, 2012]<sup>1</sup>.

Гораздо более многочисленными были отклики тех, кто обнаружил в предложенной Путиным модели *имперские* коннотации. Статья «Россия: национальный вопрос» интерпретировалась в стане националистов имперской формации как попытка «описать империю, не прибегая к самому термину» [Иванов, 2012]. Например, К. Затулин, отмечая «знаковый» характер признания СССР формой существования большой России, писал: «После статьи в “Независимой газете” не может быть сомнений в том, что кандидат № 1 в президенты Российской Федерации ищет такие решения национального вопроса, которые удовлетворяли бы стратегическому курсу на собирание земель, на интеграцию распавшегося пространства». Соглашаясь с Путиным в том, что задача имперского строительства несовместима с призывами «Мы за русских» и «Хватит кормить Кавказ», Затулин предлагал назвать вещи своими именами: «...Никакого особого, уникального пути у России нет. Путь, по которому идет и, даст бог, с Путиным и после него, будет идти Россия, – это путь, по которому уже шел Рим, Британия, про-

---

<sup>1</sup> По оценке Э.А. Паина, идея о «государствообразующем» народе – «еще один разрыв с политикой времен Ельцина», ибо в принятой в 1996 г. Концепции государственной национальной политики «все коренные народы России признавались историческими участниками формирования и развития российского государства [Паин, 2012].

должают идти США и Китай. Империи прошлого и настоящего» [Затулин, 2012]. В стремлении Путина представить Россию как государство-цивилизацию, идущую особым путем, некоторые публицисты видели «возвращение к концепции Москвы как третьего Рима», а в его идее «непрерывности Истории нашей Великой Родины» – «ответ “десталинизаторам”, пытающимся опять разжечь огонь уже потухшей Гражданской войны» [Ермолаев, 2012].

Несмотря на очевидное стремление автора(ов) статьи с помощью рассуждений о «полиэтнической цивилизации» уйти от четкой артикуляции позиции кандидата в вопросе о выборе между нацией или империей, сторонники имперского проекта приветствовали ее как недвусмысленное свидетельство отказа от строительства «национального государства». В ссылках на «особый культурный код русского народа» усматривали признание имперскости, в силу которой Россия не может «уподобиться Литве или Эстонии, превратившись в государство одного народа, которое живет не ради каких-то великих миссий, а для себя» [Иванов, 2012]. Логическое развитие тезиса о многонациональности «исторической России» видели в «реинтеграции постсоветского пространства в Большой России» [Фурсов, 2012].

Русские националисты горячо приветствовали путинское высказывание о «государствообразующем» русском народе. Немедленно последовало предложение зафиксировать данный принцип в Конституции РФ [там же]. Спикер парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов заявил, что законодательное собрание его республики готово выступить с соответствующей законодательной инициативой, если на то будет одобрение Путина [Парламент Чечни..., 2012]. Разумеется, эта идея Путина вызвала энтузиазм далеко не у всех. В Татарстане, например, вспомнили, как еще недавно Москва сопротивлялась закреплению в республиканской Конституции особого статуса татарского народа [Сулейманов, 2012], а в блогах начали обсуждать, не надо ли ввести статус «государствообразующего народа» в республиках в составе РФ.

Наконец, хотя репрезентация национального прошлого в программе кандидата Путина – тема, заслуживающая самостоятельного анализа, не могу не отметить особенности событийного ряда, на который в свою очередь опирались выступившие в ее поддержку публицисты из национально-патриотического лагеря. Д. Рогозин, объясняя «смелое и неожиданное» обращение Путина к русскому народу, утверждал, что именно так верховная власть в

России всегда поступала в критические моменты (а сегодня мы вновь в кольце врагов). В качестве примеров он приводил Николая II и Сталина, причем уточнял, что первый обратился к «русским патриотам и консерваторам... слишком поздно и невнятно» и не смог предотвратить катастрофу, а второй совершил поворот к прорусской политике вполне своевременно, результатом чего стала победа в Великой Отечественной войне. [Рогозин, 2012]. Еще более показательна аналогия между Путиным и Сталиным в статье А. Фурсова. Объясняя, почему причастность бывшего президента и премьер-министра к разрушению армии, уничтожению образования, умножению коррупции и прочих бедах – не препятствие для оказания ему доверия, Фурсов напоминал, что Сталин тоже разделял с «интернационал-социалистами» и «левыми глобалистами» ответственность за то, что произошло в 1917 г., однако смог развернуться «в русскую национальную сторону». И «обращение Путина к русскому вопросу в условиях нарастающих угроз большой евразийской войны» вписывается в тот же ряд – «лучше поздно, чем никогда» [Фурсов, 2012]. Конечно, эти сравнения, полезные с точки зрения завоевания популярности у «национал-патриотов», могли изрядно испортить репутацию Путина в глазах других отрядов электората. Более «респектабельно» выглядели аналогии, предложенные комментаторами из политического «центра»: будущего президента ставили в один ряд со Столыпиным [Ильницкий, 2012], а также с проводившими реформы сверху Иваном Грозным, Петром Великим, Екатериной Великой [Александров, 2012] и Александром II [Никонов, 2012б]. Однако и здесь «имперские» аналогии более чем очевидны.

Хотя статья в «Независимой газете» явно была нацелена на мобилизацию поддержки национально-патриотически настроенного электората, противников в этом лагере у Путина тоже оказалось немало. Во-первых, заявленная им программа не устроила наиболее принципиальных «имперцев», которым формула «полиэтнической цивилизации, скрепленной русским культурным ядром» показалась непомерной уступкой идее «гражданской нации». По заключению публициста газеты «Завтра» В. Архангельского, «вариант, где русскими станут все народы, населяющие Россию, – включая тех, что имеют свои национальные государства, – качественно от ельцинизма ничем не отличается». По его мнению, ориентиром должна быть именно империя, ибо «гражданский национализм подавляет живую природу народов, унифицирует раз-

личия, особенности», а «многомерное иерархическое пространство империи сохраняет самобытность...» [Архангельский, 2012].

Во-вторых, на защиту своих позиций выступили раскритикованные Путиным «нацдемы». По словам А. Севастьянова, «нам предложили прямо противоположное тому, что мы бы хотели услышать... В статье нет ни единого слова о русских национальных проблемах, о русских правах и интересах» [Севастьянов, 2012]. Примечательно, что именно «нацдемы» выступили в роли ситуативных «западников», оспаривая путинскую интерпретацию опыта решения «национального вопроса» в Европе. Они доказывали, что Путин сваливает «с больной головы на здоровую», ополчаясь на европейцев именно тогда, когда они «прозрели» и готовы отказаться от «смертоносной практики» мультикультурализма. Что касается практики строительства государств «для» этнонаций, то «это – естественно-историческая норма, которую надо не разрушать, а сохранять и поддерживать» [там же].

Дискуссия относительно путинских статей лишней раз проявила противоречия между разными формациями русского национализма. Сторонники его «имперского» варианта пытались, в свою очередь, представить своих оппонентов агентами Запада, помогающими «реализовать давний англосаксонско-ватиканский проект “ударим по России русским национализмом”» [Фурсов, 2012]. Путинская идея об особой природе нашей коллективной идентичности вполне соответствует представлению о том, что «любые попытки свести русское к европейской, буржуазной “идее нации”, порожденной Французской революцией 1789–1793 гг., обрекают русский народ на разделение, распад и гибель» [Карпец, 2012], которое характерно для дискурса «русских имперцев», однако она абсолютно неприемлема для тех, кто мечтает о «русском национальном государстве». Благодаря высокой активности, в последние годы имевшей место в этом сегменте идеологического пространства, в нем постепенно происходит кристаллизация смыслов, которая затрудняет применение прежних символических технологий, рассчитанных на «широкий охват» за счет неточности формулировок.

Наконец, путинская программа была критически встречена на коммунистическом фланге национал-патриотического лагеря, где главного кандидата били его же собственным оружием, изображая его «агентом Запада». Идеологи КПРФ, соглашаясь с «правильностью» слов, высказанных в статье, указывали, что дела Путина свидетельствуют об обратном. Так, руководитель Цен-

трального штаба КПРФ по выборам И. Мельников в интервью «Советской России» заметил, что премьер-министр неслучайно обходит стороной «немаловажную тему насаждения западных ценностей, которые летят на общество с телеэкранов и в быту, раздражают и искажают атмосферу» [Мельников, 2012]. Публицисты газеты «Завтра» писали, что «если бы “болотной оппозиции” не было, ее стоило бы придумать», ибо она помогает Путину изобразить «борьбу нанайских мальчиков», маскируя тот факт, что в действительности он «пытается опираться на все ту же обанкротившуюся в глобальных масштабах ультралиберальную идеологию “вашингтонского консенсуса”» [Гордеева, 2012]. А статью, опубликованную в «Коммерсанте», и вовсе расценили как «упражнение» для М. Макфола, подготовленное с учетом «весьма убедительных судеб Каддафи и Мубарака»: по словам М. Делягина, своим «сугубо институциональным пониманием демократии» статья Путина «напоминает эссе, написанное студентом для исповедующего крайний либерализм преподавателя с полным учетом его вкусов» [Делягин, 2012].

Если реакция на предложенную Путиным формулу идентичности была столь неоднозначной даже на «национально-патриотическом» фланге, то что уж говорить о либерально-западническом. Оппоненты Путина из этого лагеря указывали на неадекватность представленных в его статье оценок западных практик и на отступление от единственно возможной в российских условиях модели гражданской нации [Тишков, 2012; Паин, 2012], на невозможность прямого использования отечественного опыта национальной политики в современных условиях («ни при царе, ни при коммунистах национальный вопрос так и не был решен» [Злобин, 2012a]) и на опасность заигрываний с русским национализмом. Представители этого фланга предлагали свой взгляд на проблему строительства нации. Как известно, долгое время российские либералы сетовали на то, что строительство гражданской нации в России упирается в отсутствие дееспособного гражданского общества. Новое качество протестной активности, казалось, дает основание надеяться на благоприятную перспективу. Как писал Д. Быков, «рождение реального национализма – формирование полиэтничного, мобильного, думающего гражданского общества – происходит сегодня на площадях и шествиях, и нечего обзывать их “оранжевыми”. То, то мы видим перед собой, – именно нация, в том самом смысле, в каком о ней принято говорить с XVIII века» [Быков, 2012].

## Заключение: Старые технологии в новом контексте?

Хотя в статье Путина и были расставлены точки над «i» по некоторым спорным вопросам (определение генеалогии современного макрополитического сообщества, осуждение русского этнонационализма), в целом она не столь уж существенно отступала от стратегии мобилизации поддержки, использовавшейся прежде. Предъявленная в ней формула коллективной идентичности явно была рассчитана на завоевание симпатий людей с разными взглядами: в «полиэтнической цивилизации, скрепленной русским культурным ядром», можно усмотреть туманные намеки и на империю, и на нацию-согражданство, и на отличающуюся «имперскостью» русскую этнонацию. Представляется однако, что на этот раз попытка Путина и его копирайтеров пройти между Щиллой национализма и Харибдой империализма принесла лишь частичный успех в «адресной аудитории». Заявленную программу по «национальному вопросу» поддержали главным образом приверженцы «имперского» варианта русского национализма, да и то не все. При этом в своих комментариях они высказали немало соображений, которые едва ли повышают репутацию путинских идей в других сегментах идеологического спектра. Впрочем, учитывая, что имперские настроения заметно распространены среди аморфного «большинства», составляющего нынешний «центр», риск, связанный с публикацией развернутой статьи по «национальному вопросу», с электоральной точки зрения, вероятно, себя оправдал.

Тем не менее дискуссия, стимулированная путинскими статьями, отчетливо продемонстрировала, сколь глубоки расхождения между разными представлениями о коллективной идентичности сообщества, стоящего за Российским государством. Новый бум партийного строительства, который последует за только что принятыми изменениями в законодательстве, неизбежно станет катализатором острых дискуссий по этому и другим вопросам. Условия, при которых власть могла ограничиваться символической демонстрацией «единства», остаются в прошлом. Готов ли вновь избранный президент к грядущим изменениям на поле символической политики? Удастся ли новой политической команде создать условия для конструктивного общественного диалога? К сожалению, характер избирательной кампании Путина не дает повода для однозначно положительного ответа на этот вопрос. Однако новый политический цикл только начинается, что будет дальше – покажет время.

## Часть III.

# ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

---

## 9. КОНСТРУИРОВАНИЕ МАКРОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА<sup>1</sup>

Одной из проблем, с которой российское общество столкнулось после распада СССР, оказался комплекс социальных и ментальных сдвигов, определяемый как «кризис идентичности». Важно подчеркнуть, что этот кризис был обусловлен не только необходимостью переосмысления представлений о Нас с учетом новых географических, политических и социальных границ, но и острыми идеологическими конфликтами, которыми это переосмысление сопровождалось. Изменения в той или иной степени затронули все виды социальной идентичности. В настоящей части книги речь пойдет об одном из аспектов этой комплексной проблемы – об идентификации политического и культурного сообщества, стоящего за российским государством, сообщества, которое, согласно ст. 3 Конституции РФ, является «носителем суверенитета и единственным источником власти». В современном политическом лексиконе для него есть разные обозначения: «многонациональный народ», «граждане России», «россияне», «русские» и др. Определение указанного сообщества как «нации», принятое во многих странах, в российском контексте вызывает споры. Очевидно, что за терминологическими различиями стоят когнитивные и мировоззренческие противоречия, которые усугубляют синдром «кризиса идентичности». Ставя одной из своих задач исследование понятийного ряда, с помощью которого описывается сообщество, стоящее за новым

---

<sup>1</sup> Первый вариант настоящей главы опубликован в журнале «Полис» [Малинова, 2010б]; расширенный вариант – в журнале «Политэкс» [Малинова, 2010в]. Исследование проводилось в рамках проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом, грант № 09-03-00218а.

Российским государством, я буду говорить о конструировании *макрополитической идентичности*<sup>1</sup>. Данный термин охватывает все основания идентификации рассматриваемого сообщества, присутствующие в *публичном* дискурсе, позволяя анализировать возникающие между ними смысловые конфликты. В то же время его можно рассматривать в качестве общего знаменателя для понятий, с помощью которых «российская идентичность» описывается в *научном* дискурсе – таких, как «политическая нация» [Паин, 2008, с. 9; Каспэ, 2009, с. 5], «гражданско-государственная (национально-гражданская) идентичность» [Дробижева, 2008, с. 69], комбинация «этнического и наднационального (цивилизационного) начал» [Зевелев, 2009, с. 99] и др.

Конструирование макрополитической идентичности является важной составляющей политики современных государств. Причем интерпретация стоящих за государствами сообществ в качестве наций в рамках сложившейся политической картины мира является доминирующей: в эпоху Модерна утверждение демократического представления о власти, выражающей волю народа, происходило параллельно с продвижением националистической идеи о том, что именно нации являются легитимными единицами политической организации<sup>2</sup>. И хотя действительность никогда в полной мере не соответствовала этой идее, последняя оказала определяющее влияние на формирование способов социального воображения, присущих современным обществам [Calhoun, 2007,

---

<sup>1</sup> По определению И.С. Семененко, «*политическая идентичность* представляет собой комплекс идейно-политических ориентаций и предпочтений, которыми субъекты политического процесса наделяют себя и друг друга в процессе коммуникации, и предполагает отождествление носителя *политической идентичности* с тем или иным политическим сообществом» [Политическая идентичность, 2012а, с. 71]. При этом понятие *политическая идентичность* используется также для изучения партийной самоидентификации и электорального поведения и описывает социальные и идеологические основания выбора, осуществляемого индивидами в рамках политического процесса [Попова, 2009; Попова, 2011]. В этой логике предлагаемое мною понятие *макрополитическая идентичность* указывает на идентификацию с более широким сообществом, которая предполагает наличие солидарности поверх границ, связанных с политическими и идеологическими предпочтениями [Политическая идентичность, 2012а, с. 76].

<sup>2</sup> Панорамный анализ последствий «национализации» государств в XIX в. для трансформации международной системы и политического поведения ее участников см.: [Hall R., 1999]. Критику государствоцентрической онтологии международных отношений, в которой миф «нации» играет ключевую роль, см.: [Ferguson, Mansbach, 2004].

р. 103–115]. Именно идея нации задает общую рамку, в которую так или иначе вписывается макрополитическая идентичность: последняя связывается с принадлежностью либо к *нации* (определяемой по разным основаниям), либо к *наднациональному* сообществу. Причем предполагается, что в первом случае узы, скрепляющие сообщество, оказываются прочнее.

Действия, направленные на конструирование макрополитических сообществ, не всегда открыто рассматриваются в качестве самостоятельного направления политики – официально предметом заботы властей как правило выступают вопросы, связанные с урегулированием этнокультурного, языкового и религиозного разнообразия. Причем вплоть до конца XX в. в западной политической теории преобладала нормативная установка, согласно которой государство должно следовать принципу равного отношения к своим гражданам независимо от их этнокультурной идентичности. Характерно, что выражение «политика идентичности», получившее заметное распространение в англоязычном политическом дискурсе с конца 1980-х годов, связывалось не с государствами, а с так называемыми «новыми социальными движениями», выдвигавшими требования публичного «признания» идентичности отдельных групп (этнических, религиозных, гендерных и др.) [Aronwitz S., 1992; Kenny, 2004; ср.: Parekh 2009]. Однако в действительности все современные государства в той или иной мере проводят *политику идентичности*, направленную на интеграцию стоящих за ними сообществ, поощрение солидарности, формирование определенного представления о Нас, опирающегося на те или иные интерпретации истории и культуры и т.п. С этнокультурной точки зрения эта политика отнюдь не является нейтральной: по словам канадского политического философа У. Кимлики, все либеральные демократии «вовлечены в... процесс “нациестроительства”, т.е. обеспечивают распространение общего языка, чувство участия в социетальных институтах, работающих на этом языке, и доступа к ним» [Kymlicka, 2001, p. 19]. Инструментами этой политики являются официальный язык, школьные программы, требования, связанные с приобретением гражданства, национальные символы и праздники, переименование топографических объектов и т.п. Политика, направленная на формирование макрополитической идентичности, чрезвычайно важна для поддержания жизнеспособности современных государств (не только демократических, хотя для последних ее результаты особенно критичны). Такая политика, с одной стороны, призвана обеспечить интеграцию и солидарность граждан поверх социальных, этнических, религиозных, языковых, политико-идеологиче-

ских и прочих границ, а с другой – связана с теми или иными решениями проблемы различий (т.е. с поиском адекватных способов их «признания», либо с попытками их проигнорировать или «сгладить»).

Политика идентичности – если использовать это понятие расширительно, применяя его ко всем акторам, которые так или иначе участвуют в дискурсах и практиках, формирующих паттерны социальной идентификации, – является важной составляющей *символической политики* (хотя безусловно не сводится исключительно к символическому аспекту).

Государство, не будучи единственным актором символической политики, занимает особое положение на этом поле, поскольку обладает возможностью навязывать поддерживаемые им способы интерпретации социальной реальности с помощью *властного распределения ресурсов* (например, при утверждении образовательных стандартов), *правовой категоризации* (как в случае законодательства о гражданстве), *придания особого статуса отдельным символам* (с помощью закрепления государственных праздников, утверждения официальной символики, учреждения наград и т.п.), *возможности выступать от имени макрополитического сообщества на международной арене* и т.п. В связи с этим и публичные высказывания акторов, выступающих от имени государства и / или оказывающих влияние на принятие решений, имеют особое символическое значение и как правило становятся объектами соотнесения для других участников дискурса. При этом проводимая от имени государства символическая политика не обязательно отличается последовательностью: она отнюдь не всегда опирается на строго выверенные интерпретации социальной реальности (как это имеет место в случаях тоталитарных режимов) и неизбежно учитывает существующие в обществе конфликты, равно как и идеологические предпочтения озвучивающих ее лиц. Несмотря на эксклюзивные ресурсы, которыми обладает государство, доминирование поддерживаемых им интерпретаций социальной реальности отнюдь не предпрешено: даже если «нужная» нормативно-ценностная система навязывается насильственными методами, у индивидов остается возможность «лукавого приспособления»<sup>1</sup> и «двоемыслия».

---

<sup>1</sup> По мысли Ю.А. Левады, советские идеологические практики, навязывавшие индивидам универсальную нормативно-ценностную систему, формировали «человека лукавого», соглашавшегося с предписываемыми установками – и одновременно искавшего способа их обойти [Левада, 2000, с. 508–529].

Символическая политика осуществляется в *публичной сфере*, т.е. виртуальном пространстве, где в более или менее открытом режиме обсуждаются социально значимые проблемы, формируется общественное мнение, конструируются и переопределяются коллективные идентичности, иными словами – имеет место конкуренция разных способов интерпретации социальной реальности. Как я попыталась показать в пятой главе, институциональные параметры публичной сферы оказывают значимое влияние на стратегии и возможности акторов символической политики.

В настоящей главе будут рассмотрены основные тенденции символической политики, направленной на конструирование макрополитической идентичности в России, в 1990-х и 2000-х годах, причем основное внимание будет сосредоточено на трех взаимосвязанных проблемах: выбор основания идентификации сообщества, стоящего за новым Российским государством; определение критериев принадлежности к этому сообществу и конкуренция разных способов определения его идентичности. При этом основной упор будет сделан на анализ символической политики, проводимой от имени государства и выражаемой в нормативных решениях и официальных высказываниях высших должностных лиц. Позиции других участников дискурса о макрополитической идентичности будут учитываться постольку, поскольку они определяют структуру идеологического пространства, в котором осуществляется коллективная самоидентификация, и в той или иной мере влияют на формирование векторов символической политики. Однако в последующих главах я более обстоятельно проанализирую спектр позиций по отдельным аспектам данного дискурса.

### **Проблема оснований и границ макрополитического сообщества, стоящего за Российским государством: Как Нас называть и кого к Нам относить?**

Задача конструирования макрополитической идентичности, способной обеспечить интеграцию населения постсоветской России, с самого начала осложнялась множеством проблем. *Во-первых*, речь шла о формировании существенно «новой» идентичности, ибо в рамках СССР проект многонациональной Российской республики (в отличие от других союзных республик) не имел вполне четких культурно-политических очертаний. Безусловно, существовал солидный запас «строительного материала» в виде многовековой истории Российского государства (в менявшихся границах),

русского языка и культуры (если не «своей», то близкой для большей части населения), целой системы институтов, обеспечивавших общность социального опыта и др. Однако это наследие нуждалось в основательном переосмыслении. В частности, ни один из существующих вариантов метанарратива отечественной истории – дореволюционных, советских или «альтернативных», представленных в самиздате и тамиздате, – не годился на роль опоры новой национальной идентичности. В то же время восприятие коллективного прошлого остается идеологически окрашенным, и попытки его переосмысления до сих пор вызывают острые споры. *Во-вторых*, сохранялась неопределенность в отношении границ конструируемого сообщества (как политико-географических, так и культурно-символических). *В-третьих*, идеологические расколы, сложившиеся в годы перестройки и углубившиеся с началом реформ, затрудняли политическое самоопределение российского общества<sup>1</sup> и конструирование моделей коллективной идентификации, способных стимулировать солидарность, перекрывающую неизбежные различия. *В-четвертых*, в меняющемся международном и внутривнутриполитическом контексте определение Значимых Других, в соотнесении с которыми предстояло конструировать новую макрополитическую идентичность, также стало поводом для разногласий (см. главу 12). При этом у России, в отличие от других стран Восточной Европы, не было Значимого Другого, которого можно обвинить в бедах, постигших ее в XX столетии, – данное обстоятельство существенно осложняло конструирование моделей идентичности, способных поддерживать коллективную самооценку. *В-пятых*, провозглашение России правопреемницей СССР порождало проблему соотношения между «российским» и «советским», которую в силу указанных выше обстоятельств решать было крайне непросто. Эти и другие факторы обусловили очевидную противоречивость политики идентичности, проводившейся в постсоветской России.

Предметом острых дискуссий стал ключевой вопрос: как макрополитическое сообщество, стоящее за новым Российским государством, соотносится с *идеями нации*, которая в рамках сложившейся картины мира задает основной принцип легитимации

---

<sup>1</sup> Термин В.И. Пантина и В.В. Лапкина. В их интерпретации «политическое самоопределение» – это «выбор элитными и массовыми группами стратегических целей, основных ориентиров и параметров внутри- и внешнеполитического развития» [Пантин, Лапкин, 2006, с. 78].

«самоопределяющихся» политических единиц? Введенная Конституцией 1993 г. формула «многонациональный народ Российской Федерации» дает основания для разных способов ответа на этот вопрос. С одной стороны, она очевидным образом учитывает традиции советского дискурса, который отождествлял «национальность» с этничностью и демонстрировал равное символическое признание всех групп, подпадающих под данную категорию. На практике равное символическое признание дополнялось сложной иерархией форм институционализации этничности. Стремясь избежать конфликтов, связанных с отказом в привычном признании прав «национальностей», создатели Конституции последовали примеру советской политики идентичности, рассматривавшей макрополитическую идентичность как наднациональную («новая историческая общность – советский народ»): для определения основания макрополитического сообщества было выбрано существительное «народ», прилагательное же «многонациональный» было зарезервировано для составляющих его «национальных» групп. С другой стороны, Конституция отводит роль суверена «народу» как целому, а не совокупности составляющих его групп, и устанавливает равенство прав и свобод всех граждан РФ независимо от национальности, что открывает возможность для интерпретации обладающего суверенитетом сообщества как гражданской нации. Именно такая интерпретация ст. 3 Конституции была предложена в первом президентском послании Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию<sup>1</sup>.

Однако идея российской нации как сообщества всех граждан РФ с самого начала вызвала оппозицию со стороны тех, кто усматривал в ней ущемление прав «национальностей» или выражал озабоченность тем, что перенос понятия «нация» на «общегосударственный» уровень может спровоцировать этнические конфликты [Тишков, 2007а, с. 21, 39]. Как подытожил позицию противников такого переноса М. Шаймиев, «понимание нации в нашей стране существенно отличается от западного. Большинство населения по-прежнему воспринимает нацию не как политическое или общегражданское понятие, а этнокультурное, историческое,

---

<sup>1</sup> Согласно формулировке текста Послания, противоречия между федеральным центром и регионами «будут сглаживаться на основе нового, заложенного в Конституции понимания нации как согражданства» [Ельцин, 1994]. Важно отметить, что данная формулировка включена в раздел «Федерализм и межнациональное согласие», т.е. прямо увязана с контекстом нациестроительства.

традиционное. Попытки утвердить концепцию российского народа как политико-гражданской нации встречают естественное недопонимание у части общественного мнения» [Шаймиев, 2007а, с. 296]. Против утверждения такой концепции выступают и те из русских националистов, кто полагает, что Россия должна оставаться империей, и предпочитает сочетать рассуждения об особой роли в создании и поддержании этой империи русских как этнической группы с символическим признанием «многонациональности». Даже представители либерально-демократической части спектра, которые считают строительство российской гражданской нации желанной перспективой, не рассматривают макрополитическое сообщество, стоящее за Российским государством, как сложившуюся нацию (подробнее см. главу 11).

Более оптимистичную трактовку перспектив формирования гражданской нации настойчиво утверждает академик В.А. Тишков, который настаивает, что основным препятствием «для признания существования российской нации» является не «недостаток схожести и солидарности россиян», а неготовность политической и интеллектуальной элиты признать факт ее существования. По его словам, «переубеждение таких отрицателей, собственно говоря, и есть “нациестроительство” или “формирование нации”» [Тишков, 2007а, с. 561]. Однако, по-видимому, задача «переубеждения» не столь проста [Малинова, 2007б].

Подводя итоги, нужно признать, что и на исходе второго десятилетия существования нового Российского государства определение стоящего за ним макрополитического сообщества как гражданской нации продолжает вызывать споры в среде политической и интеллектуальной элиты. Столь же неоднозначно, по оценкам социологов, обстоят дела и с состоянием массового сознания. Даже те специалисты, кто считает возможным с умеренным оптимизмом говорить о «постепенной... гражданской интеграции полиэтнического российского общества», подчеркивают противоречивость данного процесса и трудности формирования «представлений о подлинном национально-гражданском единстве» в контексте, сложно сочетающем традиционалистские и модернистские тренды [Дробижева, 2008, с. 68, 76].

Вопрос об основаниях макрополитической идентичности тесно связан с вопросом о ее границах, или о критериях принадлежности к сообществу, стоящему за новым Российским государством. На этот счет также существуют разные точки зрения.

С одной стороны, политические границы, сложившиеся после распада СССР, не всеми были восприняты как окончательные. Различные проекты реинтеграции постсоветского пространства, от экстремистской идеи полного или частичного восстановления государства в прежних границах, высказываемой некоторыми «имперскими» националистами, до более умеренной концепции постепенного сближения за счет формирования межгосударственных союзов, побуждают к воображению границ российской макрополитической идентичности как временных / открытых. Получивший осенью 2011 г. новый импульс проект Евразийского союза, который видится его организаторами как «мощное наднациональное объединение», рядоположенное Европейскому союзу в рамках Большой Европы [Путин, 2011], – наглядное подтверждение тенденции мыслить постсоветскую макрополитическую идентичность как принципиально открытую для дальнейшего расширения «поверх границ» ныне существующего государства. При этом надстраивание новых «уровней» политической идентификации рассматривается значительной частью российской элиты как «естественное» проявление Нашей идентичности, которой «тесны» границы национального государства (подробнее об этом – в главе 11).

С другой стороны, с учетом особенностей постсоветской ситуации (широкое распространение русского языка и русской культуры как внутри РФ, так и на постсоветском пространстве) оказываются возможными различные подходы к конструированию идентичности по этнокультурным и лингвистическим основаниям. В российском политическом дискурсе сосуществуют разные способы определения русской идентичности, которая остается необходимым и существенным дополнением идентичности российской<sup>1</sup>. В конце 1990-х годов В. Тольц выделила пять основных альтернативных способов ее определения: (1) «союзная» модель, в которой русские выступают как имперский народ, создавший наднациональное государство и играющий в нем особую роль; (2) восточнославянская модель, рассматривающая общее прошлое и этнокультурную близость русского, украинского и белорусского этносов как основу для возможной инте-

---

<sup>1</sup> Я разделяю тезис А.И. Миллера о том, что «нам нужны обе» национальные идентичности – и российская, и русская, ибо «в любом реализованном проекте нации тесно переплетены гражданская и культурная составляющие». Последняя может конструироваться только на основе русского языка и русской культуры. Безусловно, речь идет об «открытой трактовке “русскости”», подразумевающей «соответствие определенному культурному стандарту и самоидентификацию индивидов как русских» [Миллер, 2007, с. 11, 14].

грации в единое макрополитическое сообщество; (3) лингвистическая модель, рассматривающая в качестве русских всех, для кого русский язык является родным; согласно интерпретации В. Тольц, эта модель также опирается на православие, однако едва ли эта связь именно в данном случае столь очевидна; (4) этническая модель, определяющая русскость по происхождению; (5) гражданская модель, связывающая принадлежность к русской / российской нации с гражданством РФ [Tolz, 1998; см. также: Tolz, 2001]. Хотя эта классификация и нуждается в некоторых уточнениях, она дает достаточно полное представление о том, сколь существенно меняются критерии принадлежности к сообществу, которое мыслится как нация, в зависимости от выбора той или иной модели. За выделенными альтернативами стоят не только геополитические амбиции политиков, но и противоречивые представления граждан о границах групп, с которыми они себя отождествляют. От выбора модели, на которую должно ориентироваться государство, зависит его политика в отношении регулирования гражданства, миграции, образования, культуры и проч. Неудивительно, что вопрос о критериях включения в российскую / русскую нацию или исключения из нее остается предметом споров и борьбы интересов.

Учитывая, сколь противоречивы представления об основаниях и границах постсоветской макрополитической идентичности, обнаруживаемые в элитарном дискурсе и массовом сознании, вряд ли нужно удивляться тому, что символическая политика самого государства в этих важных и чреватых конфликтами вопросах не отличалась последовательностью. И в 1990-х, и в 2000-х годах нормативные решения и официальные высказывания высших должностных лиц колебались между интерпретацией конституционной формулы «многонациональный народ Российской Федерации» в смысле наднациональной надстройки над идентичностями составляющих «народ» «национальностей» (в духе «новой исторической общности – советский народ») или в значении гражданской нации. Так, в принятой накануне президентских выборов 1996 г. указом Б.Н. Ельцина «Концепции государственной национальной политики РФ» Россия определялась как «*многонациональное государство*» (не «народ», как в Конституции)<sup>1</sup>. Термин «нация» в данном документе вовсе не ис-

---

<sup>1</sup> Текст Концепции гласит: «Российская Федерация – одно из крупнейших в мире многонациональных государств, где проживают более ста народов, каждый из которых обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры» [Концепция, 1996].

пользуется. Как поясняет один из разработчиков концепции, В.А. Тишков, этот шаг следует рассматривать как своего рода компромисс: «Концепция не вводит категорию гражданской российской нации, но и ограничивает официальный язык достаточно достойными понятиями как народы или национальности». При этом, по признанию Тишкова, даже сделана «уступка в пользу этнического понимания термина “народ”» [Тишков, 1996, с. 17].

Неоднократные попытки принять федеральный закон, призванный заменить Концепцию 1996 г., не увенчались успехом. В 2003 г. в Думу был внесен законопроект «Об основах государственной национальной политики РФ», в 2006 г. – зарегистрирована новая редакция проекта ФЗ, которая уже имела название «Об основах государственной политики в сфере межэтнических отношений в Российской Федерации» (№ 369 190–3). В случае его принятия закон с новым названием стал бы весьма решительным шагом в направлении концепции российской гражданской нации. Однако этот шаг не был сделан: рассмотрение законопроекта многократно откладывалось, пока в июне 2012 г. он не был отклонен Государственной думой (в связи с задачей подготовки новой Стратегии государственной национальной политики, поставленной вновь избранным президентом).

Столь же неоднозначным было и представление оснований макрополитической идентификации в риторике официальных лиц. С одной стороны, в выступлениях всех российских президентов существительное «нация» и производные от него прилагательные систематически использовались по отношению к России как нации в ряду других наций, т.е. в «западном» значении данного слова (в таких словосочетаниях, как «*национальные интересы*», «*национальная безопасность*», «*национальная промышленность*», «*здоровье нации*», «*общенациональные проблемы*», «*национальные проекты*» и т.п.). При этом понятие «нация» связывалось не только с Россией как участницей международной системы государств, но и со стоящим за нею сообществом, имеющим определенные исторические и культурные традиции и обладающим политической субъектностью и волей к коллективному действию. Например, в текстах президентских посланий Федеральному Собранию можно найти упоминания об «*отечественной культуре*», которая «*обеспечивает целостность нации*» [Ельцин, 1995], опасения, «*сможем ли мы сохраниться как нация, как цивилизация, если наше благополучие вновь и вновь будет зависеть от выдачи международных кредитов и от благосклонности лидеров мировой*

экономики» [Путин, 2000], тезис о том, что «Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией», рассуждения о «цивилизаторской миссии российской нации на евразийском континенте» [Путин, 2005], о «достойном месте... для всей российской нации в системе международных отношений» и о ее «единстве» [Медведев, 2008] и т.п. Употребление понятия «нация» и его производных в официальных выступлениях первого лица, безусловно, значимо с точки зрения продвижения представления о России как гражданской нации. Однако наряду с этим в выступлениях российских президентов сохраняются и упоминания о проблемах «межнациональных отношений» (иногда как синоним в том же тексте используется термин «межэтнический»), о России как «многонациональной стране», о задаче поддержания «межнационального мира» и т.п. Таким образом, в высказываниях президентов Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева и снова В.В. Путина<sup>1</sup> присутствуют различные варианты интерпретации конституционной формулы «многонационального народа».

Вместе с тем, анализируя дискурс лояльной власти части политического класса в 2000-х годах, нетрудно обнаружить, что проект гражданской российской нации отнюдь не рассматривается ею в качестве однозначной и несомненной цели. В качестве подтверждения можно сослаться на так называемый «Русский проект» «Единой России», запущенный в 2007 г. Проект предполагал проведение виртуальных и «живых» дискуссий, призванных дать ответ на «десять русских вопросов». Внедряя термин «русский» вместо политкорректного «российский», организаторы проекта преследовали двойную цель: дистанцироваться от политики ельцинского периода и «национального нигилизма» «либералов-западников», стремившихся продвигать «гражданский» вариант национальной идентичности, и «реабилитировать» традиции имперского прошлого и культуры, за которой исторически закрепилось название «русская». При этом настойчиво подчеркивалось, что «русскость» следует определять в терминах языка и культуры, а не происхождения [Исаев, 2006, с. 7–9]. По-видимому, «Русский проект» можно рассматривать не только как средство предвыбор-

---

<sup>1</sup> Не отступив от сложившейся практики, в инаугурационной речи 8 мая 2012 г. Путин, рассуждая об «исторической перспективе государства и нашей нации», которая зависит «именно от нас», не забыл упомянуть и об опоре на «культурные и духовные традиции нашего многонационального народа» [Инаугурация, 2012].

ной мобилизации части националистически настроенного электората, но и как попытку оценить возможные альтернативы проекту «российской гражданской нации», не сумевшему завоевать достаточной поддержки.

В дальнейшем чаша весов стала склоняться в пользу проекта «российской нации». В начале 2008 г., в преддверии президентской избирательной кампании «Русский проект» был свернут, и вскоре при активной поддержке сверху был создан Общероссийский союз общественных объединений «Российская нация», призванный распространять и упрочивать в общественном сознании идею политической и гражданской нации, а затем учреждены одноименный интернет-ресурс (<http://www.rosnation.ru/index.php?D=10>) и журнал «Вестник Российской нации». По мнению Г.И. Зверевой, эти шаги знаменуют движение в направлении «учреждения “российской нации”». Впрочем, как она показывает, выбор ключевого словосочетания не означает однозначной поддержки проекта «гражданской» нации и отказа от идеи «многонационального народа»<sup>1</sup>. Как полагает Зверева, «российская нация» оказывается «зонтичным понятием», которое «позволяет нивелировать общественные разногласия, “покрывать” и “поглощать” разные представления о том, какой должна быть доминанта коллективной идентичности в современной России» [Зверева, 2009, с. 423]. Хотя выбор понятия, безусловно, не отменяет конкуренции разных представлений о постсоветском макрополитическом сообществе, я бы не стала преуменьшать его значимость с точки зрения того, что П. Бурдые назвал «властью номинации» [Бурдые, 1993, с. 72–77]. Выбор «номинации», если он закрепится в официальных текстах и речевых практиках российского политического класса, не положит конец дискуссиям «о нации», но переведет их в другую плоскость, внося некоторую определенность в базовый вопрос о соотношении между макрополитическим сообществом и идеей нации.

О том, как трудно было принять решение на этот счет, свидетельствует и программная статья о «национальном вопросе», подготовленная в рамках избирательной кампании В.В. Путина [Путин, 2012б]. Предложенные в ней «формулы» макрополитиче-

---

<sup>1</sup> К сходному выводу пришла О. Карпенко, проанализировав употребление понятий «нация», «народ», «национальность» в статье В. Суркова «Национализация будущего» (2006): она показывает, что использование этих терминов как синонимов, без уточнения содержания, размывает концепцию согражданства и открывает богатые возможности для различного рода манипуляций [Карпенко, 2007].

ской идентичности – «полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром» и «многонациональное общество, но единый народ» [Путин, 2012б] – явно отражали стремление уйти от ответа на «базовый вопрос». Ни разу не упомянув о «российской нации», Путин настойчиво подчеркивал, что «Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государство», и трактовал «национальный вопрос» исключительно как вопрос «межнациональных отношений» («наши национальные и миграционные проблемы», «гражданский мир и межнациональное согласие» и т.п.). В тот же текст была вставлена фраза о «государствообразующем» русском народе, которая еще больше запутывала дело: получалось, что в многонациональной России только одна этническая группа рассматривается в качестве «основы» государства. Вместе с тем в статье Путина можно обнаружить и упоминания о макрополитическом сообществе, стоящем за Российским государством, как о «нашей нации» (в частности, День народного единства был назван «днем рождения нашей гражданской нации»).

Борьба за «номинацию» была продолжена и после выборов: сразу после инаугурации В.В. Путин подписал серию указов, призванных способствовать реализации идей, заявленных в семи предвыборных статьях, в их числе было поручение подготовить новую Стратегию государственной национальной политики. 19 декабря 2012 г. этот документ был утвержден указом президента; одновременно был признан утратившим силу ельцинский указ, утверждавший Концепцию 1996 г. Обсуждение новой Стратегии сопровождалось острыми дискуссиями. В итоговом варианте Российская Федерация определяется как «одно из крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств мира»; таким образом, термины «многонациональные» / «межнациональные» систематически используются параллельно с прилагательными «полиэтнические» / «межэтнические». На первое место в списке целей национальной политики поставлено «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)» [Указ, 2012]. Официальное признание «российской нации» в качестве эквивалента конституционной формулы «многонациональный народ РФ» можно считать важным шагом в долгом споре о номинации.

Не менее сложно обстояло дело с определением границ макрополитического сообщества и критериев принадлежности к нему. Еще в начале 1990-х годов на уровне государственной политики

был сделан выбор в пользу «гражданского» принципа определения российской нации и равенства ее членов независимо от их этнической, религиозной и расовой принадлежности (этот принцип закреплён в Конституции 1993 г.). Примерно в то же время был введен в оборот термин «соотечественники», указывающий на потенциальных членов культурно-политической общности, выходящей за рамки государственных границ России. Обычно данный термин относят к тем, кто проживает за пределами РФ, но, сознавая свои культурные и языковые связи с Россией, стремится так или иначе идентифицировать себя с «олицетворяемым» ею сообществом. Не имея возможности проследить в рамках данной статьи динамику политического курса по отношению к соотечественникам<sup>1</sup>, отмечу лишь, что на протяжении всего постсоветского периода он колебался между разными подходами к включению указанной категории в сообщество, связанное с Российским государством. В 1990-х годах политика государства в значительной мере определялась стремлением создать каналы для непосредственного включения «соотечественников» в российскую гражданскую нацию: в этом направлении работал Закон о гражданстве 1991 г. (с более поздними изменениями и поправками), предусматривавший облегченную процедуру получения российского гражданства для граждан бывшего СССР, а также дипломатические попытки распространить институт двойного гражданства (впрочем, не вполне успешные). Новый закон о гражданстве, принятый в 2002 г., изменил практику приема в гражданство в страну уже состоящих. Несмотря на внесенные в 2003–2006 гг. смягчающие поправки, он отразил тенденцию к ограничению каналов прямого включения «соотечественников» в российскую гражданскую нацию. Другой подход, практиковавшийся и в 1990-х, и в 2000-х годах, связан с конструированием более широкой общности, опирающейся на историческую и культурную идентификацию с Россией, и курсом на «поддержку соотечественников за рубежом». Однако поскольку соблазн использовать ресурс «соотечественников» сопряжен с риском осложнения отношений с выстраивающими собственные национальные идентичности новыми независимыми государствами, на практике при реализации данно-

---

<sup>1</sup> Об особенностях государственной политики по отношению к соотечественникам за рубежом см.: [Зевелев, 2008]. Анализ трансформации официального дискурса о соотечественниках см.: [Nozhenko, 2006].

го курса обнаруживается «существенный разрыв между жесткой риторикой и реальной политикой» [Зевелев, 2008, с. 241].

Вместе с тем то обстоятельство, что в качестве источника «межнациональных» проблем в российском обществе воспринимается не только внешняя, но и внутренняя миграция, с одной стороны, показывает, что на практике конституционный принцип не всегда оказывается надежным регулятором границ между Нами и Другими, а с другой – побуждает власть видеть в уточнении этих границ чуть ли не главную свою задачу по укреплению «гражданского мира»<sup>1</sup>. Очевидно, что решение этой задачи связано не только с регулированием статуса «трудящихся-мигрантов» – оно зависит от способности государства на практике обеспечивать равенство прав человека и гражданина «независимо от этнической, религиозной и расовой принадлежности», т.е. упирается в целый комплекс политических и бюрократических проблем, справиться с которыми России пока не удастся. Однако здесь есть и составляющая символической политики. Постсоветская Россия имеет свой собственный груз «трудного прошлого», которое проводит границы между Нами и Другими *внутри* макрополитического сообщества. Как точно заметил Р. Абдулатипов, «перспективно важно, какие выводы мы делаем из прошлого и настоящего... Трагедия русских в бывших союзных республиках не стала трагедией для всех, хотя это была и есть общая трагедия. Трагедия Чечни не стала трагедией, понятной и близкой для всех, даже когда она влезала к нам в окна и двери. В результате, в одном месте во всем виноваты русские, а в другом – чеченцы, кавказцы, мусульмане и другие. Следовательно, это все говорит об одном – мы не стали единой нацией, нацией-государством» [Абдулатипов, 2003]. В официальной риторике первых лиц Российского государства, формально следующей конституционному принципу гражданства, преобладает тактика игнорирования проблемы внутренних границ, разделяющих макрополитическое сообщество. В тех же случаях, когда эту проблему нельзя не замечать, ее стремятся представить как последствие действий «плохих» политических антрепренеров.

---

<sup>1</sup> Неслучайно «проблеме миграции» посвящена добрая четверть упоминавшейся выше статьи Путина, а после выборов вновь избранный президент поспешил закрепить свои предвыборные обещания поручением правительству до ноября 2012 г. обеспечить введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства РФ для трудящихся-мигрантов [В первый день работы..., 2012].

Данная тактика имеет свои преимущества, позволяя власти, оставаясь над конфликтом, сохранять возможность его регулирования. Однако она не решает стратегическую задачу: для того, чтобы формальные критерии членства в сообществе работали, идентификация с ним должна иметь очевидное для всех смысловое содержание. Символическая политика государства, нацеленная на консолидацию макрополитического сообщества, должна учитывать необходимость формирования такого содержания, в том числе – и за счет «отработки» проблем, которые служат основанием для конструирования внутренних границ. Впрочем, это уже предмет следующего раздела.

Подводя итоги, следует отметить, что символическая политика Российского государства, направленная на конструирование макрополитической идентичности, с неизбежностью отражала существующие конфликты между разными интерпретациями ее основания (нация или наднациональная «общность») и границ / критериев включения (гражданство, этническая и конфессиональная принадлежность, язык и культура). Оставаясь в пределах конституционных рамок, предписывавших принцип включения на основе равного гражданства, государственная политика идентичности постсоветского периода демонстрировала значительную меру неопределенности, пытаясь так или иначе удовлетворить ожиданиям сторонников разных подходов. Впрочем, следует признать, что более «определенная» символическая политика вероятнее всего спровоцировала бы конфликты, последствия которых трудно предсказать. И в этом смысле, как верно заметил И.А. Зевелев, «невнятность» российской политики оказалась «спасительной» [Зевелев, 2009, с. 92]. Однако сохранение неопределенности в отношении «оснований» и «границ» означает, что конструирование макрополитической идентичности, стоящей за Российским государством, остается «замороженным» проектом, к работе над которым рано или поздно придется вернуться.

### **Конструирование образа Нас: Конкуренция моделей коллективной самоидентификации в трансформирующемся публичном пространстве**

Пожалуй, еще более важным аспектом символической политики, направленной на формирование макрополитической идентичности, является борьба за утверждение определенных представлений, образов, нарративов, символов, составляющих «коллективный

автопортрет» сообщества и указывающих на ценностные основания его солидарности. Образ Нас складывается в публичном дискурсе через соотнесение со Значимыми Другими, а также через конструирование Нашего прошлого и будущего. Дискурс об идентичности предполагает, с одной стороны, осмысление различий между Нами и Другими в качестве *границ*, разделяющих группы, а с другой – утверждение внутригруппового сходства как основы *общности*. Причем и то, и другое связано с выбором из множества наличных альтернатив, ибо, как верно подметил С.И. Каспэ, «политическая нация может возникнуть только в результате *выкраивания* ее центральной ценностной системы из всей совокупности ценностей, исторически и ситуативно доступных для мобилизации в целях nation-building» [Каспэ, 2009, с. 22]. Этот выбор происходит через конкуренцию разных способов коллективной самоидентификации, в которой модели, продвигаемые государством, в силу причин, описанных выше, обладают существенным, хотя и не безусловным преимуществом. По мнению многих исследователей, именно неспособность российского политического класса совершить этот выбор является центральной проблемой на пути к консолидации макрополитического сообщества [Каспэ, Каспэ, 2006, с. 17; Гудков, Дубин, 2007, с. 21; Дробижева, 2008, с. 74; Каспэ, 2009 и др.].

Задача конструирования ценностно-смыслового содержания макрополитической идентичности имеет комплексный характер. Некоторые ее составляющие будут затронуты в последующих главах. Здесь же я остановлюсь лишь на одном, но весьма показательном аспекте: проблеме адаптации сложившихся образов Нашего прошлого и новых, демократических ценностей.

С момента появления постсоветского Российского государства демократия была провозглашена официальной целью политического развития (и формально остается таковой и по сей день). В выступлениях президента Б.Н. Ельцина приверженность данной цели неизменно представлялась в качестве *важного элемента идентичности новой России (по контрасту с СССР)* и результата свободного выбора ее граждан. Анализ текстов выступлений Ельцина позволяет проследить динамику репрезентации «демократии» в качестве основания новой коллективной идентичности и выявить некоторые проблемы, возникавшие в связи с решением этой задачи.

Прежде всего, «демократия» представлялась Ельциным как *новый* элемент макрополитической идентичности, которым следу-

ет гордиться, поскольку выбор в пользу «демократии» означает отказ от тоталитаризма и его негативных проявлений – несвободы, идеологического диктата, неэффективной экономики, нарушения прав человека и т.п. Вместе с тем поворот к «демократии» интерпретировался как резкая перемена (*«Россия переходит из одной исторической эпохи в другую со скоростью, соизмеримой с жизнью одного поколения. Высокие темпы преобразований нередко приводят к издержкам»*) и др. [Ельцин, 1995]). Прежде «демократия» не рассматривалась как элемент коллективной идентичности. В официальной советской идеологии она фигурировала с прилагательными: «буржуазная» (формальная, ложная) или «советская» (истинная); в годы перестройки «демократия» без прилагательных интерпретировалась как символ достижений Значимого Другого – «Запада». «Присвоение» этой ценности предполагало переоценку национального прошлого.

В дискурсе «демократических сил» эта переоценка была осуществлена в логике дуализма: трактовка опыта СССР как безусловно негативного побуждала проводить резкую грань между советским прошлым и новой, демократической Россией, возвращающейся на «путь цивилизации». История досоветского периода также не могла в полной мере служить источником позитивных примеров, поскольку именно она обусловила податливость российского общества соблазну коммунистической утопии. Таким образом, новизна «демократии» в качестве элемента российской идентичности имела двойные последствия: с одной стороны, она символизировала желание перемен, а с другой – побуждала рассматривать их как разрыв с национальными традициями. Неудивительно, что модель коллективной идентичности, конструировавшаяся «демократами», категорически отвергалась «народно-патриотической оппозицией» и по этой причине не могла служить основой общенационального консенсуса.

Анализ ельцинских выступлений (подробнее см. в след. главе) показывает, что первый президент РФ несмотря на свою убежденность в том, что начатые под его руководством реформы возвращают Россию на «магистральный путь мирового развития», восстанавливая разорванную связь времен [Ельцин, 1999], достаточно часто высказывался в духе подхода «демократов», критикуя не только советское, но и досоветское прошлое. С одной стороны, это было связано с потребностью легитимации его собственного политического курса (отсюда – стремление показать преимущества настоящего перед прошлым, особенно советским, поскольку

пороки предшествующего режима служили оправданием болезненности долго откладывавшихся реформ). С другой стороны, правы те, кто утверждает, что «создание особой российской истории, автономной от общей истории России и СССР», не осознавалось властной элитой «как политическая проблема и государственная необходимость» [Зубкова, Куприянов, 1999, с. 8]. Понимание настоятельности данной проблемы появилось гораздо позже, во второй половине 2000-х годов, и во многом под давлением внешних факторов [см.: Миллер, 2012; Торбаков, 2012; Ачкасов, 2012]. К сожалению, ее начали решать в логике государственной символической политики «нулевых» – через создание инструментов подавления «неправильных» интерпретаций отечественной истории. Многочисленные упоминания Ельциным о необходимости восстановления исторической и культурной преемственности не находили достаточного подкрепления в определении конкретных исторических нарративов и символов, на которые следовало бы опереться новой России. Показательно, что в его шести ежегодных посланиях Федеральному Собранию имеется всего два упоминания о демократических началах как части Нашего исторического наследия (земские традиции как доказательства наличия «глубоких исторических корней» местного самоуправления «в российской политической культуре» [Ельцин, 1994] и «традиции народоправства», как идеалы, которые «наши самые выдающиеся соотечественники отстаивали веками» [Ельцин, 1996]).

Еще более серьезная трудность заключалась в том, что эффективность новой модели идентичности, опирающейся на идею «демократии», зависела от успеха проводившихся под соответствующими лозунгами политических и экономических преобразований. По мере разочарования в реформах идея «демократии» утрачивала привлекательность в глазах россиян. Характерно, что в качестве одной из главных причин пробуксовки реформ в выступлениях Ельцина настойчиво указывались «издержки» той же «демократии»: «дефицит согласия» объявлялся одной из причин недостаточной эффективности и последовательности реформ [Ельцин, 1999]; наличные идейные разногласия интерпретировались как контрпродуктивные, выходящие за рамки «системы демократических ценностей» [Ельцин, 1996]. Свобода слова провозглашалась священной – и в то же время порицались журналисты, которые «злоупотребляют» ею, необоснованно присваивая себе роль «политической оппозиции» [Ельцин, 1995]. Анализ ельцинских текстов обнаруживает устойчивое противоречие между при-

верженностью политическому плюрализму как несомненному завоеванию и его восприятием в качестве препятствия к формированию солидарности, без которой невозможны эффективные политические действия.

Следствием этого противоречия стала попытка Ельцина в 1996 г., в начале второго президентского срока, инициировать разработку новой «национальной идеи», призванной консолидировать общество. Эта попытка знаменовала очевидный поворот в символической политике – признание недостаточности идеологического нейтралитета государства, декларированного в ст. 13 Конституции, и потребности в более активной позиции последнего на поле идеологической борьбы. Однако в 1990-х годах попытка власти стимулировать соперничающие политические силы к поиску «национальной идеи» не привела к искомому консенсусу. Весьма характерны выводы, к которым пришел в результате анализа дискуссии середины 1990-х годов американский политолог М. Урбан: несмотря на то что дискурсы коммунистов / патриотов, демократов и государственников имеют структурное сходство, общая цель – сформулировать эксплицитно идею сообщества и превратить ее в государственную идеологию – не снижает остроты конфликта вокруг ее содержания [Urban, 1998, p. 985]. Идеологические размежевания 1990-х оказались серьезным препятствием для обретения согласия относительно ценностно-смыслового содержания идентичности складывающегося макрополитического сообщества.

Политические реформы президента В.В. Путина сделали возможным переход к иным стратегиям мобилизации солидарности. Не будучи в отличие от своего предшественника связан принадлежностью к политико-идеологическим лагерям 1990-х годов, Путин мог себе позволить использовать идеи и символы из репертуара «народно-патриотической оппозиции», казавшиеся абсолютно неприемлемыми «демократам». Символическая политика Путина с самого начала отличалась принципиальной эклектичностью, стремлением сочетать идеи и ценности из репертуаров разных политических сил. При этом, как уже упоминалось, «единство» достигается механическим путем, поскольку объектами официальной номинации оказываются взаимоисключающие – в логиках прежних «символических битв» – идеи и символы.

Наиболее яркий пример такой эклектики – принятый в 2000 г. Закон о государственной символике, введивший одновременно «демократический» триколор, мелодию «старого» советского гимна

и «советский» красный флаг – для Российской армии. Обосновывая это сочетание, Путин представлял его как способ преодолеть «полярные и противоположные точки зрения», господствующие и в обществе, и в Государственной думе [Путин, 2000б]. Не вставая на ту или иную сторону идеологических «баррикад», власть стремилась продемонстрировать готовность поддержать сразу всех. При этом предлагалось не связывать «с этими символами мрачные стороны в истории нашей страны», а сосредоточить внимание на позитивных явлениях («Неужели за советский период существования нашей страны нам нечего вспомнить, кроме сталинских лагерей и репрессий?») [там же]. Однако «реабилитация» советского прошлого происходила не за счет его «проработки» и дифференциации в соответствии с четко определяемыми принципами («от какого наследия мы отказываемся»), что с течением времени могло бы привести к разделению «русского» / «российского» и «советского», а за счет избирательного включения в официальный дискурс позитивно окрашенных символов ушедших времен<sup>1</sup>. При этом, оставаясь «над схваткой», власть предпочитала не высказывать отношения к «неудобным» страницам прошлого, вызывающим острые споры в обществе. Согласно исследованию Левада-Центра, аналогичный процесс вытеснения негативных ассоциаций и «декоммунизации» прошлого имел место и на уровне массового сознания» [Дубин, 2011]. Вместе с тем было бы неверно полагать, что за отбором исторического наследия, полагаемого в основу официальной символической политики 2000-х годов, не стояла вполне определенная идея. Несомненно, это была идея «великой державы», которая несмотря на стоявшие перед ней трудности сумела осуществить (пусть и не вполне совершенную) модернизацию и превратиться в ведущего мирового игрока.

---

<sup>1</sup> При этом стремились «избавиться» от того, что служило предметом разногласий. Примечательно, что в 2004 г. утратил статус официального государственного праздника (хотя и остался памятным днем календаря) день 7 ноября (прежде – день празднования годовщины Октябрьской революции, указом Ельцина трансформированный в 1996 г. в День согласия и примирения). «Вместо него» был введен новый государственный праздник, День народного единства – 4 ноября. Однако пока авторам данной идеи не удалось наполнить его понятным для общества смыслом [см.: Ефремова, 2012]. Собственно, и официальная концепция праздника пока не вполне устоялась [о ее эволюции см.: Ефремова, 2012]. Правда, новый праздник оказался успешно «приватизирован» националистами, которые используют нерабочий день для проведения ставшего традиционным Русского марша.

Хотя такая символическая политика, будучи подкреплена изменениями в системе массовой коммуникации, о которых шла речь в пятой главе, и способствовала «стабилизации» за счет снижения накала идеологических страстей, она предлагала весьма несовершенно решение рассматриваемой нами проблемы адаптации сложившихся образов Нашего прошлого и (формально по-прежнему декларируемых) демократических ценностей. Как справедливо отмечали Л. Гудков и Б. Дубин, положенный в ее основу «эклектический традиционализм» имеет вполне определенные ограничения, поскольку он «предполагает дискредитацию самого периода изменений, а значит, источников инноваций и реформ, квалификацию его как времени распада, нестабильности и кризиса» [Гудков, Дубин, 2007, с. 22]. Не случайно критическое отношение к наследию «девяностых» в официальной риторике постепенно нарастало, усугубляя проблему «прерывности» национальной истории (см. след. главу). Отмеченные Гудковым и Дубиным ограничения в полной мере проявились, когда президент Медведев выдвинул лозунг «модернизации»: как мы видели, неготовность правящей элиты к четкому разведению связываемых с ним *разных* подходов обернулась его «инфляцией».

Смысловые разрывы между декларируемыми целями и требующим легитимации опытом прошлого и настоящего пытались заполнить с помощью новых идеологических конструкций («сильное государство», «единство», «суверенная демократия», «русская политическая культура», «консервативная модернизация» и др.), которые строились по тому же принципу эклектического заимствования «популярных» элементов разных дискурсов. Наиболее яркий (и наиболее активно пропагандировавшийся) «продукт» из этой серии – доктрина «суверенной демократии» – будет более обстоятельно рассмотрен в главе 13.

### **Заключение:**

#### **Нерешенные проблемы символической политики**

Подводя итоги, можно констатировать, что ни в 1990-х, ни в 2000-х годах российской правящей элите не удалось сформулировать внятные ответы ни на один из трех базовых вопросов, с которыми связано определение новой макрополитической идентичности. После двух десятилетий споров ясности относительно того,

как Нас называть<sup>1</sup>, кого к Нам относить, какими Нас представлять, так и не появилось. Такое состояние дискуссионного поля – безусловно, следствие вполне «объективных» проблем, связанных и с распадом Советского Союза, и с социальными последствиями внутренней политики, и с изменениями, происходящими в международной среде. За разными моделями коллективной идентичности, безуспешно соперничающими за доминирование в российском публичном пространстве, стоят системы представлений, разделяемые разными группами и отражающие разный жизненный опыт. Нахождение системы общих знаменателей для этих представлений – это долгий путь, который не сводится к кампании по поиску «национальной идеи». Вместе с тем едва ли нужно доказывать, что двигаться по этому пути стратегически необходимо.

---

<sup>1</sup> Формулировка этого вопроса удачно найдена Г.И. Зверевой [Зверева, 2010].

## 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОШЛОГО В ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКЕ<sup>1</sup>

«Общепринятые» представления о прошлом играют важную роль в жизни современных политических сообществ, поскольку являются одной из главных несущих конструкций коллективной идентичности. То, что иногда называют «публичной историей» в отличие от «формальной» или «профессиональной», – репрезентации и интерпретации прошлого, адресованные широкой аудитории неспециалистов, – является неотъемлемым элементом символической политики, направленной на формирование определенных представлений о нас и мобилизацию групповой солидарности. Апелляция к прошлому – неременный элемент легитимации и делегитимации социального порядка, политического целеполагания, конструирования групп, мобилизации поддержки и др. социальных практик, предполагающих «борьбу за смыслы». Как уже отмечалось выше, государство участвует в этой борьбе наряду с другими акторами. И хотя оно располагает исключительными ресурсами, доминирование поддерживаемых им интерпретаций социальной реальности отнюдь не предрешено. Тем не менее публичные высказывания лиц, выступающих от имени государства и / или оказывающих влияние на принятие решений, имеют особое символическое значение и как правило становятся объектами соотнесения для других участников коммуникации.

В настоящей главе я попытаюсь проследить некоторые тенденции, связанные с использованием прошлого в официальной

---

<sup>1</sup> Исследование проводится при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 11-03-00202а. Первый вариант статьи был опубликован в журнале *Pro et Contra* (т. 15, № 3–4 (52), май–август 2011) [Малинова, 2011а] © 2011, Carnegie Endowment for International Peace. Публикуется с разрешения Московского центра Карнеги.

символической политике постсоветской России. В основу данного исследования положен анализ 18 Президентских Посланий Федеральному Собранию РФ (1994–2011) и некоторых других логически дополняющих их выступлений. Выбор в качестве основного объекта изучения ежегодных президентских посланий определяется их жанровыми особенностями: это тексты программного характера, призванные дать оценку результатов проводимого политического курса и определить задачи на перспективу, а также оправдать действия властей, увязав их с целями и ценностями, которые предположительно значимы для общества. То, что послания готовятся ежегодно и затрагивают относительно устойчивый набор вопросов<sup>1</sup>, делает их удобными объектами для анализа [см.: Гаврилова, 2003; Гаврилова, 2004, Гаврилова, 2005; Гаврилова, 2012; Мартыянов, 2007; Старцев, 2007; Панов, 2008; Малинова, 2008г и др.]. Содержание посланий позволяет делать некоторые выводы относительно того, как изменяется подход правящей части федеральной элиты к публичной репрезентации и к обоснованию текущего политического курса. Очевидно, что тексты посланий не исчерпывают «историческую» составляющую официальной символической политики. Однако они могут служить хорошей отправной точкой для дальнейшего исследования, поскольку отражают наиболее важные тенденции в использовании (или неиспользовании) прошлого для легитимации действующей власти.

С помощью контент-анализа и дискурс-анализа президентских посланий я попыталась выяснить, каким образом символический ресурс коллективного прошлого привлекался для обоснования политического курса. Объектами изучения стали фрагменты президентских посланий, содержащие прямые или косвенные упоминания о событиях, явлениях, процессах или действующих лицах отечественной истории, как давней, так и современной<sup>2</sup>. В качестве классифицирующих категорий для контент-анализа

---

<sup>1</sup> За истекшие 18 лет жанр президентского послания заметно эволюционировал, причем изменения были связаны как с развитием практики подготовки данного документа, так и с личностными особенностями Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева. В зависимости от контекста и стоящих на повестке дня задач менялись стилистика послания, его главный адресат (законодательная власть, государственный аппарат в целом, общество), водоразделы между «мы» и «они» [см.: Попова, 2010]. Тем не менее содержание посланий отражает примерно одинаковый круг вопросов внутренней и внешней политики.

<sup>2</sup> Отражение в этих текстах событий и лиц всеобщей истории – это самостоятельная тема. См., напр.: [Согрин, 2008].

были взяты исторические периоды, упоминавшиеся в посланиях (история России до 1917 г., история советского периода, постсоветская история, история вообще, т.е. все, что предшествовало настоящему моменту). При этом оценивалась функция высказывания, содержавшего ссылку на прошлое: положительная оценка прошлого, в том числе – по контрасту с критической оценкой настоящего (прошлое как пример, которому нужно следовать / как традиция, которую нужно возродить); критическая оценка прошлого по контрасту с современным положением дел (прошлое как фон, оттеняющий сегодняшние достижения / как источник проблем, которые приходится преодолевать / как урок, из которого надо сделать выводы); нейтральная констатация преемственности прошлого и настоящего. Единицами подсчета выступали упоминания прошлого, т.е. связные фрагменты текста, содержавшие ссылку на конкретные исторические события, явления, процессы, действующих лиц или на коллективное прошлое вообще (количество слов в высказывании и его доля в тексте не учитывались, поскольку в данном случае был важен сам факт номинации). В рамках дискурс-анализа основное внимание было уделено репрезентации в текстах посланий представлений о преемственности и прерывности отечественной истории.

### **Репрезентация основных периодов отечественной истории в Президентских Посланиях Федеральному Собранию РФ**

Отсылки к истории имеются во всех текстах президентских посланий, однако их количество и функции заметно варьируются. Больше всего упоминаний о прошлом содержалось в посланиях Б.Н. Ельцина (в шести его обращениях к Федеральному Собранию удалось обнаружить 46 ссылок на события, явления и процессы российской истории, в восьми посланиях В.В. Путина – 22, в четырех посланиях Д.А. Медведева – 21). Надо отметить, что программные речи первого президента РФ были в 2–4 раза длиннее аналогичных выступлений его преемников<sup>1</sup>. Но думается, что дело

---

<sup>1</sup> Тексты президентских посланий различаются по объему. Наиболее пространными были послания Ельцина (от примерно 12,6 тыс. слов (в 1996 г.) до почти 21 тыс. (в 1999 г.)), наиболее сжатыми – послания Путина (в среднем около 5 тыс. слов, за исключением более развернутого итогового послания 2007 г. (около 8 тыс. слов)). Объем посланий Медведева колебался между 6,4 и 9,8 тыс. слов. Однако наиболее развернутый анализ настоящего на фоне прошлого дан в самом коротком из ельцинских посланий, зачитанном накануне выборов в 1996 г.

не только в этом: Ельцин действительно уделял много внимания репрезентации себя в качестве политического лидера, меняющего ход истории (своей волей возвращающего ее в «естественное» русло). Весьма характерны слова, сказанные им в заявлении об отставке: «Главное дело своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое – Россия всегда теперь будет двигаться только вперед. И я не должен мешать этому естественному ходу истории» [Ельцин, 1999б]. По-видимому, первому президенту РФ было свойственно особое, лично-заинтересованное отношение к истории; подходы его преемников не столь эмоциональны. Однако тексты посланий различаются не только по количеству упоминаний о прошлом – наблюдаются заметные различия в объектах ссылок (см. табл. 1) и их оценке.

В посланиях Б.Н. Ельцина так или иначе представлены все периоды отечественной истории, однако наибольшее количество ссылок – на советский и постсоветский периоды (соответственно, 15 и 9 из 46); в его текстах – всего 3 упоминания о событиях и явлениях истории России до 1917 г. и 1 ссылка на русского писателя (в послании 1999 г. в контексте рассуждений о национальной идее и людях как основе преемственности истории цитируется мысль А.И. Солженицына о «сбережении народа»). Кроме того, мне удалось насчитать 18 высказываний, в которых история рассматривается как общий контекст происходящего, без конкретизации периода.

В посланиях Путина 2000–2007 гг. почти нет прямых ссылок на историю России до 1917 г. (единственное исключение – упоминание о «дореволюционном историческом опыте» местного самоуправления в качестве образца для федеральных законодателей в послании 2002 г.; любопытно, что Ельцин (в 1994 г.) также ссылался на опыт земств как доказательство наличия «глубоких исторических корней» местного самоуправления «в российской политической культуре»). Зато Путин больше цитировал деятелей отечественной культуры (всего 6 ссылок: 2 – на И. Ильина (2005; 2006); 2 – на Д.С. Лихачёва (2006; 2007); по 1 – на Л. Петражицкого (2005) и А.И. Солженицына (в 2006 г. Путин тоже говорил о «сбережении народа»)). Его послания содержат 4 упоминания о советском периоде, 4 фрагмента, посвященных достижениям и ошибкам 1990-х годов, и 7 общих ссылок на прошлое.

Д.А. Медведев продолжил традицию обращения к именам деятелей отечественной культуры (послание 2008 г. содержит ссылки на П.А. Столыпина, Б.Н. Чичерина и Василия Леонтьева;

в тексте 2010 г. упоминаются имена Н. Некрасова, А. Чехова, Ю. Гагарина и А. Ахматовой как третьих детей в семье – в контексте обсуждения демографической проблемы; в 2011 г. – Д.С. Лихачёва). За исключением этих имен, в его обращениях нет упоминаний об истории России до 1917 г.; есть 4 ссылки на историю советского периода (3 из них – на Великую Отечественную войну и 1 – на опыт советской модернизации); 2 общих упоминания о «тысячелетней истории» нашего народа и 7 ссылок на новейшую, постсоветскую историю.

Таблица 1

**Количество упоминаний событий, процессов, явлений и действующих лиц отечественной истории в Посланиях президентов РФ Федеральному Собранию РФ, 1994–2011**

	Б.Н. Ельцин, 6 посланий	В.В. Путин, 8 посланий	Д.А. Медведев, 4 послания	Всего упоми- наний	% от общего числа упоминаний
Дореволюци- онный период	3	1	0	4	4%
Советский период	15	4	4	23	26%
Постсоветский период	9	4	7	20	23%
Отечественная история вообще	18	7	2	27	30%
Фигуры исторических деятелей	1	6	8	15	17%
Всего	46	22	21	89	100%

В целом структура «исторической» составляющей в символическом репертуаре президентских посланий выглядит следующим образом: в общей массе упоминаний о прошлом лишь 4% составляют события и явления дореволюционной истории, 17% – ссылки на имена деятелей отечественной культуры, 23% – оценки постсоветского периода, 26% – воспоминания о советской эпохе и 30% – рассуждения общего характера (см. табл. 1). Таким образом, в репрезентации коллективного прошлого в контексте ценностного обоснования политического курса наблюдается определенный переко в сторону новейшей истории. О причинах этого мы порас-

суждаем позже, а пока обратимся к содержательному анализу выделенных фрагментов и проследим эволюцию оценок прошлого в президентских посланиях.

Ссылки на прошлое при обсуждении политической стратегии могут выполнять разные функции. Наиболее важные из них – демонстрация преемственности между настоящим и прошлым (*легитимация традицией*) и указание на отличие настоящего от прошлого (в одних случаях – со знаком «плюс», с целью *подчеркнуть сегодняшние достижения*; в других – со знаком «минус», как правило – в контексте *обоснования необходимости изменений и / или объяснения причин трудностей и неудач*).

### **Прерывность и преемственность российской истории в посланиях Б.Н. Ельцина**

Тема прерывности и преемственности была главным рефреном ссылок на прошлое в посланиях Б.Н. Ельцина. С одной стороны, начатые под его руководством реформы представлялись как восстановление связи времен, разорванной в годы советской власти (*«Разложилась доминировавшая в течение десятилетий тоталитарная государственная идеология, выразителем которой была КПСС. На смену приходит осознание естественной исторической и культурной преемственности...»* [Ельцин, 1994]; ср. в последнем, итоговом послании: *«Завершается десятилетие, озаглавленное возвращением России на магистральный путь мирового развития»* [Ельцин, 1999]). Восстановление исторической истины рассматривалось как одно из условий успеха совершающихся преобразований (*«Мы все еще плохо знаем свою историю, оттого так много лежковерных людей и низка политическая культура, так быстро распространяются мифы»* [Ельцин, 1996]). Ельцин делал особый упор на *«воссоединение двух ветвей нашей культуры – существовавшей в советских условиях и зарубежной»* [Ельцин, 1996] и изображал новый политический режим гарантом свободы исторического познания (*«Никогда больше в России не должно быть порядков, позволяющих скрывать правду, фальсифицировать историю, внедрять беспамятство»*, [Ельцин, 1996]).

С другой стороны, в посланиях Ельцина обнаруживается немало высказываний, в которых настоящее оценивается более позитивно, нежели прошлое. По моим подсчетам, таких высказываний – 16 из 46; еще в 6 высказываниях (относящихся к хрущёвской «оттепели» и перестройке) отмечаются как положительные, так и

отрицательные стороны прошлого. В целом в ельцинских посланиях пафос превосходства настоящего по отношению к прошлому выражен гораздо заметнее, нежели в обращениях его преемников<sup>1</sup>. Первый президент РФ подчеркивал, что *«за всю тысячелетнюю историю России культура и ее деятели не имели столько свободы творчества и политической независимости, как теперь»* [Ельцин, 1994], что сегодня как никогда у россиян *«расширились возможности приобщения к подлинным ценностям национальной и мировой культуры»* [Ельцин, 1995], что *«время борьбы регионов с “центром” за свои права уходит в историю»* [Ельцин, 1994], что проводимые реформы – *«первые в истории России преобразования такого масштаба, осуществляемые без подавления и уничтожения политических противников»* [Ельцин, 1996] и т.п.

При этом критические оценки, разумеется, относились прежде всего к наследию советского прошлого, которому вменялись в вину *«сверхжесткая мобилизационная модель развития, концентрировавшая все силы в руках государства», «косная экономическая система» и уничтожение «гражданского общества, зачатков демократии и частной собственности»* [Ельцин, 1996]. С учетом этого, распад СССР представлялся как историческая закономерность (*«Советский Союз рухнул под тяжестью всеобъемлющего кризиса, раздранный на куски экономическими, политическими и социальными противоречиями»* [Ельцин, 1996]). Проблемы советского общества представлялись Ельциным в качестве, с одной стороны, аргумента в пользу необходимости реформ, а с другой стороны – фактора, предопределившего их радикальный, болезненный характер. Настойчивое обращение первого президента РФ к недавнему прошлому во многом было обусловлено стремлением оправдать собственную политику, списав часть ответственности на счет *«проблем, доставшихся России по наследству»* [Ельцин, 1996]. В частности, разделить ее с союзным руководством, *«многолетняя нерешительность» которого привела его «к гибели, а государство – к распаду»* [Ельцин, 1996] (ср. там же: не столь радикальные реформы *«надо было начинать намного раньше»*). Отсюда – преобладание критики над позитивными оценками в репрезентации хрущёвских реформ и особенно перестройки.

---

<sup>1</sup> Для сравнения: в посланиях Путина высказываний, оценивающих прошлое критически, – 4, отмечающих одновременно его плюсы и минусы – 3 (из 22); в посланиях Медведева соответственно – 4 и 1 (из 21).

Однако корни многих современных проблем усматривались и в досоветской истории. В 1996 г. Ельцин констатировал, что *«царская Россия, обремененная грузом собственных исторических проблем, не смогла выйти» на дорогу демократии, что предопределило «радикализм российского революционного процесса, его стремительный срыв от Февраля к Октябрю»* и в конечном счете обусловило разрыв исторической традиции (*«Этим разрушительным радикализмом – “до основанья, а затем” – объясняется тот факт, что в ходе ломки прежних устоев оказалось утрачено многое из достижений дореволюционной России в сфере культуры, экономики, права, общественно-политического развития»*) [Ельцин, 1996]. В 1995 г., в контексте чеченской войны, он ссылаясь на имперское наследие как причину региональных диспропорций, ставших «родимым пятном нашей истории и экономики» (*«Российская история распорядилась таким образом, что суверенитет государства простирается на огромную территорию и охватывает многочисленные народы»*) [Ельцин, 1995]). Тогда же Ельцин сетовал на традицию правового нигилизма (*«Россия хорошо знает, что такое право силы. Осознать силу права только предстоит»*) и неуважения к правам личности, которые *«никогда в отечественной истории не считались практическим государственным приоритетом»* [там же]. В 1999 г., критикуя практику формирования внебюджетных фондов, он вспоминал об *«известной из российской истории “системе кормления”»* [Ельцин, 1999] и т.д. В 1998 г. говорил о недостатках свойственного России «мобилизационного» типа развития (*«История доказала: рывки, организуемые “сверху”, но не поддержанные обществом, могут приносить успех, но не бывают долговременными, ведут к новому спаду и отставанию»*) [Ельцин, 1998]). Иными словами, критические оценки распространялись не только на советское, но и на дореволюционное прошлое; вновь формулируемые политические задачи мыслились скорее как изменение традиции, нежели как ее продолжение. Россия конца XX в. представляется в посланиях Ельцина не в качестве общего знаменателя «пяти разных России», выделенных когда-то Н.А. Бердяевым<sup>1</sup>, но как шестая, новая Россия, отличающаяся от прежних. Правящая элита 1990-х вольно или невольно воспроизво-

---

<sup>1</sup> Бердяев, как известно, утверждал, что русский народ развивался «катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилизации»; он насчитал «пять разных России: Россию киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую, Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую советскую Россию» [Бердяев, 1990, с. 7].

дила алгоритм прерывания традиции через отрицание целей и ценностей предыдущего исторического этапа.

Что выделялось в посланиях Ельцина в качестве позитивных моментов, способных служить залогом успеха провозглашаемого политического курса? Во-первых, многократно доказанная способность России справляться с выпадающими на ее долю трудностями (*«Несмотря на тяжелые испытания, которые принес России XX век, наше Отечество выстояло. Россия была и остается великой страной»*) [Ельцин, 1996]; *«России удавалось собраться и в несравнимо более трудные времена»* [Ельцин, 1998]). Во-вторых, констатация неисчерпаемого потенциала народа в логике «величие народа не умаляется выпавшими на его долю объективными трудностями и дурной политикой власти» (*все достижения советского периода – это «заслуга народа, сумевшего сохранить, несмотря ни на что, свои лучшие национальные черты и качества, результат его труда и таланта»*) [Ельцин, 1996]; *несмотря на семидесятилетнее засилье государственного атеизма «вековые народные устои не были до конца разрушены»* [Ельцин, 1994]; *«пессимизм не в традициях нашего народа»* [Ельцин, 1999] и др.). Помимо уже упоминавшейся ссылки на опыт земств [Ельцин, 1994] лишь однажды, в послании 1996 г., в качестве потенциальной опоры реформ были упомянуты демократические начала, являющиеся частью нашего исторического наследия (*«...традиции народоправства присущи российскому народу. Эти идеалы наши самые выдающиеся соотечественники отстаивали веками»*) [Ельцин, 1996]). Таким образом, хотя Ельцин апеллировал к дореволюционной русской истории заметно больше, чем Путин и Медведев, его призывы к восстановлению исторической и культурной преемственности не находили достаточного подкрепления в ссылках на конкретные элементы исторического наследия, на которые следовало бы опереться новой России. Установка на использование прошлого по контрасту с настоящим и будущим явно превалировала над стремлением укоренить проводимую политику в наследии отечественной истории.

### **Прерывность и преемственность российской истории в посланиях В.В. Путина**

Тема преемственности и изменения традиции получила продолжение в посланиях В.В. Путина – хотя отсылок к истории в них существенно меньше (как отмечалось выше, в восьми его ежегодных обращениях удалось насчитать 22 упоминания о событиях,

явлениях, процессах или действующих лицах отечественной истории; причем 6 из них – цитаты, 7 – относятся к прошлому вообще, вне связи с конкретными периодами). В послании 2000 г. Путин даже особо отметил: *«Сегодня, когда мы идем вперед, важнее не вспоминать прошлое, а смотреть в будущее»* [Путин, 2000а] (и действительно, в четырех посланиях первого президентского срока мне удалось обнаружить не более 5 высказываний, адресуемых к прошлому). Тем не менее уже в послании 2001 г. Путин счел нужным вписать предлагаемый им принцип «стабильности» как основы для «назревших перемен» в исторический контекст, подчеркнув его нетипичность для российской политической практики (*«Конечно, общественные ожидания и опасения [по поводу перемен. – О.М.] появляются не на пустом месте. Они основаны на известной логике: за революцией обычно следует контрреволюция, за реформами – контрреформы, а потом и поиски виновных в революционных издержках и их наказание, тем более что собственный исторический опыт России богат такими примерами. Но пора твердо сказать: этот цикл закончен, не будет ни революций, ни контрреволюций»*) [Путин, 2001]).

Если для Ельцина основным объектом соотнесения при обосновании политического курса был советский период (с двумя смысловыми доминантами – «тоталитаризм» и «перестройка как неудачная попытка реформ»), то для Путина таковыми стали 1990-е годы (из 9 ссылок, имеющих отношение к конкретным периодам прошлого, 4 относятся именно к данному этапу). И это неудивительно: собственную политику «стабильности» Путин противопоставлял радикализму 1990-х; данное обстоятельство особенно заметно в посланиях второго срока пребывания в должности президента. В 2004 г. Путин включил в ежегодное обращение целый пассаж, посвященный анализу постсоветской трансформации. Достаточно критически оценивая 1990-е годы, он тем не менее определял их как начальный этап долгого и трудного процесса – этапы *«демонтажа прежней экономической системы»* и *«расчистки завалов, образовавшихся от разрушения “старого здания”»*, – и подчеркивал, что только *«сейчас мы имеем и достаточный опыт, и необходимые инструменты, чтобы ставить перед собой действительно долгосрочные цели»* [Путин, 2004]. Таким образом, несмотря на критику (*«ломка привычного уклада жизни», «не все решения, которые принимались в те годы, имели долгосрочный характер»*), в послании 2004 г. преобладала установка на преемственность между 1990-ми и 2000-ми.

Однако уже в 2005 г. критика предшествующего этапа стала более резкой, причем объектами оценки оказались не проблемы, с которыми столкнулось общество, а действия власти (*«накопления граждан были обесценены», «многие учреждения распущены или реформировались на скорую руку», «целостность страны оказалась нарушена террористической интервенцией и последовавшей хасавюртовской капитуляцией», «олигархические группировки... обслуживали исключительно собственные корпоративные интересы» и т.д.* [Путин, 2005]). Впрочем, завершая этот критический пассаж, Путин опровергал мнение тех, кто считал 1990-е «окончательным крахом» российской государственности, и определял эти годы как время *поисков «собственной дороги к строительству демократического, свободного и справедливого общества и государства»* [там же]. Представляя 2000-е как время, когда Россия твердо «встала на этот путь» и, как суверенная страна, *«сама будет решать, каким образом – с учетом своей исторической, геополитической и иной специфики – можно обеспечить реализацию принципов свободы и демократии»* [там же], второй президент РФ подтверждал верность идеалам, выбранным в 1990-х. Однако он всячески подчеркивал различие в методах осуществления этих идеалов тогда и теперь. В выступлении 8 февраля 2008 г. на расширенном заседании Государственного совета, которое можно рассматривать как подведение итогов второго срока, Путин особо отмечал, что, разрабатывая «план вывода России из системного кризиса», он руководствовался «главным принципом: восстановление России нельзя вести за счет людей, ценой дальнейшего ухудшения условий их жизни. В трудные 90-е годы на их долю выпало слишком много бед и испытаний» [Путин, 2008].

Другое важное изменение, которое прослеживается в посланиях второго срока, связано с частичной переоценкой советского прошлого. В посланиях 2000–2004 гг. нет прямых упоминаний событий и явлений этого периода (хотя, как отмечалось выше, уже в 2000 г. был сделан жест, свидетельствующий о готовности нового президента брать на вооружение некоторые символы советской эпохи, – приняты новые законы о государственной символике). В 2005 г. Путин сделал сенсационное заявление, назвав *«крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века»* [Путин, 2005], что полностью противоречило оценкам, многократно озвученным Ельциным. По-видимому, это высказывание можно рассматривать в контексте пересмотра отношения к имперскому прошлому, наметившегося в середине 2000-х годов (см. след. главу).

В том же послании переопределялось значение Победы в Великой Отечественной войне, 60-летие которой предстояло отметить две недели спустя: Путин придал этому событию особый гуманистический смысл, назвав его *«днем торжества цивилизации над фашизмом»*, а солдат Великой Отечественной – *«солдатами свободы»*. Данную интерпретацию можно рассматривать как развитие высказанного чуть ранее тезиса об исторической приверженности России европейским ценностям (*«Выстраданные и завоеванные европейской культурой идеалы свободы, прав человека, справедливости и демократии в течение многих веков являлись для нашего общества определяющим ценностным ориентиром»* [там же]). Но ее необходимо также связать и с проблемой отношений на постсоветском пространстве, в контексте которой и были озвучены приведенные выше слова (*гуманистическое наследие Победы Путин представлял как общее достояние «бывших республик СССР, а ныне независимых государств», которому нужно «вместе соответствовать»* [там же]). Тема войны, значимая для конструирования национально-государственных идентичностей большинства стран Западной и Восточной Европы, стала играть важную роль во «внешней» символической политике, превращаясь в объект соперничества интерпретаций.

Следует отметить, что Великая Отечественная война – историческое событие, наиболее часто упоминаемое в президентских посланиях: в 1995 и 1999 гг. – у Ельцина, в 2005 и 2006 гг. – у Путина, в 2009 и 2010 гг. – у Медведева. Однако контекст этих упоминаний разный: в одних случаях тема войны вплетается в рассуждения о политических и социальных проблемах сегодняшнего дня (*например, о борьбе с экстремизмом* [Ельцин, 1995], *о качествах «поколения, мужавшего в годы войны» как основании веры в успех* [Ельцин, 1999], *о поддержании боеспособности Вооруженных Сил* [Путин, 2006], *о патриотическом воспитании молодежи* [Медведев, 2010]); в других ей придается некое символическое значение, как в процитированном выше послании Путина 2005 г. Символическое использование темы войны встречается также в послании Медведева 2009 г. (*«Мы одной крови с теми, кто победил, стало быть, все мы – наследники победителей, и поэтому я верю в новую Россию»* [Медведев, 2009б]; ср. в программной статье «Россия, вперед!»: упоминание о предстоящем 65-летнем юбилее Победы в контексте рассуждений о том, *«что народ, победивший жестокого и очень сильного врага в те далекие дни, должен, обязан сегодня победить коррупцию и отсталость»* [Медведев,

2009а)]. Так или иначе, очевидно, что Великая Отечественная война – это единственное событие российской истории, которое активно используется в президентских посланиях в качестве позитивного символа, постоянно подвергаемого реинтерпретации. (Двойное упоминание о земствах в посланиях Ельцина и Путина – скорее случайность, чем следствие систематических усилий, направленных на конструирование соответствующего символа.)

Возвращаясь к посланиям Путина, добавим, что в них можно обнаружить и критическую оценку советского опыта (так, в 2006 г. он предостерегал *от повторения ошибок Советского Союза, решавшего «вопросы военного строительства в ущерб задачам развития экономики и социальной сферы»* [Путин, 2006]). Однако количество упоминаний об этом периоде в путинских посланиях невелико (их всего 4; остальные касаются войны).

В восьми посланиях второго президента РФ удалось обнаружить еще 7 ссылок на прошлое, не имеющих привязки к определенному периоду и относящихся к истории как продолжающейся традиции. Какие аспекты этого наследия оказались значимыми для обоснования путинского политического курса?

Во-первых, это идея «сильного государства» как основания величия России, наиболее ярко прозвучавшая в 2003 г., когда Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, назвал *«историческим подвигом» «удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире»* [Путин, 2003]. Как известно, огромная территория нередко рассматривается не только как залог величия России, но и как проблема, в частности – как фактор, определяющий «мобилизационный» тип развития страны, сопряженный со многими издержками<sup>1</sup>. Высказывание Путина, идентифицирующее Россию с удерживаемым ею пространством (*«...таков тысячелетний исторический путь России. Таков способ воспроизводства ее как сильной страны»*) [там же]) и призывающее ценить плод «огромного труда» многих поколений людей, – безусловно заявка на вполне определенную позицию в этом споре. Вместе с

---

<sup>1</sup> Например, о проблемах, обусловленных обширной территорией, в контексте первой чеченской войны говорил Б.Н. Ельцин: «Российская история распорядилась таким образом, что суверенитет государства простирается на огромную территорию и охватывает многочисленные народы». И далее: «Таким крупным странам, как Россия, естественным образом присущи большие внутренние различия между регионами». Их следствие – «диспропорции регионального развития», ставшие «родимым пятном нашей истории и экономики» [Ельцин, 1995].

тем функция данного высказывания очевидна: оно призвано оправдать проводимый Путиным курс на «усиление государства», увязав его с «тысячелетней» традицией.

Во-вторых, ссылки на прошлое активно используются Путиным для подкрепления ключевой для него идеи *единства*, которая призвана определить рамки политической конкуренции. Как верно подметили И. и С. Каспэ, основным посылом путинской символической политики был «призыв к тотальной консолидации», сопровождавшийся «фобией любых разделений внутри пространства консенсуса» [Каспэ, Каспэ, 2006, с. 20]. В этом отношении примечательно, что в первом же путинском послании подчеркивалось: *«Единство России скрепляют присущий нашему народу патриотизм, культурные традиции, общая историческая память»*. А далее уточнялось: *«При всем обилии взглядов, мнений, разнообразии партийных платформ у нас были и есть общие ценности»* [Путин, 2000]. Завершая свою работу на посту президента, Путин повторял ту же мысль, проецируя ее в будущее: *«...политические партии обязаны сознавать огромную ответственность за будущее России, единство нации, за стабильность развития нашей страны. Какими бы острыми ни были политические баталии, какими бы неразрешимыми ни казались межпартийные противоречия, они никогда не стоят того, чтобы ставить страну на грань хаоса»* [Путин, 2008]. В этих словах можно усмотреть намек на опыт 1990-х (хотя Путин никогда прямо не характеризовал политико-идеологические разногласия этого периода такими словами) и стремление оправдать собственную политику «стабилизации» политической системы. Подводя итоги анализа путинских посланий, отметим, что хотя количество упоминаний о прошлом в них невелико, многие из приведенных выше фрагментов обращали на себя внимание и вызывали общественный резонанс, поскольку отчетливо указывали на «пункты несогласия» второго президента РФ с символической политикой его предшественника.

### **Прерывность и преемственность российской истории в посланиях Д.А. Медведева**

Как было отмечено выше, в трех посланиях Д.А. Медведева удалось обнаружить 15 упоминаний о событиях, явлениях, процессах и действующих лицах отечественной истории, 7 из которых – ссылки на персоналии. Хотя число упоминаний о прошлом сравнительно невелико, их риторический вес усиливается тем обстоя-

тельством, что Медведев в своих посланиях реже, чем его предшественники, репрезентирует Нас через соотнесение с Другим, традиционно именуемым «Западом» (см. главу 13). В результате темпоральное измерение идентификации (сопоставление Нас сегодня / завтра и в прошлом) оказывается не менее значимым, чем пространственно-символическое. Этот эффект достигается в том числе и за счет того, что третий президент РФ часто дает критическую оценку традиции и обращается к прошлому, чтобы подчеркнуть не только преемственность, но и необходимость пересмотра отдельных представлений и практик. Эта позиция открыто заявлена в программной статье «Россия, вперед!», где подчеркивалось, что традиции «не все полезны» и от некоторых «следует избавляться самым решительным образом», причем указывалось на прецеденты «преодоления» негативных явлений прошлого («...когда-то и крепостничество, и повальная неграмотность казались неодолимыми. Однако же были преодолены» [Медведев, 2009а]). Критический и избирательный подход к традициям представлен и в президентских посланиях Медведева. Так, в 2008 г. он сетовал, что *«в России на протяжении веков господствовал культ государства и мнимой мудрости административного аппарата. А отдельный человек с его правами и свободами, личными интересами и проблемами воспринимался в лучшем случае как средство, а в худшем – как помеха для укрепления государственного могущества»* [Медведев, 2008]. Примечательно, что этот пассаж он завершал цитатой П.А. Столыпина, подкрепляющей высказанную мысль, – тем самым критика традиции «укоренялась» в самой традиции, признание гетерогенности прошлого давало возможность подчеркнуть преемственность по отношению к положительно оцениваемой части исторического наследия и одновременно – желание дистанцироваться от того, что представляется «недостатком» или «проблемой». Такой подход можно считать удачной находкой: он позволяет более гибко решать проблему преемственности / прерывности по отношению к прошлому. К сожалению, успешно апробированный в послании 2009 г. и предварявшей его статье «Россия, вперед!» прием критики прошлого с опорой на позитивные моменты в самом прошлом не получил развития в двух последующих обращениях к Федеральному Собранию.

Подобно своим предшественникам, Медведев апеллировал к «тысячелетней истории» с целью легитимации наиболее трудных и принципиальных своих решений. Так, в послании 2008 г., говоря о «понимании», с которым были встречены действия власти во

время войны с Грузией и первые антикризисные меры, он отмечал: *«По-другому и не должно быть, когда речь идет о народе с тысячелетней историей, освоившем и цивилизовавшем огромную территорию», «создавшем неповторимую культуру» и «мощный экономический и военный потенциал»* [там же]. Примечательно, что в качестве положительно оцениваемых достижений российского народа указываются не только общепризнанная «неповторимая культура», но и «территория» и «военный потенциал», которые в современном публичном дискурсе ассоциируются с «имперским наследием». Здесь очевидна переключка с путинским посланием 2003 г. Вместе с тем любопытно сравнить этот список с близким по смыслу пассажем из статьи «Россия, вперед!», где перечисляются составляющие «большого наследства», на которое мы можем опереться: *«Мы располагаем гигантской территорией, колоссальными природными богатствами, солидным промышленным потенциалом, впечатляющим списком ярких достижений в области науки, техники, образования, искусства, славной историей армии и флота, ядерным оружием, – пишет Медведев. – Авторитетом державы, игравшей значительную, а в некоторые периоды и определяющую роль в событиях исторического масштаба»* [Медведев, 2009а]. Отметим, что список позитивно маркированных элементов прошлого, на которые можно опереться, заметно расширился по сравнению с тем, что нам удалось выделить в ельцинских посланиях, главным образом – за счет осуществленной еще Путиным переоценки наследия «великой державы».

Медведеву также не чуждо стремление обосновать собственный политический курс по контрасту с прошлым (преимущественно, хотя и не исключительно, недавним). Наиболее ярко оно проявилось в послании 2009 г., в котором вновь заявленный политический курс представлялся как *«первый в нашей истории опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии»* [Медведев, 2009б]. В этом контексте главным объектом соотнесения оказывался советский опыт модернизации, который оценивался, с одной стороны, положительно (*«ценой невероятных усилий аграрная, фактически неграмотная страна была превращена в одну из самых влиятельных по тем временам индустриальных держав»*), а с другой – критически (*«в условиях закрытого общества, тоталитарного политического режима эти позиции невозможно было сохранить»*) [там же]. Та же мысль ранее была высказана в статье «Россия, вперед!», причем сравнение проводилось не только с советской, но и с петровской (имперской) модер-

низацией, и подчеркивалось, что обе они были «оплачены разорением, унижением и уничтожением миллионов наших соотечественников» [Медведев, 2009а]. Таким образом, подобно Ельцину и Путину, Медведев, обосновывая собственный курс, стремился подчеркнуть не только преемственность, но и «точки разрыва» с прошлым, при этом предметом мягкого отрицания стал опыт не только 1990-х, но и 2000-х годов: в сентябре 2009 г. третий президент РФ утверждал, что сделанного его предшественниками недостаточно, ибо прежние решения «лишь воспроизводят текущую модель, но не развивают ее. Не изменяют сложившийся уклад жизни. Сохраняют пагубные привычки» [там же]. Таким образом, обоснование текущего курса путем более или менее резкого противопоставления настоящего прошлому можно считать устойчивым элементом программных выступлений всех президентов РФ.

### **Заключение: Ограниченный репертуар «политически пригодного» прошлого**

Завершая анализ президентских посланий 1994–2011 гг., отмечу некоторые особенности использования прошлого для оправдания осуществляемого политического курса. Как было показано выше, все три президента РФ апеллировали к давней и недавней истории как с целью «укоренить» свои действия в национальной традиции, так и для того, чтобы оправдать их за счет критической оценки прежнего опыта. Причем если объектами критики оказываются *конкретные* события, действия или явления преимущественно недавнего прошлого, то позитивно окрашенные ссылки на историю чаще всего имеют *обобщенный* характер и относятся к «вековым народным устоям», «тысячелетней истории России», «нашей великой культуре» и т.п. В силу этого «проблемные» черты образа прошлого оказались представлены в президентских посланиях более выпукло и детально, нежели «то, чем мы вправе гордиться». Как уже было сказано, единственным устойчиво упоминаемым положительным символом стала Великая Отечественная война.

Очевидная скудость символического репертуара президентских посланий в какой-то мере связана с тем, что представления о прошлом, доминирующие в сознании элиты и масс, не соответствуют современным политическим задачам. В.Е. Морозов отмечает, что большой проблемой для символической политики нового Российского государства стало отсутствие в начале 1990-х годов «аль-

тернативного имперскому исторического нарратива, который мог бы послужить основой для самоидентификации России как нового национального государства» [Морозов В., 2009, с. 580]. С тех пор мало что изменилось – не случайно та же ограниченность репертуара исторических событий, значимых для коллективного самоопределения, выявляется и на уровне массового сознания. Так, опрос, проведенный в сентябре 2007 г. Институтом социологии РАН, показал, что набор событий и героев прошлого, которыми гордится большинство опрошенных в рамках общероссийской выборки, достаточно узок. Лишь четыре позиции получили поддержку более чем у половины респондентов (в том числе у 67% респондентов чувство гордости вызывает Победа в Великой Отечественной войне, у 61% – послевоенное восстановление страны, у 56% – великие российские поэты, писатели и композиторы, у 54% – успехи советской космонавтики) [Информационно-аналитический..., 2008]<sup>1</sup>. По оценке Л.Г. Бызова, «к авангарду «славного наследия прошлого» наши сограждане относят, прежде всего, те достижения государства (в разные периоды его истории), которые... в некотором смысле имеют общемировую значимость. Те же достижения прошлого, значимость которых может быть расценена как, скорее, внутривосточная, у респондентов вызывают сомнение» [там же]<sup>2</sup>. В какой-то степени этот результат можно считать следствием отмеченных нами тенденций официальной символической политики, которая скорее следовала массовым оценкам значимого прошлого, нежели стремилась их трансформировать, создавая новые проекции прошлого на настоящее и будущее.

Конечно, разработка нарратива(ов) национального прошлого – это прежде всего задача профессиональных историков, однако и политическая элита должна выполнять свою часть работы, включая в публичный оборот символы, связанные с событиями прошлого, и участвуя в их реинтерпретации. Распространенным

---

<sup>1</sup> Почти такой же список наиболее значимых исторических событий получился в 1998 г., когда было начато исследование, разве что на пятое место с рейтингом 52% вышел полет в космос Ю. Гагарина [там же].

<sup>2</sup> В частности, «такое значимое событие, как освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 г., вызывает гордость лишь у 6% россиян, Октябрьская революция и установление советской власти – у 7%. Выдающиеся российские цари и императрицы, а также мощь и богатство страны в период правления династии Романовых вызывают гордость у 10 и 11% россиян соответственно» [там же].

поводом для актов такого рода служат круглые даты. Если взглянуть на календарь исторических событий, нетрудно убедиться, что за последние 18 лет, когда готовились рассмотренные нами послания, не было недостатка в поводах для расширения «исторической» части символического репертуара. В 2005–2006 гг. праздновалось 100-летие первой русской революции и парламентаризма в России; в 1997 и 2007 гг. была возможность отметить юбилей не только Октябрьской, но и Февральской революции<sup>1</sup>; в 1990-х годах можно было последовательно вспоминать о 125-летию Великих реформ конца 1860-х – начала 1870-х годов; в 2007 г. исполнялось 150 лет с начала издания «Колокола»; в том же году можно было отметить 100 лет оформления Антанты; в 2005 г. праздновалось 250-летие Московского университета; в 2009 г. было 300 лет победы в Полтавской битве; в 2006 г. истекло 50 лет после XX съезда КПСС, а в 2008 г. – 40 лет с момента ввода советских войск в Чехословакию. Список может быть продолжен. Очевидно, что символический потенциал перечисленных событий весьма разнороден и не все они «ложатся» в контекст политических задач, которые требовалось обосновывать в президентских посланиях, однако многие из них вполне могли бы быть переосмыслены.

Однако такая цель при подготовке президентских посланий<sup>2</sup> до недавнего времени не ставилась. Возможно оттого, что она просто не значилась в ряду приоритетов, ведь апелляция к истории – лишь один из возможных инструментов для легитимации политического курса. Правда, без него нельзя обойтись, если принимать во внимание долгосрочные цели – такие как формирование национальной идентичности, мобилизация солидарности макрополитического сообщества, повышение коллективной самооценки и т.п. Однако для решения краткосрочных задач, связанных с оправданием действий власти, не обязательно углубляться в переоценку коллективного прошлого. Очевидно, что разработчики текстов посланий сознавали важность символического ресурса коллективного прошлого – можно проследить, как

---

<sup>1</sup> Правда, исследования Фонда «Общественное мнение» показывают, что оценка обоих событий населением крайне неоднозначна. См.: [Бавин, 2007; Васильева, 2008].

<sup>2</sup> Анализ текстов выступлений и обращений, подготовленных специально по поводу мемориальных дат, – задача отдельного исследования, поскольку это – несколько другой жанр, для анализа которого требуются иные приемы.

год за годом оттачивались приемы его риторического использования. Но столь же очевидно их стремление ограничиться теми событиями и явлениями отечественной истории, оценка которых не вызывает разногласий, – а таких в стране «с непредсказуемым прошлым», переживающей очередную масштабную социальную трансформацию, оказалось немного. Думается, что отмеченная здесь узость «исторической» составляющей символического репертуара президентских посланий имеет две причины. С одной стороны, она является следствием мировоззренческих и исторических представлений властвующей элиты, а с другой – в силу политических соображений, руководство страны предпочло не работать с «трудным» прошлым<sup>1</sup> и уклониться от формулирования официальной позиции в спорных вопросах, разделяющих российское общество<sup>2</sup>.

Результатом такого подхода – скорее всего, непреднамеренным – стало то, что критика прошлого (преимущественно недавнего), его репрезентация по контрасту с настоящим и будущим оказалась отражена в президентских посланиях существенно более ярко и конкретно, нежели образ «нашего славного прошлого», который должен служить источником оптимизма и опорой для

---

<sup>1</sup> Проблема «неудобного прошлого», с которой так или иначе сталкиваются многие страны, может решаться по-разному, в том числе, и по «формуле умолчания» – в течение какого-то времени [см.: Малинова, 2010 г.].

<sup>2</sup> Впрочем, в предвыборном 2011 г. представители правящей элиты продемонстрировали явное стремление выйти за рамки сложившегося репертуара и примериться к символическому потенциалу исторических событий и явлений, до сих пор обделенных их вниманием. В качестве примеров можно привести выступление Д.А. Медведева по случаю 150-летия отмены крепостного права на конференции в Санкт-Петербурге, проводившее параллели между Великими реформами XIX в. и современной модернизацией [Медведев, 2011 г.], и выступление Б.В. Грызлова в том же городе на конференции, посвященной 105-летию со дня начала работы первой в России Государственной думы, в котором Земские соборы XVI–XVII вв. провозглашались истоком исторически свойственной России суверенной демократии. См.: [Родин, 2011]. Провозглашение 2012 г. Годом истории и подготовка юбилейных празднований 1150-летия Русской государственности, 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года и 400-летия событий Смутного времени дали целую череду поводов для размышлений политиков над перипетиями истории. Можно предположить, что поиски политически «пригодного» прошлого будут продолжены: на это указывают попытки В.В. Путина накануне старта избирательной кампании 2011 г. приспособить к «политическому моменту» юбилей П.А. Столыпина, а также прозвучавшее в послании Федеральному Собранию 2012 г. предложение поставить общенациональный памятник героям Первой мировой войны [Путин, 2012и] и др.

решения текущих задач. Получается, что, педалируя критику прошлого и отказываясь расширять «оперативный» репертуар за счет переоценки проблемных страниц истории, властвующая элита на практике воспроизводит старый культурный алгоритм «разрыва с традицией» – хотя, казалось бы, в отличие от петровского и советского переворотов, когда происходила ломка мировоззренческих принципов, сейчас для этого нет оснований.

## 11. ИДЕОЛОГЕМА «ИМПЕРИИ» В ДИСКУССИЯХ О ГОСУДАРСТВЕ И НАЦИИ<sup>1</sup>

После распада СССР перед бывшими советскими республиками встала задача формирования новых макрополитических идентичностей, одним из существенных аспектов которой стало переосмысление наследия империи. Для России эта задача оказалась наиболее сложной и одновременно – наиболее значимой, поскольку в силу правопреемства по отношению к СССР, а также ее внутреннего территориального устройства, состава населения, исторически сложившейся экономической географии и прочих факторов ей не так просто дистанцироваться от дореволюционного и советского опыта. Неудивительно, что тема империи неизменно возникает при обсуждении проблем строительства государства и нации в России. С одной стороны, нет согласия по вопросу о том, является ли империя только прошлым, и если да, то насколько отдаленным (в частности, был ли империей СССР). С другой стороны, не меньше споров вызывают и грядущие перспективы: в России есть и сторонники скорейшего перехода от империи к национальному государству, и те, кто считает, что такой переход невозможен.

В этой главе я попытаюсь проанализировать, каким образом тема империи представлена в российских политических дискуссиях конца 1990-х – 2000-х годов и как ее обсуждение вплетается в современные споры о коллективной идентичности (национальной, «цивилизационной», гражданской и др.). Выбор хронологических

---

<sup>1</sup> Исследование проводилось в рамках коллективного проекта «Наследие империй и будущее России», поддержанного Фондом «Либеральная миссия» [Наследие империй..., 2008]. Первый вариант текста опубликован в сборнике «Политическая наука: Формирование государства и нации в современном мире» [Малинова, 2008а].

рамок определяется тем, что именно с конца 1990-х годов данная тема стала особенно популярной: если в конце 1980-х – середине 1990-х годов слово «империя» связывали преимущественно с прошлым (попытки апеллировать к «имперскости» в модальности настоящего и будущего [Жириновский, 1993] воспринимались как эпатаж), то с конца 1990-х годов данное понятие приобрело позитивный оттенок и все чаще стало связываться не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. Возвращение данной темы в список активно обсуждаемых общественных проблем вполне вписывается в логику изменения политического контекста. В конце 1980-х – начале 1990-х, на волне эйфории, сопровождавшей демонтаж советской системы, и оптимистических ожиданий в отношении Запада, критическое отношение к «имперскому» опыту СССР разделялось значительной частью российской элиты. Однако позже разочарование в результатах реформ, болезненные последствия распада СССР, «непонимание» Запада создали почву для пересмотра отношения к имперскому прошлому. Символ «империи» стал ценным ресурсом, который стремятся использовать политики разных направлений.

Объектом моего анализа стали публикации российских политиков, а также работы интеллектуалов, предназначенные для широкой аудитории неспециалистов. Авторы этих текстов высказывают суждения о России как об империи, стремясь легитимировать те или иные проекты коллективного будущего, а в отдельных случаях – и предлагая вполне конкретные политические программы. Задача настоящей главы – выяснить, кто, как и зачем использует идею «империи». При этом следует различать собственно «имперские» проекты, обосновывающие те или иные планы возрождения империи, и проекты «постимперские», которые предлагают некие варианты решения современных проблем с учетом имперского опыта России, оцениваемого позитивно или негативно. Я сосредоточусь преимущественно на первых, однако, прослеживая оппозиции, складывающиеся в российском политическом пространстве, должна буду коснуться и вторых.

## Семантическая карта понятия «империя» в российском политическом дискурсе

Нетрудно заметить, что российские политики и публичные интеллектуалы вкладывают в слово «империя» разные смыслы<sup>1</sup>. Поэтому, прежде чем перейти к анализу отдельных проектов, необходимо прояснить структуру семантического поля данного понятия. Я попыталась решить эту задачу, выделив основные значения, вкладываемые в слово «империя» в текстах, ставших объектами моего анализа. Для большей наглядности для каждого из выделенных значений был найден антоним. Таким образом, в рамках каждого способа интерпретации «империя» не только связывается с неким качеством, но и обладает им в отличие от других идеально-типических конструкций. Нетрудно заметить, что понятие «империя» в российском политическом дискурсе встроено в сложную систему смысловых оппозиций. Задача семантического анализа заключалась в выявлении *социальных представлений* об «империи», разделяемых российским «политическим классом», а отнюдь не в определении «правильности» предлагаемых дефиниций. Основой использованной исследовательской техники был анализ значений. Как писал К. Манхейм, «слова никогда не означают одно и то же, если произносятся представителями разных общественных групп даже в одной стране. А небольшие различия смысла служат лучшим проводником к различным мыслительным тенденциям определенного общества» [Манхейм, 1994, с. 575]. В данном случае это именно так: в современных дискуссиях на тему империи представлены не просто разные точки зрения, но разные способы интерпретации данного понятия. Причем различия, с одной стороны, носят когнитивный характер (предлагаемые российскими политиками и интеллектуалами определения империи опираются на знания, почерпнутые из разных источников – советского обществознания, политической публицистики, отечест-

---

<sup>1</sup> Отметим, что и в политической риторике конца XX в. слово «империя» имело разные смысловые оттенки. Как показывает Р. Суни, в 1980-х годах определение СССР в качестве империи отсылало прежде всего к внешним отношениям последнего с восточноевропейскими сателлитами, в меньшей степени данную характеристику связывали с внутренними отношениями между центром и нерусскими «национальностями». Лишь в конце 1980-х годов слово «империя» применительно к СССР стали использовать в качестве категории, указывающей на многонациональное государство, которое утрачивает свою легитимность и обречено на распад [Суни, 2007, с. 36–37].

венной (реже – зарубежной) научной литературы), а с другой – имеют мировоззренческий аспект (как мы увидим, в интерпретациях империи, предлагаемых представителями разных сегментов российского политического спектра, присутствуют вполне определенные комбинации смыслов).

Можно выделить пять базовых характеристик, с которыми понятие «империя» связывается в российских политических дискурсах (см. рис. 1):

**1. Многосоставность:** империя – это политическое образование, включающее в себя *много* разнокачественных элементов, которые могут выделяться по разным основаниям («народы», «нации», «национальности», «этноты», «политические организмы», «разнокультурные земли» и др.). В роли идеально-типической противоположности этой характеристики выступает «*национальное государство с ударением на прилагательное (nation-state)*». В российских публичных дискурсах в качестве альтернативы империи нередко представляют государства, где есть одна доминирующая нация.

**2. Наличие центра и периферии** (метрополии и колоний), отношения между которыми имеют асимметричный и неравноправный характер. Нередко подчеркивается насильственный характер «удержания» периферии, а также наличие несправедливого обмена ресурсами в пользу центра. В этом качестве «империя» противопоставит, с одной стороны, *федерации*, где отношения между федеральным центром и субъектами федерации строятся на началах равноправия, а с другой стороны – *унитарному государству*, в котором нет столь явного противопоставления центра и периферии.

**3. Авторитарный способ интеграции территорий и общества «сверху».** Данное значение понятия подчеркивает вертикальный характер политических связей в империи в противоположность комбинации связей горизонтальных и вертикальных, характерных для идеального типа *нации-государства (nation-state)*, которое интерпретируется как комбинация демократического государства и гражданского общества. В рамках такого понимания империи нередко подчеркивается факт бесправия подданных (в отличие от полноправных граждан нации-государства). Таким образом, «империя» рассматривается как способ организации власти, при котором объектами авторитарного принуждения оказываются не только политические сообщества, но и индивиды.

**4. Наличие «универсальной объединяющей идеи»,** некоего глобального цивилизационного проекта, во имя которого империя

вбирает в собственное «тело» и в орбиту своего влияния народы и территории. «Империя» при таком понимании выступает не просто как способ организации власти, но как воплощение некоего мессианского проекта. И в таком качестве она противоположна идеальному типу *государства* – «ночного сторожа», функции которого ограничены обслуживанием интересов собственных граждан.

**5. Влияние на международной арене / стремление подчинить этому влиянию другие государства без утраты ими самостоятельного государственного статуса.** В этом значении «империя» – это прежде всего «великая держава», в полной мере реализующая свой потенциал влияния. Эта интерпретация является не слишком строгой (возможно, в данном случае более уместно было бы говорить об «имперском порядке» (*imperial order*) или «гегемонии», а не о собственно «империи»), это скорее метафора, однако можно сослаться на наличие некоторой практики использования слова «империя» именно в этом значении, причем не только в России<sup>1</sup>. Для определения противоположности качества империи, положенного в основу данной интерпретации, мы также воспользуемся метафорой – выражением «нормальная страна», взятым в качестве заголовка к некогда нашумевшей статье А. Шлейфера и Д. Трейсмана [Shleifer, Treisman, 2004]<sup>2</sup>.

Выделенные значения слова «империя» являются базовыми, они могут по-разному варьироваться и комбинироваться, поэтому спектр интерпретаций в действительности гораздо шире. Вооруженные этой семантической картой, мы можем перейти к анализу основных «имперских» и «постимперских» проектов, представленных в российском публичном пространстве. Предлагаемая мною типология таких проектов разработана в аналитических целях; она не всегда соответствует реальной группировке политических сил, ибо последняя определяется не только отношением к наследию империи. Кроме того, благодаря идеологической активности, наблюдавшейся с сере-

---

<sup>1</sup> См. определение СССР в качестве «империи зла», данное Р. Рейганом. В аналогичном смысле понятие империи используется некоторыми исследователями и для анализа современного международного режима в Европе [см.: Малинова, 2004в, с. 42–45].

<sup>2</sup> Авторы статьи доказывали, что «претензии», предъявляемые России Западом, вытекают из завышенных ожиданий, которые связаны с ложным восприятием ее положения в мире. Россия же сегодня – «нормальная страна» со средним уровнем доходов и вполне соответствует параметрам, типичным для стран подобного уровня развития.

дины 2000-х годов на националистическом фланге, там произошла существенная дифференциация течений, которую в рамках данного исследования я не смогу в полной мере учесть.



Рис. 1. Понятие «империя» в российском политическом дискурсе: Смыслы и оппозиции

## Тема империи в дискурсе «имперского» и «постимперского» русского национализма

Начнем с проектов возрождения империи, предлагаемых теми, кого за неимением лучшего термина я буду называть «имперцами». Данное определение носит рабочий характер и относится к кластеру идеологических проектов, в которых задача возрождения империи играет роль главной несущей конструкции. Большинство таких проектов имеет крен в сторону русского национализма, т.е. нацелено на утверждение престижа русской идентичности и обеспечение благоприятных политических и экономических условий для развития сообщества, определяемого как «русские». Однако «удельный вес» националистической составляющей имперских проектов, отнесенных к данному кластеру, варьируется. В свою очередь, современный русский национализм предлагает не только «имперские» проекты, постулирующие необходимость возрождения империи, но и «постимперские», исходящие из факта окончательности ее распада. Последних я также коснусь, чтобы дать представле-

ние о полном спектре позиций, представленных на этом фланге. Сначала я попытаюсь выделить общее в интерпретациях символа империи, обнаруживаемых в текстах, отнесенных к данному кластеру, а затем перейду к более подробной характеристике отдельных концепций.

В текстах «имперцев» и «постимперских» националистов можно обнаружить комбинации трех из пяти выделенных выше базовых значений понятия «империя».

Во-первых, империя – это *многосоставное государство*, поэтому Россия по определению должна оставаться империей (в противном случае она вынуждена будет лишиться значительной части своей территории). По мысли А. Дугина, «Россия изначально была чем-то наподобие империи. Она объединяла разные племена и народы, которые так и не превратились в однородное гражданское население... Это принцип всех империй – единое стратегическое пространство, интеграция поверху и этнокультурное разнообразие внизу» [Дугин, 2006а]<sup>1</sup>. «Имперская национальная политика, – вторит ему А. Проханов, – в том, чтобы национальные энергии населяющих Россию народов не сталкивались в противоречиях, не порождали хаос и разрушение, а сливались в “Общем деле” как симфоническое единство» [Проханов, 2006].

Признавая, что Россия является «многонациональной страной», большинство «имперских националистов» подчеркивают главенствующую роль русского народа. Нередко этот тезис сопровождается рассуждениями об удивительной этнической терпимости русских и их «уникальном умении понимать другие народы», обусловившим особый, «неимперский» характер империи [Алкнис, 2006]. Во многих текстах этой группы упоминается о «тяжелой судьбе русского народа»<sup>2</sup> и предлагается программа его физи-

---

<sup>1</sup> Тем же критерием оперировал, определяя империю, и депутат Государственной думы В. Алкнис. Правда, он приходил к выводу о том, что по «основному показателю “имперскости”», т.е. по «соотношению численности “имперского” этноса с “неимперскими” народами» Россия, судя по данным последней переписи, уже не может быть признана империей, ибо русских – подавляющее большинство (80%) [Алкнис, 2006].

<sup>2</sup> Эту тему охотно развивает лидер ЛДПР В.В. Жириновский. Одно из его литературных произведений так и называется – «Иван, запахни душу!» Главная идея этого «романа-исследования о моем поколении» заключается в призыве к русскому человеку с его добротой и терпимостью стать более эгоистичным, добиваться лучшей жизни для себя, а не расточать свои ресурсы, помогая другим народам [Жириновский, 2007].

ческого и духовного «возрождения»; в качестве препятствия к ее реализации нередко изображаются «инородцы» – представители нерусских этнических групп, имеющих те или иные преференции, в том числе – особый национально-государственный статус, а также мигранты.

Вместе с тем не все имперские проекты этой группы открыто «русоцентричны». А. Дугин, напротив, старательно подчеркивает, что речь должна идти не о русской, но о евразийской многонациональной империи. Однако и в его проекте русскому народу отводится особая роль, поскольку именно он является носителем исторической миссии, которая, по словам Дугина, может быть выражена «сложным ансамблем понятий и ориентаций, совокупность которых точнее всего определяется как *Евразийский проект*» [Дугин, 2002]. Таким образом, хотя потребность в империи не аргументируется интересами русского народа, его лидерство предполагается несомненным в рамках формулы «все народы равны, но некоторые равнее».

Во-вторых, большинство «имперских» и «постимперских» проектов этой группы ориентируется и на другой признак империи – *наличие универсальной объединяющей идеи, некоего глобального проекта*. По определению М. Юрьева, «империя – это такое государство, у которого существуют некие цели, выходящие за пределы элементарного поддержания собственного существования и роста материального благосостояния подданных». Главной целью такого рода является «обустройство присоединенных пространств в соответствии со своими представлениями о правильном жизненном устройстве и государственном порядке» [Юрьев, 2007б, с. 170]<sup>1</sup>. Потребность в общей «нематериальной» цели, «стремление к осмысленности своего существования» объявляются свойствами русского народа.

В-третьих, прямо или косвенно «имперские националисты» мыслят империю и как *автократический способ организации тер-*

---

<sup>1</sup> Следует отметить, что «постимперские» националисты, в свою очередь, рассматривают отсутствие священной идеи в качестве главного довода в пользу невозможности возрождения империи. По мнению эксперта Горбачёв-Фонда В. Соловья, «дело в том, что Россия исчерпала морально-психологические и идеологические ресурсы имперского строительства. Сегодня у нее нет идеологии, которая бы легитимировала создание империи. Такие идеологии существуют на уровне идей-конструктов, – уточняет автор, – но они не пользуются популярностью и влиянием, не “заводят” общество, не обладают мобилизационной способностью» [Соловей, 2007, с. 202].

*риторий и общества сверху*. Приветствуется идея «сильной власти»<sup>1</sup>. Многие проекты этой группы предлагают отказаться от федеративного устройства: доказывается, что «федерализм нисколько не спасает от сепаратизма, а дает этому движению дополнительные силы, вынашивая и растя новые расколы и будущие проблемы» [Смолин, 1999, с. 7]<sup>2</sup>.

Все имперские проекты русских националистов в большей или меньшей степени имеют антизападную направленность. Хотя не все авторы, подобно А. Проханову, склонны рассматривать Россию как «стратегический резерв человечества, которое, обезумев, бежит на сполохи разноцветного фонаря, висящего над пропастью» [Проханов, 2006], русский имперский проект нуждается в *опасном Другом*, поскольку именно оппозиция такому Другому – сильный аргумент в пользу интеграции народов «многонациональной» России вокруг русской нации. Иные аргументы – общая история и культура – указывают на прошлое, тогда как опасный Другой побуждает сплотиться в настоящем, чтобы сохранить надежду на будущее. По А. Дугину, «и для России, и для многих сопредельных государств есть только один выход: чтобы сохранить свой суверенитет, свою свободу и независимость в глобальном мире, мы просто обязаны снова стать Империей». Логика проста: «Как только Россия перестает быть империей сама, она становится легкой добычей для других империй, которые строятся за наш счет и на наших ресурсах» [Дугин, 2006б]<sup>3</sup>. Те, кто этого не

---

<sup>1</sup> Идея формирования «вертикали исполнительной власти вплоть до отдельных населенных пунктов» задолго до реформ В. Путина предлагалась В. Жириновским.

<sup>2</sup> Федерализм, по убеждению Смолина, «несет антигосударственное, анархическое, сепаратистское, разрушительное начало», ибо «делит единое русское государственное тело между инородными местными центрами». Он полагает, что «нет никакой другой возможности остановить этот процесс, кроме решительного перехода на имперский путь развития с его безусловной унитарностью в государственном строительстве» [там же, с. 11]. Как известно, последовательным сторонником замены национального деления России на административно-территориальное (губернское) является В. Жириновский.

<sup>3</sup> В дугинской интерпретации, предполагаемый «Евразийский Союз – это изящный обход системы почти непреодолимых исторических препятствий, корректный отказ от участия в состязании», отказ от непривлекательной для России «логики модерна», обрекающей Россию на долгий путь распада империи, превращения в государство-нацию, которой предстоит «утратить этническую самобытность» и в этом качестве интегрироваться в «открытое пространство “единого мира”» [Дугин, 2007, с. 200].

понимает, предлагая России отказаться от ее имперского предназначения, оказываются предателями. По мнению того же Дугина, «никакое “нормальное”, т.е. периферийное, малое, региональное государство в современных глобальных условиях отстоять своего суверенитета не способно» [Дугин, 2006б]. Еще решительнее эту идею развивает автор книги «Третья империя. Россия, которая должна быть» М. Юрьев [Юрьев, 2007а]. По его оценкам, «сегодня человечество приближается к временным границам мирного периода», и через 50–100 лет на политической карте мира «останется всего-навсего не более пяти государств». Очевидно, что в этой логике возможна только одна альтернатива – превратиться в империю или прекратить существование. Любопытно отметить, что в прогнозе Юрьева России отводится почетное место «пятой мировой державы», «к которой отойдет вся Европа» (при этом автор остается в сомнениях относительно судьбы Турции) [Юрьев, 2007б, с. 173–175].

Антизападничество «имперских» проектов выражается не только в том, что «Запад» или, по крайней мере, США представляются в них главными геополитическими оппонентами России, но и в стремлении доказать ее «цивилизационную» самостоятельность, право на собственный путь, иммунитет от критики, опирающейся на «чужие» стандарты. Не случайно в интерпретации составителя книжной серии «Пути русского имперского сознания» М. Смолина последнее «есть положительный знак психологической зрелости нации, способной самостоятельно, часто вопреки всем, жить так, как она считает правильным, и являть тот идеал правды, который лежит в основе всей системы жизнедеятельности народного организма» [Смолин, 1999, с. 11]. Таким образом, «имперскость» России связывается с ее правом идти своим путем, не оглядываясь на критику Запада. Как мы увидим, к этому аргументу прибегают не только «националисты»; понятие «империи» широко используется при обсуждении темы «самобытности» России по отношению к «Западу» и в других сегментах российского публичного дискурса.

Описанные выше подходы к интерпретации символа «империи» в большей или меньшей степени являются общими для всех «имперских» и «постимперских» проектов, отнесенных к рассматриваемому кластеру. Однако есть и различия.

В частности, по-разному определяется миссия России: одни авторы (М. Смолин, М. Юрьев и др.), следуя старой традиции консервативного почвенничества, говорят о воссоздании православной империи, другие (В. Жириновский, А. Проханов, А. Дугин

и др.) рассуждают в логике современных геополитических оппозиций и выдвигают цель восстановления евразийского единства и / или противостояния гегемонии США. Нередко содержание «национальной идеи» определяется весьма туманно. Несомненно одно: «имперские националисты» видят Россию в роли «великой державы». При этом многие из них не забывают, что величие определяется прежде всего обладанием военными, экономическими и политическими ресурсами, позволяющими диктовать миру свои правила (ориентация на защиту интересов ВПК особенно очевидна у А. Дугина).

По-разному представляются и территориальные границы новой империи. Чаще всего речь идет о восстановлении СССР (в полном или усеченном формате). Особенно красноречиво неизбежность возвращения прежних границ декларирует А. Проханов. По мнению главного редактора газеты «Завтра», мы являемся свидетелями уже состоявшегося рождения «Пятой империи» (подсчет осуществляется по списку, в который включены Киевская Русь, Московское царство, империя Романовых и Советский Союз). Многочисленные, хотя пока еще не очень заметные, признаки рождения новой империи не оставляют сомнений в том, что рано или поздно прежние границы будут восстановлены. Прогноз Проханова категоричен: «Страны СНГ – это оторванные конечности империи, которые обречены на гниение вне имперского тела. Все они – не склеенная, бессмысленная горсть дурных пространств и разделенных народов, среди которых не приживутся большие молекулы мнимой государственности» [Проханов, 2006]. Единственное, что пока мешает «возвращению осатаневших пространств в имперские объятия», – это Америка и робость нынешней российской власти, у которой недостает воли к имперскому строительству. Впрочем, Проханов вполне сочувственно относится к тому, что правительство пока не торопится к реконструкции временно утраченных пространств: он полагает, что нужно терпеливо ждать, «когда сойдет “великий оползень” американской катастрофы, “Боинги” с арабскими террористами покажутся невинными ласточками в сравнении с лежащими на Америку смерчами» [там же].

Но некоторые авторы мечтают и о территориальной экспансии, выходящей за пределы исторических границ Российской империи. Пример тому – концепция «последнего броска на Юг», выдвинутая в 1993 г. В. Жириновским. Предложение осуществить «спасительную миссию», окрашенное ярким образом «удовлетворенного своей великой миротворящей миссией» русского солдата,

омывающего «запылившиеся потрепанные сапоги» в Индийском океане, аргументировалось целым пакетом доводов. Экспансия на Юг – это и превентивная геополитическая мера, направленная на недопущение «броска с Юга на Север», и спасение человечества от новой войны, и решение «задачи спасения русской нации от гибели из-за внутренних распрей» [Жириновский, 1992]. Хотя в дальнейшем лидер одной из старейших парламентских партий перестал публично пропагандировать свой план, идея «броска на Юг» остается в его идеологическом арсенале. Так, в книге, изданной в 2006 г., Жириновский рассуждает о том, что «русская нация заслужила, чтобы жить в приличных условиях», и поэтому «можно сосредоточить основную массу населения на Юге: южные регионы России, бывший Казахстан, Талды-Курган, Верный, Фрунзе, Душанбе и дальше в сторону Индийского океана, Закавказье, Северный Кавказ, Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, Черное море, Каспийское море. Восстановить Аральское море. И еще: Индийский океан. Очень много регионов, пригодных для проживания, и население будет постепенно перемешано. Русский язык автоматически станет господствующим... Такой я вижу перспективу для развития Российского государства», – заключает Жириновский [Жириновский, 2006, с. 170–171].

Впрочем, мечты об «Индийском океане» не снимают с повестки дня более насущную проблему «пагубного и нелепого» «разъединения России на отдельные территории» (эта фраза, взятая из той же работы, относится к распаду СССР, точнее – к отделению от России республик с преобладанием славянского населения). Возглавляемая Жириновским ЛДПР выступает «за воссоединение оторванных от России территорий на первых порах в тех формах, в каких это сочтут целесообразным сами народы» [там же, с. 201]. (Оговорка «на первых порах» – щедрый жест, если вспомнить, что для России в ее нынешних границах предлагается унитарное государственное устройство с «более оптимальным соотношением административно-территориального и национально-территориального подходов в государственном строительстве» при постепенном переходе к «губернизации» [ЛДПР, 2007, с. 10–11].) Однако особым пунктом в этой программе является реинтеграция «славянских» республик, интерпретируемая Жириновским как «восстановление единства» общерусской народности. «Пусть никто не обижается, не оскорбляется, – убеждает он. – Напротив, и украинцы, и белорусы, так же как и русские, должны гордиться

своей принадлежностью к единой великой общерусской народности» [Жириновский, 2006, с. 188].

Не все из рассматриваемых здесь авторов стремятся открыто ставить вопрос о территориальных границах будущей империи. Для многих из них главным является восстановление «величия» России, территориальные же границы видятся как производное от этого обстоятельства. По словам М. Юрьева, «если... заложен вектор развития, если намечены цели, то в известных пределах такое развитие наверняка будет сопровождаться расширением пространства контроля» [Юрьев, 2007б, с. 170]. (Впрочем, если принимать во внимание планы Юрьева относительно России как «пятой мировой державы», «к которой отойдет вся Европа», его территориальные аппетиты трудно назвать умеренными.)

Варируется и роль «националистической» составляющей проектов, отнесенных к данному кластеру. Все они отводят русским особую роль в имперском строительстве (отдавая при этом риторическую дань теме «равноправия народов»). Однако не все ставят проблему «возрождения» «униженного и оскорбленного» русского народа во главу угла. И в этом смысле есть существенное различие между концепциями Проханова и Жириновского, с одной стороны, и Дугина и Юрьева – с другой. Последние аргументируют свои проекты скорее геополитическими и традиционалистскими соображениями, нежели заботой о благе сообщества, определяемого как «русские».

Особого рода имперский проект мы находим у В. Алксниса, который признает, что сегодня в России протекает «болезненный и противоречивый процесс преобразования империи в национальное русское государство». То обстоятельство, что власть и политическая элита не осознают этого, ставит, по его мнению, Россию на грань русской национально-освободительной революции. Однако Алкснис убежден, что «пройдет некоторый промежуток времени, и великий русский народ, пройдя через этап “русской России”, возродившись и набрав силы, вновь пойдет “встречь солнцу”...». Таким образом, новая империя, интегрирующая бывшие народы Российской и Советской империй, – впереди [Алкснис, 2006].

Чтобы дать полное представление об интерпретациях темы империи, представленных в данном сегменте публичного дискурса, важно отметить, что современный русский национализм предлагает и «*постимперские*» проекты, в которых империя рассматривается как исторический опыт и как наследие, отталкиваясь от которого, пора двигаться дальше. Их авторы более критично отно-

сятся к имперскому прошлому. Так, по мнению В. Соловья и Т. Соловей, «имперское государство существовало и развивалось исключительно за счет эксплуатации русских этнических ресурсов» [Соловей, Соловей, 2006, с. 35]. Парадокс заключается в том, что идеологи и вожди русского национализма вплоть до недавнего времени стремились к сохранению империи. Таким образом, имеет место «игра с нулевой суммой: империя могла существовать только за счет эксплуатации русской этнической субстанции, русские могли получить свободу для национального развития, лишь пожертвовав империей» [там же, с. 38]. Но крах Советской империи создает уникальные шансы для реализации проекта русского национального государства. С точки зрения авторов, реанимация империи абсолютно невозможна: в ходе советской истории произошла «безвозвратная деактуализация русского мессианского мифа», а постсоветский опыт делает невозможным «не только восстановление СССР – все менее приемлемыми для массового сознания выглядят любые масштабные интеграционные проекты» [там же, с. 38]<sup>1</sup>. Чтобы оценить степень радикализма этого проекта, стоит добавить, что для В. Соловья «русские – это те, в чьих венах течет русская кровь» [цит. по: Севастьянов, 2007]. Неудивительно, что у «имперцев», среди которых «слишком много нерусских и полукровок», Соловей предполагает наличие особой мотивации: «Иностранцам и полукровкам нужен имперский горизонт, потому что им было бы некомфортно жить в Русском национальном государстве. Но почему русские должны жертвовать остатками своего народа и своих сил, чтобы армяне и евреи испытывали чувство “глубокого удовлетворения”?» [Соловей, 2007, с. 203]. Впрочем, не все идеологи русского национализма придерживаются такого подхода. Многие в этом лагере разделяют тезис М. Ремизова о том, что «состоятельность проекта русской нации будет в существенной мере зависеть от того, удастся ли преодолеть этот «расистский заговор», избрав родной язык в качестве главного носителя идентичности» [Ремизов, 2011].

Обратим внимание, что и в случае «постимперского» национализма понимание империи опирается на те же критерии многокомпонентности и наличия мессианской идеи. Однако сторонники

---

<sup>1</sup> В другом своем тексте В. Соловей допускает, что «может быть, в очень отдаленном будущем, лет этак через сто, вопрос о Российской империи и вернется снова в повестку дня», однако такую перспективу он считает слишком гипотетической [Соловей, 2007, с. 204].

«постимперского» проекта иначе, чем «имперцы», оценивают эмпирическое соответствие современной России этим критериям.

Укажем на еще одно обстоятельство. «Имперцы» гораздо больше связаны риторикой «равенства народов», нежели те, кто, как В. Соловей, предлагает строить «государство русского народа». Хотя это государство Соловей и называет «демократическим и либеральным», его представления о демократии сводятся исключительно к тезису о «власти большинства» [Соловей, 2007, с. 206]. «Права меньшинства», точнее, меры по смягчению его «отрицательной реакции» на полное «гражданское равноправие», исключают какие-либо «преференции», в его понимании, ограничиваются заботой о создании «эффективных карьерных лифтов» для этнических элит. В. Соловей утверждает, что реализация его проекта невозможна при власти нынешней элиты, которая «откровенно враждебна интересам русского народа», и полагает, что Россию ждет «революция низкой эффективности». При этом он вполне допускает, что в результате грядущей смуты «в самом неблагоприятном случае Россия сохранится как единое государство только в пределах ее европейской части» [там же, с. 209].

Чтобы завершить картину, добавлю, что не все русские националисты разделяют столь пессимистическую оценку геополитических перспектив. Подход, при котором в качестве «субъекта самоопределения» рассматриваются «русские» как «нация, которая объединяет всех носителей русской культуры и идентичности поверх государственных границ» [Ремизов, 2011], побуждает рассматривать существующую территорию РФ как «временный вариант». По словам М. Ремизова, «не будучи тождественна существующему государству (хотя бы в силу своей разделенности), эта нация может относиться к нему как к государству-плацдарму (каковым оказалась та же ФРГ для немцев во время «холодной войны»), государству-убежищу (каковым является для разбросанных по миру евреев Израиль)» [там же]. Таким образом, «постимперский» национализм тоже не чужд идеи расширения государственных границ, но в ареале «русского мира».

Наконец, имеют место и «постимперские» националистические проекты «государственнического» типа, ориентированные на мобилизацию «нации» на основе идеи «единства страны». Они могут строиться на весьма агрессивной риторике, проводящей резкую границу между Своими и Чужими по принципу определенным образом понимаемого патриотизма. Примером могут служить рассуждения С. Черняховского, который, отталкиваясь от

казалось бы «включающего» определения нации («моя нация – это те, кто вне зависимости от своей принадлежности к тем или иным племенам, этносам и народностям принимает на себя миссию создания нашего национального государства»), переходит к откровенно «исключающим» выводам: «Тот, кто говорит, что он такого единства нации на созданной в ходе истории территории государства строить не хочет, этому препятствует и часть территории моей страны хочет тем или иным способом выделить, отсоединить, кому-то отдать – есть некая иная нация. Но права на территорию моей нации – она не имеет. Она может покинуть эту территорию, может быть с нее выселена. Может быть моей нацией уничтожена в ходе защиты целостности моей страны...» [Черняховский, 2011]. Для проектов такого рода наследие империи – скорее данность, выносимая за скобки: принимая за точку отсчета «нулевой вариант» наличного государства<sup>1</sup>, они ориентированы на конструирование макрополитического сообщества с помощью доступных приемов мобилизации (в рамках которых вполне могут *инструментально* использоваться ссылки на имперское прошлое).

Таким образом, разброс позиций, объединенных нами в данный кластер, весьма значителен: если на одном полюсе мы обнаруживаем тех, для кого «имперская» составляющая их программы важнее «националистической», то на другом – сторонников национального русского государства, готовых отказаться от имперских амбиций. Тем не менее есть основания утверждать, что тексты, рассмотренные в данном разделе, составляют общее дискурсивное пространство: хотя в них обнаруживаются диаметрально разные точки зрения относительно того, как перспективы «возрождения русской нации» связаны с перспективами «империи», их авторы говорят на одном языке, оперируют сходными мировоззренческими и когнитивными схемами и таким образом с некоторыми вариациями воспроизводят примерно одинаковый способ интерпретации социальной действительности.

---

<sup>1</sup> Черняховский полагает, что задача националистов – «обеспечить существование такой экономики и такого производства, которые выживут и обеспечат достойное существование своей нации, даже если остальной мир по всем ее границам установит такие заслоны, которые на полвека оставляли бы мою нацию в экономической блокаде. Правда, другое дело, что национализм должен обеспечить существование такой армии, которая обеспечит снятие этих заслонов не слишком заметив их существование» [там же]. Об экспансии в данном случае речи не идет.

## Тема империи в либеральном дискурсе

Совсем иначе тема империи обсуждается представителями либерального лагеря. Здесь также можно обнаружить и сторонников, и противников имперского будущего России. Как известно, в 2003–2004 гг. имела место дискуссия по поводу проекта «либеральной империи», вброшенного одним из лидеров «Союза правых сил» А. Чубайсом на старте избирательной кампании в Государственную думу в сентябре 2003 г. [Чубайс, 2003]. В декабре 2004 г. обновленную версию этого проекта представил в московском офисе информационного агентства «Росбалт» Л. Гозман [Гозман, 2004]. Однако в официальные документы «СПС» идея «России как либеральной империи» не вошла<sup>1</sup>.

Нетрудно заметить, что авторы проекта «либеральной империи» вкладывают в данное понятие специфическое содержание. Для А. Чубайса и Л. Гозмана империя – это *влияние на международной арене, точнее – способность подчинять своему влиянию другие государства без утраты ими самостоятельного государственного статуса*. Речь Чубайса «Россия как либеральная империя», произнесенная в его родном Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете по случаю инаугурации в качестве почетного профессора, была проникнута ностальгией по утраченному «уникальному российскому лидерству», существовавшему в XX в. Лидер «СПС» вспоминал об «империи беспрецедентного масштаба», раскинувшейся «от Китая до Финляндии, от Вьетнама до Кубы, от Индии до Эфиопии» [Чубайс, 2003]. Описание имперских владений, «над которыми действительно никогда не заходило солнце», красноречиво свидетельствует о том, что лидер СПС видит критерий имперскости Советского Союза не в его многосоставности, а в способности распространить свое влияние на значительную часть территории земного шара. Л. Гозман, в свою очередь, также с гордостью констатировал, что «бесконечный бой во имя

---

<sup>1</sup> Подготовленный летом 2006 г. проект программы «СПС», названный «Горизонт-2017. Вернуть России будущее», не содержит упоминаний о «либеральной империи», не вошли в него и амбициозные тезисы проекта Чубайса – Гозмана о возрождении статуса великой державы в новом качестве. Программа выступает «за Россию, являющуюся полноправным участником всех мировых политических, военных, экономических союзов демократических стран, разделяющих ценности свободы» и ставит во главу угла «не абстрактное “величие” России, а интересы конкретных россиян» [Горизонт-2017, 2006].

добра и справедливости в XX столетии стимулировался “топливом”, которое в топку подбрасывали и мы, и наши оппоненты» [Гозман, 2004]. Имперскость, в понимании лидеров «СПС», – это прежде всего статус «великой державы», который хотелось бы сохранить, это способность нести «ответственность за то, что происходит в других странах» [там же].

Вместе с тем в этой интерпретации также есть место для *универсальной объединяющей идеи или некоего глобального проекта*, который, впрочем, еще нужно изобрести. Как признавал Чубайс, та модель ценностей, которую Россия несла миру в XX в., провалилась вместе с ее идеологией и экономикой, и «наверно мы были обречены на это поражение, потому что сами ценности были ложными». Однако за прошедшее десятилетие Россия, по его мнению, вполне успешно осваивает «правые», либеральные ценности. Именно они и должны стать основой нового проекта, который даст нашей стране возможность *объединиться на равных с другими либеральными и демократическими великими державами* [Чубайс, 2003].

Практическая часть проекта либеральной империи сводилась к двум тезисам. Во-первых, Россия должна сохранить за собой «естественное» лидерство на пространстве СНГ, для этого «российское государство всеми способами должно содействовать экспансии российского бизнеса за пределы государства – к нашим соседям». Во-вторых, Российское государство «должно напрямую законными методами делать все, чтобы поддержать базовые ценности свободы и демократии не только в России, но и во всех государствах-соседях» [там же]. Причем обе задачи – часть общего проекта встраивания в «новый формирующийся мир XXI века», где «будут США, на сегодня самая крупная империя в мире, новая объединившаяся Европа... Япония»; Россия должна «не просто занять место в этой цепочке, а замкнуть это кольцо великих демократий XXI века» [там же]<sup>1</sup>. Таким образом, Чубайс и Гозман видят Россию как империю в ряду других империй; однако в отличие от «имперских националистов» они не формулируют альтернативу по принципу «стать империей или погибнуть» и пытаются предложить миссию, опирающуюся не на консервативно-традиционалист-

---

<sup>1</sup> Ср. интерпретацию Гозмана, согласно которой Россия должна замкнуть «северное цивилизационное кольцо» и наравне с Западной Европой, США и Японией нести ответственность за происходящее на планете [Гозман, 2004].

ские, а на «правые» ценности частной собственности и свободы. При этом они используют понятие «империя» в нестрогом, скорее метафорическом смысле<sup>1</sup>.

Эта попытка нарушить монополию «патриотического лагеря» на использование символа «империи» не осталась незамеченной. Если собрать по либеральному лагерю критиковали лозунг «либеральной империи» за недостаток реализма, высказывая сомнения в привлекательности российского варианта имитационной демократии на постсоветском пространстве, то авторы альтернативных имперских проектов утверждали, что Чубайс и его единомышленники плохо понимают, что такое империя. По словам М. Юрьева, «либеральная империя – это “деревянное железо”», попытка совместить несовместимое. Ибо империя, согласно интерпретации Юрьева, предполагает растворение индивидуальных целей в общих, тогда как в либерализме «все общезначимое имеет сугубо подчиненное значение» [Юрьев, 2007б, с. 172]. А председатель Партии развития Ю. Крупнов утверждал, что Россию следует называть не империей, а «мировой державой», «поскольку в отличие от либеральной империи мировая держава является государственностью, которая не колонизирует, подчиняет и повелевает, а ставит перед собой и человечеством мировые проблемы и образцово-показательно решает их на собственной территории, организуя, тем самым, мировое развитие» [Крупнов, 2005]<sup>2</sup>. Критики не преминули указать и на то, что доктрина «либеральной империи» «меняет идеологию российских либералов (какими мы их знаем по их декларациям) если и не на 180, то на 150 градусов» [Третьяков, 2003]. Защищая сложившиеся идеологические границы, В. Третьяков особо подчеркивал, что «никакой новой идеологии в докладе

---

<sup>1</sup> Это признавали и сами авторы проекта. В 2004 г. Гозман даже не настаивал на первоначальном термине, предпочитая говорить про «либеральный империализм»: «Это тоже метафора, – уточнял он, – но она ближе к реальности. Она не провоцирует вопросов типа “а кто будет императором?”» [Гозман, 2004].

<sup>2</sup> В интерпретации Крупнова, либеральный империализм – чуждая России идея, ибо он связан с переносом западной, прежде всего британской и американской, практики. Реализация этого проекта, по его словам, будет «означать свершившуюся западнизацию и американизацию – т.е. окончательный слом российской уникальности и идентичности». По мысли Крупнова, «исторически империализм не является российской идеей... В России государственность нужна не для власти... а для организации жизни населяющих Россию народов на принципе Христа, принципе личности. Поэтому органичной для России является форма державы, а не империи» [там же].

Чубайса не сформулировано. Эта идеология, ранее отвергаемая СПС, уже давно разработана и отстаивается другими политическими силами и теоретически, и практически» [там же].

«Эксперимент» Чубайса не был поддержан его единомышленниками (хотя в 2006 г. его попытался повторить Михаил Касьянов – с менее шумным пропагандистским эффектом [Касьянов, 2006]). В целом в либеральном лагере преобладают «постимперские» подходы: большинство его представителей скептически относятся к идее возвращения России к состоянию «империи». Либералы исходят из того, что «эпоха империй ушла в прошлое» [Гайдар, 2006, с. 7], а переход от империи к нациям-государствам «скорее всего, носит универсальный характер» [Паин, 2004, с. 17]<sup>1</sup>. И оценивают современное состояние как переходное. По определению Е.А. Ясина, в 1989–1993 гг. Россия пережила не только политическую и экономическую, но и национальную революцию – «переход от империи, сохранение которой требовало насилия и возрастающих издержек и было несовместимо с либеральной демократией, к национальному государству»; однако вопрос о том, «каким будет национальное государство», еще не решен [Ясин, 2007, с. 12–13].

Для большинства либеральных авторов, разделяющих «постимперский» подход, определяющими характеристиками империи являются наличие *иерархических отношений между Центром и Периферией (метрополией и колониями)*, а также *насильственное удержание территории*<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Полностью тезис звучит так: «Переход от вненационального развития в империях к гражданской нации, скорее всего, носит универсальный характер, однако траектория этого движения может быть разной» [там же]. Близкую точку зрения высказывал и Е. Ясин: империи – неустойчивые государственные образования, «даже если история некоторых из них насчитывает несколько столетий», – утверждает он [Ясин, 2007, с. 8].

<sup>2</sup> Е. Гайдар определяет империю как «мощное полиэтничное государственное образование, в котором властные полномочия сосредоточены в метрополии, а демократические институты (если они существуют) – либо, по меньшей мере, избирательное право – не распространяются на всю подконтрольную ей территорию» [Гайдар, 2006, с. 8]. Сходный вариант определения предлагает и Е. Ясин: империя – это «государство, в котором один народ (государствообразующий) устанавливает господство или доминирование над другим или многими другими народами, обычно с присоединением территорий их расселения, и удерживает их под своей властью силой или угрозой силы» [Ясин, 2007, с. 7]. Э.А. Паин также выделяет в числе специфических признаков империи иерархичность взаимоотношений между Центром и Периферией, насильственный характер

Вместе с тем некоторые авторы в качестве основного признака империи выделяют *автократический способ интеграции территорий и общества «сверху»*, при котором подданные оказываются бесправными вне зависимости от того, проживают ли они в Центре или на Периферии<sup>1</sup>. В этом смысле противоположностью империи является нация-государство (*nation-state*). В эту оппозицию российские либералы вкладывают особенное содержание. В их понимании империя – это надобщественный режим, удерживающий общество сверху, силовым давлением. По мысли А. Кара-Мурзы, империя «объединяет людей через службу себе» [Кара-Мурза А.А., 1995, с. 96]. Нация же интерпретируется как принципиально иная форма организации не только власти, но и сообщества (при этом «нация» фактически рассматривается как синоним *nation-state* и нагружается множеством смыслов, связанных с идеей перехода от традиционного общества к современному). Согласно определению И. Яковенко, «нация – этап развития этноса, характеризующийся массовым становлением автономной личности, секуляризацией сознания и культуры» [Яковенко, 1996, с. 118]. По мнению А. Кара-Мурзы, «нация в отличие от империи формируется в той мере, в какой в универсализирующем плавильном котле участвует уже не имперское государство, а гражданское общество» [Кара-Мурза А.А., 1995, с. 96]. Иными словами, нация возникает по мере развития комбинации гражданского общества (как «сцепления каждого с каждым») и демократического государства (как механизма реализации общественных интересов). Таким образом, появление гражданской нации – важный элемент либерального проекта. Причем слово «гражданская» в этом словосочетании приобретает двойной смысл: оно указывает и на участие гражданского общества в «универсализирующем плавильном котле», и на

---

удержания окраин и наличие особого источника государственного суверенитета в лице императора (повелителя, в качестве которого могут выступать различные акторы – наследственные монархи, диктаторы-вожди, олигархические группы и др.) [Паин, 2007б, с. 104].

<sup>1</sup> Согласно концепции Э. Паина, «главным признаком империи является тип государственного устройства, основанный на принципах авторитарной самодержавной власти. Не всякое государство, ведущее экспансионистскую политику и владеющее колониями, называют империей». Конечно, колониализм и экспансионизм не случайно связаны с имперским типом государственного устройства, они чаще всего и побуждают к большей концентрации власти, вплоть до ее сосредоточения в одних руках, однако именно самодержавная власть и генетически, и функционально является стержнем имперской политики» [Паин, 2004, с. 12, 13].

предпочтительность «гражданской модели» перед этнической (с учетом многосоставного характера государства). Характерной особенностью данной интерпретации является жесткое противопоставление не только идеально-типических конструкций империи и нации-государства, но и исторических феноменов империи и нации<sup>1</sup>. Замечу, что последнее не вполне корректно: во-первых, существовало и существует множество политий, обладающих признаками обоих идеальных типов, а во-вторых, практически все современные крупные нации рождались в ядрах вполне процветающих империй; причем процесс консолидации национальных государств в Западной Европе не предшествовал, а сопутствовал рождению колониальных империй.

Хотя интеллектуалы из либерального лагеря и признают позитивные аспекты наследия империи (конструктивную роль интернациональной русской культуры; формирование надэтнических институтов, которые способствуют развитию в сторону гражданской нации; технологический прогресс колоний и др.), основное их внимание сосредоточено на негативных последствиях «(пост) имперского синдрома» и способах его преодоления. В заигрывании российских политиков с идеей «империи» большинство либералов видят опасную тенденцию<sup>2</sup>. Истоки популярности этой идеи оцениваются по-разному. По мнению Е. Гайдара, всему виной популизм части отечественных политиков: «Концепция империи как государства мощного, доминирующего над другими народами, – продукт, продать который так же легко, как кока-колу или памперсы» [Гайдар, 2006, с. 9, 13]. Проблема в том, что ностальгия по империи – это «политическое ядерное оружие», которым не следует пользоваться. В своей книге «Гибель империи. Уроки для со-

---

<sup>1</sup> По словам И.Г. Яковенко, «нация выступает как историческая и сущностная альтернатива империи. А потому империя отрицает и подавляет нацию, тормозит процессы национального становления» [Яковенко, 2007, с. 56]. Представление об оппозиции империи и нации подробно обосновывает и Э.А. Паин [Паин, 2007а, с. 45].

<sup>2</sup> Несмотря на то что большинство представителей либерального лагеря исходят из того, что век империй прошел, некоторые из них полагают, что возрождение империи «в новом этнократическом, расистском обличии» – не химера. По словам Э. Паина, «такая империя может просуществовать достаточно долго для того, чтобы сильно проредить и без того не густые побеги российских демократических сил; безвозвратно погубить традиции межэтнического общежития в стране; стать опасной для мирового сообщества. Вместе с тем в масштабе исторического времени она, разумеется, обречена на быструю гибель» [Паин, 2007б, с. 118].

временной России» Гайдар проводит тревожные аналогии «между риторикой людей, использующих постимперскую ностальгию в нашей стране, и стандартами пропаганды национал-социалистов в последние годы существования Веймарской Германии» [там же, с. 15]. С точки зрения А. Адамишина, «имперский синдром» стимулируется авторитарными склонностями российской власти, которые, к сожалению, отвечают имманентным особенностям нашего общественного сознания [Адамишин, 2007, с. 139–140]. Негативно в этой связи оценивается и деятельность русских националистов. По мнению Е. Ясина, если «этнический национализм, близкий к консерватизму и традиционализму» и «может играть некую позитивную роль», способствуя сохранению культурной самобытности, то «творческий потенциал имперского национализма более чем сомнителен» [Ясин, 2007, с. 20].

Для большинства либералов желательным представляется сценарий формирования «гражданской» российской нации, реализация которого, как им представляется, пока остается под вопросом. По мнению Э. Паина, «в России гражданская нация пока не сложилась ни на культурно-ценностном, ни на институциональном уровне. Пока не проявился даже базовый, отправной фактор такого развития – устойчивое преобладание общероссийской гражданской идентичности населения по сравнению с этнической, региональной, конфессиональной и т.п.» [Паин, 2004, с. 18; ср. Ясин, 2007, с. 15–16]. Формированию «гражданской» нации препятствует «языковая традиция, в которой закреплено отождествление этничности и нации», слабость гражданского общества, а также устойчивая конкуренция различных моделей этнического национализма, «основанных как на идеях превосходства одного “государствообразующего народа” над другим, так и на идеях этнического сепаратизма», создающая эффект «этнополитического маятника» [Паин, 2004, с. 18–19].

Впрочем, есть и другая точка зрения на перспективу формирования гражданской нации. Она настойчиво утверждается В. Тишковым, по мнению которого, «российская нация – это, безусловно, состоявшийся проект, оформленный государственностью Российской Федерации и определяющийся историко-культурной и социально-политической общностью населения страны» [Тишков, 2005]. Проблема в значительной степени заключается в том, как нас приучили это называть. По мнению Тишкова, нациестроительство – «это прежде всего практика утверждения понятия, отражающего и стимулирующего общие черты и ценности, включая

гражданский национализм или российский патриотизм, без которого не может обойтись государство» [там же]. В России же благодаря наследию советской политики и идеологии понятие нации смешивается с понятием этнических групп<sup>1</sup>. И в этом смысле «рассуждения о «формировании российской гражданской нации» или о провале этого проекта – «все это один тип мышления, полагающий, что необходимо формирование некоего нового тела для новой нации из материала других наций» [там же]. Нужна целенаправленная политика утверждения понятия российской нации, которая, как считает Тишков, во вполне обозримой перспективе способна принести результаты, приведя восприятие многоуровневой системы идентичностей в соответствие с реальной степенью культурно-исторической и политической общности, которая в России ничем не уступает ситуации, наблюдаемой в «беспорных» государствах-нациях.

### **«Постимперские» смыслы в дискурсах российской власти**

Таким образом, тема «империи» активно обсуждается не только на национально-патриотическом, но и на либеральном фланге российского политического спектра. Сложнее охарактеризовать то, что имеет место в «центре», точнее – в риторике политиков, выступающих от имени государства, и в дискурсе идеологов, разрабатывающих различные варианты официальной символической политики. Хотя ни В.В. Путин, ни Д.А. Медведев прямо не апеллировали к термину «империя» для легитимации своего политического курса, нельзя не заметить, что многие из используемых ими аргументов перекликаются с идеями, обнаруженными нами в текстах как сторонников, так и противников империи на обоих «флангах». Не претендуя на исчерпывающий анализ риторики Путина и Медведева<sup>2</sup>, ограничусь лишь несколькими примерами, взятыми из ежегодных посланий президента Федеральному Собранию, дополнив их наблюдениями по поводу доку-

---

<sup>1</sup> Само понятие «этнические группы» потребовалось заново внедрять в общественно-политическую лексику, к чему академик РАН В.А. Тишков, директор Института этнологии, приложил немало усилий.

<sup>2</sup> «Имперская» тема в официальной символической политике 2000–2011 гг., разумеется, не исчерпывалась использованием выделенных выше представлений для обоснования тех или иных политических целей. Изменения в «исторической политике», о которых шла речь в двух предыдущих главах, также немало способствовали «реабилитации» идеи империи в общественном сознании.

ментов партии «Единая Россия» и выступлений идеологов кремлевской администрации. Еще раз подчеркну, что в данном случае было бы большим преувеличением говорить о развитии *темы империи*. Скорее речь должна идти об анализе смыслов, которые вне зависимости от намерений говорящих вызывают аналогии с рассмотренными выше интерпретациями символа «империи» – и прочитываются заинтересованными комментаторами как знак поддержки той или иной позиции (не в последнюю очередь – благодаря обтекаемости формулировок комментируемых текстов).

Одна из центральных тем всех путинских посланий – *тезис о государственной самостоятельности* России и о наличии у нее воли самой, не оглядываясь на критику Запада, определять направление собственного развития, – перекликается с уже знакомой нам консервативно-почвеннической идеей об «имперском сознании» как признаке зрелости нации. Как говорилось в послании 2005 г., «Россия – это страна, которая выбрала для себя демократию волей собственного народа. Она сама встала на этот путь и, соблюдая все общепринятые демократические нормы, сама будет решать, каким образом – с учетом своей исторической, геополитической и иной специфики – можно обеспечить реализацию принципов свободы и демократии» [Путин, 2005]. У Путина этот тезис не доводится до принципиального антизападничества – напротив, президент неизменно подчеркивает, что Россия – европейская страна, которая стремится быть на равных интегрированной в мировые структуры. В 2000 г., в самом первом своем послании, он говорил о том, что выбор между опорой на чужие советы, помощь и кредиты или сохранением самобытности – это выбор слабого. «Единственным же для России реальным выбором может быть выбор сильной страны... Сильной – не вопреки мировому сообществу, не против других сильных государств, а вместе с ними» [Путин, 2000]. Тезис о самостоятельности демократического выбора России использовался как аргумент против критики Запада, прежде всего – против упреков в авторитаризме.

Нетрудно увидеть связь между путинской формулировкой тезиса о сильной и *самостоятельной* России и доктриной «суверенной демократии», первый набросок которой был представлен в статье заместителя руководителя Администрации Президента РФ В. Суркова «Национализация будущего», опубликованной в ноябре 2006 г. в журнале «Эксперт» (более подробный анализ дискуссии о «суверенной демократии» см. в главе 13). В формулировках Суркова идея суверенности / самостоятельности обретает новые

нюансы. В частности, он отмечал, что «политическое творчество далеко не всех наций увенчивается обретением реального суверенитета. Многие страны и не ставят перед собой такую задачу, традиционно существуя под покровительством иных народов и периодически меняя покровителей». И далее пояснял: «Размножение развлекательных “революций” и управляемых (извне) демократий, кажущееся искусственным, на самом деле вполне естественно среди таких стран» [Сурков, 2006а, с. 43]. Таким образом, демократии могут быть как «суверенными» (а значит – следовать по собственному пути), так и «несуверенными», втягиваемыми в орбиту того или иного центра. В таком случае, можно предположить борьбу разных центров за влияние на «несуверенные нации». Впрочем, именно против таких притязаний Сурков и предлагает решительно бороться: «Сохраняя демократический порядок (целостность многообразия) в нашей стране, – пишет он, – ее граждане способны ради защиты собственных прав и доходов участвовать в поддержании баланса многообразия в мире. Навсегда расставшись с гегемонистскими претензиями, не дать обзавестись ими кому бы то ни было» [там же, с. 31].

Еще одну вариацию на тему *самостоятельности* можно обнаружить у другого идеолога, лояльного кремлевской администрации, – главного редактора «Московских новостей» В. Третьякова. В опубликованной весной 2007 г. серии статей, озаглавленной «Заметки о Евросоюзах», он развивал тезис о неприемлемости асимметричных отношений между «двумя субъектами мировой и собственно европейской политики, входящими в единую цивилизацию» – «тем, что мы сегодня называем Евросоюзом» (исторически – Евросоюз-2) и Россией (исторически – под названием СССР, Евросоюз-1)». В отличие от Евросоюза Россия в последние 16 лет ни разу не заявляла, что готова включить в свой состав какие-либо другие народы и территории (хотя желающие были) [Третьяков, 2007а, с. 3]. Но главное – асимметричность заключается в том, что Евросоюз, не ограничиваясь территориальной экспансией, «создавал вокруг себя... свое субцивилизационное поле», в которое в 1990-х годах попала и Россия, добровольно вступив в Совет Европы и др. организации. Для исправления этой асимметричности главный редактор «Московских новостей» предлагал России выйти из так называемых европейских институтов, созданных без ее участия, а в перспективе – создать «общеевропейский» парламент, одна половина которого будет избираться от ЕС, а вторая – от

России; «общеввропейское» правительство по тому же принципу и т.д. [Третьяков, 2007а, с. 24].

Таким образом, хотя в официальных речах Путина идея о *государственной самостоятельности России* не связывалась напрямую с темой имперскости, соответствующие выводы из нее отчетливо прочитываются в текстах комментаторов, позволявших себе высказываться более откровенно.

Как известно, целью проведенной Путиным серии политических реформ объявлялось создание *сильного государства*. Анализ аргументов, обосновывающих эту цель, показывает, что смыслы, вкладываемые президентом в данное понятие, хранят следы имперских архетипов. В послании 2003 г. Путин говорил: «Весь наш исторический опыт свидетельствует: такая страна, как Россия, может жить и развиваться в существующих границах, только если она является сильной державой», – и призывал сограждан для противостояния современным угрозам консолидироваться «хотя бы вокруг базовых общенациональных ценностей и задач» [Путин, 2003]. (Заметим, что было бы большой натяжкой видеть в этой формулировке указание на мессианскую «национальную идею».) «Удержание государства на обширном пространстве, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире» Путин назвал историческим подвигом России и ее граждан [там же]. Его собственная политика по усилению централизации страны (следуя формулировке послания 2005 г. – по «построению эффективного государства в существующих границах» [Путин, 2005]) в свете такой постановки вопроса оказывается частью этой долгой традиции противостояния дезинтеграции страны.

Идею «сильной центральной власти» как элемента русской политической культуры развивал и В. Сурков. Вот как он пояснял смысл проведенных Путиным политических реформ: «Стягиванию российских земель к центру, в единое целое государство, служит процедура наделения губернаторов полномочиями по представлению президента. А также административный аппарат федеральных округов. И централистские тенденции межбюджетных отношений. Собрание разрозненных политически активных групп в крупные, общенационального калибра партии обеспечивается пропорциональной моделью парламентских выборов. Запрет создавать политпартии по региональному либо религиозному, профессиональному признаку подчеркивает, что партии должны не только разделять избирателей по взглядам и убеждениям, но и объединять их вокруг общих ценностей». Поскольку эти меры соответствуют

«фундаментальным категориям и матричным структурам нашей истории», их предлагается рассматривать как элементы «специфически российской» версии демократии [Сурков, 2007б].

Неизменно в президентских посланиях уделяется внимание и отношениям на постсоветском пространстве. Корректно подчеркивая уважение к самостоятельности новых независимых государств, Путин ежегодно говорил о значимости интегративных процессов, выражал заботу о соотечественниках, высказывался в пользу стимулирования миграции и др. Вполне в духе лозунга «либеральной империи» в 2005 г. он заявлял о необходимости продолжения «цивилизаторской миссии» российской нации на евразийском континенте». По словам президента, последняя «состоит в том, чтобы демократические ценности, помноженные на национальные интересы, обогащали и укрепляли нашу историческую общность» [Путин, 2005].

Перечень смысловых параллелей между официальной риторикой и интерпретациями символа империи в общественном дискурсе можно продолжить. Однако приведенных примеров достаточно, чтобы показать, что в высказываниях президента содержалось немало фрагментов, способных подогреть энтузиазм у сторонников «имперских» проектов. При этом в них можно обнаружить смыслы, отсылающие к интерпретациям символа империи, разделяемым в разных идейных «лагерях», благодаря чему Путина с определенными оговорками записывали в свои единомышленники и национал-патриоты, и либералы.

### **Тема империи: Мозаика дискурсов**

Проделанный выше анализ показывает, что имперская риторика в том или ином виде обнаруживается практически во всех сегментах российского политического спектра. По-видимому, за имперской и постимперской риторикой представителей разных политических лагерей стоят разные мотивы: для одних она является основным стержнем программы, тогда как для других – своеобразной данью общей моде, реакцией на вопросы, вброшенные в повестку дня другими акторами. Различны и интенции говорящих: для одних участников дискурса империя – желанная цель, для других – данность, с которой приходится считаться. Не вызывает сомнений одно: комплекс проблем, поднимаемых в связи с обсуждением темы империи, действительно вызывает широкий интерес.

Стимулирует ли этот интерес появление некой дискуссионной среды, в которой возможно серьезное обсуждение проблем,

связанных с нашим «имперским наследием»? К сожалению, нет, поскольку между описанными выше дискурсами мало точек соприкосновения. Не случайно слово «империя» в российском политическом лексиконе имеет столь широкий репертуар значений. Как было показано, в каждом из сегментов публичного дискурса бытуют свои наборы интерпретаций концепта «империя». При этом все они слабо связаны с теми трактовками империи, которые можно обнаружить в работах историков, социологов и политологов. Представляется, что это не случайность: в российском публичном пространстве «империя» выступает не столько как категория для анализа реальных проблем, сколько как популярная идеологема, в которую политики разных ориентаций вкладывают «подходящее» для них содержание. В этом качестве термин оказывается удобен для мобилизации поддержки, но не для обсуждения практических вопросов.

При этом дискуссии об имперском или постимперском будущем России происходят не только «на разных языках», но и на разных аренах<sup>1</sup>, что также не способствует налаживанию коммуникации между разными сегментами «политического класса». Такое положение вещей отчасти определяется той конфигурацией публичной сферы, которая была описана в главе 5. Напомню, что для нее характерно наличие «ядра», представленного наиболее массовыми каналами коммуникации (прежде всего – телевидением), в котором доминирует официальный дискурс, и «периферии», представленной множеством дискурсивных пространств, на которых складываются «публики единомышленников», не имеющие, однако, доступа к основным каналам трансляции мнений. Происходящее в «ядре» публичной сферы комментируется в альтернативных публичных пространствах, однако отсутствие коммуникации между ними и обратной связи с официальными площадками усиливает эффект непримиримых «лагерей». К сожалению, такая структура коммуникаций способствует фрагментации «общественности», т.е. той части общества, которая готова активно и пассивно участвовать в публичном обсуждении социально значимых проблем. Таким образом, мозаике сложно сопрягающихся друг с другом публичных пространств соответствует мозаика «параллельных» дискурсов – что и наблюдается в рассмотренном нами случае темы «империи».

---

<sup>1</sup> Практика Фонда «Либеральная миссия», который систематически проводит мероприятия, призванные вовлечь в дискуссию заведомых оппонентов, – скорее исключение из общего правила.

## 12. «ДОЛГИЙ» ДИСКУРС О НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБИТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ОППОЗИЦИЯ «ЗАПАДНИЧЕСТВА» И «АНТИЗАПАДНИЧЕСТВА» В КОНЦЕ XX в.<sup>1</sup>

Споры об отношении России к Западу, о перспективах ее модернизации и возможности «особого пути» продолжают около двух столетий. Они и в начале XXI в. остаются значимым фактором структурирования политико-идеологического спектра. Дискуссии российских «западников» и «почвенников» воспроизводят вполне определенную «систему формирования высказываний»<sup>2</sup>, что дает основания рассматривать их в качестве систематически возобновляющегося дискурса, заданного темой и структурой оппозиций. Последняя определяется соперничеством двух полюсов<sup>3</sup>, трактующих Россию как тоже-Европу или не-Европу и соответствующим образом оценивающих перспективы освоения западного опыта и цели внутренней и внешней политики. Данная оппозиция, отчетливо оформившаяся в спорах западников и славянофилов в 1840–1850-х годах, то более, то менее явно воспроизводилась на протяжении большей части XIX и XX вв. В советской официальной идеологии она оказалась трансформирована, поскольку различия между СССР и Западом принято было описывать в классово-

---

<sup>1</sup> Исследование проводилось при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 06-03-02–038 а. Его результатом стала книга [Малинова, 2009а] и ряд статей.

<sup>2</sup> По М. Фуко, дискурс – это «совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе формирования» [Фуко, 2004, с. 209–210].

<sup>3</sup> Исторически эти полюса связывались с комплексами идей, которые имели разные названия. Для их описания я буду использовать слова «западничество» и «почвенничество», заключая их в кавычки (без кавычек те же термины будут обозначать классическое западничество 1840-х и почвенничество 1860-х как самостоятельные течения).

формационных категориях (тем самым историко-культурные аспекты идентичности уходили на второй план). Однако соперничество «западничества» и «почвенничества» продолжалось в среде эмиграции, в самиздате и тамиздате, а отчасти – и в официальной публичной сфере. С началом перестройки дискуссии открыто возобновились в контексте критики советского режима, а затем – постсоветских реформ. Будучи реакцией на специфические проблемы российской модернизации, оппозиция «западничества» и «почвенничества», в свою очередь, оказывала существенное влияние на ход социальных трансформаций, определяя восприятие возникающих проблем и задач.

Дискурс, заданный темой отношения России к Западу, оставил глубокий след в отечественной культуре: он был колыбелью, в которой рождалась русская философия, он заложил традиции осмысления особенностей национальной истории и культуры, он стал лабораторией, где исследовалась специфика российских социальных и политических институтов и оценивались различные варианты последующего развития, он послужил школой, воспитавшей русскую интеллигенцию, и многое другое. Но помимо всего прочего это был *дискурс о коллективной идентичности*, в котором формулировались, развивались и соперничали разные представления о том, кто есть Мы, составляющие культурное и политическое сообщество, стоящее за понятием «Россия». Именно этот аспект дискуссий о России и Западе и станет предметом моего анализа.

### **Мы в зеркале Другого: Споры о России и Европе / Западе как «долгий» дискурс о коллективной идентичности**

Понятие *идентичность* фиксирует важный элемент того, что в социологии знания называется субъективной реальностью, – социально детерминированные представления индивидов и групп о своем Я, складывающиеся в результате соотнесения с некоторыми Другими. Идентичность определяется не только «объективно» существующими сходствами и различиями, но прежде всего – тем, какой им придается смысл: лишь некоторые из различий, причем в определенных контекстах, воспринимаются как *значимые* и становятся демаркационными линиями, разделяющими Нас и Других. По мысли П. Бергера и Т. Лукмана, «теории идентичности» не только отражают реальность, но и в известном смысле порождают ее, обеспечивая систему координат, внутри которой обретаются и изменяются соот-

ветствующие представления индивидов [Бергер, Лукман, 1995, с. 281]. Под «теориями идентичности» основоположники социального конструктивизма понимали не столько специально разработанные концепции, сколько устоявшиеся модели мышления, приписывающие то или иное значение сходствам и различиям. Важно подчеркнуть, что дискурсивное конструирование идентичностей происходит в контексте отношений власти, господства и доминирования: способы интерпретации различий задаются и поддерживаются государственной политикой категоризации индивидов, медийными дискурсами, системой образования, литературой, кинематографом, повседневными социальными практиками и др. Таким образом, доминирование тех или иных «теорий идентичности» обусловлено не только соотношением интеллектуальных достоинств соперничающих концепций, но и тем, каким образом они артикулируются и распространяются и в какой мере резонируют с общественными настроениями в меняющемся контексте.

Дискурсы об идентичности предполагают, с одной стороны, осмысление различий между Нами и Другими в качестве *границ*, разделяющих группы, а с другой – утверждение внутригруппового сходства как основы *общности*. Как писал норвежский исследователь И. Нойманн, «идентичность пребывает не в неотъемлемых и легко определяемых культурных атрибутах, а в отношениях, и решающий вопрос – где и как пролегает граница с Другими» [Neumann, 1996, р. 1]. При этом представления о конкретных Других играют разную роль в (само)определении данного Мы. Есть Другие, которые систематически оказываются в фокусе внимания и выполняют функцию своеобразного зеркала – Значимого Другого, по отношению к которому (через различие или уподобление) выстраивается образ Нас. Исторически, по крайней мере с XVIII в., Европа / Запад были Значимым Другим, по отношению к которому определялась и переопределялась русская / советская / российская идентичность<sup>1</sup>. Разу-

---

<sup>1</sup> Строго говоря, позиционирование происходило в системе координат «Запад – Восток», «Европа – Азия». Таким образом, формула соотношения всегда подразумевала третий элемент – «Азия – Восток». Однако главным предметом споров была возможность идентификации с Европой / Западом и приемлемость для России западной модернизации. Лишь в конце XX в. отдельные страны Востока начинают рассматриваться в качестве образцов успешного развития. В XIX в. и «западники», и «почвенники» рассматривали «Азию» как воплощение «отсталости» и не отождествляли с нею Россию. Евразийцы первыми предприняли серьезную попытку развернуть систему координат в сторону Востока, введя в формулу российской «цивилизационной идентичности» «азиатский» элемент.

меется, в этой роли выступала *не только* Европа; однако *данная* оппозиция была чрезвычайно устойчивой и важной, и на то был ряд причин – геополитических, исторических, экономических, культурных.

Таким образом, мы имеем дело с долгой традицией воображения сообщества, стоящего за понятием «Россия», через соотнесение с Европой / Западом. Является ли это достаточным основанием, чтобы рассматривать огромный массив текстов, интерпретирующих Наши различия и сходства с этим Значимым Другим как *долгий* дискурс? В какой мере вообще понятие *longue durée* применимо к интеллектуальной истории? Пионер изучения истории долгих периодов Ф. Бродель считал такой подход возможным. Он писал: «Некоторые структуры, в силу того, что они живут долго, становятся неизменными элементами для неопределенного числа поколений: они вмешиваются в ход истории, задерживают его течение и придают ему форму». В числе таких структур Бродель указывал не только «географические границы», «биологические реалии» и «ограничения производительности», но и «особые духовные ограничения», ибо «ментальные структуры тоже могут становиться темницами *longue durée*» [Braudel, 1980, р. 31]. Если такой подход правомерен, то споры российских «западников» и «почвенников», возобновлявшиеся представителями разных поколений, можно рассматривать в качестве примера *длящегося дискурса*. Впрочем, воспроизводство бинарной оппозиции само по себе не означает, что дискурс остается «тем же самым». Для того чтобы понимать, в каком смысле он продолжался и как менялся, необходимо учитывать эволюцию каждого из полюсов оппозиции и динамику их взаимодействия в менявшемся контексте. В настоящей главе я попытаюсь, проанализировав дискуссии «западников» и «антизападников» 1990-х годов, выявить особенности рассматриваемого «долгого» дискурса в условиях постсоветской трансформации.

В этой главе речь идет о «коллективной идентичности», поскольку вопрос о способах воображения сообщества, равно как и о его границах, приходится решать применительно к каждому конкретному тексту и контексту. Долгий дискурс о России и Европе / Западе представляет собой совокупность не всегда отчетливо разделяемых, а порой и сознательно смешиваемых высказываний о сообществе, которое в зависимости от контекста и намерений высказывающегося определяется в национальных, цивилизационных, этнокультурных, религиозных, формационных или геополитиче-

ских категориях. Причем высказывания, идентифицирующие Нас по столь разным основаниям, опираются на *общий* репертуар смыслов. К обсуждению этой особенности дискурсивного конструирования русской / советской / российской идентичности я вернусь в последней главе.

### Пояснения относительно методологии исследования

Хотя дискурс об идентичности разворачивается во времени и отличается определенной преемственностью, едва ли правильно рассматривать его как упорядоченное движение идей: однажды предложенные интерпретации не обязательно в дальнейшем воспроизводятся и развиваются. И даже попытки участников дискуссий опереться на те или иные авторитеты прошлого не всегда указывают на осмысленную рецепцию их идей в результате критического изучения оригинальных текстов: нередко оценки основываются на обобщенных представлениях, почерпнутых из разных источников. Таким образом, артикулируемые в рамках определенной системы формирования высказываний идеи, нарративы, образы, метафоры и пр. составляют своеобразный *репертуар смыслов*, к которым сознательно или неосознанно апеллируют участники данного дискурса. В результате разные интерпретации, с одной стороны, соперничают, с другой – могут весьма причудливо комбинироваться друг с другом. С этой точки зрения важны не только оригинальные идеи и систематические доктрины, но и типичные представления, эклектические концепции, тексты «второго плана», развивавшие и популяризовавшие находки «лидеров».

Метафора *репертуара смыслов* определяет принцип построения данного исследования. Его задачей является реконструкция моделей коллективной идентичности, которые артикулировались в рамках споров о России и Европе / Западе, и изучение их соперничества и динамики в менявшемся контексте. Под *моделями идентичности* здесь понимаются *базовые представления о Нас (обычно в соотношении со Значимыми Другими), разделяемые участниками публичного дискурса и структурирующие их восприятие социальной реальности*. Как правило, выразители и носители таких представлений выступают как некая «идейная группа» и / или воспринимаются в качестве таковой современниками. Впрочем, имеет место и ретроспективное конструирование идейных комплексов, выделяющее «главное» и отбрасывающее «второстепенное» – и таким образом корректирующее образ того или иного

«изма»; этот процесс играет важную роль в формировании моделей национальной идентичности. Для выявления и изучения таких моделей важны не только оригинальные идеи и систематические доктрины, но и типичные представления, эклектические концепции, тексты «второго плана», развивавшие и популяризовавшие находки «лидеров». Объектами моего анализа будут преимущественно тексты публицистического характера, поскольку они содержат более или менее развернутую аргументацию и позволяют проследить внутреннюю логику соперничающих способов репрезентации Нас и Другого.

В качестве инструментов анализа текстов были разработаны две пары идеально-типических моделей фреймов, задающих смысловые полюса данного дискурса. Первая пара моделей описывает способы воображения культурно-политических сообществ, вытекающие из определенных типов мировоззрения; их можно рассматривать как разные интерпретации «идеи нации», конкуренция между которыми сыграла существенную роль в формировании современного семантического репертуара данного понятия. Вторая пара моделей характеризует стратегии интерпретации сходств и различий между Нами и Значимым Другим в контексте, заданном ситуацией «догоняющей» модернизации.

1. Идеально-типические способы воображения культурно-политического сообщества (интерпретации идеи нации).

Первая модель (условно – *либерально-прогрессистская*) опирается на либеральную концепцию прогресса, рассматриваемого как универсальный процесс поступательного развития от низшего к высшему, который потенциально (но не в данный момент) охватывает все человечество. Предполагается, что успехи разных народов на пути прогресса неравномерны, отсюда – предметом интерпретации оказывается вопрос об их взаимном позиционировании в системе ценностных координат, задаваемых вектором прогресса (в определении которого, в свою очередь, возможны вариации). Необходимость такого позиционирования создает перспективу «соревнования» народов, которое, однако, не является жестким, поскольку у аутсайдеров сохраняется надежда на «рывок». Этот способ воображения сообщества придает большое значение инновационной деятельности и индивидуальному творчеству и в целом позитивно оценивает роль культурных заимствований.

Вторая модель (условно – *консервативно-фундаменталистская*) в качестве основного субъекта истории рассматривает некое орга-

ническое «живое целое» – народ (нацию, «племя») с присущими ему культурой, «бытом», системой сложившихся социальных отношений. Развитие этого «живого целого» мыслится либо как процесс «органичного возрастания» без изменения качества, либо как циклический процесс рождения – расцвета – упадка. Однако и в том, и в другом случае этот процесс уникален и по определению не является «повторением» опыта других народов (что не исключает момента соревнования: идея «исторических народов», играющих особую роль в судьбах человечества, разрабатывалась и в рамках этой модели). Отсюда – характерный для данного способа воображения сообщества акцент на культурную самостоятельность и предубеждение против заимствований, равно как и против инноваций, инициированных творчеством отдельных индивидов, самонадеянно опирающихся на собственный разум. Идеал «органического развития» придает особое значение мудрости народа (хранителя традиций и носителя цельного, непосредственного, «не испорченного» рационалистическим анализом истинного знания) и власти авторитета.

2. Идеально-типические *стратегии соотнесения со Значимым Другим в контексте, заданном ситуацией «догоняющей» модернизации.*

«Западническая» стратегия опирается на представление о том, что Россия в общем развивается по тому же пути, что и Европа / Запад. Она подчеркивает потенциальное (реже – актуальное) сходство между Нами и Значимым Другим. Различия рассматриваются как: а) вписывающиеся в категорию национальных особенностей (свойственных всем европейским странам); б) связанные с «отставанием» от Европы / Запада. Последние оцениваются как недостатки, но считаются временными и преодолимыми. Россия представляется как «молодая» страна, которая раньше или позже «догонит» Европу и «скажет свое слово». С мировоззренческой точки зрения «западническая» стратегия ближе к либерально-прогрессистскому способу воображения сообщества. Однако она может использовать и консервативно-почвеннический репертуар смыслов.

«Почвенническая» стратегия предполагает, что России надлежит идти по «своему собственному» пути, который принципиально не совпадает с траекторией развития Европы / Запада. Различия интерпретируются как качественные и непреодолимые. Как правило, «почвеннические» концепции наделяют Россию свойствами, которые обеспечивают ее моральное превосходство

перед Западом; таким образом, различия оцениваются как благо. «Почвеннический» тип нарратива тяготеет к консервативно-фундаменталистскому способу воображения сообщества, однако может иметь и «прогрессистскую» основу. Следует подчеркнуть, что обе стратегии соотнесения со Значимым Другим могут и не иметь четко выраженного мировоззренческого фундамента и использоваться сугубо прагматически.

Представления, обнаруживаемые в анализируемых текстах, могут быть локализованы в континууме, заданном полюсами этих идеальных типов. В долгом дискурсе о России и Европе мы находим различные вариации этих идеально-типических конструкций.

### **Старые споры в новом контексте**

Дискуссии «западников» и «антизападников», ставшие неотъемлемым элементом постсоветского идеологического «пейзажа», следует рассматривать как продолжение и развитие идейных оппозиций периода перестройки. На протяжении большей части советского периода традиционная оппозиция «западничества» и «почвенничества» играла маргинальную роль: она воспроизводилась в эмигрантских изданиях, позже – в самиздате и тамиздате, время от времени она давала о себе знать и в легальных (даже официальных) советских изданиях, однако в целом в публичном пространстве доминировали иные способы репрезентации Нас и Других: отношения между СССР и Западом рассматривались сквозь призму классовой борьбы социализма и капитализма. С началом же перестройки тема «цивилизационной» идентичности России неожиданно вновь стала предметом острых споров, разделяя противников на традиционные лагеря «западничества» и «почвенничества». Как я попыталась показать в другой работе [Малинова, 2009а, гл. 3], «западничество» и «почвенничество» конца XX в. во многих отношениях отличались от своих дореволюционных предшественников. Концептуализация опыта советских десятилетий вносила существенные коррективы в модели российской идентичности, разрабатывавшиеся в перестроечном контексте. Кроме того, стили мышления новых «западников» и «почвенников» складывались под бóльшим или меньшим влиянием советских идеологических схем и стереотипов времен «холодной войны». Представления «западников» в целом укладывались в рамки либерально-прогрессистского способа воображения сообщества, но с одной существенной поправкой: «возвращение в цивилиза-

цию» связывалось с преодолением не количественных, а *качественных* различий, ибо 70 лет коммунистического режима непоправимо делают нас «особой статьей в истории двадцатого века». Таким образом, «западническая» стратегия уподоблялась в этом отношении «почвеннической», но с противоположным знаком. Идеи их оппонентов были близки к консервативно-фундаменталистскому способу воображения. Однако в позднесоветском контексте едва ли было возможно выстроить вполне последовательную консервативную модель, вокруг которой могли бы объединиться сторонники «особого пути»: слишком велико было сопротивление социального «материала».

События августа 1991 г., последовавший в декабре того же года распад СССР и начало экономических реформ в России в 1992 г. создали новые рамки для рассматриваемого нами дискурса. Прежде всего, изменились границы государства, а значит – и стоящего за ним политического и культурного сообщества, причем новые границы далеко не всеми воспринимались как легитимные и окончательные. Вопрос о том, кого следует включать в понятие «Мы», стал предметом не менее острых дискуссий, чем традиционно спорные проблемы Нашего прошлого, настоящего и будущего. Кроме того, в своем новом независимом статусе Россия едва ли могла в полном объеме претендовать на роль сверхдержавы, что противоречило утвердившимся представлениям о Нашем месте в мире. Приходилось приспосабливаться к новой конфигурации мировой системы, складывавшейся после «холодной войны», и искать приемлемые формы интеграции постсоветского пространства. И то, и другое протекало по сценариям, которые не оправдывали радужных надежд времен перестройки. Запад оказался не столь дружелюбным по отношению к новой демократической России, как ожидалось, – и это обстоятельство вносило поправки в аргументы как противников, так и сторонников прозападной ориентации. Наконец, в результате экономических реформ 1990-х годов глубокой трансформации подверглась сложившаяся в советское время система социальных связей. Миллионы людей были вынуждены пересматривать привычные способы самоидентификации. Вместе с тем социальный синдром, описываемый как «кризис идентичности», был обусловлен не только очевидной необходимостью переосмысления представлений о нас в изменившемся контексте, но и конфликтами интерпретаций этого понятия. Реформы 1990-х годов породили глубокие идеологические расколы, осложнившие поиски новых определений коллективной

идентичности. И противостояние «западников» и «почвенников», основные линии которого оформились еще на предыдущем этапе, играло в этом немалую роль.

Следует отметить, что оба полюса были весьма неоднородны: они объединяли людей с разными взглядами на текущую политику и разными представлениями о желаемых перспективах. События, определявшие критические точки в развитии российского политического режима, – распад СССР, экономические реформы правительства Б. Ельцина – Е. Гайдара, политический кризис октября 1993 г., расстрел Белого дома и принятие новой Конституции, война в Чечне, президентские выборы 1996 г., дефолт 1998 г. и др. – вносили новые и новые расколы в лагерь «западников», который в годы перестройки отличался относительной сплоченностью. Что же касается противоположного лагеря, после оформления в начале 1990-х годов союза коммунистов и национал-патриотов его ряды стали более пестрыми, чем на предыдущем этапе. Внутри каждого из лагерей наблюдались серьезные разногласия. «Западнические» / «почвеннические» ориентации накладывались на сложную и изменчивую систему партийно-организационных различий.

Однако если в начале XX в., в период становления партийной системы, просуществовавшей до 1917 г., позиционирование в системе цивилизационных координат не играло значимой роли в структурировании идейно-политического спектра [см.: Малинова, 2009в], то в 1990-х годах все обстояло иначе. «Западничество» – по крайней мере в первой половине 1990-х годов – связывалось с поддержкой курса на демократические и рыночные реформы, которые в логике, продолжающей дискурс времен перестройки, рассматривались как «возвращение на путь цивилизации» и усвоение опыта развитых стран Запада. И хотя в рядах сторонников данного курса не было единства в отношении того, как нужно проводить реформы и какой именно опыт «Запада» брать за образец, сама по себе «западническая» ориентация служила интегрирующей рамкой для политиков, позиционировавших себя в качестве «демократов» и «либералов». В то же время аргументы наиболее жестких оппонентов избранного курса облекались в антизападные и *антизападнические* формы (хотя критическая оценка «Запада» играла в этих аргументах существенную роль, их основной полемический заряд был направлен против российского «западничества»). Таким образом, «почвенничество» – и в варианте апелляции к историческому опыту русского народа, и в форме

ностальгии по «великому советскому прошлому» – также оказывалось объединяющим принципом для широкого круга противников «западнического» курса реформ. В силу такого стечения обстоятельств оппозиция «западничества» и «почвенничества» (в данном контексте точнее будет говорить об *«антизападничестве»*, ибо относительное единство данного лагеря определялось именно негативной частью программы) в 1990-х годах выступала в качестве одного из важных водоразделов российского политического спектра.

В этой главе, опираясь на тексты политиков и публицистов обоих направлений, я попытаюсь проследить динамику идейной эволюции «западничества» и «антизападничества» в постсоветской России и показать некоторые особенности соперничающих моделей «цивилизационной» идентичности. Поскольку западнические представления разделялись преимущественно теми, кто позиционировал себя в политическом спектре в качестве «демократов», а «антизападничество» наиболее ярко проявилось в идеологических построениях «национально-патриотических» сил, указанные термины используются здесь как синонимы и взяты в кавычки, так как указывают на определения, закрепившиеся в речевой практике, а не на аналитические категории.

### **Выбор России в понимании «западников»**

Цели реформ начала 1990-х годов формулировались в рамках очевидно «западнической» системы представлений. Об этом свидетельствуют не только высказывания политиков, входивших в 1992 г. в «команду Е. Гайдара», но и оценки других представителей «демократического» лагеря, в том числе и тех, кто, разделяя либерально-«западническую» ценностную ориентацию, резко критиковал правительственный курс. Победа «демократических» сил в августе 1991 г., казалось, давала исторический шанс изменить траекторию развития страны, провести преобразования, благодаря которым Россия уже в ближайшем будущем сможет превратиться в процветающую демократическую страну с рыночной экономикой, «стать Западом». По определению министра иностранных дел в правительстве Ельцина – Гайдара А.В. Козырева, «наша “сверхзадача” – буквально за волосы себя втащить... в клуб наиболее развитых демократических держав. Только на этом пути Россия обретет столь необходимое ей национальное самосознание и самоуважение, встанет на твердую почву» [Козырев, 1994, с. 22]. Не-

верно было бы считать, что представители «западнического» лагеря не учитывали всей сложности этой «сверхзадачи»: чтобы претендовать на полноправное членство в «клубе», страна должна была радикально измениться. Примечательно, что многие «демократы», рассуждая о необходимости перемен, использовали метафоры, указывающие на волевой и даже насильственный характер предстоящего прорыва<sup>1</sup>.

Грядущие перемены нередко осмысливались в категориях «цивилизационной» идентичности. Очень характерны в этом смысле рассуждения Е.Т. Гайдара в книге «Государство и эволюция» (1995). По мысли автора, в цивилизационном отношении Россия находится между Востоком и Западом: испытывая с конца XVII в. влияние последнего в культурном и идеологическом плане, она в течение долгого времени сохраняет экономические и политические структуры восточного типа. При этом стержнем российской истории последних трех столетий является борьба между двумя стратегиями «догоняющей» модернизации: первый путь – перенимать не экономические структуры, а результаты, обеспечивать рост, выжимая из общества все ресурсы, второй – взрастить на российской почве институты, подобные западным, создать мощные стимулы к саморазвитию, что означает, однако, необходимость «укоротить» государство. Оба варианта являются ответом на импульсы, посылаемые Западом. Противоречие между этими стратегиями, «выдавая нужду за добродетель», называли «особым путем», реально же российская история, согласно концепции Гайдара, представляла собой «борьбу между двумя путями при невозможности выбрать один» [Гайдар, 1995, с. 47–75].

Социализм интерпретируется в книге как высшая и последняя стадия «азиатского способа производства», для которого, в отличие от западного, характерна недифференцированность власти и собственности. Следуя логике собственной эволюции, социалистический строй был разрушен изнутри: экспроприация частной собственности привела к созданию собственности государственно-бюрократической, последняя в процессе циклическо-

---

<sup>1</sup> Ср. «мюнхаузеновский» образ Козырева («втащить себя за волосы») с рассуждениями оппозиционера Ю. Афанасьева («Необычность... нынешней ситуации... в том, что на эти коренные реформы, на превращение, на прорыв в цивилизацию должны найти в себе силы мы сами – такие, какие мы есть...» [Афанасьев, 1992, с. 11]).

го развития, характерного для всех восточных государств, превращалась в частно-бюрократическую. Единственным препятствием к завершению этой метаморфозы была вера в идеологию и страх ее нарушить. С эрозией идеологических оснований режима началась «номенклатурная приватизация», и 1988–1991 гг., по оценке Гайдара, были самым золотым периодом для элитных политико-экономических групп. Однако экстенсивный путь модернизации по ряду причин оказался к этому времени исчерпан – наступил развал экономики.

Альтернативу «цивилизованного», «либерального капитализма» Гайдар представлял как реализацию второй, интенсивной стратегии модернизации. Он настаивал на возможности мирного перехода на этот путь (отсюда – не «революция», но «эволюция» в названии книги). По словам Гайдара, «Россию у номенклатуры нельзя, да и не нужно отнимать силой, ее можно “выкупить”. Если собственность отделяется от власти, если возникает свободный рынок, где собственность все равно будет постоянно перемещаться, подчиняясь закону конкуренции, это и есть оптимальное решение. Пусть изначально на этом рынке номенклатура занимает самые сильные позиции, это является лишь залогом преемственности прав собственности» [там же, с. 143–144]. К сожалению, этот прогноз не оправдался: реформы, начатые правительством Гайдара, не привели к отделению власти от собственности, скорее создали новую конфигурацию их симбиоза. Тем не менее и в середине 2000-х годов бывший премьер оценивал взятый экономический курс как в целом правильный; непрочными, по его заключению, оказались лишь завоевания нашей «молодой, несовершенной демократии». Свертывание последних в 2003–2004 гг. открывает «путь к созданию системы, которую можно назвать закрытой (управляемой) демократией или мягким авторитаризмом» [Гайдар, 2006, с. 431, 433]. Столь оптимистическую оценку результатов реформ разделяли отнюдь не все либералы-«западники»: оппозиционеры из «демократического» лагеря утверждали, что сворачивание демократии началось вскоре после победы в августе 1991 г.<sup>1</sup>, а «в экономике коренные реформы окончились не начавшись», и «взамен либерализации цен, демонополизации и приватизации народного хозяйства мы полу-

---

<sup>1</sup> По словам известного публициста Ю. Буртина, «революция... наконец-то состоялась, но по прошествии недолгого времени оказалась как бы украденной» [Буртин, 1992, с. 57].

чили нечто под теми же вывесками, но глубоко отличающееся по содержанию» [Афанасьев, 1992, с. 8]<sup>1</sup>.

Однако и авторы реформ, и их критики были едины в понимании целей: России, несмотря на все зигзаги и особенности ее исторического пути, предстоит пройти до конца путь модернизации и превратиться в «устойчивое, динамичное, богатеещее общество западного типа» [Гайдар, 1995, с. 202]<sup>2</sup>. Нашей стране неизбежно «придется двинуться в ту же сторону, в которую на всех континентах направляется человечество, пройдя или проходя повсюду через свои муки и поражения» [Баткин, 1992, с. 22]. Таким образом, «западники» 1990-х годов исходили из принципиальной «приемлемости» универсальных либеральных ценностей и институтов для российского общества, и их усилия были сосредоточены главным образом на «технологических» аспектах проблемы (как сломать старую систему и подготовить рождение новой). Вместе с тем «демократы» прекрасно сознавали, сколь многое отличает Россию от «Запада». Разногласия в их стане касались не размеров дистанции между Нами и Значимым Другим, а способов ее преодоления<sup>3</sup>.

Именно потому, что «западники» считали Россию *не такой, как «Запад»*, они в полной мере сознавали трудности строительства либерального порядка в обществе, имеющем столь прочные авторитарные традиции. Многие обоснованно полагали, что России не справиться с этой задачей без надежной поддержки Запада. Потребность в такой поддержке определялась не только очевидными экономическими проблемами – помощь «Запада» рассматривалась как необходимое условие изменения привычной колеи

---

<sup>1</sup> После 1993 г. демократическая альтернатива экономическому курсу начала 1990-х получила закрепление и на уровне партийных различий; наиболее последовательно эту линию проводил избирательный блок, позже – общероссийская общественная организация и наконец – политическая партия «Яблоко». По оценке «яблочников», «выбор ортодоксального варианта стабилизационной политики для трансформации экономики России явился серьезной стратегической ошибкой» [Реформы, 1995, с. 105]).

<sup>2</sup> Автор уточнял: «Когда я пишу: “западное общество”, речь меньше всего идет о безумной унификации культур». Но есть либеральные принципы, которые представляются «общечеловеческими и вполне подходящими для России» [там же].

<sup>3</sup> Критики «курса Гайдара» упирали на то, что выбранные «технологии реформ, в других странах неоднократно доказывавшие свою эффективность, столкнулись с жестким сопротивлением национального менталитета», и потому «при всех их абстрактных достоинствах не могут в полной мере соответствовать российским национальным интересам» [Митрохин, 1997, с. 34].

российской истории. В этом смысле весьма характерны рассуждения историка и публициста А.Л. Янова. В 1995 г. он опубликовал книгу «После Ельцина. “Веймарская” Россия», заглавие которой указывало на аналогию между постсоветской Россией и Веймарской Германией. По мнению Янова, опыт последней доказал, что демократическая самотрансформация общества с вековыми имперскими амбициями невозможна. Цель книги – побудить Запад осознать необходимость последовательной и действенной помощи России в деле ее демократизации, хотя бы даже из соображений собственной безопасности [Янов, 1995]. По мысли автора книги, «нет ни малейшего национального унижения в том, чтобы принять такую помощь от “варягов”. Ведь не случайно не сумели самостоятельно создать стратегию перехода ни веймарские политики в Германии, ни тайшоистские – в Японии. На национальной арене проблема демократической трансформации имперских гигантов просто не имеет решения» [там же, с. 21]<sup>1</sup>.

Было бы неверно упрекать «западников» 1990-х годов в недостатке патриотизма – они рассуждали и действовали вполне «патриотично» в логике прогрессистского способа воображения сообщества, который разделяли и продвигали. Точнее – в логике специфической интерпретации данной модели, подсказанной ситуацией «мира после “холодной войны”». Тоталитарный режим пал, преграды между Россией и ее Значимым Другим, еще недавно казавшиеся непреодолимыми, оказались разрушены. Россия впервые *официально* провозгласила своей целью построение рыночной экономики, демократии и правового государства, т.е. назвала *своими* ценности, на основе которых конструировалась идентичность «Запада». Разумеется, этот факт ни в коей мере не отменял наших исторических, культурных, экономических и пр. отличий от Значимого Другого, однако впервые исчезли барьеры *идеологические*; Мы и «Запад» оказались не противниками, а единомышленниками. Творцы российской внешней политики открыто заявляли об «ориентации России на отстаивание своих интересов в союзе и взаимодействии с мировыми демократиями и в целом с международным сообществом» [Козырев, 1995, с. 55]. По контрасту с постулатами официальной советской модели коллектив-

---

<sup>1</sup> Отвлекаясь от темы «национальной гордости», нельзя не признать, что успехи посткоммунистического транзита стран Восточной Европы в немалой степени определялись политической и экономической поддержкой со стороны международных организаций и более развитых стран.

ной идентичности это казалось серьезным прорывом. «Западническая» модель начала 1990-х годов не только представляла «Запад» в качестве образца, но и в некотором смысле утверждала *актуальное подобие* России ее Значимому Другому. Пусть подобие касалось лишь *заявленных целей*, но сам факт их официального провозглашения казался чрезвычайно значимым.

В этой связи отсутствие действенной поддержки молодой российской демократии со стороны Западной Европы и США не могло не вызывать обеспокоенности и разочарования. Фактический отказ в экономической поддержке российских реформ, расширение НАТО на Восток, бомбардировки Косова – эти и другие факты свидетельствовали о том, что Запад не выражает готовности встретить возвращающуюся на «путь цивилизации» Россию с распростертыми объятьями. Жертва российских «демократов», заплативших, по словам одного из тогдашних лидеров «Яблока» В.П. Лукина, «огромную (для «реальных политиков» непомерную) цену за право свободного общеевропейского общежития», не была по достоинству оценена; и наметившаяся «тенденция обособления запада и центра Европы от ее восточной (бывшей советской) части» воспринималась как «мощный удар по коренным идеалам российской демократии» [Лукин, 1995, с. 20]<sup>1</sup>. То обстоятельство, что представлявшийся в качестве вождя образа «Запад» беззащитно воспользовался слабостью России и поставил во главу угла не идеалы, но вполне прозаические интересы, существенно ослабляло позиции «западников»<sup>2</sup>.

Кроме того, по мере продвижения России по пути экономических реформ идеал «жизни, как на Западе» постепенно утрачи-

---

<sup>1</sup> По словам Г.А. Явлинского, упорное непонимание Запада создает ощущение, что там «живут люди, достойные уважения за то, что смогли создать для себя хорошую жизнь. Однако к нам здесь, в России, это не имеет никакого отношения» [Ламбсдорфф, Явлинский, 1999, с. 48].

<sup>2</sup> Это стало особенно очевидным в середине 2000-х годов, когда правящая элита стала настойчиво подчеркивать «суверенность» российской демократии, клеймя «западников» как «агентов иностранного влияния». Как писал в статье для «Интернешнл Геральд Трибюн» бывший советник и пресс-секретарь М.С. Горбачёва А. Грачёв, политика Запада по отношению к России в 1990–2000-х годах лишает «западников» образца, ибо противоречит тем «демократическим принципам, благодаря которым в конечном итоге и стала возможной победа западного мира над коммунистической идеологией». Сегодня «Запад впервые превратился в географическую концепцию – один из полюсов военной мощи, с которым необходимо иметь дело, но с которым у России нет общего будущего» [Грачёв, 2006].

вал действенность, и оппозиционеры из стана «демократов» уже готовы были признать, что «в шуме “патриотов” о перспективе превращения России в сырьевой и мускульный придаток мирового рынка больше правды, чем нам хотелось бы» [Афанасьев, 1992, с. 8]. Как это ни парадоксально, чем больше идеи «западников» «побеждали», получая отражение в официальной риторике, тем труднее оказывалось их защищать. В свою очередь, аргументы «патриотов» / «антизападников» ложились на благодатную почву протестных настроений. Это обстоятельство стимулировало попытки «западников» расширить собственный репертуар смыслов за счет понятий, активно «присваиваемых» их оппонентами. Так, во время избирательной кампании 1995–1996 гг. «демократы» пытались представить собственное понимание будущего России как особый вариант патриотизма, противоположный охранительству «почвенничества». По словам Е. Гайдара, «люди, которые хотят видеть Россию закрытой, закуклившейся, просто исполнены чувства национальной недостаточности, национальной ущемленности. Они не верят в потенциал русского народа, не верят, что русский народ может на равных конкурировать с другими народами мира...» [Гайдар, 1995б, с. 8; ср. Козырев, 1995, с. 39]. Напротив, в основе планов реформаторов – глубокая вера в собственный народ, в то, что мы – не «нация социальных инвалидов, которой необходимы бесконечные подпорки» [Гайдар, 1995в, с. 72]. К сожалению, эта попытка перехватить инициативу была несколько запоздалой: постсоветское «западничество» заметно проигрывало построениям «почвенников» в том, что касалось конструирования позитивного образа Нас.

### **«Антизападничество» как общий знаменатель**

Конец «холодной войны» и распад СССР внесли поправки и в повестку дня оппонентов «западничества», стимулировав новые размежевания и новые союзы (впрочем, по основаниям, которые вполне определились уже на предыдущем этапе).

Прежде всего камнем преткновения для «национал-патриотов» стал вопрос об отношении к новому Российскому государству. Хотя распад СССР воспринимался как трагедия, некоторые представители лагеря «почвенников» готовы были признать, что случившееся имеет свои положительные стороны. Как писал по горячим следам И. Шафаревич, «оглядевшись после первого шока, мы видим, что Россия в своих новых пределах может оказаться

вполне жизнеспособной, куда крепче стоящей на ногах, нежели бывший СССР». В первую очередь – потому, что «это страна на редкость однородная национально», а значит – распад СССР дает России шанс освободиться «от ярма интернационализма» и вернуться «к нормальному существованию национального русского государства, традиционно включающего много национальных меньшинств» [Шафаревич, 1992, с. 3]. Те, кто питал подобные надежды, крайне негативно отнеслись к заключению Федеративного договора, возрождавшего «интернационалистские» принципы в новом государстве<sup>1</sup>. Кроме того, многие из сторонников развития России в качестве национального государства готовы были поступиться имперскими амбициями ради внутреннего укрепления страны, ее обустройства в соответствии с ее собственными потребностями. Их радовала возможность «стряхнуть мороку коммунизма» и перестать жертвовать «русскими интересами ради разжигания мировой революции» [Шафаревич, 1992, с. 4]<sup>2</sup>. Эти настроения парадоксальным образом совпадали с позицией «демократов» / «западников», которые тоже предлагали «прекратить гоняться за эфемерным могуществом, построенным исключительно на военной силе» [Козырев, 1995, с. 37] и отказаться от восстановления военной сверхдержавы «ради свободного экономического и культурно-социального развития» [Гайдар, 1995, с. 185]. Однако расхождения в понимании того, как именно следует обустроить новое Российское государство и защищать его интересы на мировой арене, многократно перевешивали отмеченное совпадение позиций по поводу соотношения задач внутренней и внешней политики.

В то же время многие в лагере «национал-патриотов» разделяли мнение, что «нынешняя Российская Федерация – это не историческая Россия. Если угодно, это всего лишь ущербная “малая Россия”» [Султанов, 1992, с. 143]. И восстановление СССР должно рассматриваться в качестве неперменной задачи если не сегодняшнего, то завтрашнего дня. Нетрудно заметить, что в формулировку этой задачи вкладывался разный смысл: одни считали не-

---

<sup>1</sup> По словам К. Мяло, Федеративный договор означает «прогрессирующее огосударствление нерусских народов России и столь же прогрессирующее разгосударствление русских» [Мяло, 1992, с. 102].

<sup>2</sup> Сходные идеи высказывал и А.И. Солженицын: «Не надо нам быть мировым арбитром, ни соперничать в международном лидерстве (там охотники найдутся, у кого сил больше), – писал он, – наши все усилия должны быть направлены *внутрь*, на трудолюбивое *внутреннее* развитие» [Солженицын, 1995, с. 89].

приемлемым предательство «многовекового дела наших предков», собиравших «многонациональное государство вокруг русского ствола» [В каком состоянии..., 1993, с. 155]; другие чтили память о дружбе советских народов и мечтали возродить былое влияние в мире<sup>1</sup>. Но поскольку восстановление старых границ откладывалось на более или менее отдаленное будущее, различие мнений по данному вопросу не раскалывало «патриотов» на непримиримые лагеря. В конечном счете, всем было ясно, что «первый шаг – это стабилизация положения в том куске России, который мы сейчас имеем» [В каком состоянии..., с. 155].

Гораздо более острым был вопрос об отношении к советскому историческому и культурному наследию. Далеко не все «национал-патриоты» разделяли позицию И. Шафаревича, утверждавшего, что «Россия может считать себя преемницей русской дореволюционной истории, но уж никак – не преемницей СССР, построенного на заклании русского народа» [Шафаревич, 1992, с. 7–8]. Если в годы перестройки в «почвеннических» изданиях преобладала критическая оценка советского опыта, то в начале 1990-х годов все громче стали звучать голоса, призывающие отнестись к нему более взвешенно. «Патриоты» убеждали друг друга не уподобляться «демократам», которые «разорвали цепь времен», «вырыв “черную яму” на месте 70 лет нашей истории» [Кургинян, 1993, с. 89], и прекратить «архаические упреки в адрес всего советского периода, обвиняя его в забвении и предательстве русских национальных интересов» [Дугин, 1994, с. 149]. По словам А. Дугина, уже то, что антисоветизм активно используется «ельцинистами», «должно было бы навести настоящих последователей русских националистов... на мысль о том, что не все в советском периоде русской истории было так однозначно...» [там же, с. 150]. Он доказывал, что за советским патриотизмом (национализмом) «стояла особая культурно-политическая и геополитическая реальность, в значительной степени преемствующая логике досоветского, исторического русского национализма» [там же].

Разумеется, публицисты из «национал-патриотического» лагеря признавали, что советский патриотизм – это превращенная

---

<sup>1</sup> Возрождение былого влияния связывалось со способностью восстановить «незаконно разрушенную страну». В этом виделся залог «четкого осознания... своей геополитической миссии», связанной с особым положением России в пространстве [Нарочницкая, 1993а, с. 170; ср.: Подберезкин, 1996, с. 51; Кургинян, 1993, с. 168].

форма «классического и нормального русского национализма», и что в советском облики последний совершенно «теряет право голоса» [там же, с. 152]. Однако по сравнению с положением дел при Ельцине, когда «под флагом борьбы со сталинизмом идет в действительности разрушение» национальных ценностей и традиций, «жесточкая деформация культуры» в СССР (которая все же не была «падением в бескультурие»!) [Кара-Мурза С., 1992, с. 156] казалась меньшим злом. Дугин подводил под это неблагоприятное для режима Ельцина сравнение идеологическое обоснование. Марксизм, по его оценке, оказался менее вредной разновидностью западничества, нежели либерализм: «доктринальные компоненты» первого давали возможность его «переправить» в традиционном для России духе, во втором же «вообще нет *ничего*, что могло бы быть перетолковано (пускай с определенной натяжкой!) в национальном ключе». Неудивительно, что «ельцинизм радикально ориентирован на полный разрыв со всем тем, что составляло непрерывную сущность национальной истории нашего народа, которая оставалась нетронутой несмотря на самые страшные катаклизмы» [Дугин, 1994, с. 153].

В 1990-х годах, как и в конце 1980-х, структурирование политико-идеологического спектра происходило по принципу поляризации. И если в годы перестройки в его националистическом / «почвенническом» сегменте преобладал пафос критики слабеющего коммунистического режима, то в начале 1990-х годов для позиционирования «патриотов» важнее оказалось максимально дистанцироваться от режима Ельцина.

Это обстоятельство открывало путь к союзу «патриотических» сил с той частью коммунистов, которая, в свою очередь, также проделала работу по исправлению идеологических «ошибок». Классовый подход был дополнен цивилизационным, политэкономия усилена геополитикой, а цели борьбы за интересы трудящихся совмещены с задачами национального российского возрождения. По мысли лидера Коммунистической партии Российской Федерации Г. Зюганова, «реалии конца XX в., не говоря уже о веке грядущем, гораздо сложнее, многофакторнее и поливариантнее, чем те, с какими имели дело Маркс, а за ним и Ленин. Во главу угла глобальной динамики и механизмов развития социально-экономических изменений выдвигаются не просто межклассовые, но и межцивилизационные отношения» [Зюганов, 1995, с. 20–21]. Исходя из этого, коммунисты объявляли своими главными противниками «антинародный режим» Ельцина, навязыва-

вающий русскому народу капитализм, который «не соответствует его менталитету», и «мировую закулису», поддерживающую этот режим ради того, чтобы «любыми путями устранить Россию с геополитической арены» [там же, с. 93, 36–37].

Обозначившееся частичное совпадение позиций «национал-патриотов» и коммунистов на почве противостояния политике и идеологии «западничества» послужило основой для создания целой серии «левопатриотических» союзов и блоков. Результатом такой коалиционной политики стали новые расколы в рядах «национал-патриотов». Сотрудничество с наследниками марксистской идеологии, которая не только «продемонстрировала свою недостаточность для обеспечения нормального развития России», но и обладала коренным пороком «иноцивилизационности» [Кургинян, 1993, с. 64], для одних националистов-«почвенников» было не вполне комфортным, а для других – просто неприемлемым.

Еще одним поводом для разногласий стал вопрос о том, каким образом следует позиционировать Российское государство (в его нынешних и тем более, в перспективе, новых, восстановленных границах). Что должно прийти на смену пролетарскому интернационализму в качестве принципа, объединяющего «многонациональную» страну, отягощенную советским опытом институционализации этничности? Ответ на этот вопрос по-разному виделся тем, кто мечтал о развитии национального русского государства, и тем, кто стремился к возрождению былой империи (либо считал имперский путь единственно возможным для России). Позиционирование в системе «цивилизационных» и геополитических координат играло не последнюю роль в данном споре.

Весьма примечательны в этом отношении дискуссии по поводу «евразийских» проектов<sup>1</sup>. В понимании их сторонников интерпретация России как особой евразийской цивилизации позволяет рассматривать ее в качестве «историко-геополитического субъекта», претендующего на пространство в границах СССР [Султанов, 1992, с. 143]. По мысли А. Дугина, концепция евразийства призвана «сохранить единство этнического многообразия Великой Империи еще до того, как волна сепаратизма... разрушит органическую целостность государства» [Дугин, 1994,

---

<sup>1</sup> В современном политическом дискурсе идея России как «евразийской цивилизации» нагружается разными смыслами. Описание спектра наличных интерпретаций см.: [Шнирельман, 2007, с. 86–88].

с. 139]. Вместе с тем определение России как Евразии помогает уяснить ее геополитическую миссию, правильно определить ее место в системе координат «Восток – Запад» (по Дугину, Россия, как «цивилизация Суши», «заведомо обречена на цивилизационное противостояние с геополитическим лагерем морского могущества», нашедшим «наиболее совершенное выражение в структуре современного Запада, группирующегося вокруг США и стран НАТО» [Дугин, 2002, с. 18–19, 52]).

Идеи новых «евразийцев» встретили резкое сопротивление части «национал-патриотического» лагеря. Сторонники «русского возрождения» увидели в проекте «евразийской» идентичности угрозу «правильному» развитию национального самосознания, некий аналог принудительного советского интернационализма. По мнению К. Мяло, «при ослаблении идентификационных полей у русских... окрещение их еще и “евразийцами”... приближает не возрождение России как сильной евразийской державы..., а окончательную мутацию национально-исторического самосознания» [Мяло, 1992, с. 104]. У многих «патриотов» призывы осознать значение «континентального взаимодействия русского и исламского факторов», сыгравшего столь важную роль в «сверхдержавности» СССР [Дунаев, 1993, с. 163], вызывали скорее опасение, нежели энтузиазм. Как подчеркивал С. Кургинян, «для нас неприемлемо снятие русского фактора», «и без точного указания места России и русских в Евразии мы рассуждать о евразийстве отказываемся» [Кургинян, 1993, с. 86–87]. Нетрудно заметить, что при такой постановке вопроса «евразийский» проект утрачивал свою «мультикультурную» привлекательность. Некоторые «национал-патриоты» даже усматривали в неоевразийстве особый вариант *мондиализма*<sup>1</sup>, зачисляя его тем самым в разряд врагов. По словам Т. Глушковой, «все... мондиалистские проекты – “американоцентристские”, “европоцентристские”, “азиоцентристские” или “неоевразийские”... – направлены против России и русских...». Ибо Россия, как самостоятельный мир «с особо неподатливой духовностью и особо завидными для обглодавших себя “потребительских обществ”... материальными ресурсами» –

---

<sup>1</sup> Данное понятие активно используется в идеологических конструкциях современного российского «антизападничества». Оно указывает на некий глобальный проект планетарной интеграции, который предполагает унификацию государств, наций и культур по образцу якобы «общечеловеческой», а в действительности – западной цивилизации.

главная из препон к «мировому господству селекционного меньшинства» [В каком состоянии..., 1993, с. 151–152]<sup>1</sup>.

При наличии этих и других не менее существенных разногласий относительное единство «национал-патриотического» лагеря поддерживалось благодаря общности негативной программы, в том числе – ее антизападной и антизападнической составляющих. Единодушие во всем, что касается конструирования образа Врага в лице «Запада» и российского «западничества», в какой-то мере компенсировало конфликты, неизбежные при обсуждении позитивных целей «национально-патриотической» программы.

Почему в идеологических построениях российских «национал-патриотов» именно «Западу» отводилась роль главного врага? По-видимому, выбор в равной мере определялся как контекстом, так и наличным репертуаром его интерпретаций. Оппозиция политическому курсу Ельцина, цели которого формулировались в «западнической» системе категорий, облекалась в форму критики «универсалистского» проекта «Запада» как морально несостоятельного и принципиально непригодного для России. Такая тактика позволяла представлять собственные программы как выражение «национальных интересов» России, претендуя на монопольное «присвоение» значимых для переопределения коллективной идентичности символических ресурсов. Безусловно немаловажную роль играла и возможность опереться на идейную традицию, имеющую давние корни.

Вместе с тем нельзя не отметить, что именно этот Значимый Другой был чрезвычайно удобным объектом для соотнесения в ситуации, когда принципы включения в понятие «Мы» оставались предметом дискуссий: «Запад» можно было представлять в роли противника вне зависимости от того, виделась ли Россия евразийской империей или национальным русским государством. Антагонизм между Нами и этим Значимым Другим можно было обосновывать и этнической неоднородностью российского общества, включающего «европейские» и «азиатские» элементы, и специфици-

---

<sup>1</sup> Любопытно, что Дугин, в свою очередь, представлял «евразийцев-государственников» как наиболее принципиальных борцов с «коррупцированной мондиалистской властью» за воссоздание Империи, которая важна как оплот для «планетарной “Национальной Революции”» – в противоположность «этнонационалистам», готовым довольствоваться «фольклорным “национальным бытием”» [Дугин, 1994, с. 131, 134].

кой православной цивилизации<sup>1</sup>. При обращении к иным Значимым Другим, которые также важны для конструирования русской / российской идентичности («Восток», «Азия», «славянский мир», те или иные этнические группы или сопредельные государства), в лагере «патриотов» неизменно обнаруживаются разногласия или, во всяком случае, оттенки мнений. Таким образом, «антизападничество» оказалось своеобразным общим знаменателем для множества разных моделей коллективной идентичности, конкурирующих в «национал-патриотическом» сегменте политико-идеологического спектра.

А. Дугин в статье «Апология национализма» предложил концептуальное обоснование выбора «Запада» в качестве главного «экзистенциального Врага» русского национализма. По мысли автора, «отрицание Востока и Запада в русском национализме неравнозначно. Когда русские говорят, что “они не азиаты”, они имеют в виду довольно пассивную и незлобивую констатацию культурно-исторического факта, которая сама по себе не требует ни акцентировки, ни пояснения... Что же касается Запада, то в этом вопросе русский национализм более резок. Запад культурно агрессивен, его политическое давление всегда сопровождается духовным принуждением... а его ценностная система претендует на универсальность и единственность. Запад отождествляет *свою* цивилизацию с цивилизацией вообще, а значит, потенциально отказывает Руси в праве ее культурного выбора» [Дугин, 1994, с. 145]. Вторым «экзистенциальным врагом» объявлялась «иудейская диаспора России и Восточной Европы», ибо «в “еврее” русские националисты видят своего мистического антипода, а не просто одного из инородцев» [там же, с. 147]. На роль третьего врага был назначен опирающийся на западные неоллиберальные теории «ельцинизм» (советизм, как уже отмечалось, подлежал исключению из списка). Таким образом, антизападная направленность русского национализма представляется вполне «естественной».

Основной пафос современных «антизападников» направлен на опровержение представления о «Западе» как образце, к которому

---

<sup>1</sup> Оба способа аргументации можно встретить, например, у Н. Нарочницкой, которая усматривала корни «отрицания Западом пути России» в разном отношении к христианству, в борьбе «апостасийного и ортодоксального начал» [Нарочницкая, 2003, с. 20], что в то же время не мешало ей объяснять невозможность «растворения» России в Западной Европе тем, что «сибиряк, или башкир, или бурят» не могут желать «быть втянутыми в чужую систему ценностей» и скорее предпочтут «раствориться в той части мира, которая... ближе по духу» [Нарочницкая, 1993а, с. 167].

должна стремиться Россия. Привлекаемые ими аргументы трудно назвать оригинальными. Доказывается, что официально провозглашенные новой российской властью в качестве ориентиров идеи «свободы, прав человека и демократии в их современном понимании – продукт... сравнительно недавнего этапа культурного развития ряда европейских стран», который вовсе не универсален [Кара-Мурза С., 1992, с. 155]. Этот путь непригоден для России, поскольку капитализм «несовместим... с народным менталитетом россиян» [Зюганов, 1995, с. 93], демократия не может стать органичной, если ее не «наполнить духом соборности и согласия» [Нарочницкая, 1993б, с. 100], а права человека «на деле означают торжество концепций крайнего индивидуализма, последствия которого описаны Достоевским» [Кургинян, 1992, с. 8]. Подчеркивается, что второй раз в XX столетии России были навязаны «чуждые исконной русской православной системе ценностей доктрины, взращенные на почве западноевропейского рационализма, приводящие только к подрыву российской государственности и национальных основ ее функционирования» [Нарочницкая, 1993б, с. 97]. Критикуется горбачёвская концепция «нового мышления», которая обернулась однобокой деидеологизацией. По определению Зюганова, на смену «диалектическому единству борьбы в идеологии и сотрудничеству в политике» пришло «механическое единство разнородных систем Запада и Востока» [Зюганов, 1995, с. 8]. Под флагом деидеологизации произошел «отказ от национальной идеологии», фактически же «протаскивались чужие ценности и принципы» [Подберезкин, 1996, с. 3].

По мнению «антизападников», коренной изъян курса, проводившегося режимом Ельцина, в его инородности и неорганичности для России. Выбранный рецепт «избавления от коммунистической заразы» оказался хуже самой болезни: «Запущенный на территории 1/6 части планеты процесс есть не что иное, как социальный регресс, деградация, распад». Причем такой результат «не есть следствие неисправимых дефектов социальной ткани», он – продукт западничества, власть которого губительна для России [Кургинян, 1993, с. 159, 32]<sup>1</sup>. «Западники» представлялись как откровенные

---

<sup>1</sup> В этом пункте позиции национал-патриотов и коммунистов полностью совпадали. Согласно формулировке предвыборной платформы КПРФ 1995 г., «духовно-нравственный корень наших бед – широкомасштабное наступление на вековые ценности и идеалы отечественной духовности и образа жизни, попытки “пятой колонны” переделать Россию по чуждым ей заморским образцам» [За нашу Советскую Родину, 1995, с. 361].

враги России, корыстно пренебрегающие интересами народа<sup>1</sup>, не понимающие ценности национальных традиций<sup>2</sup>, а то и впрямую выполняющие задания Враждебного Запада<sup>3</sup>.

В свою очередь, политика Запада давала основание даже самым умеренным представителям «почвеннического» лагеря говорить о «несомненной живой заинтересованности многих западных политиков в слабости России и желательном дальнейшем дроблении ее» [Солженицын, 1995, с. 97]. Что же касается более радикально антизападнически настроенного большинства, в теориях, вскрывающих коварные замыслы «мировой закулисы», стремящейся разрушить Россию как главную преграду к осуществлению мондиалистских проектов, не было недостатка.

### **Образы «Запада» в изображении российских «западников» и «антизападников»**

Дискурсивное конструирование коллективной идентичности можно уподобить путешествию по зеркальному лабиринту, где образы Нас и Других многократно преломляются, рождая новые ракурсы. Соперничество разных образов «Запада» играло существенную роль в формировании представлений о Нас в новом, постсоветском контексте – не в последнюю очередь благодаря остроте противостояния «западников» и «антизападников». Каким предстает «Запад» в изображении тех и других?

---

<sup>1</sup> Просчеты правительства Ельцина – Гайдара, не сумевшего своевременно обеспечить идеологическую поддержку экономических реформ, умело использовались противниками. По утверждению С. Кургиняна, план реформ специально не обнародуется, потому что «действительная стратегия, настоящие цели, конкретные меры по их реализации настолько противоречат коренным интересам большинства населения, что их нельзя открыто предъявить обществу» [Кургинян, 1992, с. 4].

<sup>2</sup> По определению Н. Нарочницкой, «сколько бы ни заявляли необольшевики от демократии о своем “антикоммунизме”, главный предмет их ненависти – наше государство, причем во всех его когда-либо существовавших исторических формах» [Нарочницкая, 1993а, с. 166].

<sup>3</sup> По заключению О. Платонова, «пришедшие к власти “демократы” стали выразителями “национальных интересов Америки” в России» [Платонов, 1993, с. 44]. На прямую связь между «демократами» и «мощными международными силами, стремящимися на пути к мировому господству любыми путями устранить Россию с геополитической арены», любили намекать и коммунисты [Зюганов, 1995, с. 37].

По-видимому, речь должна идти об «образах» во множественном числе, ибо представления о Значимом Другом всегда имеют сложную структуру. Г.Г. Дилигенский предлагал различать внешнеполитическую и «экзистенциальную» составляющую образа Запада. Первая определяется отношением к Западу как к важнейшей части той внешней среды, в которой существует и развивается российское общество; она соотносится с конкретно-исторической ситуацией, возникшей в результате окончания «холодной войны». Вторая связана с проблематикой цивилизационного самоопределения России, с вопросом о том, в какой мере западное общество с присущими ему экономическими, социальными, культурно-ценностными и институционально-политическими структурами может или не может служить моделью для России. По мысли Дилигенского, хотя эти составляющие и взаимосвязаны, они относительно автономны и, будучи в различной степени определяемы соображениями мировоззренческого или прагматического характера, могут иметь разную динамику [Дилигенский, 2002б, с. 87–88; Дилигенский, 2002а]. В данном случае нас должен интересовать «экзистенциальный» аспект образов Запада, представленных в текстах политиков и публицистов «западнического» и «антизападнического» направления.

Очевидно, что «Запад» предстает в нескольких ипостасях, которые могут по-разному интерпретироваться и оцениваться. Он может выступать как:

- носитель определенных ценностей, институтов и культурных норм;
- воплощение определенного качества жизни;
- технологический лидер;
- союзник и партнер (внушающий бóльшую или меньшую степень доверия);
- противник, источник угрозы;
- агент культурной экспансии и др.

Примечательно, что характеристики, значащиеся в начале этого списка, можно обнаружить в текстах представителей обоих лагерей, однако оцениваются они по-разному.

Главную доминанту образа «Запада» в изображении современных «западников» можно было бы определить словами: *«Запад» – это Другой, которого стоит взять за образец*. Прежде всего, «Запад» – это успешная цивилизация, достигшая высокого уровня развития, *лидер прогресса*. Поэтому его опыт следует принимать во внимание, хотя бы из прагматических соображений.

По словам бывшего заместителя министра иностранных дел А. Адамишина, «на рынке успеха именно Запад продает модель, пользующуюся повышенным спросом, в том числе на Востоке. Ее основное отличие – сочетание рынка и демократии. Запад может нравиться или не нравиться, но предлагаемая им модель опробована и показала наибольшую эффективность» [Адамишин, 2002]. Сходным образом аргументирует «европейский выбор» России и В.Л. Шейнис: «...именно путь европейских обществ определяет вектор современной мировой цивилизации, – пишет он. – Поэтому национальные интересы России в первую очередь заключаются в скорейшем выстраивании ее социальной жизни в соответствии с инвариантами европейских обществ» [Шейнис, 2001].

Впрочем, выбор российских «западников» определяется не только прагматическими, но и ценностными соображениями, ибо «Запад» – это *либеральное общество*. Примечательно, что, определяя «западную цивилизацию», С.Н. Юшенков счел возможным обойтись лишь одним ее аспектом: «Начнем рассмотрение основополагающих принципов западной цивилизации с анализа учения о либерализме» [Юшенков, 2002, с. 27]. «Западнические» ориентации, как правило, сочетаются с приверженностью либеральным (или социал-либеральным) ценностям – именно их воплощает «Запад».

«Запад» – это *общество с высокими показателями качества жизни*. И поэтому в глазах «западника» не кажется парадоксальной формулировка: национальный интерес России – в том, чтобы «стать европейской страной по уровню и качеству жизни». Речь идет о вполне конкретных и осязаемых вещах: о доходе на душу населения, об автомобилизации и компьютеризации, о приобщении граждан к национальным и мировым информационным потокам, о свободе передвижения внутри страны и за ее пределами, о снижении языкового барьера для широких масс населения и т.д. [Шейнис, 2000].

Наконец, «Запад» – это *желанный инвестор*. Как констатировал Л. Радзиховский, «другого Запада у нас нет... А сами, без западных инвестиций, без настоящей интеграции в западную экономику, мы сейчас не поднимемся» [Радзиховский, 2002].

Вместе с тем, «Запад» – это *партнер, а не опекун*. У него есть собственные интересы, и не следует завышать собственные ожидания по поводу его поведения. По определению Е. Гайдара, «западный мир не враг наш и не филантроп. Свои проблемы мы должны решать

сами, и если с ними не справимся, мир спокойно отнесется к крушению высокой российской цивилизации» [Гайдар, 1995, с. 200].

Россия в глазах «западников» – безусловно *не такая, как «Запад»*. Хотя после падения «железного занавеса» исчезли идеологические преграды, превращавшие Нас и Их в противников, остаются существенные различия, которые связаны и с Нашим «отставанием», и с культурной спецификой России. По признанию В.Л. Шейниса, «каковы мы есть, мы все еще основательно удалены от Европы и в плане экономической взаимодополняемости, и в социокультурном отношении, и по значимости институтов гражданского общества в национальной жизни» [Шейнис, 2000; ср.: Рыжков, 2001]. Однако стратегическая цель видится в «европеизации» России, которая равнозначна ее превращению в процветающую демократическую страну с динамичной рыночной экономикой.

Почти зеркально противоположный образ Запада мы обнаруживаем в текстах современных «антизападников». Его доминанта: «*Запад*» – *это враждебный Нам Другой*. За этим Другим признаются роли *технологического лидера* и *образца высокого уровня жизни*, однако им придаются негативные коннотации: это благополучие достигнуто за счет безжалостной эксплуатации остального человечества «*золотым миллиардом*»<sup>1</sup>.

«Запад» представляется как сила, *посягающая на Нашу идентичность*. По словам А. Дугина, последовать совету «западников» начать активно встраиваться в западный мир – значит согласиться с тем, что «Россия должна перестать быть той, какой она была, и превратиться в нечто, не имеющее аналогов в прошлом, более того, в нечто, отвергающее собственную историческую идентичность, осуждающее свое самобытное качество» [Дугин, 2002, с. 3]. Стремление Запада навязать России чуждую ей идентичность представляется современными «антизападниками» как часть глобального заговора, направленного на установление «нового мирового порядка». По утверждению С. Кургиняна, проект нового мирового порядка не может быть реализован вне идей «общечеловеческих ценностей» и «прав человека», «он мертв,

---

<sup>1</sup> По определению А. Подберёзкина, «давно пора усвоить очевидную истину – западное общество живет за счет других стран, расточая общепланетарные ресурсы. Для России такой путь неприемлем хотя бы потому, что никто своими богатствами делиться с нею не намерен» [Подберезкин, 1996, с. 414; ср.: Платонов, 1993, с. 35, 44; Зюганов, 1995, с. 60–61].

если эти идеи не имеют статуса абсолютной истины. Приобретение ими такого статуса означает придание проекту нового мирового порядка характера проекта, не имеющего альтернатив. Это, в свою очередь, можно было осуществить, лишь устранив с арены своего единственного (на государственном уровне) серьезного мировоззренческого конкурента – Россию. Именно в России в течение многих веков формировалась и продолжает формироваться иная версия планетарного развития, иная модель гуманизма...» [Кургинян, 1992, с. 5]. В репертуаре современных «антизападников» причудливо переплетены разные смыслы: рассуждения об «иной модели гуманизма», формировавшегося «в течение многих веков», могут отсылать и к оппозиции православия западным ветвям христианства, и к полиэтничности и поликонфессиональности евразийской империи, формировавшей особый тип духовности, и к опыту политического противостояния систем в XX в. (хотя идеология, оформлявшая это противостояние, разделяется далеко не всеми<sup>1</sup>).

Сохранение Россией собственной идентичности представляется как миссия, которую необходимо выполнить во имя всего человечества: наша страна призвана выполнить роль «*последнего оплота*» сопротивления культурной экспансии Запада, направленной против всех незападных стран. По словам Н. Нарочницкой, «в мире существует только одна... страна – Россия, которая даже после чудовищных экспериментов XX века имеет возможность продолжать самостоятельное развитие в мировой истории как равновеликая Западу духовная, культурная, геополитическая сила» [Нарочницкая, 2003, с. 397]. Аналогичным образом видит роль России в борьбе с мондиализмом и А. Дугин, по заключению которого «только Россия в будущем может стать главным полюсом, очагом планетарного сопротивления, точкой притяжения всех мировых сил, отстаивающих свой собственный путь, свое собственное культурное, национальное, государственное и историческое “я”» [Дугин, 2002, с. 85].

«Запад» представляется не просто Другим, следовать примеру которого невозможно и опасно, но *Врагом, сознательно посягающим на величие и силу России*. «Национал-патриоты» охотно

---

<sup>1</sup> Сам Кургинян в начале 1990-х годов отзывался о ней весьма критически: по его словам, мы проиграли «холодную войну», будучи вооруженными коммунистическими идеями, «совершенно не органичными для России и в принципе тупиковыми с точки зрения исторической перспективы» [Кургинян, 1993, с. 65].

рассуждают о геополитической экспансии «Запада», о мировом заговоре, целью которого является «формирование жесткой, централизованной системы принудительного управления развитием человеческой цивилизации» [Зюганов, 1995, с. 60–61]. В этой связи распад СССР и падение коммунистических режимов в Восточной Европе обретают особый геополитический смысл. По заключению Н. Нарочницкой, «уничтожение российского великодержавия во всех его духовных и геополитических определениях, устранение равновеликой всему совокупному Западу материальной силы и русской, всегда самостоятельной исторической личности... – вот главное содержание нашей эпохи. Под видом прощания с тоталитаризмом сокрушена не советская – русская история» [Нарочницкая, 2003, с. 12].

«Запад» в изображении современных «антизападников» предстает еще и *отступником от некогда провозглашавшихся им ценностей*; под видом рассуждений о свободе, модернизации и прогрессе он стремится защищать свои эгоистические интересы. Примером такого представления является концепция *евроцентризма*, развиваемая С.Г. Кара-Мурзой. В соответствии с ней современное российское западничество в лице Е. Гайдара и «младореформаторов» опасно именно тем, что под его маской в действительности скрывается «евроцентризм – расистская идеология Запада, возникшая вместе с капитализмом в недрах протестантского мироощущения... Это – идеология, претендующая на универсализм и утверждающая, что *все* народы и *все* культуры проходят один и тот же путь и отличаются друг от друга лишь стадией развития» [Кара-Мурза С., 2002, с. 9–10]. Евроцентризм опирается на серию мифов, преувеличивающих роль Европы и Запада в мировой истории; он служит основанием для двойной морали и является предпосылкой культурного расизма.

Наконец, «Запад» – это общество, *клоняющееся к упадку*. «Национал-патриоты» не прочь порассуждать о том, что «западная культура наконец-то переместилась в свою конечную фазу развития – фазу скоротечной глобальной потребительской цивилизации» [Султанов, 1992, с. 143]. Со времен классического славянофильства «антизападническая» критика смягчалась своего рода сочувствием «Западу», страдающему тяжелыми недугами, которые он не в состоянии самостоятельно излечить. Дань этой традиции отдают и сегодняшние «антизападники». В их обвинениях звучит нотка сожаления о том, что Запад не ведает, что тво-

рит, и сам не сознает будущие катастрофические последствия поощряемых им тенденций.

Нетрудно убедиться, что образы «Запада», рисуемые современными российскими «западниками» и «антизападниками», выполнены «в черно-белых тонах» и почти зеркально противоположны друг другу. Это обстоятельство лишней раз подчеркивает степень конфликтности публичного пространства, в котором происходило конструирование российской идентичности в 1990-х годах. Очевидно и влияние на представления о «Западе» идеологических стереотипов советского периода, по-своему трансформированных каждым из соперничающих лагерей.

Вместе с тем Другой, относительно которого конструировалась русская идентичность, имел два названия: «Запад» и «Европа». Хотя эти понятия часто рассматриваются как синонимы, их содержание не вполне тождественно: ни в XIX, ни в XX в. Россия ни в каком смысле не могла быть частью «Запада». Однако не только «западники», но и «почвенники» не отрицают ее принадлежности к «Европе» (хотя и в разных смыслах). И сейчас в тех случаях, когда образы «Запада» и «Европы» различаются, последний, как правило, более позитивен (негативные оценки переносятся на США). Эта тенденция характерна как для «западников», так и для «антизападников».

«Европа» – это старая цивилизация со сложившимися культурными традициями, она «ближе» России не только географически, но и исторически. «Западникам» это обстоятельство позволяет говорить о европейской идентичности России как о состоявшемся факте. Например, по определению А. Кара-Мурзы, «Россия *возвращается в Европу*. После многих неудавшихся, хотя и не бесполезных, цивилизационных экспериментов страна возвращается к своим европейским культурным истокам» [Кара-Мурза А., 2003, с. 374–375].

Однако генетическое родство России и Европы очевидно и для противоположного лагеря. Как признает С.Г. Кара-Мурза, «мы вышли из одной с Западом “материнской” цивилизации, а потом, в союзе с множеством народов, в географических условиях Евразии создали свою, особую цивилизацию. Но о разрыве с Западом и речи не было» [Кара-Мурза С., 2002, с. 9].

Европейские социально-экономические модели кажутся гораздо более приемлемыми для России, чем американские (в частности, «шведская модель» приводится «антизападниками» в качестве примера и упрека реформаторам, хотя и несколько реже, чем ки-

тайская или японская; о германской модели говорят как о предпочтительной по отношению к американской). «Европа» оказывается в числе «пострадавших» от американской культурной экспансии, и в этом смысле она – «товарищ по несчастью» и возможный союзник. Наконец, представители обоих лагерей нередко отмечают тот факт, что «Европа» – разная. Следуя традициям классического западничества, А. Кара-Мурза пишет: «Строго говоря, разнообразие Европы, совокупность различий, которые можно увидеть в ней, – это и есть одна из главных характеристик феномена Европы и ее постепенно раскрывающейся либеральной сути. Европа – уникальная цивилизационная площадка, в которой возможен диалог, причем диалог внутренний, т.е. не с Другими, а между своими. И Россия – культурная, органически европейская Россия – занимала свою позицию в этом внутриевропейском диалоге» [Кара-Мурза А., 2003, с. 375].

Еще бо́льшая степень общности между Россией и Европой обнаруживается, когда объектом соотнесения оказываются отдельные страны: с одной стороны, каждая из них обладает чертами, выпадающими из собирательного образа «Запада», с другой стороны, образы *отдельных* стран положительно окрашены воспоминаниями о культурных связях, об опыте личных поездок и контактов и т.д. Выясняется, что с понижением уровня обобщения в образе Другого наряду с различиями появляется и сходство. Перестают работать те «сцепки смыслов» и стереотипы, которые доминировали на уровне «Запада в целом». Разумеется, в конструировании образов «французов», «немцев», «англичан», «американцев» и т.д. тоже велика роль стереотипов, но это *другие* стереотипы. Иными словами, крайне политизированные и конфликтные обобщенные образы «Запада» дополняются широким набором более конкретных и «разноцветных» представлений о том же самом Значимом Другом, которые в той или иной степени разделяются и «западниками», и «антизападниками».

### **Особенности соперничающих моделей коллективной идентичности**

Таким образом, в конце XX в. коллективная идентичность России по отношению к ее традиционному Значимому Другому осмысливалась в системе координат, заданной борьбой непримиримо противоположных моделей. Это обстоятельство никоим образом не облегчало преодоление «кризиса идентичности». Вместе

с тем в условиях столь резкой конфронтации ни одна из соперничающих моделей не могла рассматриваться в качестве основы для консенсуса, в том числе – и в силу собственных особенностей.

Мобилизационные возможности соперничающих моделей идентичности в немалой степени определяются их «компенсаторными возможностями», т.е. способностью повышать самооценку коллективного субъекта. И в этом смысле шансы либерально-прогрессистской модели несколько проблематичны: в 1840-х годах еще можно было, подобно В.Г. Белинскому, говорить о великом европейском будущем России, относя содержание ее миссии на усмотрение «детей и внуков» [Белинский, 1953–1959, т. 10, с. 21], но с течением времени аргументы такого рода становятся менее убедительными. Конечно, радикальные версии прогрессизма обладали бóльшими компенсаторными возможностями, нежели либеральные, обрекавшие Россию на роль догоняющего: выдвигая в качестве цели прогресса социальный идеал, который (еще?) не реализован на Западе, они оставляли ей шанс обойти соперника. Однако 70 лет советского «эксперимента» свели это преимущество на нет. И в начале XXI в. оппоненты с полным основанием могут обвинять «западников» в том, что те «обречены презирать Россию, ибо, отказывая ей в специфической цивилизационной идентичности, они прилагают к ней западный эталон и винят за несоответствие этому эталону» [Панарин, 2002, с. 24]. Красноречивый тому пример – рассуждения В.И. Новодворской, представляющей Россию разгильдяем, который отчаянно пытается «угнаться за последней электричкой и вскочить на ходу в самый последний заплеванный вагон», пренебрегая возможностью ехать по расписанию и в первом классе. Едва ли можно вдохновиться тем единственным позитивным моментом, которым Новодворская украшает изображенный ею образ «вечного двоечника» в школе модернизации: «Можно отчаяться и пойти на дно. А можно барахтаться... На челе России клеймо неудачи, но это, по словам Анны Ахматовой, “золотое клеймо”. Кто еще мог бы столько карабкаться, невзирая на боль от падения, на переломы и увечья? В эту вожделенную Европу, в этот заоблачный Запад? Кто, кроме Сизифа и России?» [Новодворская, 2002, с. 144, 157]. Уподобление Сизифу – более чем красноречивая иллюстрация трудностей, с которыми сталкиваются уже далеко не «внуки» классических западников.

Консервативно-почвенническая модель, развиваемая их оппонентами, в данном отношении безусловно более привлекательна, ибо она возвышает Россию над «Западом», выстраивая *альтер-*

*нативную систему координат.* Однако продвижение данной модели сталкивается с неразрешимо трудной проблемой поиска подходящей утопии: прошлое слишком разнородно, чтобы на его основе можно было синтезировать органичную традицию. Кроме того, консервативный проект всегда в той или иной мере сталкивается с угрозой архаизации. Его мобилизационные возможности, как это ни парадоксально, также зависят от успехов модернизации, создающих новые проекции «нашего славного прошлого», новые форпосты, которые можно защищать, увязывая с прежними традициями. В конце XX в. проблема обновления повестки дня отчасти решалась за счет позиционирования российского «антизападничества» в качестве своеобразного «патриарха» в лагере противников глобализма. Однако рассуждения о «цивилизационной альтернативе западноцентричным течениям» и «приоритете нематериальных ценностей, который всегда был присущ русскому обществу», кажутся несколько старомодными в век компьютеров и глобальных сетей.

Почему конструирование идентичности политического и культурного сообщества, стоящего за понятием «Россия», в постсоветский период осложнилось соперничеством столь радикально разных моделей? Представляется, что объяснение тому нужно искать не только в острой политической борьбе, развернувшейся вокруг беспрецедентно сложных реформ, но и в наборе представлений, на основе которого интерпретировалась ситуация. В понимании «демократов», результатом посткоммунистической трансформации должны были стать демонтаж советской системы и «построение» демократического общества с рыночной экономикой, т.е. воспроизведение на российской почве принципов, с которыми в годы «холодной войны» устойчиво связывалась идентичность «Запада». Особенности национальной культуры воспринимались в этом контексте скорее как «препятствие» для желаемых преобразований, нежели как «фундамент», на котором надлежало строить рынок и демократию. А представления о желаемых результатах и путях их достижения во многом определялись идеологическими шаблонами 1980-х годов (причем не только советскими; как известно, экономические реформы в России и некоторых других странах Восточной Европы в значительной мере вдохновлялись идеями «неоконсервативной революции»). В свою очередь, «антизападничество» стало реакцией на символическую политику российских реформаторов и вместе с тем – единственно возможной платформой, на которой могли объединиться разнородные

силы «национал-патриотической» оппозиции. Конструирование российской идентичности через противопоставление стереотипизированному обобщенному образу «Запада» позволяло обходить спорные вопросы, связанные с оценками коллективного прошлого. Таким образом, «возрождение» противостояния «западничества» и «почвенничества» может рассматриваться как результат осмысления трансформаций конца XX в. в системе представлений, сложившихся в период «холодной войны». Это в значительной мере новый феномен, качественно отличающийся от прежней оппозиции славянофильства и западничества и вместе с тем – в силу преемственности объекта соотнесения и репертуара смыслов – связанный с ними рамками продолжающегося дискурса о коллективной самоидентификации по отношению к Европе / Западу.

### **13. ОБРАЗЫ РОССИИ И «ЗАПАДА» В ДИСКУРСЕ ВЛАСТИ (2000–2007): ПОПЫТКИ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ<sup>1</sup>**

В настоящей главе представлено исследование одного из аспектов символической политики «нулевых» годов – дискурсивного конструирования коллективной идентичности сообщества, объединяемого государством Россия, через соотнесение с Другим, описываемым собирательным понятием «Запад». Как обсуждалось выше, споры о «самобытности» России, об отношении ее к «Западу» и о возможности для нее «особого пути» порождают относительно устойчивый дискурс, структура которого определяется противостоянием двух полюсов, рассматривающих Россию как тоже-Европу или не-Европу и соответствующим образом оценивающих перспективы освоения западного опыта и задачи внутренней и внешней политики. Было бы неверно представлять противостояние «западничества» и «антизападничества» как исключительно российское явление: проблема коллективной самоидентификации по отношению к «прогрессивному» Западу вставала во многих странах, раскалывая элиту на призывающих к скорейшему освоению передового опыта «западников» и уповающих на национальную самобытность «почвенников» [см.: Walicki, 1994; Jedlicki, 1999; Daskalov, 2002 и др.]. Вариации на те же темы звучат сегодня в постколониальных дискурсах, в спорах «евроскептиков» и «еврооптимистов», в выступлениях

---

<sup>1</sup> Статья написана для сборника «Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен», подготовленного ИНИОН РАН [Малинова, 2008в]. Расширенный вариант опубликован в коллективной монографии ИМЭМО РАН «Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация» [Малинова, 2008г]. Исследование проводилось при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 06-03-02–038а.

антиглобалистов и др. Однако в России этот спор воспроизводится беспрецедентно *долго*; причем периодически он приобретает значение одного из *главных идеологических водоразделов*. В этом дискурсе преобладают *противоположные* образы и оценки; и хотя крайнее западничество, как и крайнее антизападничество, – явление сравнительно редкое, каждый из лагерей стремится полемизировать со своими оппонентами, представляя их позицию более радикальной, чем она есть. При этом они апеллируют к обобщенным представлениям о, соответственно, «западничестве» и «почвенничестве» / «антизападничестве»<sup>1</sup>, опирающимся на репертуар смыслов, накопленных в этом долгом дискурсе. Несмотря на то что в действительности в этом дискурсе представлено множество *разных* образов Нас и Других, его структура и динамика определяются бинарной оппозицией зеркально противоположных интерпретаций.

Как я попытаюсь показать, модель коллективной идентичности<sup>2</sup>, предложенная В. Путиным и идеологами его администрации, на фоне этой традиции представляет собой определенную инновацию. Предметом анализа станут репрезентация образов России и «Запада» в программных выступлениях президента Путина, их интерпретация в текстах других представителей российского политического класса, а также их развитие в риторике президента Д.А. Медведева. Описав модель коллективной идентичности, продвигавшуюся «властью» в 2000–2011 гг., я попытаюсь в первом приближении оценить, как заложенные в ней инновации воспринимались элитой и обществом.

---

<sup>1</sup> Термины «западничество» и «почвенничество», взятые в кавычки, используются как идеально-типические категории; их содержание пояснялось в предыдущей главе.

<sup>2</sup> Под этим термином я понимаю дискурсивно задаваемые базовые представления о Нас (обычно в соотнесении с некими Значимыми Другими), которые структурируют восприятие социальной реальности. Модели коллективной идентичности имеют различные измерения (онтологическое, аксиологическое, когнитивное и др.); в концентрированном виде они воплощаются в образах Нас и Других, которые и будут основным предметом анализа данной главы.

## Позиционирование России по отношению к «обществу самых развитых государств» в выступлениях президента В.В. Путина

Выступления, заявления, статьи, пресс-конференции, интервью В.В. Путина за два срока его президентства составляют огромный массив текстов, в котором тема «Россия и мир» рассматривается в разных ракурсах и контекстах. Не ставя задачей охватить все многообразие сюжетов, затрагиваемых в этих текстах, я попытаюсь выделить наиболее очевидные способы репрезентации образов России и «Запада» в риторике Путина. В основу моего исследования будет положен анализ восьми ежегодных посланий президента Федеральному Собранию РФ. Эти документы фиксируют определенные вехи в развитии политического курса, имеют программный характер и в этом качестве неизменно оказываются предметом публичного обсуждения. Кроме того, они составляют вполне самостоятельный корпус текстов, которые, будучи однородными по жанру, структуре и объему, удобны для сравнительного анализа с применением качественных и количественных методов. С помощью дискурс-анализа<sup>1</sup> и контент-анализа<sup>2</sup> президентских посланий я попытаюсь выделить главные черты представленных в них образов Нас и Других и проследить их динамику. Полученные выводы будут дополнены наблюдениями, сделанными на основе ряда других путин-

---

<sup>1</sup> Объектами дискурс-анализа стали фрагменты текстов президентских посланий, в которых содержались прямые или косвенные характеристики Нас и Других, традиционно включаемых в понятие «Запад». Целью исследования было выявить основные способы репрезентации Нас и Других и сравнить их с идеальными-типическими моделями, описанными в предыдущей главе.

<sup>2</sup> Дискурс-анализ выделенных фрагментов текстов был дополнен контент-анализом, задачей которого было проследить динамику репрезентации Нас и Других в президентских посланиях Путина. В качестве классифицирующих категорий использовались способы репрезентации образов России и «самых развитых государств», выявленные в результате дискурс-анализа. Поскольку выбранные таким образом категории трудно формализовать, сведя их к определенным словам, был выбран метод анализа, использующий в качестве единицы содержания элементарные высказывания [см.: Черемисина, 1973]. Под элементарным высказыванием понимается фраза, имеющая завершённую синтаксическую структуру, т.е. состоящая из предиката (сказуемого) и цепочки зависимых слов. Подсчет элементарных высказываний, соответствующих той или иной рубрике классификатора, предварялся процедурой «развертывания» текста, выделения в нем синтаксических цепочек, «свернутых» в сложные предложения, причастные и деепричастные обороты.

ских текстов. Как и в предыдущей главе, меня будет интересовать в первую очередь то, что Г.Г. Дилигенский назвал «экзистенциальной» составляющей образа «Запада» как Значимого Другого [Дилигенский, 2002а, с. 86–88].

Как было показано выше, в 1990-е годы в российском дискурсе о «цивилизационном» самоопределении доминировали два противоположных образа Значимого Другого. В изображении «антизападников» Запад представлялся *Чуждым и Враждебным Нам Другим*, который стремится навязать России свои ценности, чтобы ослабить ее, и корыстно преследует собственные интересы, прикрываясь двойными стандартами. Данная модель признавала роль Запада в качестве технологического лидера и образца высокого уровня жизни, подчеркивая при этом, что благополучие «золотого миллиарда» достигнуто ценой жестокой эксплуатации менее развитых стран. В стане же «западников» тиражировался образ Запада как *Другого, которого Стоит Взять за Образец* не только потому, что он является воплощением идеалов свободы и демократии, но и из прагматических соображений: Запад – это общество с высокими показателями качества жизни и желанный для российской экономики богатый инвестор. Вместе с тем «западническая» модель признавала наличие «дистанции» между Россией и ее Значимым Другим; сторонники данной модели не забывали упоминать и о культурной специфике России, и о необходимости избирательного усвоения западного опыта (хотя эту часть их рассуждений оппоненты предпочитали не замечать).

Образ Другого, реконструируемый на основе текстов Путина, не соответствует ни одной из описанных выше соперничающих моделей, но включает элементы, «созвучные» им обеим. Риторика посланий второго президента России подчеркнута прагматична; она в минимальной степени следовала идеологическим клише, характерным для дискурса «западников» / «антизападников». Весьма характерный пример: ни в одном из восьми ежегодных посланий Путина не использовалось собирательное понятие «Запад» (и даже словосочетание «Западная Европа» употреблено лишь однажды<sup>1</sup>). Рассуждая о месте России в мире, Путин прибегал к более общим формулировкам («другие страны», «многие страны», «наши международные партнеры»). Страны, традиционно включаемые в понятие

---

<sup>1</sup> Для сравнения: в шести ежегодных посланиях ФС, подготовленных для Б.Н. Ельцина, содержится 10 упоминаний о «Западе» (в форме существительного и прилагательного) и 4 – о «Западной Европе».

«Запад», обозначались в его посланиях описательно, через указание на некие качества, причем без географической привязки – как «сообщество самых развитых государств», «страны с высокоразвитой экономикой», «сильные, экономически передовые и влиятельные государства мира» и т.д. По-видимому, выбор этого словарного ряда не случаен: за ним стоит стремление президента и его спичрайтеров отказаться от терминов, отягощенных негативными коннотациями, подчеркнуть «объективность» и «непредвзятость» оценок Другого, отойти от «старого» репертуара смыслов. И этот прием несомненно работает<sup>1</sup>.

В текстах путинских посланий Другой наделяется вполне конкретными позитивными характеристиками – они зафиксированы в его определениях («сильные», «экономически развитые», «влиятельные» государства). Эти качества не эксклюзивны – Россия тоже может обладать ими либо в будущем (традиционный элемент «западнической» стратегии), либо уже в настоящем и даже в прошлом (аспект, специально подчеркиваемый моделью коллективной идентичности, продвигаемой Путиным и идеологами действующей российской власти). Таким образом, используемый понятийный ряд позволяет заменить биполярную модель (Россия vs Запад) на континуум. Границы между Нами и Другими не абсолютны, а условны. Россия – и другая, и такая же (или становится такой же); степень различий зависит от выбора шкалы, при этом шкалы множественны и конкретны.

Не менее важно и то, как подается критика в адрес Другого: негативные оценки в президентских посланиях нередко облачаются в безличные предложения («Наши усилия избавить Россию от опасности подчас трактуются необъективно...» [Путин, 2000]; «Укрепление... нашей государственности – подчас сознательно трактуется как авторитаризм» [Путин, 2004]; «Не всем нравится стабильное поступательное развитие нашей страны...» [Путин, 2007a] и т.д.). Тем самым объектом критики оказывается фиксируемое наблюдателем *поведение* Другого, а не некие неизменные *качества*, присущие ему «от природы». В такой формулировке Наше недовольство Другим не закрывает возможность диалога с ним.

---

<sup>1</sup> Это наблюдение относится к текстам президентских посланий. В других выступлениях Путина можно обнаружить упоминания о «Западе» (например, в его выступлении на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, отличавшемся жесткой критикой в адрес Значимого Другого, присутствовали единичные упоминания о «западных государствах» и «западных партнерах» [Путин, 2007б]).

В президентских посланиях Другой настойчиво представляется как *Партнер* по игре, правила которой предполагают *конкуренцию*, причем подчеркивается, что и Россия должна освоить те же правила: «жесткая конкуренция» – «норма в международном сообществе», «в современном мире с нами никто не собирается враждовать..., но нас никто особенно и не ждет» [Путин, 2002], мы должны «как все без исключения страны мира» «отстаивать свои экономические интересы и использовать свои конкурентные преимущества» [Путин, 2007а]. В этом контексте разногласия естественны и не должны рассматриваться как следствие *неприятности*.

Вместе с тем начиная с 2003 г. в текстах путинских посланий все более отчетливо звучит раздражение по поводу не вполне добросовестного поведения партнеров: они не стесняются видеть в своих «видимых экономических преимуществах» «повод для роста геополитических амбиций» [Путин, 2003], не очень хотят «иметь дело с самостоятельной, сильной и уверенной в себе Россией» [Путин, 2004], используют переговоры о вступлении России в ВТО как инструмент «торга по вопросам, не имеющим ничего общего с деятельностью этой организации», забывают про «пафос необходимости борьбы за права человека и демократию, когда речь заходит о необходимости реализовать собственные интересы» [Путин, 2006], и наконец, «ловко используя псевдодемократическую идеологию», хотят «вернуть недавнее прошлое» [Путин, 2007а] и т.д. По мере того как нарастают эти критические нотки, в образе *Партнера* начинают проглядывать черты если не *Враждебного*, то во всяком случае *Недружественного Другого*.

Впрочем, в текстах Путина недовольствие поведением Другого нередко смягчалось ссылками на обстоятельства, которыми оно продиктовано («трудности нахождения общего языка» связаны с «тяжелыми последствиями» «холодной войны» [Путин, 2000], «далеко не все в мире смогли уйти от стереотипов блокового мышления и предрассудков, доставшихся нам от глобальной конфронтации» [Путин, 2006] и т.п.). В конечном счете, «неразорвавшиеся снаряды» «холодной войны» [Путин, 2007б] – это *общая* проблема, которую Россия видит и готова решать вместе со своими партнерами.

Наряду с прямой критикой в адрес Другого, в выступлениях Путина можно обнаружить множество фрагментов, где констатируются «объективные» трудности выстраивания взаимоотношений, а также декларируются предпочитаемые Россией принципы их развития. Эти фрагменты можно рассматривать как *косвенную критику Другого* (потребность в обсуждении принципов возникает, когда они не соблюда-

ются или по-разному интерпретируются). Такой способ обсуждения проблем имеет важные психологические особенности: одно дело, когда мы заявляем о недостатках партнера, другое – когда говорим о своем видении проблем и перспективах наших отношений. В последнем случае говорящий демонстрирует не только свои негативные эмоции по поводу поведения партнера, но и готовность к разумному и конструктивному развитию отношений при наличии ответной доброй воли<sup>1</sup>.

Таким образом, Путин постоянно подчеркивал, что Россия и члены «сообщества самых развитых государств» играют в одну и ту же игру, и в то же время призывал партнеров соблюдать правила. Однако настойчивость, с которой президент России вынужден возвращаться к критике поведения конкурентов, невольно отсылает к стереотипному образу «Запада»: это Другой, который *не хочет воспринимать Россию как себе подобную и играть с ней на равных*.

Вместе с тем именно утверждение представления о России как *подобной и равной* другим «сильным, экономически передовым и влиятельным государствам мира» является одним из основных лейтмотивов посланий Путина (и главной его инновацией по сравнению с моделями коллективной идентичности, доминировавшими в дискурсе 1990-х годов). Тема *подобия* России ее Значимому Другому традиционно развивалась через метафору *ученичества*: многочисленные версии западничества, связывавшие отличия от «остальной Европы» с отсталостью России, стремились представить последнюю как *Способную Ученицу*, которая быстро делает успехи. Данная метафора позволяет фиксировать как подобие («успехи»), так и различия («отставание»). В текстах посланий Путина нашло место и то, и другое<sup>2</sup>. При этом описательная тер-

---

<sup>1</sup> Можно отметить и еще одну психологическую особенность образа России в посланиях Путина: этот образ наделяется чертами «взрослого», способного брать ответственность на себя и не винить других в собственных неудачах («только от нас зависит, сможем ли удержать ситуацию и обеспечить благоприятные условия для собственного развития...») [Путин, 2001] и т.п.).

<sup>2</sup> Президент неизменно подчеркивал факты, свидетельствующие о сокращении дистанции между Россией и «самыми развитыми государствами» (успехи на пути интеграции в мировую экономику [Путин, 2001; Путин, 2002], статус «полноправного члена клуба восьми наиболее развитых государств мира» [Путин, 2003] и др.). Вместе с тем Путин критически отмечал и различия, не позволяющие пока поставить знак равенства между Россией и «передовыми государствами» (тема экономического отставания, «толкающего Россию в страны третьего мира», и необходимости его преодоления [Путин, 2000; Путин, 2002] и др.). Впрочем, как показывают результаты нашего контент-анализа, удельный вес высказываний такого рода в посланиях Путина невелик (см. рис. 1).

минология, отмеченная нами выше, позволяет подчеркивать относительность сходств и различий, увязывая оценку с выбором «шкалы».

Однако метафора «ученичества» оборачивается смысловой ловушкой. Как справедливо заметил И. Нойманн, «представление о России как об ученике предполагает, что она все больше становится похожей на “нас” и все меньше остается “другой”» [Neumann, 1999, p. 107; русский перевод: Нойманн, 2004]. В таком случае, как долго отличия могут рассматриваться в качестве определяющей характеристики? Очевидно, что описываемый Нойманном европейский дискурс, интерпретируя Россию как Другого, стремится «удержать» различия (в том числе – за счет переопределения контекста)<sup>1</sup>. Однако подходит ли такая стратегия самой России? Не случайно норвежский исследователь задается вопросом: «Останется ли самоотождествление с учеником доминирующей идентичностью в самом политическом дискурсе России»? Ведь «идея обучения предполагает неравенство, и потому с точки зрения русских неизбежен конфликт между принятием на себя роли “ученика” и сохранением представления о России как о великой европейской державе...» [Ibid., p. 108].

Выступления Путина дают вполне определенный ответ на вопрос Нойманна: центральным элементом модели коллективной идентичности, продвигавшейся российской властью с начала 2000-х годов, было признание того, что Россия во многих отношениях уже является «такой же», как «самые развитые государства мира». Это обстоятельство аргументировалось не только недавними достижениями (участие в «Большой восьмерке», экономический рост и др.) и ссылками на опыт антитеррористической коалиции, но и констатацией европейской идентичности России [Путин, 2005], признанием вклада нашей страны в становление «общеевропейской и мировой культуры» [Путин, 2007а], напоминанием о «цивилизаторской миссии» России «на евразийском континенте» [Путин, 2005], замечаниями о том, что проблемы, с которыми сегодня сталкивается Россия, знакомы многим другим странам [Путин, 2000; Путин, 2006], наконец – ответственностью за противодействие глобальным угрозам, которую Россия несет наравне с «ведущими мировыми державами» [Путин, 2006] и др.

Вместе с тем в выступлениях Путина подчеркивалось не только подобие России Значимому Другому, но и ее *самобыт-*

---

<sup>1</sup> Это хорошо показывает и М. Малиа [Malia, 1999].

ность и самостоятельность в осуществлении собственных целей и общих с другими развитыми и демократическими государствами идеалов.

Первые наброски идеи, позже получившей развитие в концепции «суверенной демократии», высказывались Путиным уже в его первом послании Федеральному Собранию: «Демократическое устройство страны, открытость новой России миру не противоречат нашей самобытности и патриотизму, не мешают находить собственные ответы на вопросы духовности и морали» [Путин, 2000]. Смысл этой фразы, видимо не случайно выделенной в печатном тексте послания жирным шрифтом, становится понятен, если обратиться к истории долгих споров о коллективной самоидентификации по отношению к «Западу». Так уж сложилось, что «демократическое устройство» и «открытость миру» были достоянием «западнической» стратегии, утверждавшей *подобие* России остальной Европе (что на практике не исключало признания самобытности, однако это обстоятельство чаще всего ускользало от внимания оппонентов). Данная модель предполагала, что Россия рано или поздно должна «догнать» «Запад», двигаясь «тем же путем» (пусть и по-своему). Что касается «самобытности» и поиска «собственных ответов на вопросы духовности и морали», эти принципы оказались атрибутами «почвеннической» стратегии, подчеркивавшей качественный характер *различий* между Россией и Западной Европой и настаивавшей на принципиальной непригодности опыта последней и необходимости «особого пути». Таким образом, по логике этого дискурса, признание целей и ценностей, которые символизирует Значимый Другой, означает принятие роли догоняющего, неравного, утверждение же собственной «самобытности», самостоятельности и в этом смысле – равнозначительности было возможно только за счет перехода в другую ценностную шкалу, где именно то, чем Мы отличаемся от Другого, является преимуществом<sup>1</sup>. Инновация, заявленная Путиным, заключалась в попытке соединить казалось бы несоединимое: приверженность идеалам, декларируемым «сообще-

---

<sup>1</sup> При этом альтернативная ценностная шкала должна быть значима и для Другого; для славянофилов общей с «Западом» системой ценностей было христианство. В случае с «демократией» происходит «присвоение» идеала, который прежде рассматривался как характеристика Другого (хотя попытки «присвоения» имели место и раньше: поскольку в рамках официальной советской идеологии неполноценной «буржуазной» западной демократии противопоставлялась «истинная», социалистическая; однако при этом между Нашим и Иным проводилась качественная граница).

ством самых развитых государств», и «самобытность» России, дающую ей основание идти к осуществлению этих идеалов собственным путем и оценивать успехи по шкале, выбранной ею самой, а не навязанной извне. Очевидно, что успех новой модели идентичности зависит не только от преодоления инерции коллективных автостереотипов, но и от степени адекватности заявляемых постулатов реальным политическим практикам.

Тема «самостоятельности» России на пути к демократии, свободе и справедливости получила развитие в послании 2005 г.<sup>1</sup> Сформулированный в нем тезис о «суверенности» российской демократии («Россия – это страна, которая выбрала для себя демократию волей собственного народа [Путин, 2005]) был очевидным образом использован для легитимации «особенностей» отечественного транзита, и в частности проводимых Путиным политических реформ («Как суверенная страна Россия способна и будет самостоятельно определять для себя и сроки, и условия движения по этому пути» [там же]). В то же время этот тезис утверждал демократию как «Нашу собственную», а не навязанную извне цель. Таким образом, с одной стороны, он был направлен против интерпретации результатов «холодной войны» как победы «демократии» / Запада и поражения «тоталитаризма» / СССР / России, а с другой – оспаривал представление о том, что авторитарность власти является неотъемлемой чертой отечественной культуры.

Чтобы обосновать представление о России как о «суверенной» стране, разделяющей идеалы «общества самых развитых государств» и способной самостоятельно и «по-своему» их развивать, необходимо было показать, что «демократия» является «органической» для России ценностью. Однако с этим, как мы видели, возникали наибольшие сложности, поскольку, заявляя о «демократии» в качестве цели, с начала 1990-х годов российский политический класс не преуспел в изменении доминирующего нарратива, представляющего авторитаризм в качестве основного элемента исторического наследия<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> В. Третьяков неслучайно усмотрел в этом послании контуры «политической философии В. Путина», причем статью, опубликованную в «Российской газете» 28 апреля 2005 г. озаглавил «Суверенная демократия» [Третьяков, 2007]: в текст путинского послания несомненно были заложены основные тезисы доктрины, позже развернутой В. Сурковым и др. идеологами.

<sup>2</sup> Собственно, первые усилия, направленные на создание альтернативного нарратива отечественной истории как «истории русской свободы», стали приносить плоды лишь недавно [Ахиезер и др., 2005; История России, 2009 и др.].

Спичрайтеры Путина выходили из положения, с одной стороны, за счет новейшей истории, а с другой – за счет наделения новым содержанием символа Великой Отечественной войны<sup>1</sup>. Главным аргументом в пользу признания демократии Нашей «собственной» ценностью служил момент «выбора», связанный с оценкой опыта 1990-х годов. Следует заметить, что внутренняя политика второго президента России с самого начала репрезентировалась по принципу контраста с ельцинским периодом: ее фирменным знаком стало «укрепление государства», ослабленного, если не «разваленного» в 1990-х годах в результате преобразований, проходивших под знаком «демократизации». В текстах путинских выступлений, в том числе – в его ежегодных посланиях, можно обнаружить немало критических замечаний о практиках 1990-х годов<sup>2</sup>. Вместе с тем второй президент России подчеркивал и преемственность своего курса, прежде всего – в смысле приверженности сделанному в 1990-х годах «демократическому выбору». Особенно настойчиво эта мысль звучит в посланиях периода второго правления Путина. В 2005 г., формулируя принцип «суверенной демократии», он прямо полемизировал с теми, кто полагает, что «наша молодая демократия является не продолжением российской государственности, а ее окончательным крахом» [Путин, 2005]. В 2007 г., как бы подводя черту, Путин констатировал, что несмотря на все проблемы и неудачи 1990-х годов «именно в этот непростой период был заложен фундамент будущих перемен» [Путин, 2007а]. Таким образом, в вопросах оценки новейшей российской истории Путин и идеологи его администрации стремились учитывать настроения не только критиков, но и защитников политики 1990-х годов. Правда, как мы увидим ниже, большинство представителей политического класса, включившихся в развитие

---

<sup>1</sup> В качестве подтверждения тезиса об общих ценностях Путин приводил героическую борьбу советского народа «против нацизма с его идеологией варварства, столь противоположной всему тому, что составляло идеалы европейской цивилизации» [Путин, 2007в].

<sup>2</sup> В 2001 г. Путин косвенно критиковал прежнее правительство за не вполне «цивилизованный» подход к проблеме внешнего долга [Путин, 2001], в 2002 г. – за «иллюзии» по поводу того, что «окончание периода военно-политической конфронтации чуть ли не автоматически откроет России путь в мировую экономическую систему [Путин, 2002], в 2003 г. говорил о необходимости «восстановления» ослабленной в 1990-х государственности [Путин, 2003], в 2006 г. отмечал, что ни власть, ни бизнес не оправдали надежд, которые миллионы людей связывали с переменами 1990-х годов [Путин, 2006] и др.

доктрины «суверенной демократии», придерживались на этот счет вполне однозначного мнения.

Стремление отойти от метафоры *ученичества* и представить Россию как «равного» члена «сообщества самых развитых государств» реализуется и в попытках показать, что Мы не только разделяем принятые в этом сообществе ценности, но и *сами можем служить образцом* их воплощения. Эта тема неоднократно возникала в выступлениях Путина. В послании 2002 г. он ставил перед Россией задачу «не просто соответствовать лучшим образцам в мире», а самой их создавать, рассматривая такую способность как свидетельство принадлежности к числу «богатых и сильных» [Путин, 2002]. В 2003 г. он подчеркивал значение опыта России как «одной из первых стран, столкнувшихся с масштабной угрозой международного терроризма» для создания антитеррористической коалиции [Путин, 2003]. В послании 2005 г. президент подчеркивал, что «Россия была, есть и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией», в подтверждение чему приводил целый перечень общих достижений, заключая: «Все это мы делали вместе, в чем-то отставая, а в чем-то иногда опережая европейские стандарты» (анализируя этот перечень, можно предположить, что «опережение европейских стандартов» связано главным образом с советскими «завоеваниями» в области прав человека, прежде всего – социальных, поскольку «реформы Просвещения», «становление парламентаризма, муниципальной и судебной власти» и другие отмеченные Путиным «общие» успехи в эту категорию явно не вписываются) [Путин, 2005]. Наконец, в 2007 г. Путин напоминал в своем послании об «огромном вкладе», который Россия внесла «в становление общеевропейской и мировой культуры» [Путин, 2007а]. Отметим и еще одну заслугу в деле продвижения общих ценностей, которая неоднократно подчеркивалась в выступлениях Путина перед зарубежной аудиторией: «Выбор народа России на рубеже 90-х годов XX века не просто расширил пространство свободы на континенте, но фактически определил пути дальнейшей европейской интеграции» [Путин, 2007в]. В докладе на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007 г. президент России представлял этот опыт как пример успешной и *мирной* борьбы с «авторитарными режимами», на котором стоит поучиться сторонникам концепции однополярного мира (для того чтобы бороться с «действиями авторитарных режимов» и

«распространением оружия массового поражения», не обязательно «бомбить и стрелять») [Путин, 2007б]<sup>1</sup>.

Таким образом, Путин и его спичрайтеры стремились представить Россию и как *подобную* Значимому Другому (актуально или потенциально – в зависимости от критерия оценки), и как *отличающуюся* от Него (*своим путем* идущую к осуществлению *общих* целей). Стремясь отойти от метафоры *ученичества*, они подчеркивали *равенство статуса* России в «сообществе самых развитых государств», в том числе – и ее способность служить *образцом* (как в прошлом, так и в настоящем). Декларация приверженности идее демократии играет ключевую роль в обосновании этой диалектической формулы: она диктуется логикой постсоветской российской идентичности, развивающей нарратив 1990-х годов. Россия равна и подобна «Западу» не только потому, что она остается великой державой, но и потому, что, отказавшись от коммунистической идеологии, она – в логике бинарных категорий эпохи «холодной войны» – провозгласила своими цели и ценности, с которыми связывается идентичность Значимого Другого. В этом смысле модель коллективной идентичности, прослеживаемая в официальном дискурсе, является «западнической». Вместе с тем наличие очевидных различий в степени «освоения» декларируемых демократических ценностей (которое к тому же систематически подчеркивается западными партнерами) и представление о несовместимости статуса «великой державы» с ролью «ученика» побуждают российскую правящую элиту к поиску компенсирующих стратегий. Одна из таких стратегий – акцентирование особенностей «Нашего собственного пути» к общим целям – обуславливает очевидный крен в сторону «почвенничества». Другая – критика «Запада» за «отступления» от общих идеалов или неполное соответствие им (в настоящем или прошлом) – формально опирается на принципы «западничества», но по мере того как Наше прочтение указанных идеалов приобретает системность особой доктрины, эта стратегия может работать и на закрепление различий в духе «почвеннического» подхода.

Выделенные здесь способы репрезентации Нас и Других в той или иной мере присутствуют во всех посланиях Путина Федеральному Собранию, однако соотношение между ними менялось.

---

<sup>1</sup> Тема России как образца воплощения демократических идеалов, который Запад не вполне бескорыстно недооценивает, настойчиво развивается в текстах В. Суркова о «суверенной демократии»; особенно см.: [Сурков, 2007б].

Динамику репрезентации образов России и Запада можно проследить с помощью контент-анализа президентских посланий. Напомню, что подсчитывалось количество элементарных высказываний, составляющих фрагменты текста, которые могут интерпретироваться как утверждение подобия России «самым развитым странам» (актуального или потенциального), как констатация ее отличий от них, а также как прямая или косвенная критика Значимого Другого (см. рис. 1).

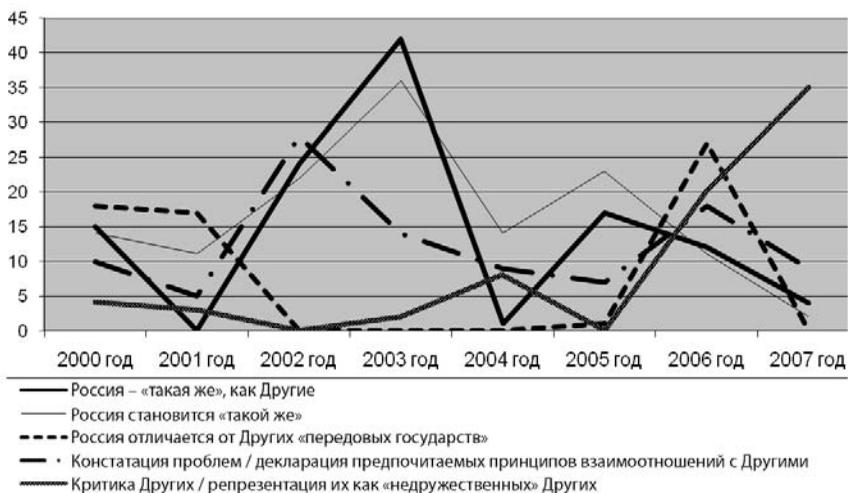


Рис. 1. Репрезентация образов России и Запада в посланиях президента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ, 2000–2007 гг. (результаты контент-анализа)

Обращает на себя внимание, что Путин нечасто акцентирует *различия* между Россией и ее Значимым Другим. Эта тема возникает преимущественно в контексте постановки задач экономического развития<sup>1</sup>. Вместе с тем во всех президентских посланиях 2000–2007 гг. подчеркивались факты, свидетельствующие, что Россия в определенных отношениях *становится подобной / равной* странам «Запада». При этом число высказы-

<sup>1</sup> Наиболее резко – в посланиях 2000–2001 гг., где говорилось об опасности увеличения разрыва «между передовыми государствами и Россией», который «толкает нас в страны третьего мира» [Путин, 2000], а также в 2006 г., в контексте обоснования необходимости структурных реформ [Путин, 2006].

ваний, утверждающих *актуальное подобие / равенство* России «самым передовым и развитым странам», в посланиях разных лет колеблется, коррелируя с количеством фрагментов, содержащих критику Другого.

Высказывания, констатирующие трудности во взаимоотношениях и декларацию предпочитаемых Нами принципов выстраивания последних, в целом превалировали в посланиях Путина над фразами, содержащими прямую критику в адрес Другого (это соотношение впервые оказалось нарушено в 2007 г.). Весьма характерно, что послания 2002 и 2003 гг., в которых отразились ожидания, возникшие на волне тесного сотрудничества со странами НАТО в рамках антитеррористической коалиции, уделяли максимальное внимание теме актуального подобия / равенства (соответственно, 24 и 42 элементарных высказывания<sup>1</sup>) и практически не содержали прямой критики «Запада». Таковая заметно нарастает начиная с послания 2004 г., в котором отразились опасения, вызванные «цветными» революциями на постсоветском пространстве<sup>2</sup>. Вместе с тем в послании 2005 г., акцентировавшем принцип «суверенности» российской демократии, прямая критика «Запада» была сведена к минимуму, зато количество высказываний, констатирующих актуальное и потенциальное подобие / равенство, оказалось достаточно значительным (соответственно, 17 и 23). Но в 2006–2007 гг. «критические» нотки заметно усиливаются, а количество высказываний о подобии / равенстве оказывается минимальным.

Вполне определенная динамика репрезентации образов России и Запада прослеживается и при сравнении среднего количества высказываний каждой из выделенных нами категорий в посланиях двух четырехлетних сроков президентства Путина (см. рис. 2).

---

<sup>1</sup> Этот «пик» в динамике репрезентации России как подобной / равной был связан с констатацией успехов на пути интеграции в «наиболее развитых государствах мира», прежде всего – с приглашением стать полноправным членом «Восьмерки».

<sup>2</sup> Подчеркивая, что «далеко не всем в мире хочется иметь дело с самостоятельной, сильной и уверенной в себе Россией», Путин приписывал враждебные намерения если не «сильным и развитым государствам», то «влиятельным зарубежным фондам», финансирующим НКО, которые вовсе не «ориентированы на отстаивание реальных интересов людей» [Путин, 2004].

Рис. 2. Динамика репрезентации образов России и Запада в посланиях президента В.В.Путина Федеральному Собранию РФ, 2000-2003 гг. и 2004-2007 гг. (результаты контент-анализа)

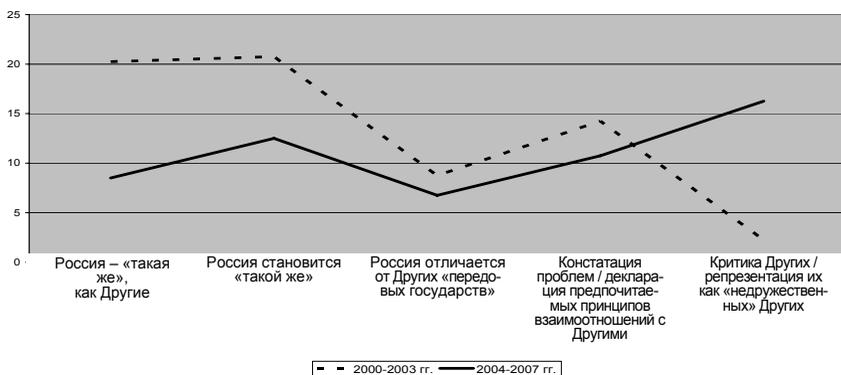


Рис. 2. Динамика репрезентации образов России и Запада в посланиях президента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ, 2000–2003 гг. и 2004–2007 гг. (результаты контент-анализа)

Очевидно, что в посланиях первого президентского срока Путина доля высказываний, указывающих на актуальное или потенциальное подобие / равенство, была заметно выше, чем доля критических высказываний, а косвенная критика преобладала над прямой. В посланиях же второго срока в среднем меньше говорилось о подобии / равенстве, но заметно усилились критические мотивы. Разумеется, было бы неправильно на основе анализа президентских посланий делать выводы о том, как менялась репрезентация образов Нас и Других в риторике Путина вообще. Однако с учетом программного характера данных текстов можно констатировать определенные тенденции в расстановке акцентов.

Как мы видим, способ позиционирования России по отношению к «Западу», реализованный в президентских посланиях Путина, отличается и от «западнических», и от «антизападнических» моделей, которые на протяжении почти двух столетий доминировали в российском дискурсе о коллективной самоидентификации. Предлагаемая новая модель сочетает «западническое» представление об *общности целей и ценностей* России и «Запада» с «почвенническим» акцентом на *самобытный* способ их реализации, пытается представить Россию как *актуально* (а не только потенциально) *подобную* и *равную* Значимому Другому и даже способную служить ему образцом в осуществлении *общих* ценностей. Весьма существенно и то,

что в программных выступлениях Путина Другой лишен географической привязки и описывается через конкретные и отнюдь не эксклюзивные признаки. Вместо «полюсов» возникает континуум, по которому можно перемещаться, акцентируя то сходство, то различия. В последующих разделах главы я попытаюсь оценить, как эти новые подходы к коллективному самопозиционированию отражаются в элитарном политическом дискурсе и в какой мере они соответствуют массовым настроениям.

### **Образы России и «Запада» в дискуссиях «PRO суверенную демократию»**

Стремление Путина и его спичрайтеров переопределить коллективную идентичность не отменяет противостояния полюсов «западничества» и «антизападничества». За долгую историю споров о цивилизационной принадлежности России предпринималось множество попыток примирить противоположные концепции. Однако в логике данного дискурса высказывания в духе «золотой середины» интерпретируются сквозь призму бинарной оппозиции: объектами согласия или возражений становятся смыслы, значимые для того или иного полюса. Именно так комментировались выступления Путина. Решительность, с которой он после событий 11 сентября 2001 г. заявил о солидарности с «развитыми и демократическими странами», укрепила надежды либералов-«западников» на интеграцию России «в Европу». При этом желанная перспектива описывалась в традиционной «западнической» логике, согласно которой России еще только предстоит стать *«такой же»*, как ее Значимый Другой, сократив *количественные* различия в уровнях развития<sup>1</sup>. Высказывания же

---

<sup>1</sup> По оценке В. Рыжкова, «существующие глубокие разрывы между современной Россией и Европой – это разрывы не между российской и европейской цивилизациями, а разрывы от пострадавшей от долгой изоляции страной и европейскими достижениями XX в.» [Рыжков, 2001]. Примерно об этом писал и В. Шейнис: «Если прав Гегель, утверждая, что “всемирная история есть прогресс в познании свободы”, то именно путь европейских обществ определяет вектор современной мировой цивилизации. Поэтому национальные интересы России в первую очередь заключаются в скорейшем выстраивании ее социальной жизни в соответствии с инвариантными чертами европейских обществ» [Шейнис, 2001]. Поддерживая линию Путина на сближение с Европой и США, представители либерально-«западнического» лагеря выражали озабоченность тем, что она не встречает единодушной поддержки политического класса [см.: Янов, 2002].

Путина, подчеркивающие *самостоятельность* России по отношению к «Западу», стимулируют энтузиазм «антизападников», приветствующих укрепление державности и приверженность самобытному пути<sup>1</sup>. Таким образом, противостояние полюсов сохраняется, и то обстоятельство, что модель коллективной идентичности, продвигаемая действующей российской властью, оказывается созвучной и «западничеству», и «антизападничеству», позволяет обоим лагерям с теми или иными оговорками записывать Путина в свои союзники.

Не ставя задачей анализ всех сегментов российского политического дискурса, сосредоточу внимание на освоении новых формул соотнесения с «Западом» лояльной Путину частью российского политического класса. Идеи, отмеченные в первом разделе данной статьи, играют важную роль в идеологии правящей элиты, разработке которой стало уделяться особенно пристальное внимание с 2005 г. В многочисленных текстах, вышедших из-под перьев заместителя руководителя Администрации Президента РФ В.Ю. Суркова, его соратников и оппонентов, выделенные нами аспекты образов Нас и Других не только более обстоятельно развиваются, но и по-разному интерпретируются.

Тезис об *актуальном подобии / равенстве* Значимому Другому активно используется для обоснования доктрины «суверенной демократии». В 2006–2007 гг. В. Сурков настойчиво подчеркивал, что Россия – «соавтор и соактор европейской цивилизации» [Сурков, 2006а, с. 38], что мы разделяем одни и те же ценности, что «мы в целом проходили тот же путь, что и другие европейские страны», и «не должны считать себя какими-то изгоями, у которых не получается то, что получается у других»<sup>2</sup>. Подобно западникам 40-х годов XIX в. Сурков предлагает рассматривать культурную

---

<sup>1</sup> Так, А. Дугин послание 2003 г. оценил как знак возвращения «евразийского, патриотического Путина, который... является источником позитивных ожиданий нации» [Дугин, 2003]. С.Г. Кара-Мурза интерпретировал послание 2006 г. как «сигнал, что должен кончиться в России морок гуманитарного низкоклонства перед Западом...». Выступление Путина, с его точки зрения, свидетельствует, что «с идеологией “возвращения в лоно цивилизации” в России покончено. Задача “Догнать и прицепиться!” снята» [Кара-Мурза, 2006].

<sup>2</sup> По утверждению В. Суркова, «абсолютизм в России достиг своего апогея примерно в то же время, что и во Франции», «торговлю людьми Россия отменила и запретила даже раньше, чем это сделали Соединенные Штаты Америки», «парламентаризм у нас тоже не намного младше, чем в других странах» и, создавая в XX в. «довольно странное тоталитарное государство», мы не были одиноки [Сурков, 2007а, с. 35].

дистанцию между Россией и Европой как соразмерную различиям между отдельными европейскими странами: «Конечно, российская версия европейской культуры специфична, – подчеркивает он, – но она не более специфична, чем германская, французская или британская версия» [Сурков, 2006б].

Однако не все сторонники доктрины «суверенной демократии», не говоря уже о ее оппонентах, оказались готовы согласиться с таким вариантом «цивилизационной» самоидентификации. Например, Ю.М. Лужков в полемической статье «Мы и Запад» выводил несколько другую формулу отношений России и Европы: «Мы рядом и мы вместе, но мы не есть одно и то же». Мэр Москвы цитировал Н. Данилевского и И. Ильина и рассуждал о неизбежности непонимания между Нами и Нашим Значимым Другим [Лужков, 2007, с. 196]<sup>1</sup>. А его коллега и соратник по партии М. Шаймиев напоминал о «ярко выраженных евразийских истоках» и «фундаментальных отличиях современной Российской Федерации от большинства стран Европы», связанных с поликонфессиональностью и многоэтничностью первой («Будучи европейской страной Россия содержит в себе мусульманский компонент», – подчеркивал президент Татарстана [Шаймиев, 2007а, с. 295–296]). Тем более предложенная Сурковым интерпретация оказалась неприемлема для «тактических союзников» из патриотического лагеря<sup>2</sup>: по мнению публициста «Советской России» С. Батчиков, «сейчас, “на поминках по Просвещению”, евроцентризм выглядит просто анахронизмом», и кости Бердяева и Ивана Ильина, которых Сурков цитирует, «возмущенно стучат в гробу». Пути России и Европы – несомненно разные. «Никогда Запад в цивилизационном смысле не считал Россию Европой, – подчеркивает Батчиков, – он ее ненавидел или уважал как особую самобытную цивилизацию – Евразию» [Батчиков, 2007, с. 107–108].

---

<sup>1</sup> Статья была опубликована в «Российской газете» 15 июня 2006 г.; ее можно рассматривать как развитие дискуссии о «суверенной демократии», начатой в феврале 2006 г. выступлением В.Ю. Суркова на партийной школе «Единой России».

<sup>2</sup> Необходимо отметить, что доктрина «суверенной демократии» вызвала в целом положительные отклики представителей этого лагеря. По словам главного редактора газеты «Завтра» А. Проханова, «патриотическая оппозиция, потерпев политическое фиаско, тем не менее победила на более высоком, идейном и смысловом уровне. Теперь... можно сказать, что власть выражает себя в наших, имперских патриотических терминах» [Проханов, 2007, с. 86]. Того же мнения придерживался С. Глазьев: «Сурков провозглашает истины, которые многие годы доказывали лучшие представители народно-патриотической оппозиции» [Глазьев, 2007, с. 498].

Весьма примечательно, что даже у политиков и публицистов, поддержавших идеи «суверенной демократии», возникла потребность поправить Суркова в вопросе о «цивилизационной» самоидентификации. Обсуждение темы России и «Запада» опирается на исторически сложившийся репертуар смыслов, в котором обнаруживаются прочные ассоциативные связки, имеющие ценностную окраску и плохо поддающиеся переопределению. Новаторский тезис об актуальном подобии «Западу» конфликтует с привычными конструкциями, определяющими доминирующие способы восприятия Нас и Других. Кроме того, российский дискурс о коллективной идентичности не вполне автономен: он чутко реагирует на динамику репрезентации России «Западом», которая, в свою очередь, нередко определяется «внутренними» проблемами Нашего Значимого Другого. По словам М. Малиа, «было бы иллюзией полагать, что отношение Запада к России всегда представляло собой рациональную реакцию на реальные конфликты интересов или что периодические приступы русофобии всегда были вызваны объективной угрозой со стороны русских властей. Напротив, Запад часто беспокоился совсем не тогда, когда Россия давала особые поводы для беспокойства, и успокаивался тогда, когда в действительности не было поводов для спокойствия» [Malia, 1999, p. 7–8; ср. Neumann, 1999, ch. 3]. Неудивительно, что такое отношение Значимого Другого в России воспринимается как «несправедливое». Отсутствие должной поддержки «западнической» стратегии самопрезентации традиционно служит психологическим стимулом для поворота российской элиты в сторону «почвенничества». Модель коллективной самоидентификации, развивавшаяся Путиным и его спичрайтерами, давала возможность совершать этот маневр, не отвергая окончательно одну стратегию в пользу другой.

Доктрина «суверенной демократии» предполагала весьма специфический способ «присвоения» ценностей, с которыми «Запад» связывает собственную идентичность. С одной стороны, Сурков пытается доказать, что «мы ничем не лучше и не хуже других» (Европа тоже имела опыт авторитаризма и тоталитаризма), а с другой – подчеркивает, что демократия – это Наш собственный выбор («...Россия приведена к демократии не «поражением в “холодной войне”, но самой европейской природой ее культуры» [Сурков, 2006а, с. 30, сн.]). Последнее утверждение обосновывается с помощью специфической интерпретации новейшей истории. В изображении Суркова СССР – это «модерни-

зационный крупнейший проект», который «уже нес в себе зачатки демократии», однако оказался не вполне удачным<sup>1</sup>. Выбор 1990-х годов в этой логике представляется «возвращением к демократическим ценностям», «подробно прописанным» в советской конституции [Сурков, 2007а, с. 37]. Не вдаваясь в обсуждение вопроса о правдоподобности такой трактовки, отметим, что она явно расходится не только с популярной в начале 1990-х годов интерпретацией перестройки как «возвращения на столбовую дорожку цивилизации», но и с нарративами русской истории, доминирующими на Западе. Парадоксальным образом концепция «суверенной демократии» опирается на официальную советскую идеологию (в части «модернизационного проекта» и «социалистической демократии»), однако акцентирует не отличия от Значимого Другого (определявшиеся в терминах общественного строя), а сходство исторического опыта и исповедуемых ныне ценностей. Но «социалистическая демократия» не вполне тождественна тому, что вкладывает в понятие демократии «Запад», поэтому аргумент Суркова о «возвращении к демократическим ценностям» может восприниматься как доказательство не столько *подобия*, сколько *отличия*.

Подчеркивая необходимость уважительного отношения к советскому опыту, главный кремлевский идеолог считает нужным дистанцироваться от практики 1990-х годов («Вместо того, чтобы двигаться к демократии, мы получили то, что справедливо названо олигархией» [там же, с. 38]). Впрочем, 90-е годы, по мысли Суркова, не следует «считать потерянными для России», ибо «пусть даже в таких извращенных... условиях, но осваивались новые социальные практики», а главное – складывался «материал для формирования нового ведущего слоя нации» [там же, с. 42]). Однако «все основные идеи демократии были искажены», и вопреки тем, кто нас «сегодня учит демократии и рассказывает, что она куда-то сворачивается», именно Путин «возвращает реальный смысл слова “демократия” всем демократическим институтам»

---

<sup>1</sup> Сурков отмечает два «крупнейших достижения» СССР: «мощную идеологическую работу... в планетарном масштабе» и индустриализацию [Сурков, 2007а, с. 35–37]. «Идеологическая работа» СССР, видимо, действительно служит для главного идеолога администрации Путина источником вдохновения: в его текстах прослеживается множество аллюзий со сталинскими речами времен индустриализации (включая тезис об усилении идеологической борьбы «по мере развития демократических институтов») [там же, с. 34; ср.: Батчиков, 2007, с. 97–99].

[там же, с. 39, 42]<sup>1</sup>. Таким образом, в телеологии Суркова политические реформы Путина представляются как «прорыв» на пути демократизации России, усиливающий степень ее общности со Значимым Другим.

Нужно признать, что лояльная Путину часть политического класса более или менее единодушно разделяла критическую оценку демократического опыта 1990-х<sup>2</sup>, однако характеристики путинского режима, обнаруживаемые в ее дискурсе, скорее акцентируют отличия России от «Запада», чем подтверждают сурковский тезис об «общем пути» с Европой. Лидеры и идеологи «Единой России» настойчиво доказывали, что политический режим начала 2000-х годов соответствует отечественным политическим традициям (и именно поэтому отличается от западных стандартов). По словам Ю.М. Лужкова, «России нужна была политика увязывания между собой традиционных ценностей, без которых общество перестанет существовать, с демократией, без которой общество не сможет развиваться. Именно такая политика и проводится в России сегодня...» [Лужков, 2007, с. 201–202].

В июне 2006 г., спустя несколько месяцев после первой презентации Сурковым концепции «суверенной демократии», «Единая Россия» и издательство «Европа» при участии РГГУ провели в Москве месячную акцию «Дни русской политической культуры», которая широко освещалась СМИ (ее подробный анализ можно найти в главе 3). Характерными чертами отечественной политической традиции были признаны: «соборность», «идеал единства народа и власти», представление о государстве как об «абсолютной ценности», «наличие ясно обозначенного лидера», соперничество «тоталитарной, авторитарной и демократической» состав-

---

<sup>1</sup> Анализ интерпретации демократии в текстах Суркова см.: [Казанцев, 2008].

<sup>2</sup> Предложенная Сурковым дихотомия «олигархической» (по Ю.М. Лужкову – «дефективной», по С. Маркову – «плохой», «под чужим контролем и по чужим моделям») демократии 1990-х и «хорошей» демократии при Путине разделяется не только единороссами [см.: Лужков, 2007, с. 202; Суверенное государство..., 2007, с. 266], но и многими «патриотами» (правда, в рядах последних не все согласны с тем, что «олигархическая демократия» уже осталась в прошлом [ср.: Батчиков, 2007, с. 103–105]. Причем упор делается то на «олигархический», то на недостаточно «суверенный» характер ельцинского режима. Тему «несуверенности» любят развивать идеологи «Единой России». Например, по оценке А. Исаева, главная причина нелегитимности реформ 1990-х годов – в том, что «они были восприняты как десуверенизация России, лишение ее самостоятельной государственной роли» [Исаев, 2006, с. 21].

ляющих и др. Участники акции стремились доказать, что политика Путина в полной мере соответствует этим принципам, а «ЕР» следует считать единственной «партией русской политической культуры» [Исаев, 2006].

Годом позже эта тема была развита в выступлении В. Суркова в стенах Президиума РАН. Как и в путинских текстах 2007 г., в этой лекции акценты смещены в сторону более критической репрезентации Значимого Другого и демонстрации различий. На этот раз заместитель руководителя кремлевской администрации подчеркивал специфику «российской версии европейской цивилизации» и рассуждал, как следует использовать «генетическую формулу национальной культуры» «для создания конкурентоспособной экономики и жизнеспособной демократии». Критически оценивая некоторые элементы отечественной политической культуры, Сурков утверждал, что она все же «располагает достаточным потенциалом для выработки российской демократической модели... И мы можем говорить о собственном опыте демократии своими словами». За этим тезисом следовал длинный пассаж о том, что нужно «с пониманием» относиться «к ворчанию и крикам из-за границы по поводу наших внутренних дел», ибо ясно, что «ворчащим и кричащим нужна такая демократия в нашей стране, чтобы им было лучше жить» [Сурков, 2007б]<sup>1</sup>. Нетрудно догадаться, что именно «концепция суверенной демократии наилучшим образом соответствует основам русской политической культуры» [там же].

Таким образом, выделенная нами на примере анализа путинских посланий новая формула соотношения с «Западом», акцентирующая не только *потенциальное*, но и *актуальное подобие / равенство*, легко смещается в сторону одного из полюсов за счет реинтерпретации «общих» ценностей и переноса акцентов на *особенности* Нашего способа их воплощения. Но столь же легко со-

---

<sup>1</sup> Сурков В.Ю. Русская политическая культура. Впрочем, Сурков отмечает подозрения, что это «беспрецедентное давление на Россию» обусловлено стремлением захватить «контроль над ее природными ресурсами», но равно не готов признать объективность критики «недостатков нашей демократии». Цитируя Нойманна, он связывает изобретение «мифа о каком-то неблагонадежном звере на окраине» с потребностью в «консолидации Западной и Центральной Европы вокруг одного, кстати, внеевропейского центра» [там же]. Таким образом, «Запад» представляется здесь не столько Врагом, сколько Неискренним Партнером, коварно прикрывающим разговорами о демократии собственные корыстные интересы.

вершается и переход в противоположном направлении: определив Россию и Запад как «однокоренные, но глубоко различные по духу европейские культуры», Сурков двумя абзацами ниже говорит о возможности и необходимости «сближения культур», «несовершенстве» российской демократии и о том, что нам «есть чему учиться у Запада» [там же]. Два полюса «долгого дискурса» о коллективной самоидентификации оказались объединены в одном континууме<sup>1</sup>, по которому можно перемещаться, акцентируя то общие ценности, то культурные различия. Однако в дискурсе правящей части политического класса тема различий заметно преобладает, в силу чего, несмотря на демонстративное стремление Путина и его спичрайтеров отойти от принципа бинарной оппозиции, многие наблюдатели отмечают усиление «антизападнических» тенденций в российской политике.

«Примирение» соперничающих подходов достигается не только с помощью переопределения смыслов (как в случае с «социалистической» и «буржуазной» демократией), но и за счет вольного обращения с традицией. Например, общими ценностями европейской и российской цивилизаций Сурков называет «материальный успех, свободу и справедливость» [Сурков, 2007а, с. 33]<sup>2</sup>. Если два последних звена этой триады еще как-то можно увязать с утвердившимися коллективными автостереотипами<sup>3</sup>, то «материальный успех» явно не вписывается в каноны русской общественной мысли. Со времен славянофилов стремление к материальному успеху рассматривалось как негативная черта европейской цивилизации; России же приписывалось противоположное качество – способность жертвовать материальным во имя духовного<sup>4</sup>. Налицо

---

<sup>1</sup> Видимо, это сознательный прием: Сурков относит к числу достоинств своего «суверен-демократического проекта» то, что он «синтезирует, собирает, соединяет идеи и понятия, противопоставляемые в повседневных политических диспутах» [там же].

<sup>2</sup> Министр обороны С. Иванов предложил другой вариант: суверенная демократия, сильная экономика, военная мощь [Иванов, 2007, с. 211].

<sup>3</sup> Хотя и здесь возможны сомнения. С. Батчиков, например, обращает внимание на отсутствие в тексте Суркова слова «равенство» и заключает, что «речь идет о свободе и справедливости “сильных”» [Батчиков, 2007, с. 108–109], а М. Шаймиев отмечает специфику понимания свободы в России [Шаймиев, 2007а, с. 298–299].

<sup>4</sup> Этот автостереотип воспроизводится и в дискурсе современных «антизападников». По определению А. Подберёзкина, Русский Путь – это «приоритет иных, нематериальных ценностей, который всегда был присущ русскому обществу» [Подберёзкин, 1998, с. 103]. В интерпретации Н. Нарочницкой, «отрицание Западом пути России связано с разным отношением к сути христианства – преодолению искушения хлебом и властью и заповедям Блаженств...» [Нарочницкая, 2003, с. 20] и др.

весьма произвольное «изобретение» традиции. Примечательна, однако, не критика триады Суркова, а то, каким образом сторонники его концепции пытаются оправдать предложенную им «инновацию». По мнению автора книги «Третья империя» М. Юрьева, власть «не готова предлагать стране традиционные ценности нашей цивилизации», потому что помнит опыт 1990-х годов, когда народ «отказался от своей Империи именно в погоне за миражами пива, джинсов, стриптиза и прочей мишуры западной жизни». И Юрьев в целом соглашается, что «традиционные ценности» можно и отложить до той поры, когда «будет материальный достаток, общественные свободы и справедливость лучше, чем у других» [Юрьев, 2007в, с. 157–158].

Наряду с прагматическими аргументами выдвигаются и концептуальные. В своем выступлении на XI Всемирном Русском Народном Соборе будущий патриарх Русской православной церкви, а тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, весьма сочувственно отозвавшись об идее суверенной демократии, доказывал, что в православии аскетическая традиция, утверждающая приоритет духовных ценностей над материальными, «уживается, идя рука об руку, с другой мощной традицией – бережного и благодарного отношения к богатству, которое дает возможность совершать добрые дела» [Кирилл, 2007, с. 513, 507]. Иными словами, ориентация на «материальный успех» в известном смысле не противоречит православным традициям.

Эти попытки оправдать новое прочтение триады, с одной стороны, являются данью реальности общества массового потребления, а с другой – сигнализируют о разрывах культурной традиции. Именно эти разрывы, обусловленные исключением из духовного опыта ныне живущих поколений целых пластов культурного наследия, открывают определенный простор для конструктивистских технологий. Вместе с тем их возможности не беспредельны – мы отчетливо увидим это в заключительном разделе главы.

Если применительно к внутренней политике России идеология правящей части политического класса стремится легитимировать самобытность и «суверенность» отечественного демократического проекта, то внешнеполитическая ее составляющая связана с критикой формирующегося мирового порядка. Новая миссия России видится в «содействии выработке справедливых правил глобализации» [Сурков, 2007а, с. 50], «создании более справедливых правил игры в мире, обеспечении его развития и устойчивости» [Лужков, 2007, с. 205], упрочении демократических принципов в международных отноше-

ниях<sup>1</sup>. Эта «принципиальность» вполне прагматична, она вписывается в то, что американский политолог Р. Кейган назвал «психологией слабости»<sup>2</sup>. Нужно отметить, что идея порядка, опирающегося на международное право, является важной составляющей европейского проекта, и в этом смысле декларации об общности ценностей если не с совокупным «Западом», то, по крайней мере, со Старым Светом приобретают некоторое основание. Правда, декларации приверженности принципам международного права не снимают проблемы различий их интерпретации.

Анализ дискуссий о «новой российской идеологии» показывает, что способы соотнесения со Значимым Другим, выявленные в программных выступлениях В.В. Путина, с большим или меньшим успехом осваиваются правящей частью российского политического класса. Однако в процессе интерпретации континуум сходств и различий легко трансформируется в традиционное соперничество полюсов «западничества» и «антизападничества». Поэтому, как это ни парадоксально, новая модель коллективной самоидентификации не отменяет старых – скорее, предлагает новые правила их сопряжения.

### **Развитие новой модели коллективной идентичности в выступлениях Д.А. Медведева (2008–2011)**

С некоторыми модификациями те же подходы к репрезентации Нас и Другого можно обнаружить и в риторике преемника В.В. Путина на посту президента – Д.А. Медведева. Он тоже избегал говорить о «Западе», предпочитая выражения «наши зарубежные партнеры», «развитые страны», «передовые страны» и пр.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> По Путину, «демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства»; она диктует необходимость «поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения» [Путин, 2007б].

<sup>2</sup> Согласно концепции Кейгана, более слабые страны «испокон веков» были заинтересованы «в искоренении грубых законов анархического гоббсовского мира, где сила служит основным условием национальной безопасности и благополучия». В XIX в. в таком положении были США, критиковавшие силовую политику Европы, но во второй половине XX в. роли изменились [Кейган, 2004, с. 40].

<sup>3</sup> Хотя, как и в случае Путина, это наблюдение относится только к посланиям ФС. Например, в программной статье «Вперед, Россия!» он использовал выражения «западная цивилизация» и «западные демократии» [см.: Медведев, 2009а].

В программных выступлениях третьего президента России настойчиво проводилось различие между Европой и США (что отчасти было обусловлено контекстом). Это особенно заметно в послании 2008 г., подготовленном вскоре после августовской войны с Грузией и под знаком начавшегося экономического кризиса. Настаивая, что эти «очень разные проблемы» имеют «общее происхождение», Медведев подчеркивал, что и мировой экономический кризис, и «варварская агрессия против Южной Осетии» стали следствием политического курса, который проводился лидерами США («Думаю, возникшее после распада Советского Союза представление о собственном мнении как о единственно верном и неоспоримом в конечном итоге привело власти Соединенных Штатов и к крупным просчетам в экономической сфере»; «...трагедия Цхинвала стала, помимо прочего, следствием самонадеянного, не терпящего критики и предпочитающего односторонние решения курса американской администрации» [Медведев, 2008б]). Он порицал «откровенную предвзятость» всех «наших партнеров», практикующих политику «двойных стандартов», способствуя «в обход норм международного права» отделению Косова от Сербии, они считают возможным критиковать позиции России в отношении Южной Осетии и Абхазии [там же]. Тем не менее главным объектом критики были США и НАТО. Правда, Медведев каждый раз дипломатично оговаривал, что «у нас нет проблем с американским народом, нет врожденного антиамериканизма» [там же], что предложения России по европейскому пакту безопасности не направлены против НАТО [Медведев, 2009б], а виновных в экономических проблемах «не стоит искать только вовне» [там же]. Тем не менее его резкие критические высказывания в адрес США и НАТО явно контрастировали с позитивными оценками позиций европейских партнеров («Урегулирование южноосетинского кризиса продемонстрировало возможность результативных европейских решений» [Медведев, 2008б], развитие «модернизационных партнерств» с Германией и Францией как пример «прагматичного подхода» к международному сотрудничеству [Медведев, 2010д] и др.).

Обосновывая приоритеты своего политического курса, Медведев меньше апеллировал к «Западу» как целому, предпочитая проводить различие между США и европейскими странами. Кроме того, «Запад» – не единственный Значимый Другой, выступавший в качестве объекта соотнесения. В своих программных выступлениях Медведев систематически апеллировал к «другим быстро

развивающимся странам», опыту Китая и других стран БРИК, подчеркивал «многовекторность» российской внешней политики.

Кроме того, в риторике Медведева важную роль играли «наши собственные представления о себе, о нашей истории и нашем будущем» [Медведев 2009а]. В его текстах можно обнаружить немало рассуждений о Нашей идентичности, сформулированных вне контекста сопоставления с Другим, традиционно именуемым Западом. В послания Медведева систематически вставлялись фрагменты, характеризующие «наши ценности» [Медведев, 2008б] и Наши особые качества – способность самостоятельно и на основе собственных традиций определять национальные интересы [там же], «ответственное» отношение к поддержанию мирового порядка [там же; Медведев, 2009б], Нашу открытость [там же] и т.д. Примечательно, например, что, обосновывая программу модернизации, Медведев оперировал сравнениями не столько с «наиболее развитыми странами», сколько с Нашим собственным прошлым и будущим. Таким образом, темпоральное измерение коллективной идентичности играло не меньшую роль, чем пространственное. Все это позволяло решать задачу коллективного самоопределения по отношению к «Западу» более прагматично, подчеркивая те или иные аспекты образов Нас и Значимого Другого в зависимости от контекста.

Вместе с тем в текстах Медведева можно обнаружить все элементы модели коллективной самоидентификации, выделенной ранее в выступлениях Путина. Он тоже представлял Россию как *актуально подобную и равную* «наиболее развитым странам». Этот тезис подкреплялся двумя группами аргументов. Во-первых, Медведев настойчиво развивал путинскую идею о демократии как общей ценности, которая «может быть разной» и имеет «свои исторические корни», но «все равно нас объединяет» [Медведев, 2010в]. Он неоднократно отмечал, что проблема демократического выбора решена окончательно [Медведев, 2008б] и что «в России есть демократия», пусть «молодая, незрелая, несовершеннолетняя, неопытная, но это все-таки демократия» [Медведев, 2010в]. Во-вторых, на протяжении четырех лет своего президентства Медведев выдвинул целую серию инициатив, направленных на формирование нового международного институционального дизайна (и сопровождавшихся критикой существующих игры и/или поведения «наших партнеров», расшатывающих эти правила). В разных контекстах он говорил о необходимости демократизации существующего мирового порядка. Тем самым он и другие члены

правлящей элиты стремились представить Россию в роли активного игрока мировой политики, ратующего за реализацию ценностей, приверженность которым неизменно декларируется «развитыми странами».

Скептическое отношение к термину «суверенная демократия» [см.: Медведев, 2007, с. 501–502] не помешало Медведеву развивать тему *Нашего «собственного пути» к осуществлению общих ценностей и целей*. Например, в статье «Россия, вперед!» он писал: «Российская демократия не будет механически копировать зарубежные образцы. Гражданское общество не купить за иностранные гранты. Политическую культуру не переделать простым подражанием политическим обычаям передовых стран... Только наш собственный опыт демократического строительства даст нам право утверждать: мы свободны, мы ответственны, мы успешны» [Медведев, 2009а]. Медведеву случалось использовать и другой элемент модели коллективной идентичности, связанный с «суверенной демократией», – утверждение о том, что Россия может служить *образцом для Значимых Других*. Например, выступая перед участниками Мирового политического форума в Ярославле, Медведев попытался сформулировать «универсальные стандарты демократии», отвечающие «уникальному демократическому опыту многих наций» [Медведев, 2010в].

Таким образом, модель коллективной идентичности, реконструируемая в программных выступлениях третьего президента РФ, в целом развивала «находки» предшественника. Изменения были связаны не столько с трансформацией ранее сложившихся способов репрезентации России и «Запада», сколько с более настойчивой диверсификацией образа Значимого Другого, что дает возможность подчеркивать те или иные его аспекты в зависимости от контекста. Как резюмировал это сам Медведев, «наивные представления о непогрешимом и счастливом Западе и вечно недоразвитой России неприемлемы, оскорбительны и опасны. Но не менее опасен и путь конфронтации, самоизоляции, взаимных придиорок и претензий» [Медведев, 2009а]. Используя терминологию Г.Г. Дилигенского, можно сказать, что правящая элита стала более прагматично подходить к репрезентации экзистенциальной составляющей образа Запада [Дилигенский 2002а, б].

## Переопределение коллективной идентичности и массовые настроения

Нам остается оценить, в какой мере новые интерпретации образов России и «Запада», обнаруженные в дискурсе власти, соответствовали восприятию рядовых граждан. Отчасти об этом позволяют судить результаты исследований, проводившихся различными социологическими центрами. Как и следовало предполагать, далеко не все «инновации», отразившиеся в элитарном дискурсе, имели поддержку в массовых настроениях.

Наиболее сомнительным оказался тезис *об общности ценностей и идеалов России и «Запада»*. Как показал опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» в июне 2005 г. (т.е. вскоре после презентации принципа «суверенной демократии» в послании В.В. Путина), большинство респондентов (63%) определяли различия между культурой и ценностями россиян и европейцев как «значительные», 21% – как «незначительные» и лишь 5% опрошенных полагали, что такие различия отсутствуют (число затруднившихся ответить составило 11%). Любопытно, что представление о существенности различий положительно коррелирует с уровнем образования: доля ответивших «различается значительно» среди лиц с высшим образованием – 76% и среди лиц с образованием ниже среднего – 51% [Европейская интеграция и Россия, 2005]. Это лишний раз подтверждает, что представление о различиях между Россией и Европой / Западом основательно укоренено в отечественной «высокой» культуре.

Не слишком правдоподобными представляются и попытки Путина и его спичрайтеров представить Россию в качестве образца воплощения общих ценностей, которому должен следовать «Запад». 17–18 февраля 2007 г., спустя неделю после выступления Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, ФОМ попытался выяснить отношение россиян к высказанным им идеям. Фрагмент, в котором Путин ставил «мирный переход к демократии в нашей стране» в пример тем, кто норовит «при каждом удобном случае бомбить и стрелять», показался респондентам наименее убедительным (по рейтингу согласия он набрал 1,23 пункта, по рейтингу доверия – 0,89; для сравнения рейтинги высказываний Путина об американской ПРО и российском ответе – 2,7 и 2,35, о расширении НАТО – 2,79 и 2,04). Участники опроса выражали сомнение и в том, что трансформация режима в России прошла мирно, и в том, что переход к демократии состоял-

ся [Выступление..., 2007]. По-видимому, в ситуации, когда большинство россиян не удовлетворены тем, как работают демократические институты в нашей стране<sup>1</sup>, трудно ожидать всеобщей готовности рассматривать их в качестве образца для других стран. Судя по этим косвенным данным, дискурс об *актуальном подобии* Значимому Другому не встречает широкой поддержки (он воспринимается как декларация, слабо подкрепленная практикой).

По-видимому, гораздо больше шансов на успех имеют «почвеннические» элементы путинской модели, акцентирующие «самобытность» России. По данным опроса «Левада-Центра», проведенного в декабре 2007 г., демократию как форму правления одобрили 67% респондентов; однако почти половина из них (47%) согласилась с тем, что это должна быть «совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике России» демократия. При этом 22% были готовы обратиться к опыту развитых стран, а 10% – к опыту СССР [Спрос на ценности, 2007]. С учетом этой динамики, уже в конце второго президентского срока В.В. Путина можно было предположить, что «антизападническая» составляющая дискурса о коллективной идентичности будет усиливаться.

Вместе с тем нельзя сказать, что в массовом восприятии коллективной идентичности по отношению к «Западу» не происходит никаких подвижек. Так, результаты многолетнего коллективного исследования под руководством М.К. Горшкова указывают на некоторые признаки сокращения социокультурной дистанции со Значимым Другим. В ходе опросов, проводившихся в 1998, 2004 и 2007 гг., респондентам предлагалось определить место России на 11-балльной шкале между полюсами, обозначенными «западными» (США, Франция, Германия) и «восточными» (Китай, Япония, Индия) странами, по трем позициям: культура, экономика и национальный характер. По всем трем позициям дистанция между Россией и «западным» полюсом шкалы сократилась. Эта тенденция особенно очевидна в отношении экономики: доля считающих, что современная российская экономика приобрела «западные» черты, увеличилась в 2007 г. по сравнению с 1998 г. более чем в 2 раза (с 17 до 36,4%). Еще более примечательно, что

---

<sup>1</sup> По данным исследования, проведенного учеными из Института социологии РАН, 72% россиян не удовлетворены тем, как работают демократические институты в целом в нашей стране, и лишь 28% заявили о том, что они полностью или «скорее» удовлетворены [Российская идентичность..., 2007, с. 76].

изменились оценки национального характера: в 2007 г. большая часть ответов (около 42%) оказалась сосредоточена на «западной» части шкалы, перевесив ее «евразийский» центр. По мнению исследователей, эти тенденции отражают не столько переоценку Запада, сколько более отчетливое осмысление «собственной самостоятельности»: потребность в борьбе за самоутверждение стала не столь острой, становится «психологически легче признать в себе какие-то «западные» черты без риска утратить собственную идентичность [Российская идентичность..., 2007, с. 103–106]. Такую динамику следует считать положительной – и в этом смысле попытки Путина и Медведева диверсифицировать образы Другого, ввести множественные шкалы сходства / различия, видимо, имеют шанс лечь на благоприятную почву.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что результаты дискурсивного конструирования идентичности можно в полной мере оценить лишь в ретроспективе. Окажутся ли новые способы самопрезентации России по отношению к ее Значимому Другому, выявленные в риторике Путина и Медведева, долговременными трендами или благими декларациями – покажет время. Недавний опыт избирательных кампаний 2011–2012 гг. свидетельствует, что правящая часть российской политической элиты не прочь играть на поле антизападничества, когда этого требуют интересы политической борьбы. Вместе с тем едва ли она заинтересована в дальнейшем нагнетании антизападных настроений: в противном случае, развивая прагматическое сотрудничество с «наиболее развитыми странами», она и сама рискует оказаться под огнем критики. Очевидно, что гибкая модель коллективной самоидентификации, позволяющая выбирать дистанцию, отделяющую Нас от Другого, в зависимости от контекста, открывает наиболее широкое поле для символических маневров. Однако в деле конструирования идентичности успех зависит не только от «удобства» найденных формул соотнесения, но и от того, насколько правдоподобными будут казаться слова в свете реального опыта. А это определяется не только векторами политического развития самой России, но и динамикой репрезентации ее образа Западом, а также тем, какие проекты глобального мироустройства возобладают в мировой политике.

## **14. ДИЛЕММЫ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ИМПЕРАТИВ «НАЦИИ» И СОБЛАЗН «ЦИВИЛИЗАЦИИ»<sup>1</sup>**

Как уже обсуждалось выше, в политической картине мира, сложившейся в эпоху Модерна, доминирует норма, согласно которой государства «конституируются» нациями. Именно идея нации задает общую рамку, в которую так или иначе должна быть вписана макрополитическая идентичность: последняя связывается с принадлежностью либо к нации (определяемой по разным основаниям), либо к наднациональной «общности». Предполагается, что в первом случае узы, скрепляющие сообщество, должны быть прочнее. Однако, несмотря на гибкость модели культурно-политического сообщества, заданной многовариантной идеей нации, во многих случаях в нее оказывается непросто вписаться. Именно так обстоит дело, когда процесс конструирования макрополитической идентичности происходит в постимперском контексте, который предполагает, с одной стороны, конкуренцию разных проектов «нациестроительства», а с другой – наличие политических и культурных ресурсов для конструирования искомой идентичности в наднациональной / цивилизационной системе координат. Стремясь к политической интеграции обширных пространств, империи с большим или меньшим успехом осуществляют универсалистские идеологические (религиозные и светские) проекты, закладывающие основу для культурной общности поверх этнических, конфессиональных и языковых границ. Это наследие активно используется для конструирования макрополитической идентичности, позволяя рассматривать ее сквозь призму не «национальных», но «цивилизационных» различий. Именно это ха-

---

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в коллективной монографии [Политическая идентичность, 20126].

рактарно для современной России, где конструирование макрополитической идентичности происходит, по меткому выражению А.И. Миллера, на руинах двух империй – Романовых и СССР [Миллер, 2008].

Переплетение разных оснований идентификации в представлениях о русскости / советскости / российскости считается одним из проявлений того, что многие исследователи определяют как слабость русского национализма [Tuminez, 2000, p. 266; Паин, 2008, p. 12; Понарин, 2011, p. 99–104 и др. ] и «неоформленность» русского национального самосознания [Хоскинг, 2001; Зевелев, 2009, p. 92 и др.]. Хотя правильнее было бы говорить не столько о незавершенности «закономерного» процесса формирования национальной идентичности, сколько о неполном соответствии безусловно существующей (хотя и трансформирующейся) макрополитической идентичности матрице воображения сообщества, заданной идеей нации. Эта черта русской / советской / российской идентичности обусловлена целым комплексом исторических, социокультурных, экономических, географических и политических факторов. Не отрицая значимости других составляющих этого комплекса, в этой главе я сосредоточу внимание на особенностях дискурсивного конструирования макрополитической идентичности в Российской империи / СССР / Российской Федерации и попытаюсь выявить диалектику ее национальных и цивилизационных составляющих. Разделяя представление Б. Андерсона, согласно которому «национальность (nation-ness)» и национализм следует рассматривать как особого рода культурные артефакты, которые «стали “модульными”, пригодными к переносу... на огромное множество социальных территорий и обрели способность вплавлять в себя, либо самим вплавляться в столь же широкое множество самых разных политических и идеологических констелляций» [Андерсон, 2001, p. 29], я попытаюсь проследить, как происходит освоение этих модульных конструкций в условиях конкуренции с иными способами воображения сообщества. При этом я попробую выделить различные стратегии использования возможностей, связанных с конструированием макрополитической идентичности в национальных и наднациональных / цивилизационных системах координат, а также выявить сопряженные с ними риски.

## Особенности двух моделей воображения сообщества

Начну с операциональных описаний рассматриваемых здесь способов воображения сообщества, которые помогут различать национальные и цивилизационные составляющие дискурсов о русской / российской / советской идентичности. К сожалению, в обширной литературе, посвященной изучению наций и цивилизаций, нет четких терминологических конвенций относительно значения данных понятий. Не углубляясь в анализ различных подходов, отмечу, что воображение сообщества на основе цивилизационной общности связано с циклической историей религиозно-культурных и идеологических проектов, влияние которых удавалось распространить на значительные географические ареалы (как правило – параллельно с политическим контролем поддерживавших эти проекты и опиравшихся на них империй). Эта модель воображения сообщества предполагает наличие локально закрепленного ядра и потенциально безграничной периферии. В ее основе лежит принцип «сакральной вертикали», в силу которого сообщество, образующее ядро, представляется в качестве носителя особых идей и культурных практик, которые совпадают с «трансцендентным назначением» человечества. По словам В.Л. Цымбурского, «эта сакральная вертикаль в глазах всех членов и приверженцев данной цивилизации делает из ее ядровых народов “основное человечество”, а из населенного ими ареала – “основную землю” ойкумены» [Цымбурский, 2001]. Цивилизационная идентичность задается именно причастностью к религиям, идеологиям, социальным практикам и культурным стилям, составляющим стержень «сакральной вертикали». Поскольку эта модель воображения сообщества предполагает асимметричность периферии и ядра, она не акцентирует однородность группы по контрасту с аутсайдерами (степень «цивилизованности» может варьироваться) и не настаивает на символическом равенстве ее членов. Хотя цивилизационная идентичность связана с определенным географическим ареалом и прочно ассоциируется с народами, образующими ядро цивилизации, ее пространственные и символические границы с «Другими» мыслятся не столь отчетливо, как в случае национальной идентичности. Поэтому цивилизационная идентичность более инклюзивна, допускает «двойную лояльность» и легко надстраивается над иными идентичностями, имеющими пространственно-политическое измерение.

Феномен цивилизации – несомненно более древний, нежели описывающее его понятие, что создает дополнительные трудности для различения дискурсов о цивилизационной идентичности. Вместе с тем в контексте современных процессов, связанных с глобализацией, трансформацией функций национальных государств и ростом миграции, цивилизационная идентичность приобретает новое качество, в том числе – становится предметом открытой идеологической артикуляции (наиболее яркий пример – известная концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона). При этом, как справедливо подметил В.А. Шнирельман, «сдвиг от политики к культуре, наблюдаемый в современном мире, создает благоприятную почву для замены понятия “нация” на “цивилизацию”» [Шнирельман, 2007, с. 85], что способствует частичному переносу смыслов, которые с ними связываются. Одним из механизмов такого переноса оказывается переопределение традиционной оппозиции: в качестве «Другого» выступает не «варварство», а иные «цивилизации», что придает данной модели воображения сообщества герметичность, характерную для идеи нации. Не случайно некоторые исследователи считают возможным говорить о «цивилизационном национализме» [Ларюэль, 2006; Паин, Верховский, 2010].

Если воображение сообщества по модели цивилизации имеет древние корни, то идея нации – несомненно «изобретение» эпохи Модерна. Что отличает ее от иных способов воображения сообщества? Во-первых, более четкая привязка к исторической территории, которая воспринимается членами сообщества как общая родина (хотя границы этой территории могут быть предметом спора). Во-вторых, представление о культурной однородности нации, опирающееся на общность языка, исторической памяти, культурных традиций, религии и др. (хотя набор характеристик, на которые опираются разные национальные идентичности, варьируется), и одновременно – признание существенности различий между *Нами* и членами других сообществ, полагаемых нациями. В-третьих, стремление к развитию политико-правовой общности и экономического единства в рамках «собственного» государства и формированию на этой основе общей гражданской культуры. В-четвертых, представление о равной ответственности членов сообщества за «общую судьбу» и их равном праве участвовать в ее определении. Все это создает основу для сильного чувства солидарности; по меткому замечанию Э. Смита, у наций до сих пор не было серьезных конкурентов «в том, что касается эмоциональной привязанности и преданности большинства людей» [Смит, 2004,

с. 356]. Имеется обширная литература, доказывающая наличие тесных связей между возникновением и утверждением идеи нации и развитием современного государства (nation-state) с присущими ему институтами и функциями. Вместе с тем эта идея действительно оказалась «модульной» и пригодной к переносу: по мере утверждения националистической картины мира заданное ею «лекало» с большим или меньшим успехом пытались прилагать и к сообществам, связанным с иными типами политий, в частности – к династическим империям<sup>1</sup>.

Несмотря на несомненное сходство моделей, по которым воображаются цивилизации и нации (особенно с учетом того, что в современных обществах технологии конструирования и мобилизации соответствующих идентичностей во многом аналогичны), между ними имеются и значительные различия. И это обстоятельство делает актуальным тщательное изучение практики их использования в конкретных контекстах.

### **Дискурс о коллективной самоидентификации по отношению к Европе / Западу и «освоение» идеи нации в России**

Русская общественная мысль подошла к осмыслению идеи нации почти синхронно с европейской (по оценке некоторых исследователей – уже в конце XVIII в. [Greenfeld, 1993; Тишков, 2007, с. 566–576]), причем вплоть до 1880-х годов центральное место в комплексе проблем, в процессе осмысления которых формировался *дискурс о нации*<sup>2</sup>, играл вопрос о сохранении национальной «самобытности» в ситуации «догоняющей модернизации». Исторически, по крайней мере с XVIII в., «Европа», «Запад» были «Значимым Другим», по отношению к которому определялась и переопределялась русская / российская / советская идентичность. Разумеется, в этой роли выступала *не только* Европа; одна-

---

<sup>1</sup> Как показал А. Миллер, тот факт, что Россия была империей, не исключал воображения «стоящего за ней» сообщества по модели нации; имперская и национальная идентичности не только конкурировали, но и дополняли друг друга [Миллер, 2010].

<sup>2</sup> Вслед за М. Кеннеди и Р. Суни под этим термином я буду понимать «язык», или систему представлений, в которой, собственно, и оказываются возможны нации [Kennedy, Suny, 1999, p. 3]. Участниками этого «универсального дискурса» являются не только идеологи национализма, но все, кто мыслит категориями нации, национальной идентичности, национальных интересов и т.д., определяя и переопределяя их.

ко данная оппозиция была чрезвычайно устойчивой и важной. Отчасти это было связано с относительной неактуальностью иных «националистических» вызовов: соперничающие модели идентичности конструировались в уже существующем государстве, которое, безусловно, полагалось русским. Даже в 1880-х годах национальный вопрос в России, по определению В.С. Соловьёва, был «вопросом не о существовании, а о *достойном* существовании» [Соловьёв В.С., 1989, с. 260]. В силу этого тема *национальной автономии* – один из трех основных лейтмотивов национализма, выделенных Э. Смитом<sup>1</sup>, – вплоть до конца XIX в. не была значимой для конструирования русской идентичности. Лишь в начале XX в. она была внесена в общественную повестку в виде лозунга «Россия для русских». В середине XIX в. стержнем формировавшегося дискурса о нации оказалась проблема *национальной идентичности*, которая интерпретировалась в смысле обретения «самобытности» и преодоления «подражательности» по отношению к культуре Запада. Значимую роль играл и лейтмотив *национального единства*, который долгое время связывался не столько с этнокультурным и конфессиональным плюрализмом Российской империи, сколько с преодолением социокультурного раскола между образованным «обществом» и «народом». Данное обстоятельство стало предметом литературных споров еще в 1820–1830-х годах, а в 1840-е годы усилиями славянофилов оно было возведено в ранг ключевой общественной проблемы. Примечательно, что в 1860-х, когда с отменой крепостного права было уничтожено наиболее существенное препятствие для воображения макрополитического сообщества по модели нации, многие рассматривали вопрос о «сближении с народом» именно в логике романтического национализма<sup>2</sup>.

На мой взгляд, есть основания утверждать, что продолжавшиеся вплоть до 1890-х годов споры приверженцев «западнического» и «славянофильского» подходов внесли существенную

---

<sup>1</sup> По мысли Э. Смита, «три лейтмотива можно обнаружить в любой разновидности национализма: идеалы национальной автономии, национального единства и национальной идентичности» [Смит, 2004, с. 343].

<sup>2</sup> Такое понимание проблемы было характерно не только для славянофилов. См. у Ф.М. Достоевского: «И вот когда у нас будет не на словах только, а на деле один народ, когда мы скажем о себе заодно с народной массой – мы, тогда прогресс наш не будет идти таким медленным прерывистым шагом, каким он идет теперь. Ведь тогда только и можем мы хлопотать об общечеловечном, когда разовьем в себе национальное...» [Достоевский, 1980, т. 20, с. 19].

лепту в формирование репертуара смыслов, на который опираются представления о русской идентичности. Данное *Мы* определялось с помощью сложной системы категорий – культурных, религиозных, лингвистических, этнических, цивилизационных и др., таким образом, одно качество неуловимо перетекало в иное. Неопределенности перспективы способствовал и масштаб сравнения: в роли «Другого» выступали не только отдельные европейские народы-нации, но и Европа / Запад как некое цивилизационное целое<sup>1</sup>. Такой способ соотнесения был обусловлен насущными геополитическими и социокультурными вызовами. Однако с точки зрения конструирования сообщества, вписываемого в существующее Российское государство<sup>2</sup>, он имел одно важное преимущество: участники дискурса о коллективной самоидентификации по отношению к Европе / Западу, как правило, оставляли за скобками этнический плюрализм империи, представляя *Нас* культурно однородным сообществом (русским, православным, оформленным «исторической» государственностью Московской Руси и Петербургской России). Это полностью соответствовало стратегии, характерной для воображения сообщества по модели нации, позволяя выносить за скобки внутренние различия и одновременно подчеркивать фундаментальность *Наших* отличий от *Других*. Те, кто, стремясь соответствовать утверждавшейся националистической картине мира, пытался представить Россию как «нацию» в ряду иных европейских наций, делали это, опираясь на репертуар смыслов, складывавшийся в рамках «межцивилизационного» сравнения.

Впрочем, конструирование коллективной идентичности через соотнесение с Европой / Западом не означало, что она воображалась по цивилизационной модели: хотя такой подход к ее опре-

---

<sup>1</sup> Примечательно, что западники, настаивавшие на том, что различия между Россией и Западом обусловлены ее «отсталостью» и со временем преодолимы, подчеркивали культурно-национальную гетерогенность Европы, т.е. оперировали языком *национальных* различий. А отстаивавшие идею *Нашей* самобытности славянофилы, напротив, делали упор на *цивилизационную* цельность «культурного ядра» западных народов. Впрочем, доказывая инаковость русской культуры по отношению к этому ядру, славянофилы не утверждали, что Россия является равной Европе самостоятельной цивилизацией.

<sup>2</sup> Нужно отметить, что не все участники споров о «нашей самобытности» и «европейской образованности» рассматривали Российскую империю как политическую форму, адекватную конструируемому культурному сообществу: сторонники панславизма, например, рассуждали о перспективах политического союза славянских народов, основой которого должно было послужить существующее Российское государство.

делению и был предложен в 1860-х годах Н.Я. Данилевским и отчасти К.Н. Леонтьевым, в то время он разделялся немногими. Главной причиной тому было отсутствие «готового» набора особых идей и культурных практик, которые могли бы рассматриваться в качестве основания «сакральной вертикали», очевидно альтернативной западноевропейской / христианской цивилизации – в то время последняя еще воспринималась в качестве «цивилизации в единственном числе». И лишь изменения ментальных карт, связанные с Октябрьской революцией и послевоенным кризисом в Европе, создали некоторые предпосылки для переопределения коллективной идентичности по цивилизационной модели. В рассматриваемый же период два способа воображения сообщества тесно переплетались и дополняли друг друга.

Следует отметить, что даже в середине XIX в. этнический и конфессиональный плюрализм империи не рассматривался как *препятствие* для превращения сообщества, стоящего за Российским государством, в нацию. Напротив, конструирование национальной идентичности через соотнесение с Западной Европой способствовало утверждению представления об однородности «государственного состава» в качестве отличительной особенности России. Определенную лепту в формирование такого представления внесла теория М.П. Погодина о происхождении государства на Руси, противопоставлявшая «мирное призвание» варягов «завоеванию», имевшему место в Западной Европе. Опираясь на идеи О. Тьерри, рассматривавшего историю европейского Средневековья как продолжение борьбы «расы угнетенных» и «расы победителей», Погодин подчеркивал «туземный», т.е. автохтонный, а поэтому – более гомогенный характер населения России. С его легкой руки стереотип об однородности «состава» Российского государства прочно закрепился в списке *Наших* отличительных особенностей. В конце 1850-х – начале 1860-х годов его развивали, приспособлявая к нуждам собственных теорий, многие русские мыслители. Например, Герцен, которому важно было подчеркнуть роль общинного начала как отличительной особенности русского народа, писал в 1859 г., рассуждая об отношениях России и Польши: «Россия? кроме окраин своих, представляет сплошное единство, сходное по крови, по языку, по духу. Каждый русский сознает себя частью своей державы, сознает родство свое со всем народонаселением, воспитанным в том же сельском быту, с своим общинным порядком и разделением полей» [Герцен, 1958, т. 14, с. 20]. В свою очередь, Б.Н. Чичерин, развивая мысль об отсутст-

вии в русском народе организующего начала, констатировал: «Русский народ не слагается из отдельных частей, живущих своею самостоятельную жизнью и носящих каждая свой особенный отпечаток; он составляет более или менее однообразную массу, разлитую по всему пространству и не имеющую слишком резких различий в своих частях. Одна только Малороссия, оторванная от России – вследствие исторических обстоятельств, образует как бы отдельное целое и имеет свою особенную характеристику, – оговаривался он. – Но вместе с тем эта однообразная масса, расплываясь в безграничном пространстве, лишена внутреннего средоточия» [Чичерин, 1975, с. 54]. В обоих случаях социокультурная однородность населения России мыслилась как ее *отличие* от более сложной и разнородной Западной Европы.

«Забвение» факта этнокультурного разнообразия и приписывание всему сообществу характеристик, связываемых с его большинством, было не единственным приемом его символической гомогенизации. Другой способ заключался в перенесении акцентов с «внешних» этнокультурных различий на «внутреннее» духовное единство. Подобную стратегию нередко использовали славянофилы. Например, Ю.Ф. Самарин признавал: «Нет в Европе почти ни одного значительного государства, которое бы не вмещало в себе разноплеменных стихий. В этом отношении процесс исторического образования Англии, России, Испании совершенно одинаков, и если автор хочет сказать, что нация, сложившаяся из нескольких племен, по одной этой причине, не может вести *сосредоточенный в самой себе образ жизни* (выделено мною. – О.М.), то придется отказаться от любимой темы, будто бы до Петра Россия заключена была в пределах своей национальности. Разве не столкнулись на ее почве славяне, финны, варяги, литовцы, татарские племена?» [Самарин, 1857, с. 92–93]. Однако для Самарина это безусловно не так. В основе логики, в силу которой Россия могла рассматриваться как один народ, воплощающий «славянские начала», лежало представление о ценностном приоритете *внутреннего* («сосредоточенность внутренней жизни народа») над *внешним* («внешние сношения») и о важности поддержания этой грани. Следуя этой логике, «финны, варяги, литовцы и татарские племена» не угрожали «духовной самобытности» русского народа, чего нельзя сказать о «европейской образованности». Таким образом, одним различиям приписывалось значение принципиальных маркеров национальной идентичности, тогда как другие рассматривались как несущественные. Подобной стратегии воображения

*Нас* как культурно *цельного* сообщества придерживались не только славянофилы; в середине XIX в. она имела широкое распространение.

Примечательно, что на рубеже 1850–1860-х годов, когда в условиях относительной либерализации цензуры русская общественная мысль стала активно осваивать «современное» представление о мире как совокупности органически развивающихся народов-наций, которые «закономерно» стремятся к образованию собственных государств, проблему «самостоятельности» народов никто из отечественных публицистов с Россией не связывал. Напротив, многие подчеркивали принципиальное отличие империи Романовых от Австрии или Турции. Например, Н.А. Мельгунов писал, доказывая, что Россия не должна следовать примеру Австрии в своей внутренней и внешней политике: «В Австрийской империи германский элемент составляет едва ли не десятую часть народонаселения. В Российской империи – русский элемент почти равняется девяти десятым всего числа жителей. Отсюда – искусственность государственного устройства, да и самого существования Австрии. Россия, напротив того, отличается редкой органической целостностью, естественностью своего состава, однородностью господствующего племени, беспримерного в Европе по единству языка и веры, и по своей сплошной многочисленности» [Мельгунов, 1974, с. 66–67]. Примерно в том же духе писал Герцен: «Мы думаем, что Польша и Россия совсем не в том положении, в котором Ломбардия и Австрия... Австрия не народ, Австрия полицейская мера, сводная администрация, она ни к чему живому не примыкает... Совсем напротив, Россия – такая же живая личность, как Англия, как Франция», только молодая, еще вступающая «на народное место истории» [Герцен, 1958, т. 14, с. 19–20]. Приведенные примеры специально взяты из текстов, не рассчитанных на рогатки цензуры – это было широко разделяемое убеждение.

Казалось, с точки зрения «естественного» процесса строительства нации это дает основание рассматривать Россию в одном ряду с Англией и Францией, а вовсе не с Австрией и Турцией. Однако, как верно подметила О. Майорова, российский случай не вписывался ни в один из типов нациестроительства, преобладавших в Европе XIX в. В отличие от Англии, Франции и Швеции в России монархия не готова была оказывать последовательную поддержку русскому этническому ядру, гомогенизируя нацию на основе его высокой культуры. Из соображений политической стабильности во многих случаях имперская бюрократия считала целесообразным

поддерживать и институционализировать этнокультурные различия. В то же время наличие «собственного» государства не позволяло культурной элите последовательно конструировать нацию в борьбе с «чужой» властью, что было характерно для подчиненных этнических групп (чехов, сербов, ирландцев и др.). Хотя элементы такого подхода были налицо, поскольку националистический дискурс культурной элиты носил умеренно-оппозиционный характер по отношению к режиму [Maierova, 2010, p. 14–16]. Таким образом, хотя для участников российского дискурса о нации нормативными примерами служили Англия и Франция, их реальные стратегии не вполне вписывались в соответствующие модели.

Вопрос о критериях принадлежности к сообществу, полагаемому нацией, безусловно дискутировался – в частности, он возникал в связи с проблемой культурной интеграции «окраин», прежде всего – более «развитых» и очевидно «инаковых» Польши и Финляндии. Однако отчетливое противостояние различных подходов к нациестроительству: на основе «включающего» принципа лояльности уже существующему Российскому государству и причастности к русской культуре (что, как правило, сопровождалось утверждением о необходимости тем или иным образом менять характер существующих внутри сообщества связей), или же «исключающего» принципа русскости, связанного с акцентированием этнических или этноконфессиональных характеристик, – оформилось лишь на рубеже XIX–XX вв. При этом многие участники дискурса о строительстве нации в России прекрасно сознавали риски, связанные с резким противопоставлением имперской и национальной идентичности. Это создавало дополнительные стимулы для конструирования коллективной идентичности «по смешанным лекалам», без различения ее национальных и цивилизационных составляющих. В соперничавших определениях русской идентичности переплетались рассуждения об этнокультурных, религиозных, национальных и прочих сходствах и различиях.

В начале XX в. проблема отношения к Западу утратила былую остроту. Общественное внимание было приковано к другим, более насущным политическим проблемам. В дискурсах о коллективной самоидентификации соперничество разных проектов нациестроительства в границах империи существенно потеснило тему «Россия и Европа». Внутренние «Другие» приобретали большее значение для конструирования национальной идентичности, нежели внешние, а проблемы «национального единства» и «национальной автономии» стали более актуальными, нежели

доминировавшая на протяжении большей части XIX в. тема «национальной идентичности». Вполне зримые успехи «экономической европеизации» психологически увеличивали дистанцию между *прежней*, дореформенной, и *современной* Россией – Россией городов и железных дорог, фабрик и банков, бюрократического чиновничества и либерального земства, – и тем самым уменьшали степень *Наших* отличий от Значимого «Другого». По мере того как русская «самобытность» воплощалась в более современных формах, она утрачивала прежние ассоциации с «отсталостью», а ее сохранение менее жестко увязывалось с ограничением чужеродных заимствований. Не только либералы-западники, вроде П.Н. Милюкова, но и русские националисты новой формации, как М.О. Меньшиков, не рассматривали соотношение «оригинальности национальной жизни» и «культурных заимствований» по принципу игры с нулевой суммой<sup>1</sup>. В целом, контекст вполне благоприятствовал убеждению, что время «повторения задов» славянофильства и западничества прошло. Правда, с началом Первой мировой войны дискуссия о цивилизационной идентичности возобновилась, но в общей массе проблем, занимавших русскую общественность, она занимала далеко не первое место [Малинова, 2009в]. Разумеется, «Запад» все равно продолжал оставаться значимым объектом соотнесения, и опыт европейских стран в решении национального вопроса служил образцом для общественных деятелей различной политической ориентации.

---

<sup>1</sup> В публичной лекции о разложении славянофильства (1893) Милюков отмечал, в качестве несомненной заслуги основоположников этого направления, утверждение идеи «оригинальности всякой национальной жизни», но при этом подчеркивал, что для современной науки «вопрос о заимствовании не есть метафизический вопрос о разрушении народной сущности, а просто вопрос практического удобства» [Милюков, 1903, с. 304]. Столь же «практическое» отношение к проблеме «своеобразия» и «заимствований» можно обнаружить в статье публициста «Нового времени» М.О. Меньшикова, доказывавшего преимущества *временной изоляции* России от Запада (1902). В предлагаемой мере он видел способ преодоления неизбежного отставания страны, выступающей на мировом рынке в роли поставщика сырья. «Мы отстали и, может быть, во многом еще отстаем, – писал Меньшиков, – но не стоя на месте, а на ходу. И догнать Запад совершенно невозможно, пока границы открыты». Однако целесообразность изоляции он связывал именно с тем, что «у себя дома мы имеем уже Европу: мы уже не Азия и ею больше никогда не будем». Предлагаемая мера нужна была не ради прекращения «умственного общения» с Европой, Меньшиков с удовлетворением констатировал, что это невозможно, а для того чтобы стимулировать Россию создавать «все вещевые ценности» своими силами [Меньшиков, 1991, с. 39–40].

В этом контексте возникли предпосылки для более отчетливой дифференциации рассматриваемых нами способов воображения сообщества. Главной темой общественных дискуссий стал именно «национальный вопрос». И хотя определяли его по-разному, очевидно, что основные предметы спора – критерии принадлежности и границы нации, «стоящей» за Российским государством, формула сосуществования «национальных элементов» империи, ценностные основания солидарности и связанная с ними гражданская культура – были продиктованы потребностью адаптировать существующие представления о *Нас* к доминирующей *идее нации*. Конкуренция разных проектов нациестроительства осложнялась динамикой мирового интеллектуального контекста: на смену национализму «либеральной эры» с его романтическими и объединительными устремлениями в последней четверти XIX в. пришел этнонационализм, связывавший идею нации с культурной и языковой общностью [Hobsbawm, 1990, p. 101–130]. Это делало принцип совпадения границ нации и государства источником угроз для этнически разнородных политий, в которых идея нации не смогла утвердиться в индифферентном к этническим различиям «гражданском» варианте. Именно так дело обстояло в России. В условиях системного кризиса, вызванного Первой мировой войной, острая конкуренция разных проектов нациестроительства оказалась одним из факторов распада государства.

### **Советский проект: Перспектива переопределения по цивилизационной модели**

События октября 1917 г. принципиально трансформировали систему координат, в которой конструировалась макрополитическая идентичность: изменились не только название государства и его границы, пошатнулся весь социальный порядок, на который опирались прежние представления о *Нас* и *Других*. История, казалось, предоставляет России шанс пересмотреть свои отношения с Западом и Востоком, переписать их «с чистого листа». Задача облегчалась тем, что Европа в это время тоже столкнулась с проблемой переосмысления собственной идентичности (вспомним успех знаменитого трактата О. Шпенглера «Закат Европы», появившегося в 1918–1922 гг.). Пережившие войну поколения смотрели на жизнь другими глазами. Прежние идеалы обветшали: либеральные ценности, демократия, религия и даже семейные устои – все лишилось прочных оснований. «Запад» утратил ореол былой привлекательно-

сти; сомнения в идее «всеобщего прогресса» стали общим местом. Неудивительно, что в 1920-е годы предпринималось множество попыток заново решить старую проблему «цивилизационной идентичности» России. Полем для экспериментов стали и официальный партийный дискурс большевиков, и оппозиционные ему дискурсы русской эмиграции [Малинова 2009а, гл. 2], из которых наибольший интерес для нас представляет евразийство.

Евразийцы разработали целостную и последовательную концепцию русской идентичности на основе цивилизационной<sup>1</sup> матрицы, представлявшую Россию в качестве самостоятельного «евразийско-русского культурного мира», не просто отличающегося от мира западноевропейского, но равного ему по значению<sup>2</sup>. Россия определялась как «Евразия». Данному географическому термину, указывающему на «срединный материк» между Европой и Азией, придавался специфический социокультурный смысл: он рассматривался как указание на особую сущность, возникающую на пересечении двух типов культур и не совпадающую ни с одним из них. По заключению П.Н. Савицкого, «в категориях не всегда достаточно тонкого, однако же указывающего на реальную сущность подразделения культуры Старого Света на “европейские” и “азиатско-азиатские” – культура русская не принадлежит к числу ни одних, ни других. Она есть культура, сочетающая элементы одних и других, сводящая их к некоторому единству» [Савицкий, 1994, с. 218; ср.: Евразийство, 1926, с. 32]. Поскольку основную свою задачу евразийцы видели в том, чтобы сломать «шаблон, созданный подражательным *западническим* мышлением» [Евразийский сборник, 1929, с. 16], в образе России-Евразии они настойчиво подчеркивали азиатские черты. Критикуя «историческую вульгату», наделяющую «Запад» и «Восток» противоположными

---

<sup>1</sup> Слово «цивилизация» использовалось в работах некоторых представителей этого интеллектуального течения, иногда – для обозначения культурных формаций (например, «цивилизации Месопотамии и Египта»), в другом случае – в шпенглеровском смысле различения «культуры» и «цивилизации» (например, «византийская цивилизация и культура»); наконец, применительно к «общечеловеческой цивилизации», «европоцентризм» которой подверг сокрушительной критике Н.С. Трубецкой [Трубецкой, 1997]. Россию-Евразию называли не «цивилизацией» (в приложении к настоящему это слово имело негативные коннотации), но «культурным миром» [Евразийство, 1926].

<sup>2</sup> Ранее подобный подход предлагал Н.Я. Данилевский, но в терминах панславизма, адресованного воображаемому сообществу, которому только предстояло обрести гипотетическую политическую субъектность.

ценностными коннотациями [Бицилли, 1922], евразийцы стремились традиционной фетишизации европейской составляющей русской культуры противопоставить позитивное утверждение «азиатских» ее оснований. В силу этого продекларированный баланс двух начал не всегда выдерживался.

В то же время евразийцы переопределяли и этнонациональную составляющую коллективной идентичности: они настойчиво подчеркивали, что русский народ не является представителем исключительно «славянства». Имя «Евразия» как раз и призвано было выражать «сопряженность русской стихии с некоторыми этнически не русскими элементами окружающей ее среды» [Савицкий, 1997, с. 134]. Эта сопряженность выражается не только в очевидном факте сосуществования на территории Российской империи разных народов и культур, но и в фундаментальной роли «туранского элемента»<sup>1</sup> в создании культуры, которую мы привыкли считать русской. Как подчеркивал Трубецкой, «сожителство русских с туранцами проходит красной нитью через всю русскую историю» и в конечном счете «трудно найти великоруса, в жилах которого так или иначе не текла бы и туранская кровь» [Трубецкой, 1920, с. 68]. В качестве религиозно-духовного центра, к которому тяготеет русско-евразийский культурный мир, евразийцы рассматривали русское православие, в котором находили потенциал «симфонического и органического соборного единства многих исповеданий» [Евразийство, 1926, с. 19–21].

Любопытно, каким образом для подтверждения культурной целостности России использовался пример Значимого Другого. Будучи принципиальными и последовательными антизападниками, евразийцы настаивали на культурной гетерогенности Европы (что прежде было характерно именно для «западнической» линии), однако при этом они доказывали, что плюрализм России-Евразии – качественно *иной*, связанный более органическим единством. Россию-Евразию неверно сопоставлять с Францией, Германией и другими европейскими странами: аналогию следует проводить скорее с империей Карла Великого, Священной Римской империей, империей Наполеона. При таком сравнении обнаруживается «большая крепость, органичность и реальность единства Евразии». Чем дальше Европа уходит от Священной Римской им-

---

<sup>1</sup> Под именем «туранских» (уралоалтайских) Н.С. Трубецкой и его соратники объединяли пять групп народов: угрофиннов, самоедов, тюрков, монголов и маньчжуров.

перии, тем очевиднее становится, «что единство западной культуры в конкретных формах не осуществимо и что на Западе есть Франция, Германия, Италия, а Европа потерялась» [Евразийство, 1926, с. 36–37]. Иное дело – связанная «с родством душ» Евразия. Другими словами, тогда как Европа разделялась «по национальному принципу», Россия-Евразия мыслилась целостно – по принципу «цивилизационному».

Такое определение русской-евразийской идентичности во многих отношениях было революционным – под стать эпохе, в которую оно родилось. В годы, когда политическая карта Европы с энтузиазмом (хотя и весьма избирательно) перекраивалась под лозунгом «национального самоопределения», евразийцы предложили для России модель идентичности, ориентированную на принципиально иную, цивилизационную матрицу. Разумеется, их концепция явно переоценивала возможности трансформации большевистского режима и едва ли имела шансы воплотиться в реальную политику идентичности, поэтому о ее недостатках и достоинствах можно рассуждать лишь гипотетически.

Однако и модель, которая методом проб и ошибок формировалась в эти годы в Советской России, тоже была попыткой решения «национального вопроса» в логике, напоминавшей цивилизационную матрицу. Хотя после прихода к власти большевиков указанный вопрос был поставлен с радикализмом, не знавшим аналогов (в отличие от политиков, заседавших в Версале, большевики провозгласили право народов на «самоопределение вплоть до отделения» в качестве общего принципа), в дальнейшем большая часть утраченных территорий оказалась реинтегрирована в рамках нового политического образования – СССР. Его идеология причудливо сочетала специфический вариант национализма (формальную приверженность идее «самоопределения», вылившуюся в политизацию этничности) и универсалистскую идею классовой борьбы, которая на протяжении XX в. доказала свой потенциал в качестве мировоззренческого основания светской «сакральной вертикали». Формула «советской народ» как «новая историческая общность» – это новый способ совмещения двух моделей воображения сообщества, в рамках которого особым образом понимаемая идея нации интегрирована в матрицу цивилизационной идентичности и подчинена другой фундаментальной категоризирующей идее – идее класса.

Соответствующим образом оказался трансформирован и дискурс о «Значимом Другом». Советский народ считался *надна-*

циональной общностью (соответственно, сообщество, противопоставлявшееся Западу, не рассматривалось как нация). Различия между СССР и Западом интерпретировались как формационные, классовые. Однако то обстоятельство, что классовый враг имел очевидную геополитическую приписку, рождало множество параллелей со старым дискурсом о России и Европе. Кроме того, хотя СССР и рассматривался как *многонациональное* государство, это не мешало в определенных контекстах наделять представляемое им сообщество чертами, традиционно приписываемыми русской культуре (особенно ярко эта тенденция обозначилась во второй половине 1930–1940-х годов). Таким образом, представления о советской идентичности также строились на основе «смешанных лекал», хотя и нового идеологического образца.

### **Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: «Нация» или «цивилизация»?**

Распад СССР вновь изменил систему координат, поставив бывшие советские республики перед необходимостью переопределения идентичностей «стоявших за ними» сообществ. Хотя, как уже отмечалось в девятой главе, для России эта задача с самого начала была осложнена рядом проблем, новый контекст, казалось бы, создавал беспрецедентные возможности для конструирования макрополитической идентичности по модели нации. Несомненно, современная Россия имеет гораздо больше шансов восприниматься в качестве национального государства, нежели империя Романовых или СССР – даже по этническому канону (ибо русские составляют преобладающее большинство ее населения), не говоря уже о республиканском варианте нации-согражданства. Однако задача переопределения коллективной идентичности отягощается бременем советского наследия. С одной стороны, приходится считаться с практикой отождествления национальности и этничности, закрепленной не только в языке, но и в институтах (в частности, в территориально-политической структуре государства). Отражением неготовности политической элиты к радикальному изменению данной практики стала конституционная формула «многонациональный народ РФ», позволяющая интерпретировать макрополитическое сообщество, стоящее за Российским государством, и как гражданскую *нацию*, и как *наднациональную* общность. В официальной риторике, как мы видели, используются обе интерпретации. С другой стороны, наличие тесной семантической связи меж-

ду русским / российским и советским накладывает отпечаток на современную политику идентичности. Это проявляется и в нескончаемых спорах об основаниях макрополитической идентичности (один из аргументов против формулы «российская нация» – негативные коннотации с понятием «советский народ»), и в неопределенности географических и социокультурных границ сообщества (соблазн реинтеграции постсоветского пространства), и в вопросе о ценностном наполнении понятия *Мы* (проблемы исторической памяти, трудности дифференциации «российского» и «советского» как источник «ценностной неопределенности российской политики» [Каспэ, 2012, с. 125]). Переопределение макрополитической идентичности по модели нации требует целенаправленной политики, опирающейся на серию ценностных выборов, сделать которые (пока?) не удастся.

Политическая элита предпочитает прагматически балансировать между идеями нации и цивилизации. На преимущества такого подхода указывают и некоторые исследователи (Зевелев 2009: 92–93, 99–100; Липкин 2008: 113–114, и др.). Проблема, однако, в том, что неготовность определяться с выбором «лекала» не снимает риски, обусловленные конфликтогенным потенциалом каждой из моделей.

Воображение сообщества по цивилизационному варианту оказывается возможным благодаря культурному и институциональному наследию двух империй. Данная модель отличается гибкостью, способностью надстраиваться над другими идентичностями, конгруэнтностью вертикальным иерархическим конструкциям (возможностью конструирования сообщества по принципу «центра» и «периферии»), поддерживает претензию на статус великой державы, – все это с точки зрения реализуемого правящей элитой консервативного сценария должно считаться преимуществами. Но в современном российском контексте цивилизационная модель сталкивается с двумя большими проблемами. Во-первых, отсутствует стержень такого рода конструкции – «сакральная вертикаль» особых идей и культурных практик, которую можно было бы представить в качестве отражения «трансцендентного назначения человечества». Попытки заменить требуемую *универсальную идеологию* ссылками на самобытный и «*уникальный* исторический опыт» России: а) не отвечают масштабу задачи, б) отсылают к «непредсказуемому прошлому», серьезная работа по переосмыслению которого упорно откладывается. Во-вторых, в современном контексте воображение сообщества по модели цивилизации не

исключает рисков, связанных с необходимостью фиксации символических и пространственных границ сообщества: в качестве Конституирующего «Другого» приходится рассматривать не «варварство», а другие «цивилизации». В силу этого оборотной стороной цивилизационной модели в российском контексте является антизападничество. Отсутствие адекватной данной модели «стержневой» идеологии также является фактором, повышающим смысловую нагрузку воображения *Нас* по контрасту со Значимым Другим в конструировании коллективной идентичности.

Роль антизападничества в современной российской политике амбивалентна. С одной стороны, оно успешно используется правящей элитой для мобилизации сплоченности поверх существующих символических границ. Как было показано выше, конструирование русской / советской / российской идентичности через сопоставление с Европой / Западом всегда позволяло «оставлять за скобками» этнокультурный и конфессиональный плюрализм. Наследие «холодной войны» стимулирует алармизм в отношении традиционного Значимого «Другого», облегчая мобилизацию солидарности перед лицом коварного врага. И это активно используется для сглаживания внутренних конфликтов. С другой стороны, педалирование антизападничества чревато эскалацией конфронтации, к которой Россия едва ли готова и которая едва ли соответствует ее национальным интересам и заявленным целям модернизации. Стремление правящей элиты балансировать между антизападной риторикой и прагматической установкой на сотрудничество не добавляет устойчивости российской внешней политике. Вместе с тем, поскольку логика конструирования постсоветской российской идентичности формально связана с присвоением ценностей, разделяемых Значимыми Другими, противопоставление «Западу» не может опираться на представление о Нашей принципиальной инаковости, что было характерно для советской модели. Будучи удобным инструментом для ситуативной манипуляции общественным сознанием, антизападничество не может рассматриваться политическим истеблишментом в качестве постоянного вектора символической политики.

Однако и с воображением макрополитического сообщества в качестве нации тоже возникают проблемы: наличие множества соперничающих проектов нациестроительства; отсутствие твердого консенсуса относительно географических и символических границ сообщества, полагаемого нацией, равно как и относительно критериев членства в нем; недостаток механизмов воспроизводства

ва «конституционного патриотизма», обусловленный слабостью политических институтов и гражданского общества; наконец, неопределенность по ключевому вопросу – надо ли вообще стремиться к формированию нации [см.: Миллер, 2007; Тишков, 2007; Паин, 2007; Зверева, 2009 и др.]. Такое количество нерешенных проблем делает каждый шаг на пути конструирования сообщества по модели нации источником острых разногласий. Предпочитая избегать прямой демонстрации конфликтов, в 2000-х годах правящая элита активно использовала технологию эклектического совмещения в официальной риторике элементов противоположных дискурсов при одновременной маргинализации наиболее неудобных позиций. Конфигурация политического пространства, сложившаяся в результате политических реформ 2000-х годов, делала такую технологию достаточно эффективной, однако сдвиги, связанные с массовым распространением новых коммуникационных технологий, несколько меняют ситуацию.

Проблемы, связанные с использованием «смешанных лекал», хорошо видны на примере предвыборной статьи кандидата в президенты (и по совместительству – действующего Председателя Правительства РФ) В.В. Путина «Россия: национальный вопрос», в которой российская идентичность определяется и в цивилизационных, и в национальных терминах (см. главу 8).

По-видимому, в XXI в. все известные до сих пор способы политической адаптации культурного многообразия обнаруживают несостоятельность перед лицом вызовов глобализации, что создает благоприятную основу для попыток пересмотреть «националистическую картину мира» и сформировать какую-то иную систему норм для легитимации макрополитических сообществ. Очевидно и то, что политии, которым не удастся вполне вписаться в модели воображения сообществ, заданные идеей нации, могут быть заинтересованы в выработке и продвижении альтернативных моделей. Однако это задача с неизвестным исходом, требующая серьезных интеллектуальных, информационных и материальных ресурсов. Едва ли она может быть решена исключительно за счет примитивного противопоставления «своего» и «чужого» опыта по принципу контраста.

Так или иначе, приходится констатировать, что стремление современного политического класса к ситуативному использованию репертуаров национальной и цивилизационной идентичности – это не только результат неизбежной инерции по меньшей мере двухвекового опыта конструирования макрополитической

идентичности по «смешанным лекалам», который нельзя отринуть в одночасье, но и неготовности принимать риски, связанные с выработкой более последовательного курса «строительства» макрополитической идентичности. Результатом является гибридная модель «национально-цивилизационного сообщества», описанная В.И. Пантиным [Пантин, 2012], которая в логике доминирующей политической картины мира остается уязвимой для конкуренции со стороны альтернативных проектов, опирающихся на идеи нации и цивилизации.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что дает для понимания российской политики изучение ее символических аспектов? И как оценить предварительные итоги эволюции сферы «идеологического производства» в постсоветской России?

Исследование политики на уровне «борьбы за смыслы» может представлять интерес с разных точек зрения. Во-первых, это один из способов «диагностирования» общих тенденций эволюции политического порядка: реляционная система дискурсов, циркулирующих в публичном пространстве, может рассматриваться и в качестве «слепок» складывающейся структуры социальных отношений, и как «матрица», задающая репертуар представлений, на основе которого действуют акторы. Например, поразительное единодушие представителей политической элиты в восприятии отношений власти и «людей», о котором шла речь в шестой главе, подтверждает, что патерналистские установки воспроизводятся не только на уровне массового сознания, но и в ожиданиях властвующих. То, сколь мало в проанализированном массиве текстов удалось обнаружить высказываний, подразумевающих антипатерналистское отношение к «контрагентам» власти, отчасти объясняет реакцию истеблишмента на протестное движение 2011–2012 гг.: понятие «граждане» не только реже употребляется, но и слабо ассоциируется с представлением о носителях гражданских прав, перед которыми власть ответственна и подотчетна. Протестующие вызывают раздражение не потому, что их действия воспринимаются как реальная опасность, но потому, что они не вписываются в систему представлений, на основе которой члены властвующей элиты мыслят свои роли и оправдывают свои действия. Стремление утвердить привычную и удобную систему смыслов оказывается значимым мотивом реакции на гражданскую оппозицию. Вместе с тем то же исследование показывает, что под давлением

административной реформы исполнительная власть вполне успешно осваивает идею «потребительства», которая хотя и не эквивалентна понятию «гражданства», но тоже включает элемент права и прав. Эти инновации в представлениях политической элиты – отражение подвижек и обусловленных ими противоречий в структуре властных отношений. Политический порядок несомненно меняется, причем изменения носят нелинейный, зигзагообразный характер; они не делают Россию более близкой к идеалам 1990-х годов, сконструированным по идеализированным западным образцам, но тем не менее по многим измерениям увеличивают дистанцию с советским прошлым. Исследование пространства смыслов – один из возможных способов постижения происходящей на наших глазах эволюции.

Во-вторых, изучение символической политики – это ключ к пониманию механизмов производства, обращения и конкуренции смыслов. Хотя идеи рождаются в головах индивидов, они возможны лишь в социально заданном семантическом пространстве, которое воспроизводится и трансформируется коллективными усилиями. Сложившиеся структуры смыслов нередко обуславливают эффект колеи, способствуя «повторению» символических конфликтов, формируя рамки восприятия процессов, задавая горизонт ожидаемого. Вместе с тем социально разделяемые представления подвержены трансформации; более того – изменения в области «идей» нередко запускают революционные процессы в сфере «материальных» отношений. Анализ социального конструирования смыслов открывает увлекательную перспективу изучения идеационных механизмов поддержания и изменения политического порядка. В этом смысле особенно интересно изучать эволюцию устойчивых структур, выступающих в качестве своеобразных интеллектуальных констант (как, например, символическая оппозиция России и Запада, которая, будучи важным измерением коллективной самоидентификации, определяет систему координат для обсуждения множества общественных проблем). Знание о том, «как устроены» те или иные системы смыслов, позволяет не только лучше понимать наблюдаемые политические процессы, но и видеть будущие альтернативы.

В-третьих, хотя феномен общественных идей (public ideas) имеет место в любом обществе, их производство, обращение и конкуренция могут быть устроены по-разному. Дело не только в наличии свободы слова – и в отсутствие ограничений на высказывания «эффективность» артикуляции спектра альтернатив, по по-

воду которых граждане могут формировать свое «просвещенное мнение», а значит – «качество» идеологического плюрализма могут различаться. Они определяются, с одной стороны, установками и навыками участников публичной коммуникации, т.е. политической культурой общества, а с другой – особенностями конфигурации институтов, в рамках которых происходит распространение и оспаривание общественно значимых идей и символов. Не случайно после отмены запретов, обусловленных монополией официальной идеологии, в России наблюдается одновременно и «перепроизводство», и «недопроизводство» политически значимых идей: с одной стороны, имеет место полифония (если не какофония) разных дискурсов, с другой стороны – очевидный дефицит отчетливо сформулированных альтернатив, вокруг которых возможна консолидация мнений. Представляется, что это – следствие установок значительной части политической элиты, не рассматривающей систематическую «борьбу за смыслы» в качестве существенного условия борьбы за власть. Как я пыталась показать в четвертой главе, эти установки объясняются (хотя и не извиняются) особенностями трансформации политической и медийной систем в постсоветской России. Вместе с тем чтобы лучше понимать взаимосвязи между развитием институтов и символической политикой, необходимы сравнительные межстрановые и кросстемпоральные исследования.

Эффекты символической политики как взаимодействия разных способов интерпретации социальной реальности особенно очевидны на примере политики идентичности. Вопрос о способах воображения сообщества, стоящего за новым Российским государством, оказался в центре политических споров, катализаторами которых выступали не только кристаллизировавшиеся идеологические различия, но и эмоциональные реакции на конкретные действия и решения. Модель коллективной идентичности, предлагавшаяся властвующей элитой в 1990-х годах, не стала основой для консолидации общества. Главным ее недостатком была ограниченность «компенсаторных» механизмов, т.е. способности поддерживать коллективную самооценку: рассматривая 70 лет советской власти как «отклонение» от «нормального» пути развития, она побуждала видеть в национальной культуре скорее «препятствие» для желаемых преобразований, чем «фундамент», на котором надлежало строить рынок и демократию.

По разным причинам в процессе политической трансформации 1990-х годов российскому политическому классу России не

удалось создать эффективные механизмы сопряжения мнений по общественно значимым проблемам. В 2000-х годах был взят курс на установление «согласия сверху» путем внедрения эклектической модели макрополитической идентичности, сочетающей элементы разных дискурсов и в то же время – частичное ограничение плюрализма в «ядре» публичной сферы. Эта стратегия оказалась успешной с точки зрения мобилизации массовой поддержки «курса Путина», но не решения спорных вопросов. Достигнутая «стабилизация» политического дискурса позволила снять напряженность символических конфликтов, связанных с определением оснований, границ и ценностно-смысловой структуры макрополитической идентичности, стоящей за Российским государством. Однако без серьезной «проработки» этих конфликтов и поиска «общего знаменателя», способного послужить основой для конструктивного общественного диалога, едва ли можно в полной мере преодолеть постсоветский «кризис идентичности». Официальной символической политике принадлежит немалая роль в этой политике изменений; однако и сама она нуждается в изменениях.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

- Абдулатипов Р. Создание российской нации // Российская газета. – М., 2003. – № 170 (3284), 28 августа.
- Адамишин А. Зачем нам нужна прозападная внешняя политика // Независимая газета. – М., 2002. – 16 марта.
- Адамишин А. Imperium – это власть // После империи / Под ред. И.М. Клямкина. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. – С. 135–145.
- Александров М. Не попасть в ловушки прошлого: Интервью с председателем Высшего совета партии «Единая Россия» Б. Грызловым // Российская газета: (общефедеральный выпуск). – М., 2012. – № 9 (5682), 19 февраля.
- Алексеева Т.А. Либерализм как политическая идеология // Политика. – М., 2000. – № 1. – С. 116–130.
- Алексеева Т.А. О свободе, авторитете и не только о них. – 08.05.2002. – Режим доступа: [http://www.politstudies.ru/vm/vm2/vm2\\_tez\\_2.htm](http://www.politstudies.ru/vm/vm2/vm2_tez_2.htm) (Дата обращения 16.12.12.)
- Алексеева Т.А. Идеологии как политическое воображаемое // Россия: история, политика: К 80-летию И.К. Пантина. – М.: Идея-Пресс, 2010. – С. 19–50.
- Алексеева Т.А., Капустин Б.Г., Пантин И.К. Перспективы интегративной идеологии: (Тезисы) // Полис. – М., 1997. – № 3. – С. 16–27.
- Алкисис В. Прощай, Империя (накануне русской России) // Агентство политических новостей. – 1.11.2006. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article10796.htm> (Дата обращения 9.09.2007.)
- Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. – М., 1992. – № 4. – С. 12–134.
- Амоглонова Д.Д., Скрынникова Т.Д. Пространство идеологического дискурса постсоветской Бурятии // Полис. – М., 2005. – № 2. – С. 53–63.
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. – М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково поле, 2001. – 288 с.
- Андреев А.Л. Политический спектр России. Структура, идеологии, основные субъекты. – М.: Эдиториал УРСС, 1997. – 155 с.
- Андреева Н. Не могу поступаться принципами // Советская Россия. – М., 1988. – 13 марта. – С. 2.
- Арутюнян Л.Н. Концепция политической культуры: Состояние и перспективы // Политическая наука современной России: Тенденции развития. – М.: ИНИОН РАН, 1999. – С. 33–46.

- Арутюнян Л.Н. Политическая культура: Процессы формирования и изменения (о некоторых гипотетических основаниях одной теоретической модели) // Образы власти в политической культуре России. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000. – С. 12–27.
- Архангельский В. Имперообразующий // Завтра. – М., 2012. – № 8, 23 февраля. – Режим доступа: <http://www.zavtra.ru/content/view/imperoobrazuyuschij/> (Дата обращения 4.04.12.)
- Афанасьев А. Прошел год // Год после Августа. Горечь и выбор. – М.: Литература и политика, 1992. – С. 7–12.
- Ахиезер А.С. Специфика российской политической культуры и предмета политологии: (Историко-культурное исследование) // Pro et contra. – М., 2002. – Т. 7, № 3. – С. 51–76.
- Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: Конец или новое начало? – М.: Новое издательство, 2005. – 708 с.
- Ачкасов В.А. «Взрывающаяся архаичность»: Традиционализм в политической жизни России. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – 170 с.
- Ачкасов В.А., Бабаев С.А. «Мобилизованная этничность»: Этническое измерение политической культуры современной России. – СПб.: Изд-во СПб. философского общества, 2000. – 145 с.
- Ачкасов В.А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в производстве «политики памяти» // Символическая политика: Сб. науч. тр.: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – Вып. 1. – С. 126–148.
- Бабаков А.М. «Сегодня у руля власти серьезная и сильная команда, обладающая доверием населения»: Интервью порталу «Столица С». – Саранск, 15.06.2009а. – Режим доступа: <http://babakov.ru/first/materials/full/?id=106> (Дата обращения 31.05.11.)
- Бабаков А.М. Текст выступления на XIII Всемирном Русском Народном Соборе «Экология души и молодежь. Духовно-нравственные причины кризисов и пути их преодоления». – 22.05.2009б. – Режим доступа: <http://babakov.ru/first/appearance/full/?id=89> (Дата обращения 31.05.11.)
- Бавин П. Февральская революция и свержение монархии: взгляд из России XXI века // Социальная реальность. – М., 2007. – № 4. – С. 24–30.
- Барсукова С.Ю. Неформальная экономика в зеркале идеологий // Полис. – М., 2003. – № 4. – С. 39–49.
- Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М.: Наука, 1990. – 254 с.
- Баталов Э.Я. Советская политическая культура (к исследованию распадающейся парадигмы) // Общественные науки и современность. – М., 1994. – № 6. – С. 32–41.
- Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 384 с.
- Баткин Л. Россия на распутье // Год после Августа. Горечь и выбор. – М.: Литература и политика, 1992. – С. 15–25.
- Батчиков С. Содом и Гоморра // PRO суверенную демократию. – М.: Европа, 2007. – С. 591–607.

- Батыгин Г.С. Тематический репертуар и язык социальных наук // Россия реформирующаяся / Под ред. Л.М. Дробижевой. – М.: Academia, 2002. – С. 91–102.
- Белинский В.Г. Пол. собр. соч. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953–1959.
- Белых Н.Ю. Интервью «Клубу Регионов» главы Кировской области Никиты Белых. – 1.04.2009. – Режим доступа: <http://club-rg.ru/person/7877/> (Дата обращения 28.04.11.)
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Academia-Центр, 1995. – 323 с.
- Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. – 224 с.
- Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Парламентская деятельность и политическая культура // Общественные науки и современность. – М., 1995. – № 1. – С. 66–75.
- Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Между дуализмом и соборностью (Проблема и механизмы социальной интеграции в современном обществе) // Общественные науки и современность. – М., 1998. – № 4. – С. 61–74.
- Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление институтов представительной власти в современной России. – М.: Агентство «Издательский сервис», 2004. – 544 с.
- Бирюков Н.И. Российская политическая культура: Когнитивный подход // Политическая наука: Исследования политической культуры: современное состояние: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. Малинова О.Ю., Глебова И.И. – М., 2006. – № 3. – С. 47–74.
- Бицилли П.М. «Восток» и «Запад» в истории Старого Света // На путях. Утверждение евразийцев. – Берлин: Геликон, 1922. – С. 318–324.
- Бляхер Л.Е. Российский политический дискурс и концептуализация становящегося политического пространства // Полис. – М., 2002. – № 3. – С. 31–40.
- Болецкая К., Костенко Н., Бирюкова Л. Путин оценил Интернет // Ведомости. – М., 2012. – № 38 (3052), 2 марта. – Режим доступа: [http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/276795/putin\\_ocenil\\_internet#ixzz1o4cBQt5v](http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/276795/putin_ocenil_internet#ixzz1o4cBQt5v) (Дата обращения 2.03.12.)
- Болецкая К. Обогнал телевизор // Ведомости. – М., 2012. – № 95 (3109), 25 мая. – Режим доступа: [http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/281441/obognal\\_televizor#ixzz1vrZHVuL](http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/281441/obognal_televizor#ixzz1vrZHVuL) (Дата обращения 25.05.12.)
- Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами идентичности // Ab Imperio. – Казань, 2002. – № 3. – С. 61–115.
- Бузгалин А.В. Альтерглобализм как феномен современного мира // Полис. – М., 2003. – № 2. – С. 71–85.
- Булгаков С.Н. Война и русское самоопределение. – М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1915. – 59 с.
- Бурдые П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
- Бурдые П. Социология социального пространства / Пер. с франц.; Отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Буртин Ю. Горбачёв продолжается // Год после Августа. Горечь и выбор. – М.: Литература и политика, 1992. – С. 54–69.
- Быков Д. Абсорбируем все // Московские новости. – М., 2012. – № 206 (206), 27 января. – Режим доступа: <http://mn.ru/friday/20120127/310442983.html> (Дата обращения 30.01.12.)

- Быков И.А., Халл Т.Э. Цифровое неравенство и политические предпочтения Интернет-пользователей в России // Полис. – М., 2011. – № 5. – С. 151–163.
- Бызов Л.Г. Социокультурные и социально-политические аспекты формирования современной российской нации // Полис. – М., 2012. – № 4. – С. 41–55.
- Васильев В.А. «Жестокое или жесткое решение»: Интервью газете «Вече Твери». – 04.09.2008а. – Режим доступа: <http://www.veche.tver.ru/index.shtml?news=15157> (Дата обращения 31.05.11.)
- Васильев В.А. «Признание государств – суверенное дело каждой страны»: Интервью РИК «Вести». – 03.09.2008. – Режим доступа: <http://vladimirvasiliev.ru/publ/12-22-2> (Дата обращения 31.05.11.)
- Васильев В.А. Гражданским контролем – по кризису доверия к власти. – 11.02.09. Режим доступа: <http://www.er-duma.ru/pubs/34369> (Дата обращения 31.05.11.)
- Васильева Е. Октябрьская революция: актуальный образ исторического события // Социальная реальность. – М., 2008. – № 3. – С. 24–32.
- Верченев Л.Н. Политическая культура: Российские пути и перепутья // Политическая наука современной России: Тенденции развития. – М.: ИНИОН РАН, 1999. – С. 5–32.
- В каком состоянии находится русская нация. Круглый стол газеты «Литературный Иркутск» и журнала «Наш современник» // Наш современник. – М., 1993. – № 3. – С. 148–160.
- Возможности либерализма в осмыслении современного мира. (Обзор коллоквиума) // Полис. – М., 1994. – № 3. – С. 125–130.
- Волков Ю.Г. Идеология в жизни современного российского общества // Социально-гуманитарные знания. – М., 1999. – № 6. – С. 3–16.
- Володин В.В. Социальная политика во время кризиса. Дискуссия между партией «Единая Россия» и «Справедливой Россией» в передаче Первого канала «Судите сами». – 29.04.2009а. – Режим доступа: <http://www.edinros.ru/text.shtml?/6641,110735> (Дата обращения 31.05.11.)
- Володин В.В. «Конфликтов не люблю». – 26.08.2009б. – Режим доступа: <http://psdoverie.ru/volsk/194-konfliktov-ne-lyublyu.html> (Дата обращения 31.05.11.)
- Володин В.В. Честная победа Вячеслава Володина. НТВ, «Честный понедельник». – 13.04.2009 в. – Режим доступа: <http://er.ru/er/text.shtml?/5053> (Дата обращения 31.05.11.)
- Володин В.В. Меняться самим, чтобы изменить страну // Независимая газета. – М., 2009 г. – 27 ноября. – Режим доступа: <http://er.ru/text.shtml?/10/5482,110027> (Дата обращения 31.05.11.)
- Володин В.В. Результативность масштабных проектов зависит от общественной поддержки. – 02.06.2009д. – Режим доступа: <http://er.ru/text.shtml?/8/2448,100112> (Дата обращения 31.05.11.)
- В первый день работы Путин подписал 11 указов стратегического характера // Взгляд. – М., 2012. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.vz.ru/news/2012/5/7/577831.html> (Дата обращения 9.08.2012.)
- «Выборы, выборы...» ВЦИОМ и Интернет прогнозируют исход думского голосования. Результаты исследования «Группы 808. Информационный аудит». – Режим доступа: <http://g808.ru/text.php?sText=vyb2011> (Дата обращения 11.12.11.)

- Выступление В. Путина на Мюнхенской конференции. Опрос населения 17–18.02.2007 // База данных Фонда «Общественное мнение». – 22.02.2007. – Режим доступа: [http://bd.fom.ru/report/cat/inter\\_pol/\\_west\\_rel/eurosoc/d070820](http://bd.fom.ru/report/cat/inter_pol/_west_rel/eurosoc/d070820).
- Гаврилова М.В. Контент-анализ послания президента Федеральному Собранию // Политический анализ: Доклады Центра эмпирических политических исследований СПбГУ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – Вып. 4. – С. 64–82.
- Гаврилова М.В. Когнитивные и риторические основы президентской речи: (на материале выступлений В.В. Путина и Б.Н. Ельцина). – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. – 92 с.
- Гаврилова М.В. Композиция программной политической речи: (на примере послания президента Федеральному Собранию России) // Политический анализ: Доклады Центра эмпирических политических исследований СПбГУ. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – Вып. 6. – С. 40–54.
- Гаврилова М.В. Смысловая модернизация русского политического дискурса: (на примере экспликации концепта «государство») // Полис. – М., 2007. – № 3. – С. 125–133.
- Гаврилова М.В. Президент как субъект политической коммуникации // Политическая коммуникативистика: Теория, методология и практика / Под ред. Л.Н. Тимофеевой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН): Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – С. 256–268.
- Гайдар Е.Т. Государство и эволюция. – М.: Евразия, 1995а. – 205 с.
- Гайдар Е.Т. Беседы с избирателями. – М.: Евразия, 1995б. – 63 с.
- Гайдар Е.Т. Записки из зала: Сделай разумный выбор. – М.: Евразия, 1995в. – 78 с.
- Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. – М.: РОССПЭН, 2006. – 448 с.
- Гайдук Я.А. Политическая культура государственных служащих федеративной России. – М.: Евразийский научно-исследовательский институт проблем права, 2012. – 134 с.
- Гаман-Голутвина О.В. Развитие категории «политическая культура» в общественно-политической мысли // Политэкс = Politex: Политическая экспертиза. – СПб., 2005. – Вып. 2. – С. 38–49.
- Гарбузов В.Н. Консерватизм: понятие и типология: (историографический обзор) // Полис. – М., 1995. – № 4. – С. 60–68.
- Гельман В.Я. Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике // Полис. – М., 2003. – № 4. – С. 6–25.
- Гельман В.Я. От «бесформенного плюрализма» – к «доминирующей власти»? (Трансформация российской партийной системы) // Общественные науки и современность. – М., 2006. – № 1. – С. 46–58.
- Гельман В.Я. Россия в институциональной ловушке // Pro et contra. – М., 2010. – Т. 14, № 4–5. – С. 23–38.
- Герцен А.И. Россия и Польша // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – Т. 14. – С. 7–59.
- Гириц К. Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение. – М., 1998. – № 29. – С. 7–38.
- Гириц К. Интерпретация культур. – М.: РОССПЭН, 2004. – 560 с.

- Глазьев С. Приватизация настоящего. Размышления по поводу статей Владислава Суркова о суверенной демократии // PRO суверенную демократию. – М.: Европа, 2007. – С. 489–500.
- Глебова И.И. Политическая культура современной России: Облики новой русской власти // Полис. – М., 2006а. – № 1. – С. 33–44.
- Глебова И.И. Травматическое прошлое и национальная политическая культура // Политическая наука: Исследования политической культуры: современное состояние: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. Малинова О.Ю., Глебова И.И. – М., 2006б. – № 3. – С. 114–139.
- Глебова И.И. Функции образов прошлого в политической культуре // Политическая наука: Исследования политической культуры: современное состояние: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. Малинова О.Ю., Глебова И.И. – М., 2006б. – № 3. – С. 140–173.
- Гозман Л.Е. Россия должна стать империей. Выступление секретаря по идеологии федерального политсовета СПС Леонида Гозмана в экспертной дискуссии «Проекты для России», организованной агентством «Росбалт». – 16.12.2004. – Режим доступа: <http://www.rosbalt.ru/2004/12/16/189420.html> (Дата обращения 30.09.2007.)
- Голосов Г.В. Происхождение современных российских политических партий, 1987–1993 // Первый электоральный цикл в России, (1993–1996) / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – М.: Весь Мир, 2000. – С. 77–105.
- Голосов Г.В., Шевченко Ю.Д. Глобализация и антиглобализм в политической жизни России // Власть и элиты в современной России / Под ред. А.В. Дуки. – СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2003. – С. 399–412.
- Гордеев А. Встречный бой // Завтра. – М., 2012, № 4. – 25 января. – Режим доступа: <http://www.zavtra.ru/content/view/vstrechnyj-boj/> (Дата обращения 8.04.12.)
- Горизонт-2017. Вернуть России будущее. Проект Программы политической партии Союз Правых Сил // Правое дело. – М., 2006. – № 15 (172). – Режим доступа: <http://www.sps.ru/?id=215416> (Дата обращения 30.09.2007.)
- Гостев С.Л. Общественно-политические организации радикально-националистического толка: их электорат и роль в современном политическом процессе // Вестник Московского университета. Сер. 12. – М., 1999. – № 2. – С. 50–63.
- Градинар И.Б. Политическая культура: мировоззренческое измерение. – СПб.: Наука, 1996. – Ч. 1. – 256 с.; Ч. 2. 182 с.
- Грамши А. Тюремные тетради. – М.: Политиздат, 1991. – Ч. 1. – 550 с.
- Грачёв А. Горбачёв. – М.: Вагриус, 2001. – 446 с.
- Грачёв А. Как Запад подвел Россию. – 19.06.2006. – Режим доступа: <http://www.inosmi.ru/stories/06/11/01/3494/228206.html> (Дата обращения 8.08.2008.)
- Гринберг Р. Наступает пора новой перестройки // Известия. – М., 2010. – 18 марта. – Режим доступа: <http://www.izvestia.ru/comment/article3139783/> (Дата обращения 20.03.2010.)
- Группа компаний TNS. Результаты исследований. Данные по аудитории СМИ. Пресса. – Режим доступа: <http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/press> (Дата обращения 19.12.2012.)
- Группа компаний TNS. Результаты исследований. Данные по аудитории СМИ. Радио. – Режим доступа: <http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/radio/> (Дата обращения 19.12.2012.)

- Группа компаний TNS. Результаты исследований. Данные по аудитории СМИ. Телевидение. – Режим доступа: <http://www.tns-global.ru/rus/data/ratings/tv/> (Дата обращения 19.12.2012.)
- Грызлов Б.В. Реализуем человеческий капитал – решим все задачи // Парламентская газета. – М., 2008а. – № 12–13, 28 февраля. – Режим доступа: <http://www.gryzlov.ru/index.php?page=publications&id=362> (Дата обращения 31.05.11.)
- Грызлов Б.В. Выступление на расширенном заседании Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной думы по вопросу «Проблемы финансового обеспечения муниципальных образований и пути их решения на основе повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления». – 3.07.2008б. – Режим доступа: <http://www.vsmsinfo.ru/article.html?196> (Дата обращения 31.05.11.)
- Грызлов Б.В. В интересах России // Российская газета: Столичный выпуск. – М., 2008в. – № 4792, 17 ноября – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2008/11/17/konstitucia.html> (Дата обращения 31.05.11.)
- Грызлов Б.В. Переживать трудности вместе с избирателями: Интервью «Парламентской газете». – 19.06.2009а. – Режим доступа: [http://www.korendyasev.ru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=67:2009-06-22-05-09-00&catid=6:2008-11-27-09-41-00](http://www.korendyasev.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2009-06-22-05-09-00&catid=6:2008-11-27-09-41-00) (Дата обращения 31.05.11.)
- Грызлов Б.В. Об итогах осенней (2009) сессии Государственной думы ФС РФ. – 25.12.2009б. – Режим доступа: <http://www.gryzlov.ru/index.php?page=publications&id=452> (Дата обращения 31.05.11.)
- Грызлов Б.В. На гребне волны или под ней – решать нам // Эксперт. – М., 2009в. – № 40(677). – Режим доступа: [http://expert.ru/expert/2009/40/na\\_grebne\\_volny/](http://expert.ru/expert/2009/40/na_grebne_volny/) (Дата обращения 31.05.11.)
- Гудименко Д.В. Политическая культура России: Преемственность эпох // Полис. – М., 1994 а. – № 2. – 156–164.
- Гудименко Д.В. Политическая культура России // Политическая культура: теории и национальные модели. – М.: Интерпраксис, 1994б. – С. 313–349.
- Гудков Л., Дубин Б. Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс // Пути российского посткоммунизма: Очерки / Под ред. М. Липман и А. Рябова; Моск. Центр Карнеги. – М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. – С. 8–64.
- Гусев В.А. Становление третьей волны русского консерватизма: (начало 1990-х гг.) // Вестник Московского университета. Сер. 12. – М., 1999. – № 6. – С. 3–20.
- Даль Р. Демократия и ее критики. – М.: РОССПЭН, 2003. – 576 с.
- Деягин М. Путин против либералов? // Завтра. – М., 2012. – № 7, 16 февраля. – Режим доступа: <http://www.zavtra.ru/content/view/putin-protiv-liberalov/> (Дата обращения 28.03.12.)
- Дилигенский Г.Г. «Запад» в российском общественном сознании // Запад и западные ценности в российском общественном сознании. – М.: ИМЭМО РАН, 2002а. – С. 6–23.
- Дилигенский Г.Г. Хочет ли Россия дружить с Западом? // Запад и западные ценности в российском общественном сознании. – М.: ИМЭМО РАН, 2002б. – С. 86–102.

- Достоевский Ф.М. Два лагеря теоретиков (по поводу «Дня» и кой-чего другого) // Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – М.: Наука, 1980. – Т. 20. – С. 5–22.
- Дробижева Л.М. Процессы гражданской интеграции в полиэтничном российском обществе (Тенденции и проблемы) // Общественные науки и современность. – М., 2008. – № 2. – С. 68–77.
- Дубин Б.В. Массмедиа позднесоветской и постсоветской эпохи: эволюция функций и оценок населения // Пути России: Двадцать лет перемен: Международный симпозиум 20–22 января 2005 г. / Под ред. Т.Е. Ворожейкиной. – М.: МВШСЭН, 2005а. – С. 250–263.
- Дубин Б.В. Посторонние: власть, масса и массмедиа в современной России // Отечественные записки. – М., 2005б. – № 6. – Режим доступа: <http://www.strana-oz.ru/?numid=27&article=1167> (Дата обращения 10.04.11.)
- Дубин Б.В. Режим разобщения. Новые заметки к определению культуры и политики // Pro et contra. – М., 2009. – Т. 13, № 1 (44). – С. 6–19.
- Дубин Б.В. Символы возврата вместо символов перемен // Pro et contra. – М., 2011. – № 5(53). – С. 6–22.
- Дугин А.Г. Консервативная революция. – М.: Арктогея, 1994. – 352 с.
- Дугин А.Г. Евразийский путь как национальная идея. – М.: Арктогея-Центр, 2002. – 144 с.
- Дугин А.Г. Мобилизационное послание: Тезисы выступления лидера партии «Евразия» А. Дугина на пресс-конференции в газете «Комсомольская Правда» по поводу оценки Послания Президента В.В. Путина. – 16.05.2003. – Режим доступа: <http://evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1220> (Дата обращения 15.03.2007.)
- Дугин А.Г. Россия как демократическая империя // Известия. – М., 2006а. – 5 мая. – Режим доступа: <http://www.izvestia.ru/politic/article34282/> (Дата обращения 9.09.2007.)
- Дугин А.Г. Россия всегда была империей // Белгородская правда. – Белгород, 2006б. – № 120, 19 августа. – Редим доступа: <http://www.evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3371> (Дата обращения 9.09.2007.)
- Дугин А. Евразийский Союз – демократическая империя постмодерна // Российское государство: вчера, сегодня, завтра / Под общ. ред. И.М. Клямкина. – М.: Новое издательство, 2007. – С. 198–201.
- Дука А.В. Политическая культура – поиски теоретических оснований // Политэкс = Politéx: Политическая экспертиза. – СПб., 2006. – Т. 2, № 1. – С. 7–30.
- Дунаев С. Варианты будущего // Наш современник. – М., 1993. – № 2. – С. 159–163.
- Евразийский сборник / Под ред. Н.Н. Алексеева, В.Н. Ильина, Н.А. Клепинина, П.Н. Савицкого и К.А. Чхеидзе. – Прага: Типография «Политика», 1929. – Кн. 6. – 80 с.
- Евразийство (Опыт систематического изложения). – (Б. м.): Евразийское книжное издательство, 1926. – 78 с.
- Европейская интеграция и Россия. Опрос населения // База данных Фонда «Общественное мнение». – 09.06.2005. – Режим доступа: [http://bd.fom.ru/report/cat/inter\\_pol/\\_west\\_rel/eurosoc/dd052\\_332](http://bd.fom.ru/report/cat/inter_pol/_west_rel/eurosoc/dd052_332) (Дата обращения 19.12.2012.)

- «Единая Россия» напомнит о русской политической культуре. – 1.06.2006. – Режим доступа: <http://www.rfn.ru/cnews.html?id=95832> (Дата обращения 30.06.2006.)
- Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Об укреплении Российского государства», 1994 г. – Режим доступа: [http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_1994\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/04/poslanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_1994_god.html) (Дата обращения 15.03.10.)
- Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «О действенности государственной власти в России», 1995 г. – Режим доступа: [http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_o\\_dejstvvennosti\\_gosudarstvennoj\\_vlasti\\_v\\_rossii\\_1995\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejstvvennosti_gosudarstvennoj_vlasti_v_rossii_1995_god.html) (Дата обращения 15.03.10.)
- Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия, за которую мы в ответе», 1996 г. – Режим доступа: [http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_rossija\\_za\\_kotoruju\\_my\\_v\\_otvete\\_1996\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_za_kotoruju_my_v_otvete_1996_god.html) (Дата обращения 15.03.10.)
- Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Порядок во власти – порядок в стране», 1997 г. – Режим доступа: [http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_porjadok\\_vo\\_vlasti\\_porjadok\\_v\\_strane\\_1997\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_porjadok_vo_vlasti_porjadok_v_strane_1997_god.html) (Дата обращения 15.03.10.)
- Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Общими силами – к подъему России», 1998 г. – Режим доступа: [http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_obshhimi\\_silami\\_k\\_podemu\\_rossii\\_1998\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_obshhimi_silami_k_podemu_rossii_1998_god.html) (Дата обращения 15.03.10.)
- Ельцин Б.Н. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: «Россия на рубеже эпох», 1999 г. – Режим доступа: [http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie\\_prezidenta\\_rossii\\_borisa\\_elcina\\_federalnomu\\_sobraniju\\_rf\\_rossija\\_na\\_rubezhe\\_jepokh\\_1999\\_god.html](http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rossii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_rossija_na_rubezhe_jepokh_1999_god.html) (Дата обращения 15.03.10.)
- Ельцин Б.Н. Заявление 31 декабря 1999 г. – Режим доступа: [http://archive.kremlin.ru/appears/1999/12/31/0003\\_type82634\\_119554.shtml](http://archive.kremlin.ru/appears/1999/12/31/0003_type82634_119554.shtml) (Дата обращения 15.03.10.)
- Емельянова Т.П. Социальное представление – понятие и концепция: итоги последнего десятилетия // Психологический журнал. – М., 2001. – Т. 22, № 6. – С. 39–47.
- Ермолаев Д. От национального к цивилизационному // Российские вести. – М., 2012. – № 45 (2075), 24 января.
- Ефремова В.Н. День народного единства: изобретение праздника // Символическая политика: Сб. науч. тр.: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – Вып. 1. – С. 286–261.
- Жириновский В. Последний бросок на юг. – М.: ТОО «Буквица», 1993. – 124 с.
- Жириновский В.В. Россия победит! – М.: Издание Либерально-демократической партии России, 2006. – 296 с.

- Жириновский В.В. Иван, запахни душу! Избранные места из романа-исследования о моем поколении. – Изд. 9-е. – М.: Издание ЛДПР, 2007. – 48 с.
- Жириновский В.В. Политические судороги // Независимая газета. – М., 2009а. – 19 мая. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/ng\\_politics/2009-05-19/12\\_sudorogi.html](http://www.ng.ru/ng_politics/2009-05-19/12_sudorogi.html) (Дата обращения 31.05.11.)
- Жириновский В.В. В передаче «Клинч» на радиостанции «Эхо Москвы». – 29.06.2009б. – Режим доступа: <http://www.mixnews.lv/ru/economics/interviews/2009-06-29/368> (Дата обращения 31.05.11.)
- Жириновский В.В. За сказанное и сделанное отвечаю: Интервью журналу «Мужской характер». – Режим доступа: [http://www.ldpr.ru/leader/smi\\_o\\_lidere/3918/](http://www.ldpr.ru/leader/smi_o_lidere/3918/) (Дата обращения 31.05.11.)
- Журналисты нашли источник статьи Путина о национальном вопросе // Lenta.ru. Новости. – 23.01.12. – Режим доступа: <http://lenta.ru/news/2012/01/23/source/> (Дата обращения 28.03.12.)
- Завершинский К.Ф. Методологические и семантические векторы политической легитимности. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002а. – 132 с.
- Завершинский К.Ф. Когнитивные основания политической культуры: Опыт методологической рефлексии // Полис. – М., 2002б. – № 3. – С. 19–30.
- Завершинский К.Ф. Концепт легитимности как дискурсивная основа анализа политической культуры // Принципы и практика политических исследований. Сб. материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 г. – М.: РОССПЭН, 2002в. – С. 119–125.
- Завершинский К.Ф. Политическая культура как способ семантического конституирования политических коммуникаций // Политическая наука: Исследования политической культуры: современное состояние: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. Малинова О.Ю., Глебова И.И. – М., 2006б. – № 3. – С. 31–46.
- За нашу Советскую Родину! Предвыборная платформа Коммунистической партии Российской Федерации // Зюганов Г.А. Верю в Россию. – Воронеж: Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж», 1995. – С. 367–367.
- Западники и националисты: возможен ли диалог? – М.: Новое издательство, 2004. – 256 с.
- Засурский И.И. Массмедиа второй республики. – М.: Издательство МГУ, 1999. – 272 с.
- Засурский И.И. СМИ и власть. Россия девяностых // Средства массовой информации постсоветской России. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – С. 86–134.
- Засурский Я.Н. Журналистика и общество: балансируя между государством, бизнесом и общественной сферой // Средства массовой информации постсоветской России. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – С. 86–134.
- Затулин К. Чтобы правильно задать вопрос, надо знать большую часть ответа // Известия. – М., 2012. – № 12 (московский выпуск), 25 января. – Режим доступа: <http://www.izvestia.ru/news/512953> (Дата обращения 2.04.12.)
- Зверева Г.И. Учреждение «российской нации»: год 2008 // Пути России: современное интеллектуальное пространство: школы, направления, поколения. – М.: Университетская книга, 2009. – С. 409–428.

- Зевелев И.А. Соотечественники в российской политике на постсоветском пространстве: наследие империи и государственный прагматизм // Наследие империй и будущее России / Под ред. А.И. Миллера. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2008. – С. 241–293.
- Зевелев И.А. Будущее России: нация или цивилизация? // Россия в глобальной политике. – М., 2009. – № 5. – С. 88–102.
- Зеленин Д. Политическая культура формирует имидж власти в глазах россиян: Публичная лекция в рамках акции «Дни русской политической культуры», прочитанная в РГГУ 6 июня 2006 г. – Режим доступа: <http://kreml.org/opinions/120196801> (Дата обращения 30.06.2006.)
- Злобин Н. Многонациональная страна: национальность земли // Ведомости. – М., 2012а. – № 31 (2797), 22 февраля. – Режим доступа: [http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255424/nacionalnost\\_zemli](http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/255424/nacionalnost_zemli) (Дата обращения 22.01.12.)
- Зубкова Е.Ю., Куприянов А.И. Возвращение к «русской идее»: кризис идентичности и национальная история // Отечественная история. – М., 1999. – № 5. – С. 4–28.
- Зудин А.Ю. «Культура имеет значение»: к предыстории российского транзита // Мир России. – М., 2002. – № 3. – С. 122–157.
- Зудин А.Ю. Режим В. Путина: Контуры новой политической системы // Общественные науки и современность. – М., 2003. – № 2. – С. 67–83.
- Зюганов Г.А. Россия и современный мир. – М.: Информпечать, 1995а. – 96 с.
- Зюганов Г.А. Россия – Родина моя. Идеология государственного патриотизма. – М.: Информпечать, 1996. – 333 с.
- Зюганов Г.А. О защите прав трудящихся и усилении политического влияния КПРФ: Доклад на IV Пленуме ЦК КПРФ 31.10.2009а. – Режим доступа: <http://politpros.com/journal/read/?ID=120&journal=66> (Дата обращения 31.05.11.)
- Зюганов Г.А. Семь шагов Зюганова // Российская газета. Федеральный выпуск № 4849. – 13.02.2009б. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2009/02/13/zyuganov.html> (Дата обращения 31.05.11.)
- Зюганов Г.А. «На повестке дня человечества – социализм»: Интервью газете «Правда». – 24.03.2009в. – Режим доступа: [http://www.kprf.org/showthread-t\\_4691.html](http://www.kprf.org/showthread-t_4691.html) (Дата обращения 31.05.11.)
- Зюганов Г.А. «Воевать с историей, значит воевать с душой». Он-лайн конференция в редакции «Свободной прессы». Опубликовано 8.11.2009г. – Режим доступа: [http://kgvr.cprfspb.ru/voevat\\_s\\_istoriei\\_znachit\\_voevat\\_s\\_dushoi.html](http://kgvr.cprfspb.ru/voevat_s_istoriei_znachit_voevat_s_dushoi.html) (Дата обращения 31.05.11.)
- Зюганов Г.А. Выступление на заседании Государственного совета по вопросам развития политической системы России. – 22.01.2010а. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6693> (Дата обращения 28.02.2010.)
- Зюганов Г.А. Консервативная модернизация – путь в тупик. Официальный сайт КПРФ. – 3.04.2010б. – Режим доступа: [http://kprf.ru/party\\_live/77686.html](http://kprf.ru/party_live/77686.html) (Дата обращения 1.09.2011.)
- Иванов В. Имперская идеология // Известия. – М., 2012. – № 11 (московский выпуск), 24 января. – Режим доступа: <http://www.izvestia.ru/news/512802> (Дата обращения 2.04.12.)
- Иванов С. Триада национальных ценностей // PRO суверенную демократию. – М.: Европа, 2007. – С. 209–216.

- Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 285 с.
- Идентичность как предмет политического анализа: Сб. статей / Отв. ред. И.С. Семенов, Л.А. Фадеева. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – 299 с.
- Ильин М.В. Умножение идеологий, или проблема «переводимости» политического сознания // Полис. – М., 1997. – № 4. – С. 78–87.
- Ильин М.В. Инструментарий политолога: «воронка причинности» // Полис. – М., 2002. – № 2. – С. 43–45.
- Ильницкий А. Манифест Путина // Независимая газета. – М., 2012. – № 2 (5488), 17 января. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/politics/2012-01-17/3\\_kartblansh.html](http://www.ng.ru/politics/2012-01-17/3_kartblansh.html) (Дата обращения 18.01.12.)
- Инаугурация: выступления Дмитрия Медведева и Владимира Путина // Российская газета. – М., 2012. – Федеральный выпуск № 5774 (101), 8 мая. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2012/05/07/stenogramma.html> (Дата обращения 9.05.12.)
- Иноземцев В. Modernizatsya.ru: На свалку историю! // Ведомости. – М., 2010. – № 69 (2587), 19 апреля. – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/19/231671> (Дата обращения 20.04.2010.)
- Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006. – 490 с.
- Интернет в России. – Вып. 37, Весна 2012 г. – Режим доступа: <http://runet.fom.ru/files/download/138> (Дата обращения 18.07.12.)
- Информационно-аналитический бюллетень Института социологии Российской Академии наук: Российская идентичность в социологическом измерении. – М.: Институт социологии РАН, 2008. – Вып. 3. – Режим доступа: [http://www.isras.ru/INAB\\_2008\\_3\\_6.html](http://www.isras.ru/INAB_2008_3_6.html) (Дата обращения 15.05.2010.)
- Исаев А. «Единая Россия» – партия русской политической культуры. М.: Издательство «Европа», 2006. – 40 с.
- История России. XX век: 1894–1939. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 1023 с.
- История России. XX век: 1939–2007. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 829 с.
- Казанцев А.А. «Суверенная демократия» в современной России: структура концепта и идеологемы // Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия. – М.: РАПН: РОССПЭН, 2008. – С. 394–407.
- Казанцев А.А. «Конструктивистская революция», или О роли культурно-цивилизационных факторов в современной теории международных отношений // Политическая наука: Идеи и символы в политике: Методологические проблемы и современные исследования: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред.-сост. вып. О.Ю. Малинова. – М., 2009. – № 4. – С. 88–114.
- Калинин К.О. Русский национализм: сравнительный анализ 1995 и 2003 годов // Общественные науки и современность. – М., 2008. – № 3. – С. 64–76.
- Капустин Б.Г. Либеральное сознание в России // Общественные науки и современность. – М., 1994а. – № 3. – С. 69–76; № 4. – С. 32–41.

- Капустин Б.Г. Начало российского либерализма как проблема политической философии // Полис. – М., 1994б. – № 5. – С. 23–37.
- Капустин Б.Г., Клямкин И.М. 1994. Либеральные ценности в сознании россиян // Полис. – М., 1994. – № 1. – С. 68–92; № 2. – 39–75.
- Капустин Б.Г. Идеологии современной России: Поиск модальности сопряжения // Этика успеха. – Тюмень, М., 1996а. – Вып. 7. – С. 60–79.
- Капустин Б.Г. Что такое политическая философия // Полис. – М., 1996б. – № 6. – С. 83–96; 1997. – № 1–2. – С. 45–56.
- Капустин Б.Г. Идеология и политика в посткоммунистической России – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 136 с.
- Каменец А.В., Онуфриенко Г.Ф., Шубаков А.Г. Политическая культура России. – М.: Брандес, 1997. – 141 с.
- Канарш Г.Ю. К вопросу о российском дискурсе справедливости // Полис. – М., 2008. – № 5. – С. 160–168.
- Кара-Мурза А.А. Либерализм против хаоса. (Основные интенции либеральной идеологии на Западе и в России) // Полис. – М., 1994. – № 3. – С. 118–124.
- Кара-Мурза А.А. Между «империей и смутой» // Полис. – М., 1995. – № 1. – С. 96–98.
- Кара-Мурза А.А. Идя в Европу, мы возвращаемся домой // Западники и националисты: возможен ли диалог? Материалы дискуссии. – М.: ОГИ, 2003. – С. 374–375.
- Кара-Мурза С.Г. Размышления об экономике и народе // Наш современник. – М., 1992. – № 1. – С. 155–156.
- Кара-Мурза С.Г. Евроцентризм – эдипов комплекс интеллигенции. – М.: Алгоритм, 2002. – 256 с.
- Кара-Мурза С.Г. Что же сказал Путин? – 12.05.2006. – Режим доступа: <http://contrtv.ru/print/1782> (Дата обращения 15.03.2007.)
- Касьянов М.М. Империя свободы // Коммерсантъ. – М., 2006. – № 159(3490), 29 августа.
- Карпенко О. «Суверенная демократия» для внутреннего и наружного применения // Неприкосновенный запас. – М., 2007. – № 1 (51). – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2007/1/kar15.html> (Дата обращения 6.09.2009.)
- Карпец В. Битва за историю // Завтра. – М., 2012. – № 5, 1 февраля. – Режим доступа: <http://www.zavtra.ru/content/view/bitva-za-istoriyu-5/> (Дата обращения 8.04.12.)
- Карцов А.С. Правовая идеология русского консерватизма. – М.: Изд-во «Центр издательских и учебных программ», 1999. – 244 с.
- Каспэ И., Каспэ С. Поле битвы – страна. Nation-building и наши нэйшнбилдеры // Неприкосновенный запас. – М., 2006. – № 6 (50). – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2006/50/ka3.html> (Дата обращения 10.04.11.)
- Каспэ С.И. Политическая нация и ценностный выбор: общие положения, российский случай: Часть 1 // Полития. – М., 2009. – № 2. – С. 5–26.
- Каспэ С.И. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. – М.: РОССПЭН, 2012. – 191 с.
- Качкин А.В., Качкина Т.Б. Политическая культура региональной элиты как фактор социальной политики // Принципы и практика политических исследований: Сб. материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 г. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 330–336.

- Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. – М.: Прогресс, 1999. – 416 с.
- Кейган Р. О силе и рае. Америка и Европа в новом мировом порядке. – М.: РОССПЭН, 2004. – 159 с.
- Кертман Г.Л. Катастрофизм в контексте российской политической культуры // Полис. – М., 2000. – № 4. – С. 6–18.
- Кертман Г.Л. Мера автономии как фактор дифференциации политической культуры // Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006. – С. 265–276.
- Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. От результата диалога политического мира с Церковью будет зависеть наше будущее: Публичная лекция в рамках акции «Дни русской политической культуры», прочитанная в РГГУ 26 июня 2006 г. – Режим доступа: <http://kreml.org/opinions/121811755> (Дата обращения 30.06.2006.)
- Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Богатство и бедность: исторические вызовы России: Стенограмма выступления на XI Всемирном Русском народном соборе // ПРО суверенную демократию. – М.: Европа, 2007. – С. 503–515.
- Киселев К.В. Символическая политика: власть vs. общество. – Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006. – 132 с.
- Козырев А.В. Преображение. – М.: Международные отношения, 1994. – 333 с.
- Коломиец В.П. Медиасреда и медиапотребление в современном российском обществе // Социологические исследования. – М., 2010. – № 1. – С. 58–66.
- Кондрашина М.Н. Российские СМИ в условиях диверсификации публичной сферы // Вестник Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. – Томск, 2010. – № 3 (11). – С. 40–54.
- Консерватизм в России. «Круглый стол» // Социс. – М., 1993. – № 1. – С. 43–61.
- Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития: (Материалы «круглого стола») // Полис. – М., 1995. – № 4. – С. 33–59.
- Концепция государственной национальной политики Российской Федерации. 1996. Утверждена Указом Президента РФ от 15 июня 1996 г. – Режим доступа: <http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/up/909/2051/> (Дата обращения 9.09.2009.)
- Кончаловский А. Публичная лекция в рамках акции «Дни русской политической культуры», прочитанная в РГГУ 3 июня 2006 г. – Режим доступа: <http://kreml.org/opinions/120089066> (Дата обращения 30.06.2006.)
- Кравченко А.И. Культурология: Учебное пособие для вузов. – 3-е изд. – М.: Академический проект, 2001. – 496 с.
- Крадин Н.Н. Элементы традиционной власти в постсоветской политической культуре // Образы власти в политической культуре России. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000. – С. 51–73.
- Красин Ю.А. Публичная сфера и публичная политика в российском измерении // Публичная политика в России: По итогам проекта «Университет Калгари – Горбачёв-Фонд». – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – С. 15–32.

- Крупнов Ю.В. Выступление в экспертной дискуссии «Проекты для России», организованной агентством «Росбалт». – 11.03.2005. – Режим доступа: <http://3-51.net.ru/showthread.php?t=2799> (Дата обращения 9.09.2007.)
- Кудрин А.Л. «Не бывает стабильных стран без решенных пенсионных проблем» // Коммерсантъ. – М., 2008а. – № 161(3978), 9 сентября. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1023291> (Дата обращения 31.05.11.)
- Кудрин А.Л. «2009 год станет самым трудным в мировой экономике». Интервью телеканалу «Вести». – 29.12.2008б. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=237981> (Дата обращения 31.05.11.)
- Кудрин А.Л. Интервью журналу «Промышленник России». – 13.10.2009а. – Режим доступа: <http://www.minfin.ru/ru/press/interview/index.php?pg4=2&id4=8277> (Дата обращения 31.05.11.)
- Кудрин А.Л. Интервью газете «Аргументы и факты». – 14.10.2009б. Режим доступа: <http://www.minfin.ru/ru/press/interview/index.php?pg4=2&id4=8286> (Дата обращения 31.05.11.)
- Культура имеет значение. – М.: Московская школа политических исследований, 2002. – 320 с.
- Кургинян С. Ответное действие. Меморандум клуба "Постперестройка" // Наш современник. – М., 1992. – № 7. – С. 3–15.
- Кургинян С.Е. Россия: власть и оппозиция. – М.: ЭТЦ, 1993. – 352 с.
- Кустарев А. Конкуренция и конфликт в журналистике // Pro et contra. – М., 2000. – № 4. – С. 7–30.
- Кутковец Т.И., Клямкин И.М. Нормальные люди в ненормальной стране // Московские новости. – М., 2002а. – № 25, 2–8 июля. – С. 1, 9.
- Кутковец Т.И., Клямкин И.М. Новые люди в старой системе // Новые известия. – М., 2002б. – № 170–171, 25 сентября. – С. 4.
- Ламбсдорфф О.Г., Явлинский Г.А. Россия и Германия: кто мы друг для друга? – М.: Комплекс-Прогресс, 1999. – 77 с.
- Лапкин В.В. Политические изменения в глобальном мире и динамика идентичности // Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: РОССПЭН. 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / [Отв. ред. И.С. Семененко]. – С. 16–41.
- Ларюэль М. Александр Панарин и «цивилизационный национализм» в России // Русский национализм: идеология и настроение. – М.: Центр «Сова», 2006. – С. 165–182.
- Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи / Пер. с фр. Т.Н. Григорьевой. – М.: Наталис, 2004. – 287 с.
- ЛДПР. Все позиции. – М.: Издательство Либерально-демократической партии России, 2007. – 48 с.
- Лебедев П. Медийные предпочтения населения: Интернет теснит телевидение // Доминанты. – М., 2009. – № 16, 23 апреля. – Режим доступа: <http://bd.fom.ru/pdf/d161p.pdf> (Дата обращения 15.12.2011.)
- Лебедева М.М. «Воронка причинности» при исследовании мировых политических процессов // Полис. – М., 2002. – № 2. – С. 60–63.
- Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Социологические очерки, 1993–2000. – М.: Московская школа политических исследований, 2000. – 576 с.

- Левичев Н.В. «Кризис порожден избытком экономического либерализма» // Парламентская газета. – 8.12.2008а. – Режим доступа: <http://www.spravedlivo.ru/themes/891.php?&topic=54&open=positions> (Дата обращения 31.05.11.)
- Левичев Н.В. О позиции политической партии «Справедливая Россия». – 11.08.2008б. – Режим доступа: [http://www.levichev.info/2\\_8.html](http://www.levichev.info/2_8.html) (Дата обращения 31.05.11.)
- Левичев Н.В. «Любой закон можно извратить и довести до абсурда» // Новые Известия. – М., 2008в. – 28 февраля. – Режим доступа: <http://www.newizv.ru/politics/2008-02-28/85453-rukovoditel-frakcii-spravedlivaja-rossija-v-gosdume-nikolaj-levichev.html> (Дата обращения 31.05.11.)
- Левичев Н.В. Интервью «Русской службе новостей». – 29.05.2009а. – Режим доступа: [http://www.levichev.info/2\\_606.html](http://www.levichev.info/2_606.html) (Дата обращения 31.05.11.)
- Левичев Н.В. Эффективность парламентаризма как условие устойчивого развития государства: Выступление Левичева Н. на парламентских слушаниях «Государственное строительство: современные вызовы и тенденции развития». – 17.09.2009б. – Режим доступа: [http://www.levichev.info/2\\_787.html](http://www.levichev.info/2_787.html) (Дата обращения 31.05.11.)
- Левичев Н.В. «Честный понедельник» на НТВ. – 13.04.2009в. – Режим доступа: <http://er.ru/er/text.shtml?7/5053> (Дата обращения 31.05.11.)
- Леонтьев М. Редакционная статья // Однако. – М., 2009. – № 12. – С. 3.
- Либерализм в России. – М.: Знак, 1993. – Режим доступа: [http://www.libertarium.ru/1\\_liblibrus\\_titul](http://www.libertarium.ru/1_liblibrus_titul) (Дата обращения 19.12.2012.)
- Либерализм в России / Под ред. В.Ф. Пустарнакова, И.Ф. Худушиной. – М.: ИФАН, 1996. – 451 с.
- Липкин А.И. К вопросу о понятии «национальной общности» и его применимости к России // Полис. – М., 2008. – № 6. – С. 113–129.
- Липман М., Петров Н. Взаимодействие власти и общества // Пути российского посткоммунизма: Очерки / Под ред. М. Липман и А. Рябова; Моск. Центр Карнеги. – М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. – С. 163–233.
- Липман М. Свобода прессы в условиях управляемой демократии: Брифинг Московского Центра Карнеги. – М.: Московский Центр Карнеги, 2006. – Т. 8, Вып. 2. – 6 с.
- Лужков Ю.М. Мы и Запад // PRO суверенную демократию. – М.: Европа, 2007. – С. 195–207.
- Лукин А.В. Невежество против несправедливости: политическая культура российских «демократов». – М.: Науч. кн., 2005. – 502 с.
- Лукин А.В., Лукин П.В. Мифы о российской политической культуре и российская история // Полис. – М., 2009. – № 1. – С. 56–162.
- Лукин В.П. С тревогой и надеждой: 1994–1995. – Б. м., 1995. – Режим доступа: <http://www.yabloko.ru/Persons/Lukin/lukin94-95.html> (Дата обращения 19.12.2012.)
- Любин В.П. Авторитаризм и демократия: политическая культура России на трансформационном перепутье. – М.: ИНИОН РАН, 2002. – Режим доступа: <http://alestep.narod.ru/lubin4.htm> (Дата обращения 20.12.2012.)
- Макаренко Б. «Нанопартийная» система // Pro et contra. – М., 2007. – Т. 11, № 4–5 (38). – С. 43–58.
- Малахов В.С. Неудобства с идентичностью // Вопросы философии. – М., 1998. – № 2. – С. 43–54.

- Малинова О.Ю. Либерализм в политическом спектре России: (На примере партии «Демократический выбор России» и общественного объединения «Яблоко»). – М.: Памятники исторической мысли, 1998. – 207 с.
- Малинова О.Ю. Либерализм и политическая культура современной России: На примере анализа партийной идеологии // Образы власти в политической культуре России. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000. – С. 193–209.
- Малинова О.Ю. Исследования политической культуры: Уч. пособие. – М.: МИЭТ, 2002. – 76 с.
- Малинова О.Ю. Партийные идеологии в России: атрибут или антураж? // Полис. – М., 2001а. – № 5. – С. 97–106.
- Малинова О.Ю. Когда «идеи» становятся «идеологиями»: К вопросу об изучении «измов» // Философский век. – СПб.: Санкт-Петербургский Центр Истории Идей, 2001б. – Вып. 18, Ч. 2. – С. 11–26.
- Малинова О.Ю. Исследования политической культуры. – М.: МГИЭТ (ТУ), 2002а. – 76 с.
- Малинова О.Ю. Программы как средство самопрезентации политических партий: (на примере «Единства» и «Отечества») // Психология восприятия власти / Под ред. Е.Б. Шестоपाल. – М.: Социально-экономическая мысль, 2002б. – С. 98–108.
- Малинова О.Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // Политическая наука: Политическая идеология в современном мире: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. выпуска О.Ю. Малинова. – М., 2003а. – № 4. – С. 8–31.
- Малинова О.Ю. Либерализм и концепт нации // Полис. – М., 2003б. – № 3. – С. 96–111.
- Малинова О.Ю. Доклад на методологическом семинаре РАПН «Современные тенденции развития символического пространства политики и концепт идеологии» 11 ноября 2003 г. // Полис. – М., 2004а. – № 4. – С. 37–42.
- Малинова О.Ю. Гражданство и политизация культурных различий (размышления по поводу некоторых тенденций в англоязычной политической философии) // Полис. – М., 2004б. – № 5. – С. 7–18.
- Малинова О.Ю. Имперский опыт: Прошлое или будущее Европейского Союза? // Политическая наука: Современные империи: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. выпуска А.И. Миллер. – М., 2004в. – № 3. – С. 31–45.
- Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая наука: Идентичность как фактор политики и предмет политической науки: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. выпуска О.Ю. Малинова. – М., 2005а. – № 3. – С. 8–20.
- Малинова О.Ю. Идентичность как категория практики и научного анализа: о различии подходов // Права человека и проблемы идентичности в России и в современном мире / Под ред. О.Ю. Малиновой, А.Ю. Сунгурова. – СПб.: Норма, 2005б. – С. 9–19.
- Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском и англо-американском научном дискурсе // Политическая наука: Исследования политической культуры: современное состояние: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. Малинова О.Ю., Глебова И.И. – М., 2006а. – № 3. – С. 7–30.
- Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публичном дискурсе // Полис. – М., 2006б. – № 5. – С. 106–128.

- Малинова О.Ю. Концепт идеологии в современных политических исследованиях // *Мировая политика: проблемы теоретической идентификации и современного развития: Ежегодник 2005*. – М.: РОССПЭН, 2006в. – С. 431–452.
- Малинова О.Ю. Идеологический плюрализм и трансформация публичной сферы в постсоветской России // *Полис*. – М., 2007а. – № 1. – С. 6–21.
- Малинова О.Ю. Конструирование идентичности: возможности и ограничения // *Pro et contra*. – М., 2007б. – Т. 11, № 3 (37). – С. 60–65.
- Малинова О.Ю. Дискуссии о государстве и нации в постсоветской России и идеологема «империи» // *Политическая наука: Формирование государства и нации в современном мире: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. А.И. Миллер*. – М., 2008а. – № 1. – С. 31–58.
- Малинова О.Ю. Тема империи в современных российских политических дискурсах // *Наследие империй и будущее России / Под ред. А.И. Миллера*. – М.: Фонд «Либеральная миссия»: Новое литературное обозрение, 2008б. – С. 59–102.
- Малинова О.Ю. Тема России и «Запада» в риторике президента В.В. Путина: Попытка переопределения коллективной идентичности // *Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / Отв. ред. и сост. Н.Ю. Лапина*. – М.: ИНИОН РАН, 2008в. – С. 292–315.
- Малинова О.Ю. Образы России и «Запада» в дискурсе власти, (2000–2007 гг.): попытки переопределения коллективной идентичности // *Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация / Отв. ред. И.С. Семененко*. – М.: ИМЭМО РАН, 2008 г. – С. 86–106.
- Малинова О.Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Трансформация дискурса о коллективной идентичности. – М.: РОССПЭН, 2009а. – 190 с.
- Малинова О.Ю. Почему идеи имеют значение? Современные дискуссии о роли «идеальных» факторов в политических исследованиях // *Политическая наука: Идеи и символы в политике: Методологические проблемы и современные исследования: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред.-сост. вып. О.Ю. Малинова*. – М., 2009б. – № 4. – С. 5–24.
- Малинова О.Ю. Первая мировая война и переопределение «Запада» // *Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр россиеведения; Гл. ред. И.И. Глебова*. – М., 2009в. – Вып. 1. – С. 205–233.
- Малинова О.Ю. Идеи как независимые переменные в политических исследованиях: в поисках адекватной методологии // *Полис*. – М., 2010а. – № 3. – С. 90–99.
- Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // *Полис*. – М., 2010б. – № 2. – С. 90–105.
- Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // *Политэкс*. – СПб., 2010в. – Т. 6, № 1. – С. 5–28.
- Малинова О.Ю. Консолидация политических сообществ и проблема «неудобного прошлого»: опыт стран Европы и Азии: (Реферативный обзор) // *МЕТОД: Московский Ежегодник Трудов Общественнонаучных Дисциплин. Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр персп. методологий социально-гуманит. исследований*. – М., 2010 г. – Вып. 1: Альтернативные модели формирования наций / Ред и сост. вып. М.В. Ильин. – С. 98–108.
- Малинова О.Ю. Тема прошлого в риторике президентов России // *Pro et contra*. – М., 2011а. – № 3–4. – С. 106–122.

- Малинова О.Ю. Особенности публичной сферы и дискурс о национальной «самобытности» в России середины XIX в.: к постановке проблемы // *Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления* / Отв. ред. В.В. Шелохаев. – М.: РОССПЭН, 2011б. – С. 461–478.
- Малинова О.Ю. Политические элиты как «производители смыслов» российской политики: к постановке проблемы // *Элиты и общество в сравнительном измерении* / Под ред. О.В. Гаман-Голутвиной. – М.: РОССПЭН, 2011в. – С. 280–293.
- Малинова О.Ю. *Общество, публика, общественность* в России середины XIX – начала XX века: отражение в понятиях практик публичной коммуникации и общественной самодеятельности // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. – М.: Новое литературное обозрение, 2012а. – Т. 1. – С. 428–463.
- Малинова О.Ю. Между идеями нации и цивилизации: дилеммы макрополитической идентичности в XXI веке // *Политическая идентичность и политика идентичности*. – М.: РОССПЭН. 2012б. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / [Отв. ред. И.С. Семененко]. – С. 332–354.
- Малинова О.Ю. Еще один рывок? Образы коллективного прошлого, настоящего и будущего в современных дискуссиях о модернизации // *Политическая наука*. – М., 2012в. – № 2. – С. 49–72.
- Малинова О.Ю. Символическое единство нации? Репрезентация макрополитического сообщества в предвыборной риторике Владимира Путина // *Pro et contra*. – М., 2012. – Т. 16, № 3. – С. 76–93.
- Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. – С. 7–276.
- Мартьянов В.С. Идеология В.В. Путина: концептуализация посланий президента РФ // *Политэкс.* – СПб., 2007. – № 1. – Режим доступа: <http://www.politex.info/content/view/322/30/> (Дата обращения 15.03.11.)
- Медведев Д.А. О демократии: Фрагмент стенограммы встречи председателя Правительства РФ Д.А. Медведева с представителями молодежных организаций // *ПРО суверенную демократию*. – М.: Европа, 2007. – С. 501–502.
- Медведев Д.А. Выступление на V Красноярском экономическом форуме «Россия 2008–2020. Управление ростом». – 15.02.2008а. – Режим доступа: [http://www.medvedev2008.ru/live\\_press\\_15\\_02.htm](http://www.medvedev2008.ru/live_press_15_02.htm) (Дата обращения 16.12.2010.)
- Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 5.11.2008б. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349\\_type63372type63374type63381type82\\_634\\_208749.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349_type63372type63374type63381type82_634_208749.shtml) (Дата обращения 7.11.2008.)
- Медведев Д.А. Россия, вперед! // *Газета.ru*. – 2009а. – 10 сентября. – Режим доступа: [http://gazeta.ru/comments/2009/09/10\\_a\\_3258568.shtml](http://gazeta.ru/comments/2009/09/10_a_3258568.shtml) (Дата обращения 11.09.2009.)
- Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 12.11.2009б. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/5979> (Дата обращения 20.11.2009.)
- Медведев Д.А. Выступление на заседании Государственного совета по вопросам развития политической системы России. – 22.01.10а. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6693> (Дата обращения 28.02.2010.)

- Медведев Д.А. Стенографический отчет о заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. – 11.02.2010б. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6844> (Дата обращения 28.02.2010.)
- Медведев Д.А. Выступление Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева на пленарном заседании Мирового политического форума «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности». – 10.09.2010в. – Режим доступа: <http://news.kremlin.ru/transcripts/8887> (Дата обращения 12.09.2010.)
- Медведев Д.А. Наша демократия несовершенна, мы это прекрасно понимаем. Но мы идем вперед: Обращение в видеоблоге. – 23.11.2010г. – Режим доступа: <http://blog.kremlin.ru/post/119/transcript> (Дата обращения 24.11.2010.)
- Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию. – 30.11.2010д. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/9637/work> (Дата обращения 27 декабря 2010 г.)
- Медведев Д.А. Выступление на съезде партии «Единая Россия». – 24.09.2011а. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/12802> (Дата обращения 25.09.2011.)
- Медведев Д.А. Встреча Дмитрия Медведева со сторонниками. – 15.10.2011б. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/news/13065> (Дата обращения 30.10.2011.)
- Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию. – 22.12.2011в. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/14088/work> (Дата обращения 23 декабря 2011 г.)
- Медведев Д.А. Выступление на конференции «Великие реформы и модернизация России», Санкт-Петербург. – 3.03.2011 г. – Режим доступа: <http://news.kremlin.ru/transcripts/10506> (Дата обращения 4.03.11.)
- Мелешкина Е.Ю. «Воронка причинности» в электоральных исследованиях // Полис. – М., 2002. – № 2. – С. 47–53.
- Мелешкина Е.Ю., Толпыгина О.А. Государство, нация и политический режим в программах российских политических партий («Единая Россия» и ЛДПР) // Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства / Ред.-сост. Е.Ю. Мелешкина, Г.М. Михалева. – М.: ИНИОН РАН, 2009. – С. 160–187.
- Мельвиль А.Ю. Методология «воронки причинности» как промежуточный синтез «структуры и агента» в анализе демократических транзитов // Полис. – М., 2002. – № 2. – С. 54–59.
- Мельгунов Н.А. Мысли вслух об истекшем десятилетии // Голоса из России. – М.: Наука, 1974. – Вып. 1, Кн. 1. – С. 62–151.
- Мельников И.И. Выступление в программе «Народ против...» на радио «Эхо Москвы». – 28.12.2007. – Режим доступа: [http://kprf.ru/rus\\_soc/54080.html](http://kprf.ru/rus_soc/54080.html) (Дата обращения 31.05.11.)
- Мельников И.И. О работе по мобилизации коммунистов и всех структур партии на участие в выборах и завоевание политической власти. Выступление на ЦКРК КПРФ. – 29.10.2010. – Режим доступа: <http://kprf.ru/dep/72512.html> (Дата обращения 31.05.11.)
- Мельников И.И. Хорошо изучены доклады Г.А. Зюганова // Советская Россия. – М., 2012. – 24 января. – Режим доступа: <http://sovross.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=589943> (Дата обращения 8.04.12.)
- Меньшиков М.О. Из писем к ближним. – М.: Военное издательство, 1991. – 224 с.

- Мигранян А.М., Ельманов А.Ф., Соловей В.Д. Опыты государственной идеологии в современной России // Россия: поиск пути. – М., 1999. – С.
- Миллер А.И. О дискурсивной природе национализмов // Pro et contra. – М., 1997. – № 4. – С. 141–151.
- Миллер А.И. Нация как рамка политической жизни // Pro et contra. – М., 2007. – Т. 11, № 3 (37). – С. 6–20.
- Миллер А.И. Наследие империй: инвентаризация // Наследие империй и будущее России. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2008. – С. 5–22.
- Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 320 с.
- Миллер А.И. Историческая политика в России: новый поворот? // Историческая политика в XXI веке / Под ред. А. Миллера, М. Липман. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – С. 328–367.
- Милоков П.Н. Разложение славянофильства: Данилевский, Леонтьев, Вл. Соловьёв // Милоков П.Н. Из истории русской интеллигенции. – СПб.: Знание, 1903. – С. 266–306.
- Миронов С.М. Выступление на заседании Государственного совета по вопросам развития политической системы России. – 22.01.2010а. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6693> (Дата обращения 28.02.2010.)
- Миронов С.М. Нас не сбить с избранного пути // Литературная газета. – М., 2010б. – № 18 (6273). – Режим доступа: <http://www.litmir.net/br/?b=133990&r=42> (Дата обращения 14.01.2012.)
- Мисюров Д.А. Политическая символика: между идеологией и рекламой // Полис. – М., 1999. – № 1. – С. 168–174.
- Митрохин С.С. Национальный интерес как теоретическая проблема // Полис. – М., 1997. – № 1. – С. 34–36.
- Митрохин С.С. Выступление на заседании Государственного совета по вопросам развития политической системы России. – 22.01.2010. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6693> (Дата обращения 28.02.2010.)
- Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов в СССР: 1953–1985 годы. – М.: Новое литературное обозрение, 2003. – 313 с.
- Модернизация России как построение нового государства: Независимый экспертный доклад / Пономарев И., Ремизов М., Карев Р., Бакулев К. – М., 2010. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article22100.htm> (Дата обращения 27.12.2010.)
- Морозов О.В. «Дума становится все более профессиональной»: Интервью «Парламентской газете». – 27.03.2008а. – Режим доступа: <http://www.morozov-ov.ru/press.php?id=161> (Дата обращения 31.05.11.)
- Морозов О.В. «Выход из кризиса обеспечил народ»: Интервью «Парламентской газете». – 24.04.2008б. – Режим доступа: <http://www.morozov-ov.ru/press.php?id=163> (Дата обращения 31.05.11.)
- Морозов О.В. «Все – за выборы»: Интервью для журнала «Итоги». Опубликовано 2.11.2009а. – Режим доступа: <http://www.morozov-ov.ru/press.php?id=184> (Дата обращения 31.05.11.)
- Морозов О.В. «Укрепим народовластие – обеспечим законность»: Интервью журналу «Государственная дума». – 26.02.2009б. – Режим доступа: <http://www.morozov-ov.ru/press.php?id=177> (Дата обращения 31.05.11.)

- Морозов О.В. «Персона грата»: Олег Морозов. – 9.09.2009в. Режим доступа: <http://www.morozov-ov.ru/press.php?id=180> (Дата обращения 31.05.11.)
- Морозов О.В. И читать – и плавать. – 14.01.2009г. – Режим доступа: <http://www.morozov-ov.ru/press.php?id=175> (Дата обращения 31.05.11.)
- Морозов В.Е. Понятие государственной идентичности в современном теоретическом дискурсе // Международные процессы. – М., 2006а. – Т. 4, № 1(10). – С. 82–94.
- Морозов В.Е. Суверенная демократия в постсуверенном мире: путинская реставрация как реакционная модернизация // Неприкосновенный запас. – М., 2006б. – № 6 (50). – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2006/50/mo9.html> (Дата обращения 30.06.2007.)
- Морозов В.Е. Россия и Другие: Идентичность и границы политического сообщества. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – 656 с.
- Морозова Е.В. Региональная политическая культура. – Краснодар: Изд-во КубГУ, 1998а. – 378 с.
- Морозова Е.В. Современная политическая культура Юга России // Полис. – М., 1998б. – № 6. – С. 113–131.
- Мусихин Г.И. Популизм: структурная характеристика политики или «ущербная идеология»? // Полития. – М., 2009. – № 4. – С. 40–53.
- Мусихин Г.И. Дискурсивный анализ идеологий: возможности и ограничения // Полис. – М., 2011. – № 5. – С. 128–144.
- Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений / Под ред. В. Куренного. – М.: Некоммерческий Фонд «Наследие Евразии», 2006. – 386 с.
- Мюллер М., Троцук И. Проект сильной России в элитном образовании путинского периода: взгляд с позиций постструктуралистской теории дискурса // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – Айхштетт, 2011. – № 1. – С. 105–119. – Режим доступа: <http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss15/5Mueller.pdf> (Дата обращения 15.01.12.)
- Мяло К. Есть ли в Евразии место для русских? // Наш современник. – М., 1992. – № 9. – С. 102–105.
- Назаров М.М. Политическая культура российского общества 1991–1995 гг.: Опыт социологического исследования. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – 172 с.
- Нарочницкая Н. Осознать свою миссию // Наш современник. – М., 1993а. – № 2. – С. 164–170.
- Нарочницкая Н. Россия и Европа. Историсофский и геополитический подход // Наш современник. – М., 1993б. – № 12. – С. 94–113.
- Нарочницкая Н. Россия и русские в мировой истории. – М.: Международные отношения, 2003. – 304 с.
- Наследие империй и будущее России / Под ред. А.И. Миллера. – М.: Фонд «Либеральная миссия»: Новое литературное обозрение, 2008. – 528 с.
- Новикова Л., Сиземская И. Либеральные традиции в культурно-историческом опыте России // Свободная мысль. – М., 1993. – № 15. – С. 69–73.
- Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Три модели развития России. – М.: ИФ РАН, 2000. – 272 с.

- Никонов В. Тонкая материя // Независимая газета. – М., 2012а. – № 10 (5496), 26 января. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/politics/2012-01-26/2\\_materia.html](http://www.ng.ru/politics/2012-01-26/2_materia.html) (Дата обращения 26.01.12.)
- Никонов В. Логика Путина // Независимая газета. – М., 2012. – № 36 (5522), 29 февраля. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/ideas/2012-02-29/9\\_logic.html](http://www.ng.ru/ideas/2012-02-29/9_logic.html) (Дата обращения 3.03.12.)
- Новодворская В.И. Золотое клеймо неудачи // Постзападная цивилизация. Либерализм: прошлое, настоящее и будущее. – М.: Новый фактор: Минувшее, 2002. – С. 144–158.
- Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. – М.: Новое издательство, 2004. – 336 с.
- Овчинников Б.В. Виртуальные надежды: состояние и перспективы политического Рунета // Полис. – М., 2002. – № 1. – С. 46–65.
- Одесский М.П., Фельдман Д.М. Идеологема «патриот» в русской, советской и постсоветской культуре // Общественные науки и современность. – М., 2008. – № 1. – С. 109–123.
- Орлов Б.С. Социал-демократия как объект научных исследований в России. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – 172 с.
- От общественного к публичному: Коллективная монография / Науч. ред. О.В. Хархордин. – СПб.: Издательство Европейского ун-та в СПб., 2011. – 530 с.
- Павлова Т.В. Изменения в политической культуре и модели демократии // Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006. – С. 277–285.
- Паин Э.А. Между империей и нацией: модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в национальной политике России. – М.: Новое издательство, 2004. – 248 с.
- Паин Э.А. Россия между империей и нацией. Концепции национально-государственного устройства в условиях кризиса гражданской идентичности // Pro et contra. – М., 2007а. – Т. 11, № 3 (37). – С. 42–59.
- Паин Э.А. Империя в себе. О возрождении имперского синдрома в России // После империи / Под ред. И.М. Клямкина. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007б. – С. 102–122.
- Паин Э.А. Исторический «бег по кругу». (Попытка объяснения причин циклических срывов модернизационных процессов в России) // Общественные науки и современность. – М., 2008. – № 4. – С. 5–20.
- Паин Э.А. Цивилизационный национализм // Новая газета. – М., 2012. – № 10, 1 февраля.
- Паин Э., Верховский А. Цивилизационный национализм: российская версия «особого пути» // Идеология «особого пути» в России и Германии: истоки, содержание, последствия / Под ред. Э.А. Паина; Институт Кеннана. – М.: Три квадрата, 2010. – С. 171–210.
- Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М.: Алгоритм, 2002. – 496 с.
- Панов П.В. Конституирование образа России в официальном политическом дискурсе 1990–2000-х гг.: (по материалам ежегодных Посланий Президента РФ) // Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация. – М.: ИМЭМО РАН, 2008. – С. 107–117.

- Пантин В.И. Национально-цивилизационная идентичность и политические трансформации в современном мире // Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: РОССПЭН. 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / [Отв. ред. И.С. Семенов]. – С. 114–132.
- Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическое самоопределение российского общества. (Внутренние факторы и ограничения) // Общественные науки и современность. – М., 2006. – № 4. – С. 78–87.
- Парламент Чечни предлагает признать русскую нацию государствообразующей // Русская служба новостей. – 23.01.12. – Режим доступа: <http://pda.rusnovosti.ru/interviews/183736> (Дата обращения 25.01.12.)
- Пастухов В. «BACK IN THE USSR». «Модернизация» как «перестроечный» проект. – 24.03.2010. – Режим доступа: <http://www.polit.ru/analytics/2010/03/24/reformacion.html> (Дата обращения 30.03.2010.)
- Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной Италии / Пер. с англ. А. Захаров. – М.: Ad Marginem, 1996. – 287 с.
- Патрушев С.В. Доверие, симпатия и эмпатия: рациональное поведение в российском социуме // Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: ИСП РАН, 2006а. – С. 327–334.
- Патрушев С.В. Российская политическая культура как система диспозиционных ориентаций: что нового? // Политическая наука: Исследования политической культуры: современное состояние: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. Малинова О.Ю., Глебова И.И. – М., 2006б. – № 3. – С. 75–94.
- Патрушев С.В. Кликократический порядок как институциональная ловушка российской модернизации // Полис. – М., 2011. – № 6. – С. 120–133.
- Перегудов С.П. Национально-государственная идентичность и проблемы консолидации российского государства // Полис. – М., 2011. – № 3. – С. 141–163.
- Перла А. Модернизация – да. Перестройка – нет // Валовой внутренний продукт. – М., 2009. – № 9 (51). – С. 60–61.
- Песков Д.Н. Интернет в российской политике: утопия и реальность // Полис. – М., 2002. – № 1. – С. 31–45.
- Петров К.Е. Концепт «Европа» в современном политическом дискурсе // Полис. – М., 2004. – № 3. – С. 140–154.
- Петров К.Е. Доминирование концептуальной многозначности: «сильное государство» в российском политическом дискурсе // Полис. – М., 2006. – № 3. – С. 159–183.
- Петров Н. Общественная палата: для власти или для общества? // Pro et contra. – М., 2006. – Т. 10, № 1 (31). – С. 40–58.
- Пивоваров Ю.С. Политическая культура пореформенной России. – М.: ИНИОН РАН, 1994. – 217 с.
- Пивоваров Ю.С. Политическая культура: Методологический очерк. – М.: ИНИОН РАН, 1996. – 80 с.
- Пивоваров Ю.С. Русская политическая культура и political culture (Общество, власть, Ленин) // Pro et contra. – М., 2002. – Т. 7, № 3. – С. 23–22.
- Пивоваров Ю.С. Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита // Полис. – М., 2006. – № 1. – С. 12–32.

- Пикалов Г.А. Теория политической культуры. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2004. – 215 с.
- Пирогов П. Новая общественно-политическая культура от «Единой России» // Независимая газета. – М., 2003. – № 118 (2951), 17 июня. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/ideas/2003-06-17/11\\_er.html](http://www.ng.ru/ideas/2003-06-17/11_er.html) (Дата обращения 30.06.2006.)
- Платонов О. У Америки нет будущего // Молодая гвардия. – М., 1993. – № 9. – С. 33–47.
- Подберёзкин А. Русский Путь. – М.: ВОПД «Духовное наследие», 1996. – 378 с.
- Подберёзкин А. Русский путь: сделай шаг (некоторые вопросы русского коммунизма) // Обозреватель = Observer. – М., 1998. – № 3. – Режим доступа: [http://www.gau.su/observer/N04\\_99/4\\_15.htm](http://www.gau.su/observer/N04_99/4_15.htm) (Дата обращения 20.12.2012.)
- Подвинцев О.Б. Российское сообщество политтехнологов: состояние профессии, внутреннее самоощущение и внешний имидж // Сообщества как политический феномен. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 78–94.
- Подвинцев О.Б. Идеологический багаж российской власти в преддверии реформирования правящего тандема // Вестник Пермского государственного университета. Серия «Политология». – Пермь, 2011. – Вып. 4(16). – С. 16–22.
- Политическая культура: Региональные, общероссийские и международные аспекты. – Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2003. – 164 с.
- Политическая культура: теория и национальные модели / Под ред. К.С. Гаджиева. – М.: Интерпракс, 1994. – 351 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: РОССПЭН, 2012а. – Т. 1: Словарь терминов и понятий / [Отв. ред. И.С. Семенов]. – 208 с.
- Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: РОССПЭН, 2012б. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / [Отв. ред. И.С. Семенов]. – 470 с.
- Политическая наука: новые направления. – М.: Вече, 1999. – 816 с.
- Полуэхтова И.А. Динамика российской телеаудитории // Социс. – М., 2010. – № 1. – С. 66–77.
- Поляков Л.В. «Суверенная демократия»: политический факт как теоретическая предметность // Общественные науки и современность. – М., 2007. – № 2. – С. 59–68.
- Полякова В. Интернет как источник новостей: сильные и слабые стороны // Социальная реальность. – М., 2007. – № 9. – С. 27–33.
- Понарин Э.Д. Новый русский национализм: источники, механизмы распространения и сценарии развития // Идеино-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН): Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 99–118.
- Попова Е.В. Динамика политических ценностей в риторике политических партий // Проблемы политических ценностей в условиях трансформации режима: Научный сб. Томского МИОН / Под ред. А.И. Щербинина. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004. – С. 148–178.
- Попова О.В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы // Полис. – М., 2009. – № 1. – С. 143–157.

- Попова О.В. Модель символической идентификации в Посланиях Президента РФ 2008 и 2009 гг. // Политические институты в современном мире. – СПб.: Аллегро, 2010. – С. 288–289.
- Попова О.В. Развитие теории политической идентичности в зарубежной и отечественной политической науке // Идентичность как предмет политического анализа: Сб. статей / Отв. ред. И.С. Семенов, Л.А. Фадеева. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – С. 13–29.
- Поцелуев С.П. Символическая политика как инсценирование и эстетизация // Полис. – М., 1999. – № 5. – С. 62–76.
- Поцелуев С.П. «Символическая политика»: к истории концепта // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. иссл. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 17–53.
- Права человека и проблемы идентичности в России и в современном мире / Под ред. О.Ю. Малиновой, А.Ю. Сунгурова. – СПб.: Норма, 2005. – 272 с.
- Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» (на выборах Президента России 4 марта 2012 года). – Режим доступа: <http://putin2012.ru/program> (Дата обращения 23.01.12.)
- Проблемы идентичности: человек и общество на пороге третьего тысячелетия. – М.: РОО «Кеннан», 2003. – 278 с.
- Программа Либерально-демократической партии России. – 2011 г. – Режим доступа: [http://www.ldpr.ru/#party/Program\\_LDPR/Liberal\\_Democratic\\_Party\\_will\\_show\\_the\\_way\\_the\\_draft\\_party\\_program](http://www.ldpr.ru/#party/Program_LDPR/Liberal_Democratic_Party_will_show_the_way_the_draft_party_program) (Дата обращения 12.01.2012.)
- Проханов А. Пятая империя. Проект газеты «Завтра». – 21.06.2006. – Режим доступа: <http://www.zavtra.ru/zavtra/5imperia/5imperia.html> (Дата обращения 9.09.2007.)
- Проханов А. Февральские тезисы. Сурков между Ильиным и Бродским // ПРО суверенную демократию. – М.: Европа, 2007. – С. 85–89.
- Прусс И.В. Рынок в будущее или движение по кругу? (Экономические взгляды современных русских националистов) // Полис. – М., 1997. – № 3. – С. 53–64.
- Псковская политическая культура: традиции и современность / Под ред. Лобачева А.И. – Псков: Псков. возрождение, 2004. – 248 с.
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – 8.07.2000а. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2000/07/08/0000\\_type63372type63374\\_28782.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2000/07/08/0000_type63372type63374_28782.shtml)
- Путин В.В. Не жечь мостов, не раскалывать общество // Российская газета. – М., 2000 б. – № 233 (2597), 6 декабря. – С. 1.
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 3.04.2001. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2001/04/03/0000\\_type63372type63374\\_28514.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2001/04/03/0000_type63372type63374_28514.shtml)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – 18.04.2002. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2002/04/18/0000\\_type63372type63374\\_28876.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2002/04/18/0000_type63372type63374_28876.shtml)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – 16.05.2003. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2003/05/16/1259\\_type63372type63374\\_44623.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2003/05/16/1259_type63372type63374_44623.shtml)

- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – 26.05.2004. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2004/05/26/2003\\_type63372type63374\\_71501.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2004/05/26/2003_type63372type63374_71501.shtml)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – 25.04.2005. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223\\_type63372type63374type82634\\_87049.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/1223_type63372type63374type82634_87049.shtml)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – 10.05.2006. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/10/1357\\_type63372type63374type82634\\_105546.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2006/05/10/1357_type63372type63374type82634_105546.shtml)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – 26.04.2007а. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156\\_type63372type63374type82634\\_125339.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/04/26/1156_type63372type63374type82634_125339.shtml)
- Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. – 10.02.2007б. – Режим доступа: [http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737\\_type63374type63376type63377type63381type82634\\_118097.shtml](http://www.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml) (Дата обращения 20.03.2008.)
- Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 года». – 8.02.2008. – Режим доступа: [http://tours.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542\\_type63374type63378type82634\\_159528.shtml](http://tours.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml) (Дата обращения 16.12.2010.)
- Путин В.В. Отчет о деятельности Правительства Российской Федерации за 2010 год. – 20.04.2011а. – Режим доступа: <http://premier.gov.ru/events/news/14898/> (Дата обращения 27.12.2011.)
- Путин В.В. Выступление на съезде партии «Единая Россия». – 24.09.2011б. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/12802> (Дата обращения 25.09.2011.)
- Путин В.В. Выступление на съезде Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». – 21.12.2011в. – Режим доступа: <http://premier.gov.ru/events/news/17451/> (Дата обращения 12.01.2012.)
- Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. – М., 2012. – 3 октября. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/502761> (Дата обращения 10.08.2012.)
- Путин В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. – М., 2012а. – 16 января. – Режим доступа: <http://www.izvestia.ru/news/511884> (Дата обращения 17.01.2012.)
- Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. – М., 2012б. – 23 января. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1\\_national.html](http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html) (Дата обращения 23.01.12.)
- Путин В.В. Нам нужна новая экономика // Ведомости. – М., 2012в. – № 15 (3029), 30 января. – Режим доступа: [http://www.vedomosti.ru/politics/news/1488145/o\\_nashih\\_ekonomicheskikh\\_zadachah?from\\_ml\\_es#ixzz1kv9QnPow](http://www.vedomosti.ru/politics/news/1488145/o_nashih_ekonomicheskikh_zadachah?from_ml_es#ixzz1kv9QnPow) (Дата обращения 30.01.12.)
- Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсантъ. – М., 2012 г. – № 20/П (4805), 6 февраля. – Режим доступа: <http://www.kommersant.ru/doc/1866753> (Дата обращения 6.02.12.)
- Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомольская правда. – М., 2012д. – 13 февраля. – Режим доступа: <http://kp.ru/daily/3759/2807793/> (Дата обращения 13.02.12.)

- Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. – М., 2012е. – 20 февраля. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html> (Дата обращения 20.02.12.)
- Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости. – М., 2012ж. – № 225 (225), 27 февраля. – Режим доступа: <http://mn.ru/politics/20120227/312306749.html> (Дата обращения 27.02.12.)
- Путин В.В. Выступление на митинге сторонников на Манежной площади в Москве. – 4.04.2012з. – Режим доступа: <http://putin2012.ru/events/376#> (Дата обращения 6.06.12.)
- Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. – 12.12.2012и. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/17118> (Дата обращения 12.12.12.)
- Работяжев Н.В., Соловьёв Э.Г. От Ленина к Данилевскому: метаморфозы геополитических воззрений КПРФ // Полис. – М., 2007. – № 2. – С. 124–136.
- Радзиховский Л. Другого Запада у нас нет, а на Восток лететь некуда. – Режим доступа: <http://www.Euroclub-duma.ru/showarticle.php?id=52> (Дата обращения 29.12.2002.)
- Радзиховский Л. Квadrатура круга // Независимая газета. – М., 2012. – № 9 (5495), 25 января. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/ideas/2012-01-25/5\\_kvadratura.html](http://www.ng.ru/ideas/2012-01-25/5_kvadratura.html) (Дата обращения 18.02.12.)
- Расизм в языке современных наук / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. – СПб.: Алетей, 2002. – 224 с.
- Раскин Д.И. Русский национализм и проблематика культурно-цивилизационной идентичности // Полис. – М., 2007. – № 6. – С. 36–44.
- Рашковский Е.Б. Многозначный феномен идентичности: архаика, модерн, постмодерн... // Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: РОССПЭН. 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / [Отв. ред. И.С. Семенов]. – С. 354–364.
- Региональное самосознание как фактор формирования политической культуры в России. – М.: МОНФ, 1999. – 148 с.
- Реснянская Л., Фомичева И. Газета для всей России. – М.: ИКАР, 1999. – 232 с.
- Ремизов М. Пять причин быть русским // Агентство политических новостей. – 14.09.2011. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article24899.htm> (Дата обращения 12.12.2011.)
- Реформы для большинства. Объединение «Яблоко». – М.: ЭПИцентр, 1995. – 350 с.
- Рогов К. Гипотеза третьего цикла // Pro et contra. – М., 2010. – № 4–5 (50). – С. 6–22.
- Рогозин Д. Русский ответ Владимиру Путину // Известия. – М., 2012. – № 17, 1 февраля. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/513702> (Дата обращения 18.02.12.)
- Родин И. Суверенную демократию придумал Иван Грозный // Независимая газета. – М., 2011. – 28 апреля. – С. 3.
- Российская идентичность в социологическом измерении: Аналитический доклад / Руководитель проекта – Горшков М. – М.: Ин-т социологии РАН, 2007. – Режим доступа: [http://www.fesmos.ru/Publikat/Gorschkow-Russische\\_Identitaet.pdf](http://www.fesmos.ru/Publikat/Gorschkow-Russische_Identitaet.pdf) (Дата обращения 30.11.2008.)
- Российская повседневность и политическая культура: Возможности, проблемы и пределы трансформации. – М.: ИСП РАН, 1996а. – 143 с.

- Российская повседневность и политическая культура: Проблема обновления / Грунд З.А., Кертман Г.Л., Павлова Т.В., Патрушев С.В., Хлопин А.Д. // Полис. – М., 1996б. – № 4. – С. 56–72.
- Российский либерализм: судьбы и перспективы // Общественные науки и современность. – М., 2004. – № 6. – С. 80–89.
- Российское государство: вчера, сегодня, завтра / Под общ. ред. И.М. Клямкина. – М.: Новое издательство, 2007. – 624 с.
- Россия XXI века: образ желаемого завтра. – М.: Экон-информ, 2010. – 66 с.
- Рукавишников В.О. Политическая культура постсоветской России // Социально-политический журнал. – М., 1998. – № 1. – С. 43–53.
- Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политическая культура и социальные изменения: международные сравнения. – М.: Совпадение, 1998. – 367 с.
- Рыжков В. К прогрессу не бывает особых путей // Независимая газета. – М., 2001. – 4 декабря. – С. 9.
- Савицкий П.Н. Евразийство // Русская идея: В кругу писателей и мыслителей Русского Зарубежья: в 2-х т. – М.: Искусство, 1994. – Т. 1. – С. 215–233.
- Савицкий П.Н. Миграция культуры // Исход к Востоку. – М.: Добросвет, 1997. – С. 120–139.
- Самарин Ю.Ф. Замечания на статью г. Соловьёва «Шлёцер и анти--историческое направление» // Русская беседа. – М., 1857. – Кн. 7: Критика. – С. 90–103.
- Самарина А. Безответные конкуренты Путина // Независимая газета. – М., 2012. – 22 февраля. – Режим доступа: [http://www.ng.ru/politics/2012-02-22/1\\_putin.html](http://www.ng.ru/politics/2012-02-22/1_putin.html) (Дата обращения 23.02.12.)
- Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии // Полис. – М., 2003. – № 3. – С. 67–71; № 4. – С. 152–160; № 5. – С. 65–75.
- Сафран У. Национальная идентичность во Франции, Германии и США: Современные споры // Политическая наука. – М., 2011. – № 1. – С. 64–97.
- Севастьянов А. Соловей русского национализма. Триумф биодетерминизма и актуальное переопределение природы этничности в постсоветской социологии // Политический класс. – М., 2007. – № 3 (26). – Режим доступа: <http://www.politklass.ru/cgi-bin/issue.pl?id=727> (Дата обращения 9.12.2007.)
- Севастьянов А. Переиначить свою историю? // Литературная газета. – М., 2012. – № 4 (6355), 1 февраля. – Режим доступа: <http://www.lgz.ru/article/18167/> (Дата обращения 5.04.12.)
- Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России: Очерки истории, (середина XIX – начало XX в.). – М.: Памятники исторической мысли, 1995. – 286 с.
- Семененко И.С. Идентичность в предметном поле политической науки // Идентичность как предмет политического анализа: Сб. статей / Отв. ред. И.С. Семененко, Л.А. Фадеева. – М.: ИМЭМО РАН, 2011. – С. 8–12.
- Семененко И.С. Политическая идентичность, национальное государство и гражданская идентичность: на пути в глобальный мир // Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: РОССПЭН. 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / [Отв. ред. И.С. Семененко]. – С. 72.

- Семенов А.В. Публичная сфера региона: институты и практики // Идеино-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН): Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011а. – С. 243–258.
- Семенов А.В. Институциональные практики и институциональный порядок публичной сферы региона // Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институционального порядка / Под ред. П.В. Панова, С.В. Патрушева. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН): Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011б. – С. 94–114.
- Сергеев В.М. Исторические истоки русской политической культуры // Полис. – М., 2012. – № 4. – С. 8–22.
- Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – 334 с.
- Сирота Н.М. Политические идеологии: генезис и современные формы: Учеб. пособ. – СПб.: ООО «ИКЦ», 2009. – 192 с.
- Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. – М.: Праксис, 2004. – 464 с.
- Смолин М.Б. Имперское мышление и имперский национализм М.О. Меньшикова // Меньшиков М.О. Письма к русской нации / Вступ. статья и примечания М.Б. Смолина. – М.: Москва, 1999. – С. 5–26.
- Сморгунов Л.В. Сравнительная политология в поисках новых методологических ориентаций: значат ли что-либо идеи для объяснения политики? // Полис. – М., 2009. – № 1. – С. 118–129.
- Согрин В.В. Либерализм в России: перипетии и перспективы // Общественные науки и современность. – М., 1997. – № 1. – С. 13–23.
- Согрин В.В. Политическая история современной России, 1985–2001: От Горбачёва до Путина. – М.: Весь мир, 2001. – 272 с.
- Согрин В. Российская политическая элита и американский опыт // Общественные науки и современность. – М., 2008. – № 1. – С. 81–91.
- Соколов М.М. Классовое как этническое: риторика русского радикально-националистического движения // Полис. – М., 2005. – № 2. – С. 127–137.
- Соколов М.М. Русское Национальное Единство: анализ политического стиля радикально-националистической организации // Полис. – М., 2006. – № 1. – С. 67–77.
- Соленикова Н.В. Политический Интернет в российских избирательных кампаниях. (Тенденции развития) // Общественные науки и современность. – М., 2007. – № 1. – С. 69–74.
- Солженицын А.И. «Русский вопрос» к концу XX века. – М.: Голос, 1995. – 112 с.
- Соловей В.Д. Национал-радикализм // Политические партии России: история и современность. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 593–621.
- Соловей В. От империи – к русскому национальному демократическому государству // Российское государство: вчера, сегодня, завтра / Под общ. ред. И.М. Клямкина. – М.: Новое издательство, 2007. – С. 202–209.

- Соловей В., Соловей Т. Апология русского национализма // Политический класс. – М., 2006. – № 11 (23). – С. 33–40.
- Соловьёв В.С. Национальный вопрос в России. Предисловие ко второму изданию // Соловьёв В.С. Соч.: В 2-х т. – М.: Правда, 1989. – Т. 1. – С. 260–262.
- Соловьёв А.И. Политическая идеология: логика эволюции // Полис. – М., 2001. – № 2. – С. 5–23.
- Соловьёв А.И. Культура власти российской элиты: Искушение конституционализмом? // Полис – М., 1999. – № 2. – С. 65–80.
- Соловьёв А.И. Идеология и культура: политический дискурс современной эпохи // Политическая наука: Политическая идеология в современном мире: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ред. и сост. выпуска О.Ю. Малинова. – М., 2003. – № 4. – С. 32–44.
- Соловьёв А.И. Политическая культура: к проблеме идентификации национальных моделей // Принципы и практика политических исследований: Сб. материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 г. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 126–144.
- Соловьёв А.И. Институциональные эксперименты в пространстве политической культуры: реалии российского транзита // Политическая наука в современной России: Время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 313–337.
- Сообщества как политический феномен / [Н.В. Борисова и др.]; Под ред. П.В. Панова, К.А. Сулимова, Л.А. Фадеевой. – М.: РОССПЭН, 2009. – 248 с.
- Социалистическое видение современности, или Современное видение социализма. (Обзор симпозиума) // Полис. – М., 1994. – № 5. – С. 50–63.
- Спрос на ценности // Ведомости. – М., 2007. – № 241 (2015). – 20 декабря. – Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2007/12/20/138499> (Дата обращения 15.05.2008.)
- Старцев Я.Ю. Политическая система в зеркале дискурса: опыт реконструкции логики президентских посланий // Политэкс. – СПб., 2007. – № 1. – Режим доступа: <http://www.politex.info/content/view/321/30/> (Дата обращения 15.03.11.)
- Стенограмма презентации проекта партии «Единая Россия» «Мировой опыт консервативной модернизации» в пресс-центре агентства «Интерфакс». – 1.12.2009. – Режим доступа: <http://edinros.er.ru/er/text.shtml?11/1107,100026> (Дата обращения 28.02.2010.)
- Стенограмма съезда партии «Единая Россия». – 2011. – 24 сентября. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/transcripts/12802> (Дата обращения 25.09.2011.)
- Стенограмма церемонии инаугурации Президента России 7 мая 2012 г. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/15224> (Дата обращения 25.05.12.)
- Стенографический отчет о заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, 11 февраля 2010 г. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/transcripts/6844> (Дата обращения 28.02.2010.)
- Суверенное государство в условиях глобализации: демократия и национальная идентичность. Круглый стол в «Российской газете» // PRO суверенную демократию. – М.: Европа, 2007. – С. 245–288.

- Сулейманов Р. Государствообразующий статус русских в России: реакция в Татарстане // Агентство политических новостей. – 12.03.12. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article26161.htm> (Дата обращения 7.04.12.)
- Сулیمов К.А. Государство и реализация идеи гражданина как потребителя // Идеино-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН): Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 227–242.
- Султанов Ш. Дух Евразийца // Наш современник. – М., 1992. – № 7. – С. 143–148.
- Султанов Ш. Мир переходит в новую эпоху // Завтра. – М., 2012. – № 4, 25 января. – Режим доступа: <http://www.zavtra.ru/content/view/mir-perehodit-v-povuchu-epochu/> (Дата обращения 28.03.12.)
- Сумма идеологии. Мироззрение и идеология современной российской элиты. – М.: ИНОП, 2008. – 296 с.
- Сунгуров А.Ю. Функции политической системы и их изменения в процессе российского транзита. – СПб.: ИУТАС, 2008. – Ч. 1. – 92 с.
- Сунд Р.Г. Империя как она есть: Имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. – М.: Наука, 2007. – С. 36–82.
- Сурков В.Ю. Национализация будущего [параграфы PRO суверенную демократию] // Суверенная демократия. От идеи – к доктрине. – М.: Изд-во «Европа», 2006а. – С. 27–44.
- Сурков В.Ю. Наша российская модель демократии называется «суверенной демократией». – 28.06.06б. – Режим доступа: <http://www.edinros.ru/news.html?id=114108> (Дата обращения 15.03.2007.)
- Сурков В.Ю. Суверенитет – это политический синоним конкурентоспособности. Стенограмма выступления заместителя руководителя Администрации Президента перед слушателями Центра партийной учебы и подготовки кадров ВПП «Единая Россия» 7 февраля 2006 г. // PRO суверенную демократию. – М.: Европа, 2007а. – С. 33–61.
- Сурков В.Ю. Русская политическая культура. Взгляд из утопии: Стенограмма лекции заместителя руководителя Администрации Президента РФ, помощника Президента РФ Владислава Суркова, прочитанной 8 июня 2007 года в здании Президиума РАН. – 16.06.2007б. – Режим доступа: <http://edinros.ru/news.html?id=121320> (Дата обращения 9.09.2007.)
- Суханова М.И. Зачем России две либеральные партии? // Общественные науки и современность. – М., 2007. – № 6. – С. 61–70.
- Тишков В.А. Концептуальная эволюция национальной политики в России // Исследования по прикладной и неотложной этнологии. – М., 1996. – Вып. 100. – Режим доступа: [http://www.iea.ras.ru/engine/documents/applied/1996\\_100\\_Tishkov.pdf](http://www.iea.ras.ru/engine/documents/applied/1996_100_Tishkov.pdf) (Дата обращения 9.09.2009.)
- Тишков В.А. Самоопределение российской нации // Международные процессы. – М., 2005. – Т. 3, № 2 (8). – Режим доступа: <http://www.intertrends.ru/seven/002.htm> (Дата обращения 9.09.2007.)
- Тишков В.А. Что есть Россия и Российский народ? // Pro et contra. – М., 2007а. – Т. 11, № 3 (37). – С. 21–41.

- Тишков В.А. Российская нация и ее критики // Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. – М.: Наука, 2007б. – С. 558–601.
- Тишков В.А. Россия: национальный ответ // Московский комсомолец. – М., 2012. – № 25852, 26 января. – Режим доступа: <http://www.mk.ru/politics/article/2012/01/25/664349-rossiya-natsionalnyiy-otvet.html> (Дата обращения 28.03.12.)
- Толпыгина О.А. Партии как производители политических идей // Идеино-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / Под ред. О.Ю. Малиновой. – М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН): Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 190–210.
- Торбаков И.Б. «Непредсказуемое» или «неопределенное» прошлое? Международные отношения и российская историческая политика // Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. исслед. Отд. полит. науки; Ред. кол.: О.Ю. Малинова – гл. ред. и др. – М., 2012. – Вып. 1. Конструирование представлений о прошлом как властный ресурс. – С. 91–125.
- Трахтенберг А.Д. Интернет и возрождение «публичной сферы»: хабермасианский идеал и реальность Рунета // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 7. – С. 224–230.
- Третьяков В.Т. Зачем Чубайс стал славянофилом? // Российская газета. – М., 2003. – № 203 (3317), 9 октября.
- Третьяков В.Т. Заметки о Евросоюзах // Московские новости. – М., 2007а. – № 14 (1381), 13–19 апреля. – С. 3, 24.
- Третьяков В.Т. Суверенная демократия. О политической философии Владимира Путина // PRO суверенную демократию. – М.: Европа, 2007б. – С. 7–8.
- Трубецкой Н.С. Европа и человечество. – София: Российско-болгарское книгоиздательство, 1920. – 82 с.
- Трубецкой Н.С. Об истинном и ложном национализме // Исход к Востоку. – М.: Добросвет, 1997. – С. 172–195.
- Тузиков А.Р. Западная теория идеологии: От критики «ложного сознания» к анализу дискурса массмедиа. – М.: Социально-гуманитарные знания, 2002. – 290 с.
- Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». – № 1666. – 19.12.2012. – Режим доступа: <http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d4346a9150dd12eda4.pdf> (Дата обращения 19.12.2012.)
- Фадеев В. Какая модернизация нужна России? – 2009. – Режим доступа: [http://russia.ru/video/er\\_8233/](http://russia.ru/video/er_8233/) (Дата обращения 16.12.2010.)
- Фадеева Л.А. Политическая культура: Курс лекций. – Пермь: Перм. ун-т, 2000. – 160 с.
- Фадеева Л.А. Категория политической культуры в инструментарии отечественной политологии // Принципы и практика политических исследований: Сб. материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 г. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 145–154.

- Фадеева Л.А. Сквозь призму политической культуры: нация, класс, регион. – Пермь: Пушка, 2006. – 304 с.
- Фадеева Л.А. Политика идентичности: акторы, стратегии, дискурсы // Политическая идентичность и политика идентичности. – М.: РОССПЭН. 2012. – Т. 2: Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке / [Отв. ред. И.С. Семенов]. – С. 72–85.
- Фадеева Л.А. Кто мы? Интеллигенция в борьбе за идентичность. – М.: Новый хронограф, 2012. – 320 с.
- Фадеева М.А. «Непредставленная» идеология и дискурс «нашизма» // Публичное пространство, гражданское общество и власть: опыт развития и взаимодействия. – М.: РАПН: РОССПЭН, 2008. – С. 407–418.
- Фирсов Б.М. Разномыслие в СССР. 1940–1960-е годы: История, теория и практика. – СПб.: Издательство ЕУСПб.: Европейский Дом, 2008. – 544 с.
- Формизано Р.Л. Понятие политической культуры // Pro et contra. – М., 2002. – Т. 7, № 3. – С. 111–146.
- Формирование новой российской идеологии. Материалы круглого стола // Свободная мысль. – М., 2000. – № 3. – С. 28–41; № 4. – С. 25–29.
- Фоссато Ф. Виртуальная политика и российское ТВ // Pro et contra. – М., 2006. – Т. 10, № 4 (33). – С. 13–28.
- Фуко М. Порядок дискурса: Инаугурационная лекция в Коллеж де Франс // Фуко М. Воля к Истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. – М.: Каспаль, 1996. – С. 47–96.
- Фуко М. Археология знания. – СПб.: Гуманитарная академия, 2004. – 320 с.
- Фурсенко А.А. «ЕГЭ уменьшил взятки». Интервью порталу «Фонтанка.ру». – 26.10.2009. – Режим доступа: <http://mon.gov.ru/ruk/ministr/int/6314/> (Дата обращения 31.05.11.)
- Фурсов А. Русский ответ // Завтра. – М., 2012. – № 5, 1 февраля. – Режим доступа: <http://www.zavtra.ru/content/view/russkij-otvet/> (Дата обращения 4.04.12.)
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – М., 1994. – № 1. – С. 33–48.
- Хархордин О.В. Обличать и лицемерить: Генеалогия российской личности. – СПб.: ЕУСПб.: Летний сад, 2002. – 511 с.
- Хилгартнер С., Боск Ч.Л. Рост и упадок социальных проблем: Концепция публичных арен // Социальная реальность. – М., 2008. – № 2. – С. 73–94.
- Холмская М.Р. Коммунисты России: Факты, идеи, тенденции. – М.: Партиформ, 1998. – 80 с.
- Хорошавин А.В. «Назначение позволяет губернатору работать спокойно»: Интервью телеканалу «Вести». – 20.11.2007. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=148421> (Дата обращения 30.04.11.)
- Хоскинг Дж. Россия: народ и империя, (1552–1917) / Пер. с англ. С.Н. Самуйлова. – Смоленск: Русич, 2001. – 512 с.
- Цымбурский В.Л. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Под ред. В.С. Стёпина. – М.: Мысль, 2001. – Режим доступа: [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_philosophy/8373%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8373%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC) (Дата обращения 9.12.2011.)
- О. Чаплин В. Россия не должна стесняться своей политической культуры. Выступление на Международной конференции «Русская политическая культура

- и формирование политических культур стран Евразии» в рамках Летнего интеллектуального форума. – Волыньское, 30 июня 2006 г. – Режим доступа: <http://www.kreml.org/opinions/122522845> (Дата обращения 11.07.2006.)
- Человеческий капитал российской политической элиты / Под ред. Е.Б. Шестопал, А.В. Селезневой. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 342 с.
- Черемисина М.И. Элементарные высказывания как единица анализа текста // Методологические и методические проблемы контент-анализа. – М.; Л.: Институт социологических исследований АН СССР, 1973. – Вып. 1. – С. 65–70.
- Черкасов П.П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. – М.: Весь Мир, 2004. – 572 с.
- Черняховский С. Если бы я был националистом // Агентство политических новостей. – 23.09.2011. – Режим доступа: <http://www.apn.ru/publications/article24948.htm> (Дата обращения 9.12.2011.)
- Чечель И. Исследование современной интеллектуальной истории: советское общественное сознание, 1985–1991 // Горбачёвские чтения: Становление демократии в современной России: От Горбачёва до Путина: Перестройка 20 лет спустя: Взгляд молодых исследователей. – М.: Горбачёв-Фонд, 2004. – С. 154–170.
- Чичерин Б.Н. Современные задачи русской жизни // Голоса из России. – М.: Наука, 1975. – Вып. 2. – Кн. 4. – С. 51–127.
- Чуб В.Ф. Интервью губернатора В.Ф. Чуба ГТРК «Дон-ТР». – 27.06.2009. – Режим доступа: <http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88874> (Дата обращения 30.04.11.)
- Чубайс И.Б. Россия в поисках себя. Как мы преодолеем идейный кризис. – М.: Изд-во НОК: «Музей бумаги», 1998. – 158 с.
- Чубайс А.Б. Россия как либеральная империя: Выступление в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете 25 сентября 2003 г. – Режим доступа: [http://www.prrc.ru/library/civ\\_09/01.shtml](http://www.prrc.ru/library/civ_09/01.shtml) (Дата обращения 30.09.2007.)
- Чугунов А.В. Российская Интернет-аудитория в зеркале социологии. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2006. – 320 с.
- Шаймиев М. Судьбы демократии в России. Национальная политическая модель: принципы и приоритеты // ПРО суверенную демократию. – М.: Европа, 2007а. – С. 289–302.
- Шаймиев М.Ш. Интервью радиостанции «Маяк». – 17.07.2007б. – Режим доступа: <http://shaimiev.tatar.ru/pub/view/2901> (Дата обращения 31.05.11.)
- Шаймиев М.Ш. Послание Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева Государственному Совету. – 12.11.2008а. – Режим доступа: <http://shaimiev.tatar.ru/pub/view/4801> (Дата обращения 30.04.11.)
- Шаккум М.Л. Интервью журналу «Вестник экономики». – 2009. – Режим доступа: <http://www.shakkum.ru/smi/249/> (Дата обращения 31.05.11.)
- Шаповалов В.Ф. Российский патриотизм и российский антипатриотизм // Общественные науки и современность. – М., 2008. – № 1. – С. 124–132.
- Шатилов А.Б. Постсоветские подходы к изучению политической культуры // Pro et contra. – М., 2002. – Т. 7, № 3. – С. 183–194.

- Шатилов А.Б. Динамика политико-культурных предпочтений россиян и трансформация партийной системы Российской Федерации в 90-е гг. // Образы власти в политической культуре России. – М.: Московский общественный научный фонд, 2000. – С. 210–215.
- Шафаревич И. Россия наедине с собой // Наш современник. – М., 1992. – № 1. – С. 3–8.
- Шварцмантель Дж. Идеология и политика. – Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2009. – 312 с.
- Шейнис В.Л. Россия и Европа: интересы и мифы // Независимая газета. – М., 2000. – 20 декабря.
- Шейнис В.Л. Национальные интересы России. Полудемократическая страна может быть только полусоюзником Запада // Независимая газета. – М., 2001. – 18 декабря. – С. 2.
- Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 2003. – 422 с.
- Шестов Н.И. Идея единства страны и реформа российской политической системы // Полис. – М., 2004. – № 6. – С. 110–118.
- Шестопал Е.Б. Психологический профиль российской политики 1990-х: Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. – М.: РОССПЭН, 2000. – 431 с.
- Шестопал Е.Б. Личность и власть: Попытка микрополитического анализа перспектив демократизации в постсоветской России // Политическая наука в современной России: Время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 338–364.
- Шестопал Е.Б. Политическая повестка дня российской власти и ее восприятие гражданами // Полис. – М., 2011. – № 2. – С. 8–24.
- Шинковская Н.В. Политические идеологии в истории России: Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2005. – 104 с.
- Ширинянц А.А. Вне власти и народа. Политическая культура интеллигенции России XIX – начала XX века. – М.: РОССПЭН, 2002. – 358 с.
- Шнирельман В.А. Интеллектуальные лабиринты: очерки идеологии современной России. – М.: Academia, 2004. – 480 с.
- Шнирельман В.А. Цивилизационный подход как национальная идея // Национализм в мировой истории / Под ред. В.А. Тишкова, В.А. Шнирельмана. – М.: Наука, 2007. – С. 83–105.
- Шойгу С.К. Страховка от страха // Российская газета: Федеральный выпуск. – М., 2009. – № 5071, 23 декабря. – Режим доступа: <http://www.rg.ru/2009/12/23/shoigu-dz.html> (Дата обращения 31.05.11.)
- Шубин А. Преданная демократия. СССР и неформалы, (1986–1989). – М.: Европа, 2006. – 388 с.
- Юрьев М.З. Третья империя. Россия, которая должна быть. – М.: Лимбус пресс, 2007а. – 640 с.
- Юрьев М. Естественным для русских вариантом государственного устройства является смесь идеократии и имперского патернализма // Российское государство: вчера, сегодня, завтра / Под общ. ред. И.М. Клямкина. – М.: Новое издательство, 2007б. – С. 165–182.

- Юрьев М. Две логики в российской политике // PRO суверенную демократию. – М.: Европа, 2007в. – С. 149–166.
- Юшенков С. Постзападная цивилизация: попытка определения // Постзападная цивилизация. Либерализм: прошлое, настоящее и будущее. – М.: Новый фактор: Минувшее, 2002. – С. 261–266.
- Яковенко И.Г. От империи к национальному государству (попытка концептуализации процесса) // Полис. – М., 1996. – № 6. – С. 117–128.
- Яковенко И.Г. Империя и нация // После империи / Под ред. И.М. Клямкина. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. – С. 54–59.
- Янов А.Л. После Ельцина. «Веймарская» Россия. – М.: КРУК, 1995. – 320 с.
- Янов А.Л. Как остановить российский «маятник» // Независимая газета. – М., 2002. – 13 марта. – С. 11.
- Ясин Е.А. Фантомные боли ушедшей империи // После империи / Под ред. И.М. Клямкина. – М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. – С. 5–49.
- Abercrombie N., Hill S., Turner B.S. The dominant ideology thesis. – L.: Allen & Unwin, 1980. – x, 212 p.
- After Habermas: New perspectives on the public sphere / Ed. by N. Crossley, J.M. Roberts. – Oxford: Blackwell, 2004. – 184 p.
- Alexander J. Political culture in post-Communist Russia: Formlessness and recreation in a traumatic transition. – N.Y.: St. Martin's press, 2000. – XII, 267 p.
- Almond G., Verba S. The civic culture. Political attitudes and democracy in five nations. – L.: Sage, 1989a. – VII, 379 p. (Работа впервые опубликована в 1963 г.)
- Almond G. The intellectual history of the civic culture concept // The civic culture revisited / Ed. by G. Almond, S. Verba. – L.: Sage, 1989b. – P. 1–36.
- Almond G. Foreword: The return to political culture // Political culture & democracy in developing countries / Ed. by Diamond L. – Boulder (CO) etc.: Lynne Rienner Publishers, 1994. – P. IX–XII.
- Aron R. Dead ideologies, living ideas // Aron R. The industrial society: Three essays on ideology and development. – N.Y. etc.: Format: Book, 1967. – P. 143–183.
- Aronwitz S. The politics of identity: Class, culture and social movements. – L.: Routledge, 1992. – x, 287 p.
- Balibar E. Culture and identity (working notes) // The identity in question / Ed. by J. Rajchman. – N.Y.; L.: Routledge, 1995. – P. 173–196.
- Balkin J.M. Cultural software. A theory of ideology. – New Haven etc., 1998. – XII, 335 p.
- Bauman Z. In search of politics. – Stanford: Stanford univ. press, 1999. – 220 p.
- Becker J. Lessons from Russia. A neo-authoritarian media system // European j. of communication. – L., 2004. – Vol. 19, N 2. – P. 139–163.
- Belin L. Russian media in the 1990s // J. of communist studies and transition politics. – L., 2002. – Vol. 18, N 1. – P. 139–160.
- Bell D. The end of ideology. On the exhaustion of political ideas in the fifties. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1988. – 501 p.
- Bell D.S.A. Mythscapes: memory, mythology and national identity // British j. of sociology. – L., 2003. – Vol. 54, N 1. – P. 63–81.
- Berman S. The social democratic movement: Ideas and politics in the making of inter-war Europe. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1998. – XI, 308 p.
- Billig M. Ideology and social psychology: extremism, moderation and contradiction. – Oxford: St. Martin's Press, 1982. – 243 p.

- Ideological dilemmas. A social psychology of everyday thinking / Billig M. et al. – L.: Sage, 1988. – VIII, 180 p.
- Birkland T.A. An introduction to the policy process: theories, concepts and models of public policy making. – 2 nd ed. – N.Y.: M.E. Sharp, 2005. – 297 p.
- Blyth M.M. «Any more bright ideas?» The ideational turn of comparative political economy // *Comparative politics*. – N.Y., 1997. – N 1. – P. 229–250.
- Blyth M.M. Great transformations. Economic ideas and institutional change in the twentieth century. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2002a. – XII, 284 p.
- Blyth M.M. Institutions and ideas // *Theory and methods in political science* / Ed. by D. Marsh and G. Stoker. – L. etc.: Palgrave MacMillan, 2002b. – P. 292–310.
- Bockman J., Eyal G. Eastern Europe as a laboratory of economic knowledge: the transnational roots of neoliberalism // *American j. of sociology*. – Chicago, 2002. – Vol. 108, N 2. – P. 310–352.
- Braudel F. History and social sciences: The *longue durèe* // Braudel F. On history / Transl. from French by S. Matthews. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1980. – P. 25–54.
- Brint M. Genealogy of political culture. – Boulder (CO): Westview press, 1991. – X, 147 p.
- Brown A. Conclusions // *Political culture and post-communism* / Ed. by S. Whitefield. – Oxford: Palgrave Macmillan, 2005. – P. 180–202.
- Brown A. Seven years that changed the world: Perestroika in perspective. – Oxford: Oxford univ. press, 2007. – XX, 350 p.
- Brubaker R., Cooper F. Beyond ‘identity’ // *Theory and society*. – Dordrecht, 2000. – Vol. 29, N 1. – P. 1–47.
- Brysk A. «Hearts and minds»: bringing symbolic politics back in // *Polity*. – Basingstoke, 1995. – Vol. 27, N 4. – P. 559–585.
- Buck A.D. Elite networks and worldviews during the Yel'tsin's years // *Europe-Asia Studies*. – L., 2007. – Vol. 59, N 4. – P. 643–661.
- Budge J., Robertson D., Hearl D. Ideology, strategy and party change: Spatial analyses of post-war election programs in nineteen democracies. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1987. – 516 p.
- Calhoun C. Social theory and the politics of identity // *Social theory and the politics of identity* / Ed. by Calhoun C. – Oxford; Blackwell, 1994. – P. 9–36.
- Calhoun C. Nationalism, political community and the representation of society or, why feeling at home is not a substitute for public space // *European j. of social theory*. – L., 1999. – Vol. 2, N 2. – P. 217–231.
- Calhoun C. Nations matter. Culture, history, and the cosmopolitan dream. – L.: Routledge, 2007. – IX, 238 p.
- Campbell J.L. Ideas, politics, and public policy // *Annual review of sociology*. – Palo Alto, 2002. – Vol. 28, N 1. – P. 21–38.
- Checkel J. Ideas and the international political change: Soviet/Russian behavior and the end of the cold war. – New Haven: Yale univ. press, 1997. – XV, 191 p.
- Chilton S. Defining political culture // *World politics*. – Oxford, 1988. – Vol. 27, N 2. – P. 419–445.
- Coakley J. Mobilizing the past: Nationalist images of history // *Nationalism and ethnic politics*. – Philadelphia, 2007. – Vol. 10, N 4. – P. 531–560.
- Cohen J.E. Presidential responsiveness and public policy-making: The public and the policies that presidents choose. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1999. – 304 p.

- Converse P.E. The nature of belief systems in mass public // *Ideology and discontent* / Ed. by Apter D.E. – Glencoe etc.: Free Press, 1964. – P. 206–261.
- Culture matters: Essays in honor of Aaron Wildavsky / Ed. by Ellis R.J., Thompson M. – Boulder (Col.): Westview press, 1997. – xix, 252 p.
- Culture matters: How values shape human progress / Ed. by Harrison L.E., Huntington S.P. – N.Y.: Basic books, 2000. – xxxiv, 348 p.
- Daskalov R. Populists and Westernizers in Bulgarian history and present // *Central European university. History department yearbook 2001–2002* / Ed. by Y. Miller, I.G. Toth. – Budapest: CEU press, 2002. – P. 113–142.
- Dean J. Why the net is not a public sphere // *Constellations*. – Oxford, 2003. – Vol. 10, N 1. – P. 95–112.
- Dean K. Introduction: politics and the ends of identity // *Politics and the ends of identity* / Ed. by K. Dean. – Aldershot etc.: Ashgate, 1997. – P. 1–46.
- Desch M.C. Culture clash. Assessing the importance of ideas in security studies // *International security*. – Cambridge (Mass.), 1998. – Vol. 23, N 1. – P. 141–170.
- De Smaele H. In search of a label for the Russian media system // *Comparative media systems: European and global perspectives* / Ed. by B. Dobek-Ostrowska et al. – Budapest etc.: Central univ. press, 2010. – P. 41–62.
- Diamond L. Introduction: Political culture and democracy // *Political culture & democracy in developing countries* / Ed. by L. Diamond. – Boulder (CO); L.: Lynne Rienner publishers, 1994. – P. 1–27.
- Dittmer L. Political culture and political symbolism: toward a theoretical synthesis // *World politics*. – Baltimore, 1977. – Vol. 29, N 4. – P. 552–583.
- Downey J., Fenton N. New media, counter publicity and the public sphere // *New media & society*. – L. etc., 2003. – Vol. 5, N 2. – P. 185–202.
- Eagleton T. *Ideology: An introduction*. – L.: Verso, 1996. – XV, 242 p.
- Eckstein H. A culturalist theory of political change // *Amer. polit. science rev.* – Wash., 1988. – Vol. 82, N 3. – P. 789–804.
- Eckstein H. Culture as a foundation concept for the social sciences // *J. of theoretical politics*. – L., 1996. – Vol. 8, N 4. – P. 471–497.
- Edelman M. *The symbolic uses of politics*. – Urbana: Univ. of Illinois press, 1964. – 201 p.
- Edelman M. *Politics as symbolic action. Mass arousal and quiescence*. – Chicago: Markham Publishing Company, 1971. – IX, 188 p.
- Eisenstadt S.N., Schluchter W. Introduction: Path to early modernities – a comparative view // *Public spheres & collective identities* / Ed. by S.N. Eisenstadt, W. Schluchter, B. Wittrock. – New Brunswick; L.: Transaction Publishers, 2001. – P. 1–18.
- English R. *Russia and the idea of the West: Gorbachev, intellectuals, and the end of cold war*. – N.Y.: Columbia univ. press, 2000. – XII, 401 p.
- Ferguson Y.H., Mansbach R.W. *Remapping global politics. History's revenge and future shock*. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – XIV, 360 p.
- Finnemore M. Constructing norms of humanitarian intervention // *The culture of national security: Norms and identity in world politics* / Ed. by P. Katzenstein. – N.Y.: Columbia univ. press, 1996. – P. 153–185.
- Fleron F. *Post-Soviet political culture in Russia: An assessment of recent empirical investigations* // *Europe-Asia studies*. – Glasgow, 1996. – Vol. 48, N 2. – P. 225–260.

- Fossato F. Discussion: Is runet the last adaptation tool? // Russian cyberspace. – 2009. – Vol. 1, N 1. – Mode of access: [http://www.russian-cyberspace.com/pdf/issue1/Web-as-an-Adaptation-Tool\\_N-Fossato.pdf](http://www.russian-cyberspace.com/pdf/issue1/Web-as-an-Adaptation-Tool_N-Fossato.pdf) (Date of access 30.03.10.)
- Fossato F., Lloyd J., Verkhovsky A. The web that failed: How opposition politics and independent initiatives are failing on the internet in Russia. – Oxford: RISJ Challenges, 2008. – V, 61 p. – Mode of access: [http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/The\\_Web\\_that\\_Failed.pdf](http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/The_Web_that_Failed.pdf) (Date of access: 30.03.10.)
- Four models of the public sphere in modern democracies / Ferree M.M., Gamson W.A., Gerhards J., Rucht D. // *Theory and Society*. – Dordrecht, 2002. – Vol. 31, N 5. – P. 289–324.
- Freeden M. Ideologies and political theory: a conceptual approach. – Oxford: Oxford univ. press, 1996. – 608 p.
- Freeden M. Editorial: Political ideology at century's end // *J. of political ideologies*. – Oxford, 2000. – Vol. 5. – N 1. – P. 5–15.
- Gamson W.A., Stuart D. Media discourse as a symbolic contest: the bomb in political cartoons // *Sociological forum*. – N.Y., 1992. – Vol. 7, N 1. – P. 55–86.
- Ganev V.I. The «triumph of neoliberalism» reconsidered: Critical remarks on ideas-centered analysis of political and economic change in post-communism // *East European politics and societies*. – Princeton, 2005. – Vol. 19, N 3. – P. 343–378.
- Geertz C. Ideology as a cultural system // *Ideology and discontent* / Ed. by D.E. Apter. – Glencoe etc., 1964. – P. 47–76.
- Geertz C. The politics of meaning // Geertz C. *The interpretations of cultures*. – L.: Fontana Press, 1993. – P. 311–326.
- Gendzel G. Political culture: Genealogy of a concept // *J. of interdisciplinary history*. – Cambridge (MA), 1997. – Vol. 28, N 2. – P. 225–250.
- Gitlin T. From universality to difference: notes on the fragmentation of the idea of the left // *Social theory and the politics of identity* / Ed. by Calhoun C. – Oxford; Blackwell, 1994. – P. 150–174.
- Gofas A., Hay C. The ideas debate in international and European studies: Towards a cartography and critical assessment. – Barcelona: Institut Barcelona d'estudis internacionals, 2008. – 41 p.
- Gofas A., Hay C. Varieties of ideational explanation // *The role of ideas in political analysis. A portrait of contemporary debates* / Ed. by A. Gofas and C. Hay. – L.; N.Y.: Routledge, 2010. – P. 13–55.
- Goldstein J., Keohane R.O. Ideas and foreign policy: An analytical framework // *Ideas and foreign policy: beliefs, institutions and political change* / Ed. by J. Goldstein and R.O. Keohane. – Ithaca: Cornell univ. press, 1993. – P. 3–30
- Goldstein J. Ideas, interests and American trade policy. – Ithaca: Cornell univ. press, 1993. – xiii, 268 p.
- Greenfeld L. Nationalism. Five roads to modernity. – Cambridge (Mass.) etc.: Harvard univ. press, 1993. – XII, 581 p.
- Habermas J. The structural transformation of the public sphere. An inquiry into a category of bourgeois society. – Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1993. – XIX, 301 p.
- Habermas and the public sphere / Ed. by C. Calhoun. – Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1992. – X, 498 p.

- Hall P.A. Conclusion: The politics of Keynesian ideas // The political power of economic ideas: Keynesianism across nations / Ed. by P.A. Hall. – Princeton: Princeton univ. press, 1989. – P. 361–391.
- Hall P.A. Policy paradigms, social learning and the state: the case of economic policy-making in Britain // Comparative politics. – N.Y., 1993. – Vol. 25, N 3. – P. 185–196.
- Hall R.B. National collective identity. Social constructs and international systems. – N.Y.: Columbia univ. press, 1999. – XV, 397 p.
- Hall S. Introduction. Who needs «identity»? // Questions of cultural identity / Ed. by S. Hall, P. Du Gay. – L. etc.: Sage, 1996. – P. 1–17.
- Hamilton M.B. The elements of the concept of ideology // Political studies. – L., 1987. – Vol. 35, N 1. – P. 18–38.
- Hanson S. Post-imperial democracies. Ideology and party formation in Third Republic France, Weimar Germany, and post-Soviet Russia. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – 306 p.
- Harrison S. Four types of symbolic conflict // The journal of Royal anthropological institute. – Chichester etc., 1995. – Vol. 1, N 2. – P. 255–272.
- Hay C. Constructivist institutionalism // The Oxford handbook of political institutions / Ed. by R.A.W. Rhodes, S.A. Binder and B.A. Rockman. – Oxford: Oxford univ. press, 2006. – P. 56–74.
- Hirschman A.O. Shifting involvements. Private interest and public action / Twentieth-anniversary edition with a new foreword by R.H. Frank. – Princeton; Oxford: Princeton univ. press, 2002. – X, 138 p. (Работа впервые опубликована в 1982 г.)
- Hudson D., Martin M. Narratives of neoliberalism. The role of everyday media practices and the reproduction of dominant ideas // The role of ideas in political analysis. A portrait of contemporary debates / Ed. by A. Gofas, C. Hay. – L.; N.Y.: Routledge, 2010. – P. 97–117.
- Herman R.G. Identity, norms, and national security: The Soviet foreign policy revolution and the end of the cold war // The culture of national security: Norms and identity in world politics / Ed. by P. Katzenstein. – N.Y.: Columbia univ. press, 1996. – P. 271–316.
- Hobsbawm E.J. Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1990. – VIII, 206 p.
- Hochschild J.L. How ideas affect actions // The Oxford handbook of contextual political analysis / Ed. by R. Goodin and Ch. Tilly. – Oxford etc.: Oxford univ. press, 2006. – P. 284–296.
- Hoffman S. Ideas, public policy, and creation of financial institutions. – Baltimore; L.: The Johns Hopkins univ. press, 2001. – XII, 304 p.
- Hogan J., Doyle D. The importance of ideas: An a priori critical juncture framework // Canadian j. of political science. – Toronto, 2007. – Vol. 40, N 4. – P. 883–910.
- Huntington S. The clash of civilizations? // Foreign affairs. – Wash., 1993. – Vol. 72, N 3. – P. 2–49.
- Huntington S. The clash of civilizations and the remaking of world order. – N.Y.: Simon & Schuster, 1996. – 368 p.
- Ideas and foreign policy: beliefs, institutions and political change / Ed. by J. Goldstein and R.O. Keohane. – Ithaca: Cornell univ. press, 1993. – x, 308 p.
- Ideology / Ed. by T. Eagleton. – L. etc.: Longman, 1994. – x, 317 p.

- Ideology and Discontent / Ed. by D.E. Apter – Glencoe etc.: Free Press of Glencoe, 1964. – 342 p.
- Imperial and national identities in pre-revolutionary, Soviet, and post-Soviet Russia / Ed. by C.J. Chulos, J. Remy. – Helsinki: SKS-FLS, 2002. – 242 p.
- Jedlicki J. A Suburb of Europe. Nineteenth-century Polish approaches to Western civilization. – Budapest: Central European University Press, 1999. – XXVII, 307 p.
- Johnson J. Conceptual problems as obstacles to progress in political science: Four decades of political culture research // *J. of theoretical politics*. – L., 2001. – Vol. 15, N 1. – P. 87–115.
- Johnston A.I. Thinking about strategic culture // *International security*. – Harvard, 1995. – Vol. 19, N 4. – P. 32–64.
- Jowitt K. An organizational approach to the study of political culture in Marxist-Leninist systems // *Amer. polit. science rev.* – Wash., 1974. – Vol. 68, N 3. – P. 1171–1191.
- Kalatil Sh., Boas T. Open network closed regimes: The impact of internet on authoritative rule. – Wash.: Carnegie endowment for the international peace, 2003. – 213 p. – Режим доступа: [http://people.bu.edu/tboas/open\\_networks.pdf](http://people.bu.edu/tboas/open_networks.pdf) (Date of access 21.12.2012.)
- Kaufman S.J. Escaping the symbolic politics trap: reconciliation initiatives and conflict resolution in ethnic wars // *Journal of peace research*. – L., 2006. – Vol. 43, N 2. – P. 201–218.
- Kennedy M.D., Suny R.G. Introduction // *Intellectuals and the articulation of nation* / Ed. by R.G. Suny, M.D. Kennedy. – Ann Arbor: Univ. of Michigan press, 1999. – P. 1–51.
- Kenny M. Politics of identity: Liberal political theory and the dilemmas of difference. – Cambridge: Polity Press, 2004. – XIV, 212 p.
- Kertzer D.I., Arel D. Censuses, identity formation, and the struggle for political power // *Census and identity. The politics of race, identity, and language in national censuses* / Ed. by D.I. Kertzer and D. Arel. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2002. – P. 1–42.
- Koltsova O. News media and power in Russia. – L.: Routledge, 2006. – XV, 271 p.
- Kress G. Ideological structures in discourse // *Handbook of discourse analyses* / Ed. by T.A. van Dijk. – L.: Academic Press, 1985. – Vol. 4. – P. 27–42.
- Kress G., Hodge R. Language as ideology. – L. etc.: Routledge & Kegan Paul, 1979. – XIV, 230 p.
- Kymlicka W. Western political theory and ethnic relations in Eastern Europe // *Can liberal pluralism be exported? Western political theory and ethnic relations in Eastern Europe* / Ed. by Kymlicka W., Opalski M. – Oxford: Oxford univ. press, 2001. – P. 11–105.
- Laitin D.D. The civic culture at 30 // *Amer. polit. science rev.* – Wash., 1995. – Vol. 89, N 1. – P. 168–173.
- Laitin D. Political culture and political preferences // *Amer. polit. science rev.* – Wash., 1998. – Vol. 82, N 3. – P. 589–593.
- Lane D., Ross C. The transition from communism to capitalism: Ruling elites from Gorbachev to Yeltsin. – L. etc.: Palgrave Macmillan, 1998. – 273 p.
- Lane R.E. Political ideology: Why the American common man believe what he does. – N.Y.: Free Press of Glencoe, 1962. – IX, 509 p.

- Lane R.T. *Political man*. – N.Y.: Free Press, 1972. –VI, 328 p.
- Larrain G. *The concept of ideology*. – L.: Hutchinson, 1979. – 256 p.
- Lévesque J. *The enigma of 1989: The USSR and the liberation of Eastern Europe*. – Berkeley: Univ. of California press, 1997. – IX, 267 p.
- Lieberman R.C. *Ideas, institutions, and political order: Explaining political change // American political science review*. – Wash., 2002. – Vol. 96, N 4. – P. 697–712.
- Lipman M. *The Russian media scene: Industrial rise and institutional decline // Media, democracy and freedom. The post-Communist experience / Ed. by M. Dyczok, O. Gaman-Golutvina*. – Bern etc.: Peter Lang, 2009. – P. 163–164.
- Lipset S.M. *Political man. The social bases of politics*. – Garden city (N.Y.) etc.: Doubleday, 1960. – 432 p.
- Lukin A. *The political culture of the Russian «democrats»*. – Oxford: Oxford univ. press, 2000. – XIII, 336 p.
- Lukin A., Lukin P. *Myths about Russian political culture and the study of Russian history // Political culture and post-Communism / Ed. by Whilefield S*. – Oxford: Macmillan, 2005. – P. 15–41.
- MacAuley M. *Bringing culture into political analysis: The reform of the Russian judiciary // Political culture and post-Communism / Ed. by Whilefield S*. – Oxford: Macmillan, 2005. – P. 81–104.
- Maierova O. *From the shadow of empire. Defining the Russian nation through cultural mythology, 1855–1870*. – Madison: Univ. of Wisconsin press, 2010. – XV, 277 p.
- Malia M. *Russia under Western eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin mausoleum*. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1999. – XII, 514 p.
- Malinova O. *Russian political discourse in the 1990 s: Crisis of identity and conflicting pluralism of ideas // Identities and Politics During the Putin Presidency. The Discursive Foundations of Russia's Stability / Ed. by P. Casula, J. Perovic (eds.)*. – Stuttgart: Ibidem – Verlag, 2009a. – P. 94–111.
- Malinova O., Casula Ph. *Political and national identity in Russian political discourse // Nationalism and democracy. Dichotomies, complementarities, oppositions / Ed. by A. Lecours and L. Moreno*. – L.; N.Y.: Routledge, 2010. – P. 170–183.
- Malinova O. *Defining and redefining Russianness: The concept of «empire» in public discourses in post-Soviet Russia // The challenges of ethno-nationalism. Case studies in identity politics / Ed. by A. Guelke – L.: Palgrave Macmillan, 2010a*. – P. 60–77.
- Malinova O. *Making Social Discussions Possible: Perestroika and Development of the Public Sphere // Perestroika: Process and Consequences / Ed. by M. Kangaspuro et al.* – Helsinki: Finnish Literature Society, 2010b. – P. 171–190.
- Malinova O. *Public discourse on the perspectives of transition in post-Soviet Russia: The pluralism of ideas in the transforming public sphere // State, society, and transformation / Ed. by B.A. Mitchneck*. – Wash.: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2011. – P. 102–125.
- Martin D.-C. *The choices of identity // Social identities*. – Basingstoke, 1995. – Vol. 1, N 1. – P. 5–20.
- McNay L. *Gender and narrative identity // J. of political ideologies*. – Oxford, 1999. – Vol. 4, N 3. – P. 315–336.
- Miller D. *Citizenship and national identity*. – Cambridge: Polity Press, 2000. – 216 p.

- Mishler W., Pollack D. On culture, thick and thin: Toward a neo-cultural synthesis // Political culture in post-Communist Europe: Attitudes in new democracies. – Burlington: Ashgate, 2003. – P. 237–256.
- Moscovici S. Foreword // Health and illness: A social psychological analysis / Ed. by C. Herzlich. – L. etc.: Academic Press, 1973. – P. IX–XIV.
- Mouffe Ch. Democratic politics and the question of identity // The identity in question / Ed. by J. Rajchman. – N.Y.; L.: Routledge, 1995. – P. 33–45.
- Neumann I.B. Russia and the idea of Europe. A study in identity and international relations. – L.; N.Y.: Routledge, 1996. – XVIII, 253 p.
- Neumann I.B. European identity, EU expansion, and the integration/exclusion nexus // Alternatives. – Boulder (Colo.), 1998. – Vol. 23. – P. 397–416.
- Neumann I.B. Uses of the other. «The East» in European identity formation. – Manchester: Manchester univ. press, 1999. – XV, 281 p.
- Neumann I.B., Heikka H. Grand strategy, strategic culture, practice. The social roots of Nordic defence // Cooperation and conflict. – L., 2005. – Vol. 40, N 1. – P. 5–23.
- Nozhenko M. Motherland is calling you! Motives behind and prospects for the new Russian policy on compatriots abroad // Lithuanian foreign policy review. – Vilnius, 2006. – N 2 (18). – Mode of access: <http://www.lfpr.lt/uploads/File/2006-18/Nozhenko.pdf> (Date of access 21.12.2012.)
- Oren I. Is culture independent of national security? How America's national security concerns shaped «political culture» research // European j. of international relations. – L., 2000. – Vol. 6, N 4. – P. 663–686.
- Osvald I., Voronkov V. The «public-private» sphere in Soviet and post-Soviet society. Perception and dynamic of «public» and «private» in contemporary Russia // European societies. – L., 2004. – Vol. 6, N 1. – P. 97–117.
- Oates S. Party platforms: towards a definition of the Russian political spectrum // J. of communist studies and transition politics. – L., 1998. – Vol. 14, N 1&2. – P. 86–94.
- Parekh B. The new politics of identity: Political principles for an interdependent world. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. – 317 p.
- Petrova M.H. The end of the cold war: a battle or bridging ground between rationalist and ideational approaches in international relations? // European j. of international relations. – L., 2003. – Vol. 9, N 1. – P. 115–163.
- Pfetsch B. From political culture to political communication culture: A theoretical approach to comparative analysis // Comparing political communications: Theories, cases and challenges / Ed. by Esser F., Pfetsch B. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2004. – P. 344–366.
- Pietilainen J. Media use in Putin's Russia // J. of communist studies and transition politics. – L., 2008. – Vol. 24, N 3. – P. 365–385.
- Pombeni P. Ideology and government // J. of political ideologies. – Oxford, 2006. – Vol. 11, N 1. – P. 61–76.
- Political culture and political change in post-Communist societies / Ed. by Gutorov V. et al. – St. Petersburg: St. Petersburg st. univ. press, 1997. – 373 p.
- Prozorov S. Russian conservatism in the Putin presidency: The dispersion of a hegemonic discourse // J. of political ideologies. – Oxford, 2005. – Vol. 10, N 2. – P. 121–143.
- Public spheres & collective identities / Ed. by S.N. Eisenstadt, W. Schluchter, B. Wittrock. – New Brunswick; L.: Transaction Publishers, 2001. – X, 293 p.

- Putnam R. Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. – Princeton: Princeton univ. press, 1993. – XV, 258 p.
- Pye L. Introduction: Political culture and political development // Political culture and political development / Ed. by Pye L., Verba S. – Princeton: Princeton univ. press, 1965. – P. 3–23.
- Ricoeur P. Lectures on ideology and utopia / Ed. by G.H. Taylor. – N.Y.: Columbia univ. press, 1986. – XXXVI, 353 p.
- Roberts J.M. The aesthetics of free speech: Rethinking the public sphere. – Houndmills etc.: Palgrave Macmillan, 2003. – 430 p.
- Rueschemeyer D. Why and how ideas matter // The Oxford handbook of contextual political analysis / Ed. by R. Goodin and Ch. Tilly. – Oxford etc.: Oxford univ. press, 2006. – P. 227–251.
- Schmidt V.A. Does discourse matter in the politics of welfare adjustment? // Comparative political studies. – Seattle (Wash.), 2002. – Vol. 35, N 2. – P. 168–193.
- Schopflin G. The functions of myth and a taxonomy of myths // Myths and nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schopflin. – N.Y.: Routledge etc., 1997. – P. 19–35.
- Schneider A.L., Ingram H. Social constructions in the study of public policy // Handbook of constructionist research / Ed. by J.A. Holstein, J.F. Gubrium. – N.Y.: The Guilford press, 2008. – P. 189–211.
- Schwarzmantel J. The age of ideology. Political ideologies from the American revolution to post-modern times. – L.: Macmillan, 1998. – XII, 210 p.
- Scott D. Culture in political theory // Polit. theory. – L., 2003. – Vol. 31, N 1. – P. 92–115.
- Scott J.W. Multiculturalism and the politics of identity // The identity in question / Ed. by J. Rajchman. – N.Y.; L.: Routledge, 1995. – P. 3–12.
- Sergeev V., Biryukov N. Russia's road to democracy: Parliament, communism and traditional culture. – Aldershot; Hampshire: Elgar, 1993. – 227 p.
- Seth R. Von From the Soviet to the post-Soviet Russian press: democracy and the elusive public sphere: Doctoral thesis. – Göteborg: Göteborg universitet. Institutionen för slaviska språk, 2008. – 299 p. – (Commentationes Slavicae Gothoburenenses; N 7).
- Sikkink K. Ideas and institutions: Developmentalism in Argentina and Brazil. – Ithaca: Cornell univ. press, 1991. – XVII, 263 p.
- Shlapentokh V. Public and private life of the Soviet people. Changing values in post-Stalin Russia. – N.Y.; Oxford: Oxford univ. press, 1989. – 281 p.
- Shleifer A., Treisman D. A normal country // Foreign affairs. – Wash., 2004. – Vol. 83, N 2. – P. 20–38.
- Somers M.R., Gibson G.D. Reclaiming the epistemological «other»: narrative and the social constitution of identity // Social theory and the politics of identity / Ed. by Calhoun C. – Oxford; Blackwell, 1994. – P. 37–99.
- Somers M. The narrative constitution of identity: a relational and network approach // Theory and society. – Dordrecht, 1994. – Vol. 23, N 5. – P. 605–649.
- Squires J. Representing groups, deconstructing identities // Feminist theory. – L., 2002. – Vol. 2 (1), N 1. – P. 8–27.
- Strath B. Ideology and history // J. of political ideologies. – Oxford, 2006. – Vol. 11, N 1. – P. 23–42.
- Swidler A. Culture in action: Symbols and strategies // American sociological review. – Columbus (Oh.), 1986. – Vol. 51, April. – P. 273–286.

- Swidler A. What anchors cultural practices // *The practice turn in contemporary theory* / Ed. by Th.R. Schatzki, K.K. Cetina and E. von Savigny. – L. etc.: Routledge, 2001. – P. 74–92.
- Szacki J. Liberalism after communism. – Budapest: CEU press, 1995. – VII, 216 p.
- The culture of national security: Norms and identity in world politics* / Ed. by P. Katzenstein. – N.Y.: Columbia univ. press, 1996. – XV, 562 p.
- The end of ideology debate* / Ed. by C.I. Waxman. – N.Y.: Funk & Wagnalls, 1968. – 397 p.
- The political power of economic ideas: Keynesianism across nations* / Ed. by P.A. Hall. – Princeton: Princeton univ. press, 1989. – VI, 406 p.
- The power of public ideas* / Ed. by R.B. Reich. – Cambridge (Mass.): Ballinger publishing company, 1988. – 265 p.
- The public sphere in Muslim societies* / Ed. by M. Hoexter, S.N. Eisenstadt, N. Levzion. – Albany: State univ. of New York press, 2002. – IX, 191 p.
- The role of ideas in political analysis. A portrait of contemporary debates* / ed. by A. Gofas, C. Hay. – L., N.Y.: Routledge, 2010. – XIII, 210 p.
- Tilly Ch., Goodin R. It depends // *The Oxford handbook of contextual political analysis* / Ed. by R. Goodin and Ch. Tilly. – Oxford etc.: Oxford univ. press, 2006. – P. 3–32.
- The discursive construction of national identity* / Wodak R., de Chillia R., Reisigl M., Liebhart K.. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. – X, 276 p.
- Therborn G. The ideology of power and the power of ideology. – L.: NLB, 1980. – IX, 133 p.
- Thompson J.B. Ideology and modern culture. Critical social theory in the era of mass communication. – Oxford: Polity Press, 1990. – VIII, 362 p.
- Tolz V. Forging the nation: National identity and nation building in post-Communist Russia // *Europe-Asia studies*. – Glasgow, 1998. – Vol. 50, N 6. – P. 993–1022.
- Tolz V. Russia. Inventing the nation. – L.: Arnold, 2001. – VIII, 307 p.
- Tønder L. Ideational analysis, political change and immanent causality // *The role of ideas in political analysis. A portrait of contemporary debates* / Ed. by A. Gofas, C. Hay. – L.; N.Y.: Routledge, 2010. – P. 56–77.
- Tucker R.C. Political culture and leadership in Soviet Russia. From Lenin to Gorbachev. – Brighton: Wheatsheaf books, 1987. – X, 214 p. – Впервые опубликовано в 1973 г.
- Tuminez A.S. Russian nationalism since 1956. Ideology and the making of foreign policy. – Lanham etc.: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. – 339 p.
- Urban M. Remythologizing the Russian state // *Europe-Asia studies*. – Glasgow, 1998. – Vol. 50, N 6. – P. 969–992.
- Urban M. Cultures of power in post-Communist Russia. An analysis of elite political discourse. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – XI, 216 p.
- Van Dijk T.A. Elite discourse and racism. – L.: Sage, 1993. – XII, 320 p.
- Van Dijk T.A. Discourse semantics and ideology // *Discourse & society*. – L., 1995. – Vol. 6, N 2. – P. 243–289.
- Van Dijk T.A. Ideology. A Multidisciplinary Approach. – L.: Sage, 1998. – X, 374 p.
- Van Dijk T.A. Political discourse and ideology // *Anàlisi del discurs polític* / Ed. by C.U. Lorda, M. Ribas. – Barcelona: Universitat Pompeu Fabra IULA, 2002. Mode of access: <http://www.discourses.org/OldArticles/Political%20Discourse%20and%20Ideology.pdf> (Date of access 11.05.11.)
- Verba S. On revisiting the civic culture: A personal postscript // *The civic culture revisited* / Ed. by Almond G., Verba S. – L.: Sage, 1989. – P. 394–410.

- Walby S. The myth of nation-state: Theorizing society and politics in a global era // *Sociology*. – L. etc.: 2003. – Vol. 37, N 3. – P. 529–546.
- Walicki A. Poland between East and West. The controversies over self-definition and modernization in partitioned Poland. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1994. – 61 p.
- Wallerstein I. Three ideologies or one? Pseudobattle of modernity // Wallerstein I. *After liberalism*. – N.Y.: The New Press, 1995. – P. 72–92.
- Wallerstein I. Citizens all? Citizens some! The making of the citizen // *Comparative studies in society and history*. – L. etc., 2003. – Vol. 45, N 4. – P. 650–679.
- White S., McAllister J., Oates S. Was it Russian public television that won it? // *The Harvard international j. of press/politics*. – Harvard (Mass.), 2002. – Vol. 7, N 2. – P. 17–33.
- Wedeen L. Conceptualizing culture: Possibilities for political science // *Amer. polit. science rev.* – Wash., 2002. – Vol. 96, N 4. – P. 715–716.
- Weitz E.D. [Review on]: Berman S. *The social democratic movement: Ideas and politics in the making of interwar Europe*. – Cambridge (Mass.): Harvard univ. press, 1998. – XI, 308 p. // *J. of modern history*. – Chicago, 2000. – Vol. 72, N 4. – P. 1062–1063.
- Welch S. *The concept of political culture*. – L.: St. Martin's press, 1993. – 208 p.
- Welsh S. *Political culture, post-Communism and disciplinary normalization: Towards a theoretical reconstruction* // *Political culture and post-Communism* / Ed. by Whitefield S. – Oxford: Macmillan, 2005. – P. 113–116.
- Williams M. *The uneasy alliance of group representation and deliberative democracy* // *Citizenship in diverse societies* / Ed. by W. Kymlicka, W. Norman. – Oxford: Oxford univ. press, 2000. – P. 124–152.
- Young I.M. *Difference as a resource for democratic communication* // *Deliberative democracy: Essays on reason and politics* / Ed. by J. Bohmon, W. Rehg. – Cambridge (Mass.): MIT Press, 1997. – P. 383–407.
- Ziegler J.N. *Governing ideas: Strategies for innovation in France and Germany*. – Ithaca (NY): Cornell univ. press, 1997. – IX, 255 p.

**О.Ю. Малинова**

**КОНСТРУИРОВАНИЕ СМЫСЛОВ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ**

**Монография**

Оформление обложки  
и компьютерная верстка Н.В. Афанасьева  
Дизайн Л.А. Можаева  
Корректоры О.П. Дормидонтова, О.В. Шамова

Адрес редколлегии: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект 51/21.  
ИНИОН РАН. Отдел политической науки. E-mail: politnauka@inion.ru

Гигиеническое заключение  
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.  
Подписано к печати 15/VII – 2013 г. Формат 60x84/16  
Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена  
Усл. печ. л. 26,25 Уч.-изд. л. 25,0  
Тираж 300 экз. Заказ № 50

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,  
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997  
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий  
Тел. / Факс: (499) 120-4514  
E-mail: inion@bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru  
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН  
Нахимовский проспект, д. 51/21  
Москва, В-418, ГСП-7, 117997  
042(02)9